



БОРИС ХАЗАНОВ

БОРИС ХАЗАНОВ СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ПРИЧИНЕ

БОРИС ХАЗАНОВ

СЛЕДСТВИЕ
ПО ДЕЛУ
О ПРИЧИНЕ

ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА

ДУХ І ЛІТЕРА

Борис ХАЗАНОВ

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ПРИЧИНЕ

РАССКАЗЫ, ПОВЕСТИ, РОМАН

ХАРЬКОВСКАЯ ПРАВООЗАЩИТНАЯ ГРУППА

ДУХ І ЛІТЕРА

КИЕВ–ХАРЬКОВ

2005

На обложке книги воспроизведена работа Бориса Егизаряна «Человек»

Ответственные за выпуск: Евгений Захаров, Константин Сигов, Леонид Финберг

Корректурa: Евгений Захаров

Художественное оформление: Ирина Пастернак, Илья Першин

Компьютерная верстка: Олег Мирошниченко

Хазанов Борис

Следствие по делу о причине / Киев–Харьков: Харьковская правозащитная группа; Дух і Літера, 2005. – 360 с.

ISBN 966-7888-96-7.

В автобиографическом наброске «Понедельник роз» Борис Хазанов писал: «Моя жизнь была перерублена трижды. Первый раз, когда началась война, второй раз, когда меня посадили в тюрьму, и третий – когда пришлось эмигрировать».

Б. Хазанов (псевдоним Г.М. Файбусовича), писатель и переводчик, родился в Ленинграде, вырос в Москве. Изучал классическую филологию в Московском университете, был арестован по обвинению в антисоветской агитации, после лагеря окончил медицинский институт в Калинин (Тверь), работал врачом в деревне и в Москве. В связи с участием в самиздате, публикациями за границей и т.д. подвергся преследованиям, в 1982 г. эмигрировал в Германию. Был одним из основателей и редактором общественно-политического и культурологического журнала «Страна и мир» (Мюнхен, 1984–1992). Лауреат премии «Литература в изгнании» (Гейдельберг) и нескольких премий Международного ПЕН-клуба. Автор романов, рассказов, эссе; публиковался в России и в переводах на западные языки. Живет в Мюнхене.

© Борис Хазанов, 2005

© Харьковская правозащитная группа, 2005

© Дух і літера, 2005

ISBN 966-7888-96-7

БУКВЫ

Речь при вручении премии «Литература в изгнании» в Гейдельберге

От одного старого сидельца я слышал, что Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они ещё живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

В моё время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шестивие с надзирателем по галерее вдоль ограждённого сеткой лестничного пролёта, гуськом, впереди дежурный по камере торжественно несёт парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тайной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действенность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда специальный корпус, воздвигнутый ещё при наркоме Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения, диковин-

ные раритеты, о которых никто никогда не слышал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загромоздить туда, где обретались мы, и – получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счёт литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили её аромат. Перелитое в новые меха, вино лишилось букета. Я убедился, что печать заключает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от её содержания – я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и необратимо оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: *Est opus egregium sacros iam scribere libros*. Славен труд переписчика священных книг.

«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святы, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», – говорится в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как некогда учёные александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо искажился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фрактур, так называемый готический шрифт, я разглядывал твёрдые тиснёные переплёты и титульные листы немецких

книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня невыносим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть словно разгримированные актёры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который вперяется Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины – всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают ещё неведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики.

Из трактата Sefer Jezira (Книга творения), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, хотя на самом деле был сочинён в середине первого тысячелетия нашей эры, – из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трёх букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12 главным членам и органам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы – элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому, как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что ещё не написаны, – в нём предопределено всё творение. Алфавит – это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, – облечься в четырёхбуквенное Имя божества.

Французский писатель, нобелевский лауреат Эли Визель рассказывает легенду об основателе хасидизма, «господине благого Имени» – Баал Шем Тов, – который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё ещё не переполнилась. За своё нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоём с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражён амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить. Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, – всё, кроме одной единственной, первой буквы алфавита – алеф. А я, сказал учитель, помню вторую – бет. Давай вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний, и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришёл, но зато они могли снова мечтать и спорить о нём.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чьё-то имя, вырезанное на нём.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Весь фокус был в том, чтобы найти равновесие между реальностью ситуации, будничной и логичной, и нагромождением неожиданных препятствий, которые, однако, не должны были производить впечатление фантастических. На помощь пришёл сон – и даже сон во сне.

Луис Бунюэль

I

Вы согласитесь со мной, что с каждым могут случаться странности. Я слышал, как голос вещает по радио, различал отчётливо каждое слово и не понимал ни слова. Я ждал поезда. Наконец, до меня дошло: авария в туннеле. Пассажиров просят воспользоваться наземным транспортом. Народ уже ехал наверх. Чёрными ключьями висело небо над крышами зданий, мимо неслись машины с включёнными фарами, сеялся мелкий дождь, от которого всё вокруг – окна домов, тротуар, лица прохожих – приняло неживой, оловянный оттенок. Жизнь суетилась вокруг меня, это была механическая, мёртвая жизнь без цели и смысла, напоминающая старую поцарапанную киноплёнку. Я стал в очередь, но оказалось, что никакой очереди не соблюдается. Люди втискивались как попало в подошедший, старый и забрызганный грязью автобус. Я ехал в молчаливой колыхающейся толпе, сжатый со всех сторон, в испарениях пота и влаги, автобус кружил по извилистым улочкам, сквозь мутные стёкла ничего не разобрать.

Стемнело, зажглись фонари; смутные отсветы дрожали на лицах, никто не выходил, на остановках новые толпы штурмовали автобус, руки висящих цеплялись за что попало, экипаж, как корабль от пристани, грузно отвалил от тротуара, проплыл ярко освещённый циферблат. Следовало перевести стрелки; в эту минуту я уже вполне отдавал себе отчёт в том, что моя затея безумна, возвращаться было поздно.

Далее оказалось, что в дом невозможно войти. Это было что-то новое, подражание за границе; других новшеств я не заметил, в общем-то ничего за эти годы не изменилось. Это угнетало, но в то же время придавало мне отваги. Наружная дверь была снабжена устройством с кнопками и микрофоном. Здесь боялись бандитов. Сообразив, что надо набрать номер квартиры, я нажал на кнопку с надписью «входите», – безрезультатно. Тут каким-то образом возник некто в плаще с поднятым воротником, в низко надвинутой шляпе, что-то нажал, произнёс что-то перед решёткой микрофона, может быть, пароль, и отворил дверь. «Подождите», – сказал я (или хотел сказать), схватился за ручку, но человек как будто не слышал и с силой захлопнул за собой дверь. Я сошёл с тротуара: это был наш дом, мертвенно отсвечивали высоко под крышей наши тёмные окна. Незачем было тащиться – её нет и не может быть; я твердил это самому себе, чтобы обмануть злую силу, которая всегда делает наоборот. Ноги подтащили меня к дверям, я надавил, сколько было силы, на кнопки, услышал шорох в микрофоне и рванул ручку. Я был доволен, что человек не пустил меня в дом, никто не будет знать, что я здесь. Лифт, как всегда, не работал. По тёмной лестнице, этаж за этажом, я крался наверх, пока не увидел над головой потолок. Позвонил, и мне открыли.

Она была в домашнем халатике. Вероятно, она уже легла, я заметил неприбранную постель. В комнате ничего не изменилось. Моя жена тоже не изменилась. Всё тот же болезненный вид, блестящие волосы и круги под глазами. «Выпьешь чаю? – беззвучно спросила она. – Когда ты приехал?» Очевидно, предположила, видя меня без багажа, что я уже несколько дней в городе.

Я ответил: «Какой-то жилец захлопнул дверь прямо перед моим носом. Разве я похож на преступника?»

Она улыбнулась.

«Тебя не удивляет, – продолжал я, – что я пришёл без предупреждения?»

Она покачала головой, её взор блуждал, избегая моих глаз, она запахнула на шее халат.

«Тебя не интересует, как я живу?»

Ответа не было. Мы стояли друг перед другом, я уловил лёгкий вздох, её губы прошелестели:

«Я знала».

«Да, но...»

«Я знала, что ты вернёшься», – сказала она.

Эти слова меня удивили и обрадовали, я даже не нашёлся, что ответить. Речь, которую я приготовил, застряла у меня в горле. «Но ты же понимаешь, Катя...» – пробормотал я.

«...вернёшься, – сказала она, словно не расслышав моих слов, – и мы будем жить по-старому».

Вот это мне уже не нравилось, это напоминало наши бесконечные ночные пререкания. Я чуть было не возразил: по-старому? И опять начнётся эта канитель? Обыски, допросы, машина под окнами.

Усталым жестом она провела рукой по волосам и сказала:

«Теперь всё переменялось. Если бы не переменялось, тебя бы здесь не было. Я знала, что ты приедешь. Я тебя ждала. Каждый день тебя ждала. Вчера ждала. Сегодня ждала».

«Я тебя разбудил...»

«Да. Я успела задремать и увидела во сне, будто ты приехал и стоишь внизу. В дверь звонят, а я лежу и ничего не слышу. – Она засмеялась. – Может, ты и сейчас мне снишься?».

«Катя. Сейчас не время. Мы можем всё спокойно обсудить позже».

Технические неполадки, конечно, бывают, объяснил я, но их быстро устраняют. Нам бы только добраться до метро. А там спустимся вниз, и привет! Никто уже нас не сцапает.

Она ничего не понимала: кто нас должен сцапать? Какие неполадки?

«Сам не знаю; авария или что там. – Я хотел рассказать, как я ждал поезда и долго не мог понять, о чём вещал громкоговоритель. Сейчас это не имело значения. – Важно, что это способ, понимаешь? Способ уехать».

«Уехать?»

«Ну, конечно».

«А я думала...» – пробормотала она.

Я хотел было сказать, что приехал не совсем легально, но сообразил, что сейчас об этом лучше помалкивать, это может её отпугнуть. И ещё я хотел сказать... что именно? Я вдруг растерял все мысли. Всё начало путаться. Но хуже всего было то, что я нарушил правила игры, которые мы, не сговариваясь, молча установили для себя, – забыл, что нельзя задавать некоторые вопросы. Не удержался и брякнул:

«Катерина... неужели это правда?»

Я имел в виду, что она жива.

«Как видишь», – сказала она просто. Поёжилась, поплотней запахнула халатик.

Выходило, что она как будто даже знала о том, что до меня дошло это известие. Итак, я по крайней мере удостоверился, что известие было ошибочным. Теперь я даже не помнил, когда я его получил, три года или пять лет тому назад, да и не всё ли равно. Это была ложь. Без сомнения, дело рук всё той же организации. На них это похоже. У них есть специальный отдел для распространения ложных слухов. Смешно! А я-то, дурак, поверил, не знал куда деться, хотел наложить на себя руки.

Она сказала:

«Ты мне не писал. Я поняла, что ты занят... готовишься к возвращению».

Опять она об одном и том же.

«Катя, пойми. Там была авария, – сказал я, забыв, что уже говорил об этом. – Пассажирам рекомендовали воспользоваться наземным транспортом. Собирайся».

«Куда?»

«У нас мало времени. Собери самое необходимое».

Я встал и начал ходить по комнате. Моя жена дрожала, я видел, что у неё поднялась температура, обычная история, но мне не хотелось думать сейчас об этом, я сказал, у тебя окошко открыто, ты не одета, здесь другой климат, здесь гораздо холодней, чем у нас там... и подошёл к окну, лёгкий ветер отдувал занавеску. И было абсолютно точное впечатление, будто город исчез. Не было переулка и дома напротив, и даже не видно было горизонта, чёрная пустота, ночь, похожая на небытие. Но, приглядевшись, я кое-что заметил.

«Послушай... – проговорил я. – Там стоит машина».

«Какая машина?»

«Перед домом! – закричал я. – Ты что, успела сообщить этим крысам?»

Она только испуганно мотала головой, закрыла рот рукой.

«Прекрасно, – бормотал я, озираясь, – ты... Ты не обращай внимания, я сейчас... Скажешь, что у тебя никого не было. Скажешь, что ты спала и ничего не слышала...» Я выскочил на лестничную площадку и стоял, схватившись за перила, была мёртвая тишина. Очевидно, они ждали, когда я выйду. Я рассчитывал спуститься в подвал и оттуда как-нибудь выбраться через окно; впрочем, стук разбитого стекла мог привлечь внимание. Тут я заметил – было ли это через несколько секунд, или минут, или через четверть часа? – заметил, что считаю этажи: в это время я сходил по лестнице. Никакого хода в подвал не оказалось. В этой тишине таилась такая угроза, что лучше бы уж снаружи слышались шаги или рокот мотора. Подкравшись на цыпочках, я приоткрыл парадную дверь. Но машины не было, никого не было, и я двинулся, инстинктивно приглушая шаги, наугад по тёмному переулку.

II

Не помню, чтобы я просыпался, радуясь предстоящему дню. Утро для меня время трезвой безнадежности. Обстоятельства тут ни при чём; причины скорее внутренние. Утро заглядывает в моё жильё, слёзы дождя стекают по

стёклам, диктор читает последние известия, неотличимые от вчерашних. Я не стал бриться, что было бы совершенно излишним. Позавтракал чем Бог послал.

Вероятно, мне надо представиться. Надо ли? *Nomina sunt odiosa!*¹ Те, кто со мной знаком, знают, как меня звать, для незнакомых не всё ли равно? Платон говорит (устами Сократа), что имена следует давать, не погрешая против природы. Прав ли он, не берусь судить, верно во всяком случае, что имя, которое вам дали, в самом деле становится частью вашего естества, как горб или кривой нос. Я существо мужского пола. Об этом можно догадаться по глагольным формам, мною употребляемым. Мне пошёл пятый десяток, примерно столько же можно дать, взглянув на меня. Я уже не молод, но ещё не стар. Роста я невысокого, особо располагающей внешностью похвастаться не могу. Если женщины изредка оказывают мне внимание, то это объясняется лишь недоразумением. Далее, я не являюсь подданным этой страны, хотя живу здесь постоянно. На вопрос, нравится ли мне здесь, я могу ответить: да, потому что всегда можно отсюда уехать. Не всякому государству можно поставить в заслугу, что оно не держит своих подданных на цепи.

В четверть восьмого (мои часы спрятаны под рукавом балахона, на мне просторные штаны неопределённого цвета, на голове антикварная фетровая шляпа, башмаки просят каши) я поднимаюсь по широким ступеням храма св. Иоанна Непомука, расстилаю коврик, вернее, то, что некогда было ковриком. Рядом со мной стоит бутылка красного вина, наполовину опорожнённая, это наводит на мысль, что я успел подкрепиться спозаранок. Таков в двух словах мой «имидж». Что же касается моего характера, моей психики, менталитета или как там это называется, то важная черта его состоит в том, что я остаюсь самим собой и в то же время обзираю себя со стороны. При кажущейся несообразности моего существования я сохраняю безупречный контроль над собой. Порядок есть порядок; внутри некоторой безумной системы царствует логика. Это правило одинаково применимо и к произведениям искусства, и к снам, и к нашей жизни. Я сижу, прислонившись к колонне. Головной убор покоится между ног.

Итак, мы можем считать, что рабочий день начался, время подумать о душе, поразмыслить о моей профессии, одной из древнейших. Но день сулил мне неприятности. Я должен был их предвидеть.

Буквально гроша не успел я собрать, как из-за угла (церковь стоит у поворота на магистральную улицу и несколько особняком) выступил субъект, в котором я без труда распознал собрата по ремеслу; возможно, он поджидал меня. Он склонил взгляд на мою шляпу, как заглядывают в вы-

¹ Имена ненавистны (*лат.*)

сохший колодец. Я извлёк из-за пазухи стаканчик, налил ему. Он отпил глоток и выплюнул.

«Дрянь».

Я пожал плечами: дескать, что поделаешь.

«Погодка, – по-русски сказал он, садясь рядом. – Давно тут пасёшься?»

Человек протянул корявую ладонь.

«Вальдемар. Можно просто Вальди. А тебя как? Ты что, инопланетянин?»

Я искоса взглянул на него и сказал:

«Каждые 76 лет комета Галлея появляется на нашем небе.

«Да ну?» – сказал он лениво.

«Каждые полторы секунды на земле совершается три тысячи убийств».

«Я думаю, больше».

«Восемнадцать с лишним тысяч изнасилований».

«У бабы не всегда поймёшь, – заметил он, – хочет она или не хочет. – Закончив разговор, он поднялся. – Собирай манатки, пошли».

«Куда?»

«Здесь всё равно ничего не соберёшь».

«Я собирал».

«Пошли, я тебя с нашими познакомлю. Кому сказали! А то хуже будет», – добавил он.

С ковриком под мышкой я поплёлся за ним; тот, кто знает город, может мысленно проследить наш маршрут. Через сеть переулков мы брели по направлению к Северному кладбищу. Дождь перестал. Исчезли нарядные вывески, с каждым перекрёстком дома становились ниже и неказистей, уличное движение всё реже. Жалкое солнце осветило скучные, пустынные кварталы, где я никогда не бывал. Утро можно было считать потерянным. Оставалось не так уж много времени до полудня, когда мне надлежало отправляться на вторую работу.

«Слушай, Вальди...» – пробормотал я.

«Сейчас всё узнаешь. Ты про такого композитора слышал: Вивальди?»

Мы шагали мимо низких слепых окон, горшков с мёртвой геранью, мимо заборов и подворотен, завернули в хозяйственный двор, пробрались между фургонами и штабелями пустых ящиков; это были задворки магазина, выходящего на другую улицу. Во дворе стоял трёхэтажный дом с пыльными окнами и зияющим входом, вошли, там оказалась узкая каменная лестница, шаткие железные перила, выщербленные ступеньки. Вальдемар трижды стукнул кулаком, выждал и стукнул ещё раз. Некто со съехавшей вбок физиономией – в народе говорят: косорылый – впустил

нас в полутёмную прихожую. Коридор загромождён рухлядью, с кухни тянет пригорелым, пованивает отбросами.

В большой комнате сидел перед отечественным самоваром человек с наружностью отставного профессора, в бороде, в пенсне, с высоким залысым лбом, в парчёвом халате, как будто сшитом из театрального занавеса, продранном под мышками и на локтях. Рядом на стуле стоял прогрыватель.

«Вивальди привёл», – доложил косорылый.

«Астрономией интересуется, – пояснил Вальдемар, – говорит, комета Галлея... каждые сто лет».

«Семьдесят шесть», – презрительно сказал я.

«Да неужто? – удивился профессор. – Вы действительно так думаете?»

«Это установленный факт», – возразил я.

«Нет, вы это серьёзно?»

Человек за столом обратил вопросительный взор к Вальдемару. Тот пожал плечами, профессор шумно втянул воздух через волосатые ноздри и насупился. Наступило молчание, затем он промолвил:

«Этот вопрос стоит обдумать. Подстилку можете положить в угол...»

Он сделал знак косорылому. Меня отвели в другую комнату, где было ещё грязнее. С топчана поднялся детина огромного роста, гривастый, с чёлкой до бровей, и, не говоря худого слова, врезал мне по уху. Я пошатнулся и чуть не сел на пол.

«Ты чего... что такое...» – лепетал я, закрываясь руками, и получил вторую затрещину.

В дверь всунулся Вивальди.

«Ты зачем коллегу обижаешь, Дёма? Нехорошо!»

«Ы-ы!» – проревел Голиаф и ощерился, делая вид, что хочет броситься на него.

«Да ладно тебе...» Поддерживаемый с двух сторон Вальдемаром и субъектом с несимметричной физиономией, я был препровождён назад в гостиную, где профессор в халате пил из блюдечка чай.

«Безобразие! – сказал он. – Где вторая чашка? И пирожные. Кто сожрал пирожные, признавайтесь, суки».

Передо мной поставили чай, явилось и блюдо с полурасплющенным пирожным.

«Сливки?» – осведомился профессор.

Просверлив меня взглядом, он проговорил:

«Пошли вон... (Это относилось не ко мне). Дёме передать, чтоб больше не смел».

Мне он сказал:

«У него тяжёлая рука. Этак и убить можно. Но! Порядок есть порядок. Вот так. Лицензия у вас имеется?»

«Какая лицензия?»

«Какая, какая, в гроб твою мать. Полицейская, какая же ещё. Полиция даёт разрешение на занятие промыслом, вы что, впервые об этом слышите? Пейте чай».

«Я думал...» – сказал я.

«А не надо думать. Поберегите умственную энергию для более серьёзных вопросов. Что вы думаете о проблемах бытия?»

«Ничего не думаю, – сказал я мрачно. – Мне надо идти».

«Куда это?»

«Мне пора на работу».

«Ага, – сказал профессор. – На работу. А вот это уже совсем плохо. Из ваших слов я заключаю, что промысел для вас всего лишь побочное занятие, так сказать, халтурка с целью подзаработать...»

«Промысел?»

«Да. Из ваших слов следует, что промысел для вас не работа. Ты что, брезгуешь, дай-ка мне... – пробормотал он, забирая у меня пирожное. – Полиция дело десятое, – продолжал он, – мы тебе эту лицензию устроим. Я сам позабочусь... И заруби себе на носу: никакой самостоятельности. Ты находишься в свободном государстве. И более того. Ты живёшь в правовом государстве. Хочешь работать, работай. Хочешь собирать милостыню – пожалуйста. На голове ходить? Сделай одолжение. Но! – рявкнул он, подняв палец, – изволь соблюдать порядок. А то, понимаешь, выбрал себе местечко: без разрешения, без согласования! Если каждый будет себе позволять... Один у Непомука, другой в оперном театре начнёт собирать, а то ещё, пожалуй, у дверей земельного парламента...»

Профессор дожевывал пирожное, обсосал пальцы.

«Договоримся так. Ты до какого часа сидишь? До обеда? Вивальди в это время как раз обходит коллег. Двадцать пять процентов. Это нормальное обложение, я бы даже сказал, гуманное... в других городах взимают половину. Мою мысль понял?»

«Понял, – сказал я. – А если ничего не соберу?»

«Так не бывает».

«Иногда бывает».

«Это от неопытности. Ничего, научись... Разве что погодные условия могут быть неблагоприятны, ну там, проливной дождь... Да ты и сам не вылезешь в такую погоду. И смотри у меня, – сказал профессор, – один раз поймаю, всё, ты у меня вышел из доверия. За укрывательство знаешь что бывает? Я тебя достану из-под земли. Мои люди тебя всюду найдут, заруби это себе... Эй, кто там? – крикнул он. – Неси сюда».

Косорылый явился с граммофонной пластинкой.

«Терпеть не могу эти новые...». Он имел в виду компакт-диски. Профессор отодвинул чашку и застыл в молитвенной позе.

«Прекратить пить чай, – сказал он внятно. – Это кто?»

«Перголези. Stabat mater».

«Правильно. Вот за это хвалю».

Минут пять послушали, этого было достаточно, чтобы что-то переменялось в гнуснейшем из миров. Шеф приподнялся, остановил музыку.

«Гармония происходит оттуда, – он поднял кверху палец, – это я тебе как знатоку астрономии говорю. Ты о Пифагоре слышал? Пифагор учил... музыка сфер...»

«Это каждый ребёнок знает», – сказал я.

«Не каждый. Никто из этих говноедов не имеет представления о том, что такое настоящая музыка... Я упомяну о тебе в своих мемуарах. Давно разбираешься? Один живёшь? Когда приехал?..»

Аудиенция закончилась.

III

Пришлось искать такси – как ни мало это согласовалось с моим одеянием. Шофёр оглядел меня из-за стекла, собираясь отъехать, я замахал руками. Шофёр опустил стекло и осведомился насчёт платёжеспособности. Я сунул ему купюру и плюхнулся на заднее сиденье. Машина остановилась возле моего дома; чтобы не привлекать внимания, я попросил въехать во двор, выскочил, не теряя времени, и взбежал по чёрной лестнице. Я опаздывал.

Полчаса спустя (метро с пересадкой) я свернул на улицу Шеллинга и зашагал в толпе; я был свежевыбрит, сделался выше ростом и помолодел, женщины угадывали во мне удовлетворительную потенцию, моя шляпа, плащ, галстук, ботинки ничем не выделяли меня среди снующих взад и вперёд пешеходов, меня можно было отнести к нижней половине среднего класса. Мои глаза приняли неопределённую окраску – это был цвет погоды, физиономия лишилась какого-либо выражения, если не считать летучей заботы, своего рода рассеянной сосредоточенности горожанина; короче, я стал никем. Клим, услышав шаги, вышел в коридор, где у нас помещаются шкаф с бумажным хламом и фотокопировальная машина. Куда я пропал? Потрясающие новости.

Неизвестные люди в Бухаресте подожгли автомобильные покрышки перед статуей вождя. Это может означать начало очень важных перемен. Продолжаются демонстрации в Польше. Обыски и аресты в Москве. Я придвигаю стул вплотную к письменному столу, чтобы освободить ме-

сто посреди комнаты, и становлюсь на голову. С улицы доносится гул города. У меня слегка поламывает скула после дёминого приветствия. Два женских голоса поют в моей душе, лебединая песня Джованни Баттиста Перголези.

Я держу равновесие; люди, которые умеют стоять на голове, всегда вызывали у меня почтительное изумление, и я, наконец, научился этому искусству; оно возвращает мне чувство самоуважения и утверждает моё место в мире; люди, стоящие вверх ногами, легче справляются с существованием в мире, который в некотором смысле тоже стоит на голове. Я уселся за стол, меня ждёт кипа рукописей. Почти наугад вытягиваю одну, заглядываю в конец, чтобы сразу прикинуть, сколько нужно сократить.

Начнём с начала; заголовок никуда не годится. Заголовок не должен обозначать содержание, для этого существует подзаголовок. Заголовок – это метафора, он должен быть неожиданным, загадочным, интригующим, заголовок статьи – это встреча, полная романтических ожиданий, а подзаголовок – то, чем незнакомка оказывается на самом деле. Первая фраза всегда лишняя. Весь первый абзац, в сущности, лишний. Нужно брать быка за рога, нужно швырнуть читателя в водоворот событий вместо того, чтобы топтаться на берегу. Я работаю, вычёркиваю, вписываю, исправляю неправильные обороты, я прекрасно понимаю, с кем я имею дело. Автор – заслуженный борец с тоталитарным режимом, что, по-видимому, даёт ему право не заботиться о таких пустяках, как синтаксис и грамматика. О слоге не приходится говорить. В комнате устоявшийся запах рутины. Мой стол, телефон, стопка исчёрканных, испещрённых корректорскими значками страниц – всё пропиталось этим запахом, похожим на запах скверного табака. Время от времени я смотрю в окошко. Моё тело сидит за столом, голова ушла в плечи, лёгкие всасывают воздух, почки процеживают кровь, органы наслаждения безмолвствуют в углублении между бедрами и животом. Несколько времени погодя я отправляюсь в кабинет Клима, где всё дышит энтузиазмом. Мы составляем план номера, и я по-прежнему поглядываю в окно.

Мой коллега, товарищ по общей судьбе и благородному делу, тот, кому это дело обязано своим существованием, а я – работой и зарплатой, заслуживает того, чтобы по крайней мере сказать о нём несколько слов. Беда в том, что говорить о нём мне скучно. Это не значит, что я отношусь к нему плохо. Мы друзья и научились терпеть друг друга. Две черты его характера, по-видимому, необходимы для выполнения миссии, которую он возложил на себя: самоотверженность и нетерпимость. Он всегда готов очертя голову броситься на помощь преследуемым, арестованным, сосланным, заточённым в психиатрическую тюрьму. Если бы он мог поехать «туда», чтобы разделить с ними их участь, он бы сделал это. Что ка-

сается другой черты, то она приняла у него своеобразную форму все-сторонней осведомлённости. Он всё знает и притом лучше всех. Он знает историю, философию, медицину, искусство, кулинарию и многое другое. Нужно остерегаться обсуждать с ним что бы то ни было, паче всего – вторгаться в политику. Здесь возможна лишь одна форма диалога: согласие и поддакивание. Здесь он непререкаем и неумолим. Клим моложе меня на добрый десяток лет. На нашей бывшей родине он знаменит. Он подписал две дюжины писем протеста и отсидел несколько лет в тюрьме. Его арест в свою очередь вызвал волну протестов, о его освобождении ходатайствовали руководители нескольких стран. Я чувствую себя обязанным воздать моему товарищу нелицемерную хвалу за то, что он пострадал за свои убеждения, в отличие от меня, который их не имел. Я не задаюсь вопросом, что подумал бы честный Клим, увидев меня сидящим на ступенях Непомука. Притом что всё это, заметьте, происходит не так уж далеко от редакции. Но, представив на минуту, что кто-то мог бы меня разоблачить, я тотчас отвергаю это предположение, я уверен, что осколки моего существования разлетелись так далеко, что никто не сумел бы их соединить.

Жизнь не равна самой себе, вот в чём дело. У действительности есть второе дно. Если бы я был художником, я примкнул бы к школе, которая доверяет фантазиям и декларирует сверхистину снов, я не удивился бы, увидев вместо Клима в кресле главного редактора какое-нибудь монструозное существо. Я даже думаю, что так оно и есть, просто это не бросается в глаза. Признаться, мир выглядит для меня более упорядоченным, пожалуй, даже более пристойным, когда я сижу у колонны со своей шляпой и початой бутылкой; двусмысленность мира не кажется такой очевидной, как в то время, когда, переодетый в цивильное платье, я сижу, как сейчас, в кабинете Клима. Возможно, я несу околесицу, но позвольте уж договорить.

Утром, со своего поста на ступенях я вижу ноги женщин, я выбираю какую-нибудь фигурку и провожаю её взглядом до угла. Монеты падают в шляпу, механически я повторяю формулу благодарности. Не то чтобы я испытывал вожделение ко всем этим девушкам, но и там, за углом улицы, я не покидаю незнакомку, почти уже не помня, как она выглядит. Невидимый, я иду следом за ней, постепенно она теряет остатки индивидуальности, от неё осталась одна походка, но походка – это и есть то, что делает её женщиной, просто женщиной; она отпирает ключом парадный подъезд, входит в холл, она у себя в квартире, и когда она снимает уличную одежду, чтобы облечься во что-нибудь домашнее, прикинуть к зеркалу, разглядеть что-то у себя на щеке или просто полюбоваться собой, обшарить всю себя глазами одновременно женским и мужским, – я с ней, я знаю, что отразится в стекле. А сейчас? Поглядывая из окна редакции на прохожих, я вижу, может быть, тех же людей,

что бросали мне мимоходом монеты, чего доброго, замечаю ту же самую девицу; небо густеет, вот-вот вспыхнут фонари, сейчас она одета совсем по-другому, она элегантна и ослепительна, но кто она, кто они все под их одеяниями? Невиданные, странные, может быть, мохнатые или чешуйчатые существа.

IV

Вернёмся к тому, что принято называть действительностью: на этот раз дело происходит в полуподвале неподалёку от наших мест. За каким дьяволом меня туда занесло? Профессор оккультных наук сидел за столиком. Профессор помахал мне рукой.

«Рад вас видеть», – сказал я кисло.

«Брось. Давай по-простому, на ты».

«Рад тебя видеть, пахан».

Я озираюсь. Я был в гражданской одежде.

«Э, э, э. Не вздумай спастись бегством. Садись... С чего это ты меня так называешь? Согласно современным словарям, пахан – это главный бандит. Это годится для главы правительства. Но мы-то ведь не бандиты. Есть хочешь? Я угощаю».

Так не говорят, заметил я.

«А как говорят?»

«Я приглашаю».

«Ну, мы по-русски, чего там».

Он подозвал официанта.

«Принеси-ка нам, дорогуша, этого... того».

Кельнер солидно прочистил горло.

«Ну, сам понимаешь», – сказал профессор.

Кельнер явился с подносом, расставил тарелки, бокалы, сунул поднос под мышку и показал профессору бутылку. Профессор наклонил голову. Кельнер вынул штопор. Профессор отведал вино, величественно кивнул. Несмотря на убогий вид заведения, здесь соблюдалась некоторая торжественность, по крайней мере до тех пор, пока не набралось достаточно народу. Время было уже не обеденное, вечер ещё не настал. Вечер двигался на нас из России. В углу сидела пара: плохо одетый, изжёванный жизнью мужчина и девушка. Она смотрела на него, он, по-видимому, избегал её взгляда. Обычный сценарий, она призвала его, чтобы сообщить, что у неё задержка. Он удручён и задаёт обычный вопрос: «Ты уверена?» Но они могли быть отцом и дочерью. Папаша снова лишился работы, она собирается прочесть ему нотацию. Или познакомились на улице, в сквере

перед памятником монарха. Он не смеет признаться, что у него нет денег заплатить за обед.

Профессор был облачён в приличный костюм, платочек уголком в нагрудном кармане, на шее «киса», борода подстрижена, на носу пенсне. Профессор потребовал предварительно по рюмке шнапса. Человек в углу поглядывал на нас.

«Prost, дядя», – сказал я.

«Prost, малыш».

Он закинул салфетку между воротничком и жилистой шеей, вооружился инструментами.

«Что слышно нового из Гринвичской обсерватории?»

«Она закрылась», – сказал я.

«В чём дело?»

«Треснул телескоп».

На несколько мгновений профессор погрузился в задумчивость,ковырнул вилкой еду и вновь, постучав ножом о тарелку, поманил кельнера.

«Это что такое?»

Официант объяснил, что это такое.

«Нет, я спрашиваю, что это такое!»

Кельнер молчал.

«У меня на родине это называется...»

«Вот и поезжайте к себе на родину», – возразил кельнер.

«Что? Повтори, что ты сказал».

«То, что вы слышали».

Я встал и отправился с кельнером на кухню, сказав ему что-то.

«Нет, как тебе это нравится?» – кипятился профессор.

Человек, сидевший с девицей, подошёл к нам.

«Я вас прекрасно понимаю. Они все ведут себя возмутительно. Я спрашиваю себя, зачем я сюда пришёл...»

«Ты бы лучше себя спросил, зачем ты сюда присхал», – буркнул профессор.

Я сказал: «Он сейчас принесёт замену».

Дядя снял стёкла с утиноного носа и стал протирать их краем салфетки, мрачно сопя ноздрями. Человек топтался возле стола, очевидно, намереваясь продолжить разговор.

«Благодарю вас», – пробормотал профессор. Человек вежливо кашлянул.

«А, – сказал профессор. – Вот в чём дело. Да ведь я тебя, кажется, знаю...»

Человек получил монету, дядя сверкнул стёклышками вслед ему. Девушка пудрилась, глядя в зеркальце.

«В прошлом году, – сказал дядя, – я с этим хмырём мылся в мюллеровских банях. У него член длиной в двадцать сантиметров. Но это ровно ничего не означает».

«Вообще, – продолжал он, – это начинает меня беспокоить. Процветающее общество – необходимое условие для нищенства, ибо какой смысл собирать подаяние, если все кругом нищие, но когда наша профессия приобретает чрезмерную популярность, это скверный признак. Во-первых, рост конкуренции. В нашем деле конкуренция полезна лишь в определённых пределах... Во-вторых, затрудняется контроль. Этот прощельга посмел подойти ко мне. Потребовать милостыню – у меня! И, наконец, где мы живём? В цивилизованной стране или в Бурунди?»

Кельнер молча, с обиженной миной разлил бокалы по бокалам, мы с дядей чокнулись и принялись за еду.

«В следующий раз я тебя приглашу», – сказал я.

«В следующий раз? А ты уверен, что мы с тобой ещё увидимся? Меня приглашают, когда я сочту нужным. После предварительного согласования... Ладно, – сказал он, утирая рот салфеткой, – рассказывай...»

«Что рассказывать?»

«Я собираюсь вплотную заняться моими мемуарами. Возможно, мне придётся на некоторое время удалиться от дел... Рассказывай о себе. Кто ты, что ты».

Я заметил, что человек, принявший от профессора дань милосердия, исчез. Девушка по-прежнему сидела в углу.

Профессор, с бокалом в руке, воззрился на меня; я пожал плечами.

«Хорошо, я скажу тебе сам. Ты оборотень. Ты ведёшь двойную жизнь. Утром ты одно, а после обеда другое. Может, ночью ещё что-нибудь, кто тебя знает. Может, у тебя хвост и три яйца».

«Вы просто как в воду смотрите».

«Для того, кто знаком с тайновидением, это не проблема. Может быть, на твоей работе ты недостаточно зарабатываешь».

«Prost, – сказал я, подняв бокал, и взглянул на незнакомку. – Может, нам её пригласить?»

«На кой хер она нам сдалась. Prost... Сбор милостыни, как известно, доходный промысел, так что это предположение не лишено смысла. Возможно, тебя соблазнила авантюра двойственного существования, ты захотел выломиться из социальной рутины, из этих оглобель; но ведь попрошайничество – это тоже оглобли, а? Только в другом роде».

Он приблизил ко мне своё бородатое лицо, угреватый нос, безумные глаза за стёклышками пенсне: «Существует... – зашептал он, – внутренняя, непреодолимая тяга к нищенству, инстинкт нищенства, подобный инстинкту смерти... Тайный голос зовёт: бросай всё на х...!»

«Не исключено», – сказал я.

«А может быть, две планеты правят твоим астральным телом, заставляя тебя быть то тем, то этим; в конце концов это легко проверить, ты как считаешь?»

«Возможно».

«И, наконец... – оккультный профессор яростно вкалывал вилку, пилил ножом, жевал жилистое мясо жёлтыми зубами, – наконец... я высказал несколько гипотез, но вот она, страшная догадка: может быть, ты, ядрена вошь, – писатель? Золя ездил с машинистом в паровозе, спускался в шахту. Даже, говорят, спал с проститутками, чтобы изучить, так сказать... Ты тоже решил побыть нищим, чтобы написать роман».

Я сказал:

«Это уже теплее».

Мне показалось, что незнакомка сделала мне знак. Негодяй, подумал я. Удрал и не заплатил.

«То есть не совсем тепло. Я работаю в журнале, ничего особенного», – добавил я, видя, что дядя, держа нож в кулаке, нацелился на меня смертоносным лучом.

«Ничего особенного, хм. А я это, между прочим, знал!»

«Зачем же спрашивать?»

«Чтобы подтвердить имеющиеся данные. Мы, любезнейший, осведомлены лучше, чем ты предполагаешь. И в небе, и в земле... как это говорит принц Гамлет, ну тот, который был автором трагедий Шекспира? Сокрыто больше, чем снится нашей мудрости? Так вот, к вашему сведению, как раз наоборот: ничто не сокрыто. Ты мне вот что скажи... Э, чёрт, захихнуть бы им в глотку это мясо!»

Он выплюнул ком и швырнул его через плечо.

«Ты мне вот что скажи: на кой чёрт тебе всё это случилось? Хочешь изменить порядки в России? Это ещё никому никогда не удавалось. Кому там нужна ваша демократия, ты себя когда-нибудь спрашивал? Там нужно вот что! – Дядя показал кулак. – Не говоря уже о том, что борцы за демократию сами меньше всего демократы. В этом состоит ирония судьбы, историческая ирония. Хохот богов, а? Ты не находишь?»

Я пожал плечами.

«Так или иначе, – пробормотал он, – всё скоро полетит к чертям».

«Что полетит к чертям?»

«Вся эта ваша свободная пресса. Если режим рухнет, кто её будет читать? Вы все осиротеете без этого режима».

«Ну и прекрасно».

«Так-то оно так. Только вы все останетесь без работы. Вы даже не понимаете, что пилите сук, на котором сидите... Или ты хочешь сказать,

что у тебя есть в запасе другой заработок? А-а, вот в чём дело! – вскричал он. – Готовишься заранее. Они все будут лапу сосать, а у тебя тёпленькое местечко... на ступенях храма...»

«Кто это, они?»

«Ну, эти... борцы, в рот их».

«Может быть, я вернусь», – сказал я.

Профессор внимательно, с поехавшими кверху бровями, посмотрел на меня.

«У меня есть знакомый психиатр, – промолвил он. – Очень вдумчивый специалист. Могу сосватать».

Теперь я видел, что женщина в углу почти неотрывно смотрит на меня.

Профессор бормотал:

«Вернусь, ха-ха, он собрался возвращаться. Там всё отравлено. Там запах лагеря, как запах сортира. И вообще, что это за тема для душевного разговора... Меня политика не интересует. Плевать мне на патриотизм. Мы, рядовые граждане, заинтересованы только в одном: в стабильности и общественном порядке. И в благосостоянии населения! Родина там, где хорошо подают. Но ты не ответил на мой вопрос».

«Я получаю зарплату», – сказал я.

«Какого же хрена, спрашивается, ты торчишь на улице, отнимаешь хлеб у настоящих нищих, что это за маскарад...»

«Дядя, я тоже настоящий». Я встал и направился к даме в углу.

V

Профессор заявил, что он тоже человек пишущий.

«Говорю так, чтобы не употреблять слово писатель, загаженное в нашем протитуированном обществе... А вы, случайно, не представительница этой профессии?»

Я вмешался: «Ты хочешь сказать, писательница?»

«Гм. Моя мысль, собственно, была другая...»

«Вам придётся извинить его, сами понимаете, возраст...»

«Кто здесь говорит о возрасте? Мы ещё поживём! Впрочем, неизвестно, кто из нас моложе... Позвольте представиться», – сказал дядя, приосанившись, держа пенсне, как бабочку, двумя пальцами.

«Нет необходимости. Профессор социологии. Я его племянник... А это Мария Фёдоровна».

«О! так звали, если не ошибаюсь, вдовствующую императрицу. Разрешите вас называть Машей?»

«Мой дядюшка, – пояснил я, понизив голос, – потомок одного из древнейших родов России. Из старой эмиграции...»

«X-гм. Старая эмиграция... да, да... Какие люди, какие умы. Мы тут беседовали о литературе. Герр обер!..»

Официант принёс ещё один прибор. Профессор насадил пенсне на нос.

«Так вот, насчёт литературы... Я, знаете ли, работаю над мемуарами. *Noblesse oblige!*¹ Помню, государь сказал мне однажды на приёме в Зимнем: ты, князь, слушай и всё запоминай. Когда-нибудь обо всех нас напишешь... Он уже тогда предчувствовал, что его ожидает».

«Но ведь это же было очень давно», – возразила гостья.

«Да, моя девочка, это было давно».

«Сколько же вам было тогда лет?»

Я разлил вино по бокалам.

«Лучше не надо, – сказала она. – А то ещё запьянею».

Я осведомился о её спутнике.

«Это тот, который... если память мне не изменяет... В мюллеровских банях?» – пролепетал профессор.

Марья Фёдоровна ответила:

«Я его знать не знаю. Пристал на улице».

Выяснилось, что она со вчерашнего дня ничего не ела.

По мере того, как темнело на улице, «локаль» наполнялся приглушённым разговором, взад-вперёд сновали официанты, теперь их стало трое, появились завсегдатаи, мужчины хлопали друг друга по плечу, ввалилась компания немолодых пузатых мужиков и вызывающе одетых женщин. Кельнер шёл к нам со счётом.

«Мы не торопимся, – сказал профессор. – Ещё не всё обсудили».

«Можно обсудить в другом месте», – заметил кельнер.

Он положил на стол счёт, профессор смахнул листок со стола ребром ладони, снял пенсне и осмотрел кельнера.

«Пошли отсюда, дядя», – сказал я по-русски.

«Знаете ли вы, что он сказал? – спросил, перейдя на вы, профессор. – Он сказал, что побывал во многих странах. Но нигде ещё не сталкивался с таким хамским обращением».

«Врёшь», – сказал кельнер.

«Что? Повтори, я не расслышал».

«Он тебе два слова сказал, а ты переводишь как целую фразу».

«А известно ли тебе, – сопя, сказал профессор, – что русский язык обладает краткостью, с которой может сравниться только латынь? Я попрошу уважать русский язык!»

Подошёл хозяин заведения – или кто он там был, скопческого вида, с длинным унылым лицом, мало похожий на трактирщика, почему-то в длинном пальто и чёрной шляпе.

¹ Знатность обязывает (*фр.*).

Профессор насадил стёкла на утиный нос.

«Я запрещаю издеваться над моим родным языком».

«Да успокойся ты, никто не издевается. Вот, – сказал официант, садясь на корточки, – не хотят платить». Он добыл из-под стола бумагу, протянул хозяйину, тот взглянул на счёт, потом на меня, Марию Фёдоровну и, наконец, на профессора.

«Я этого не говорил, – возразил профессор и повёл носом, словно призывал окружающих быть свидетелями. – Но ещё вопрос, за что платить!»

Я вынул кошелёк, дядя величественным жестом отвёл мою руку.

Хозяин кафе сказал:

«Я тебя знаю. И полиция тебя знает».

«Вполне возможно, – отвечал профессор. – Я человек известный».

«Вот именно, – возразил хозяин. По-видимому, он что-то соображал. Потом произнёс с сильным акцентом: – Если ты, сука, немедленно не...»

«О, – сказал дядя, – что я слышу. Диалект отцов. Язык родных осин! Но тем лучше. Нам легче будет объясниться. Так вот. Пошёл ты... знаешь куда?»

«Нет, не знаю», – сказал хозяин.

«К солёной маме! – взвизгнул профессор. – Можете звать полицию», – сказал он самодовольно.

В кафе зажглись огни, словно здесь готовилось тайное празднество, синеватый свет вспыхнул на бокалах, на украшениях женщин, бросил на лица лунный отблеск. Воцарилось молчание. Астральный нимб окружил чело оккультного профессора, а физиономия хозяина приняла трупный оттенок. Кельнер направился было к телефону, владелец заведения остановил его.

«Сами управимся».

И тотчас в зале появился, к моему немалому удивлению, персонаж, о котором уже упоминалось на этих страницах. Качая плечами, расставив ручищи, двинулся к нам.

Фраппирован был и мой друг профессор.

«Дёма! – проговорил он. – И тебе не стыдно?.. Позвольте, это мой человек. Он у меня работает».

«У нас тоже», – сказал кельнер. Хозяин кафе не удостоил профессора ответом и лишь кивнул в нашу сторону. Человек-орангутанг схватил профессора за шиворот.

«Дёма, что происходит? Ты меня не узнаёшь?.. Имейте в виду, коллега – известный журналист, он сделает этот случай достоянием общест-венности. Он вас разорит!» – кричал профессор. Никто не обратил на нас внимания.

«Кстати, чуть не забыл... – пробормотал профессор, счищая грязь с брюк. Шёл дождь, и он поскользнулся, вылетая из подвальчика. – Ты лицензию получил? Я освобождаю тебя от налога. А с этой образиной мы ещё разберёмся».

VI

Вопреки предположению моего друга и покровителя, я не только не пишу романов, но даже и не питаю интереса к этому роду искусства, во всяком случае, к изделиям нынешних романистов. И уж тем более к тому, что пишется в России. Может быть, я согласился бы кое-что прочитать, если бы мне за это заплатили. Но я хочу сказать о другом. Революция нравов лишила литературу её наследственных владений. Ушли в прошлое многостраничные повествования о чувствах, истории встреч, надежд, неуверенности, узнавания, сближения, всё то, что должно было понемногу разжечь любопытство читателя – вплоть до решающей минуты, когда дверь спальни захлопывалась перед его носом. Спрашиваешь себя, оттого ли у современных писателей всё совершается так скоропалительно, что упростились современные нравы, – или нравы упростились оттого, что литературу перестали интересовать личности, не имеющие отношения к «делу».

Я уже рассказал коротко о моём знакомстве с женщиной по имени Марья Фёдоровна. Стоит ли называть это «романом»? Я был одинок, она была одна. Было нетрудно догадаться, чем она занимается. Совместима ли платная любовь с чувствами? Могу сказать только, что меня повлекло к ней не совсем то, что составляет цель подобных сближений. Просто иногда так бывает, что с первых слов возникает чувство продолжения старого разговора. Бывает, что вам случайно с кем-нибудь по пуги.

Возможно, мы в самом деле виделись где-то – ведь мир тесен для кучки изгнанников. Именно о таких, не слишком речистых, притворно-скромных, не привлекающих взоры, начинаешь думать – а ведь я её уже встречал. Я люблю смотреть на женщин, мой промысел предоставляет для этого наилучшие условия. Я привык созерцать женщин снизу вверх – ракурс фотографа и нищего, – но если вообразить (что, конечно, мало-правдоподобно), что одна из них подошла бы и спросила, в чём дело, ты так уставился на меня, не желаешь ли прогуляться со мной? Я бы не топорился бежать следом за ней.

Расставшись с «дядей», неторопливо шагая под фонарями, мы чувствовали себя не то чтобы вполне *à l'aise*¹, но и особой неловкости я тоже не ощущал. Незначительность разговора как бы удостоверяла, что мы узнали

¹ Непринуждённо (*фр.*).

друг друга. По-видимому, она думала, – хотя ни о чём таком речи не шло, – что я пошёл с ней «по делу». Она не задавала вопросов, я тоже ни о чём её не расспрашивал, я не интересовался её прошлым, у таких женщин, собственно, нет никакого прошлого. Подошли к дверям (она предупредила меня, что мы незнакомы друг с другом), и точно так же можно было легко догадаться, что это за обитель: грязноватый холл обклеен объявлениями, утыкан записочками на кнопках. Вам предлагали всё на свете, книги, уроки бальных танцев, шифоньер фанерованный, коллекцию жуков, лечебные вериги, экскурсии, кто-то скромно предлагал себя, чтобы не тратиться на объявление в бюро одиноких сердец. Сверху или из подвала, понять это в доме, состоящем из фанерных перегородок, было невозможно, громыкала дешёвая музыка. Я углубился в чтение объявлений. Лифт застрял наверху. Пришлось топтать по лестнице на последний этаж. Дверь в квартирку Марьи Фёдоровны была приоткрыта.

Должно быть, мне всё-таки следует вернуться к её наружности. Марья Фёдоровна, как я уже дал понять, была женщина, не ослеплявшая взора. О её фигуре невозможно было сказать что-либо определённое до тех пор, пока она не предстала перед гостем в домашнем одеянии, слегка подчеркнувшем бёдра и грудь. Кажется, под халатом ничего не было. Возраст? Пожалуй, ближе к сорока, чем к тридцати, возраст, когда к вечеру молодеешь, в полночь становишься двадцатилетней, а на рассвете пятидесятилетней. Впрочем, едва ли она проводила свои ночи где-нибудь за пределами этого общежития. Возраст между старой и новой надеждой, старым и новым разочарованием, возраст исхода и шествия по синайским пескам. Разве наша страна не была Египтом? Но где же Ханаан? Годы идут, на горизонте обманчивая водная гладь, ни облачка, палящее солнце над головой и зябкие ночи в дырявых шатрах. Квартирка, по-женски аккуратная, называемая «апартамент», состояла из кухни и комнаты с нишей и занавеской, там находилось ложе.

Я сказал Марье Фёдоровне (не лучше ли было называть её просто Машей?), что теперь не стоит бояться захмелеть, мы успели перекусить, прежде чем у профессора состоялся диспут с хозяином заведения. Кажется, она поняла меня иначе, отважно осушила стакан. Наступило молчание, снизу доносилось уханье музыкальной турбины. Я обвёл глазами комнату: этажерка, комод; а это кто, спросил я.

«Сын».

«Он живёт с вами... с тобой?»

Марья Фёдоровна покачала головой.

На мой вопрос: остался там? почему?.. – она криво усмехнулась, покачала плечами.

Вдруг оказалось, что больше не о чем говорить. «Вам, наверное, завтра на работу», – сказала она, не пожелав или не решаясь говорить мне «ты».

Этикет соблюден, время позднее. Если нет больше охоты сидеть за столом, то...

«Вы хотите сказать, не будем терять времени?»

Она снова пожала плечами. «Ну да. Ведь вы пришли за этим?»

Я взглянул на подростка в пионерском галстуке; должно быть, портрет был сделан лет десять назад. Взглянул на неё. «Да, – проговорил я, – за этим. А может, и нет».

Она отдернула занавеску, включила светильник над кроватью, потушила верхний свет; стало уютней.

«Вам как лучше: чтобы горело или...?»

«Фонарь любви, – сказал я. – Оставьте так». Неожиданно музыка смолкла, и стало так хорошо, так тихо, как было когда-то в мире.

В одиннадцать выключают, объяснила она.

И среди этой тишины раздался храп.

Я снова налил себе, она присела на краешек стула. «У вас там кто-то есть», – сказал я.

«Она спит. Не обращайтесь внимания». Тут я только догадался, что дверь в кладовку была на самом деле ещё одной, тёмной комнатой. Марья Фёдоровна встала и заглянула на минуту в закуток.

«Она не мешает».

«А твои гости, – сказал я. – Они тоже сюда приходят?»

«Куда же ещё».

«Комендант не возражает?»

Бог знает почему меня интересовали эти подробности.

«Этот человек, с которым ты сидела...»

«Я по улицам не шатаюсь. Просто случайно остановилась».

Я вертел рюмку. Вздыхнув, она сказала:

«Вот что, милый мой. Или мы ложимся, или...»

«Да, мы ложимся».

«Вы, видно, не в настроении, передумали, что ль?»

«Но ведь ты рассчитывала, – сказал я, – на гонорар?»

Она ничего не ответила.

«Ты можешь не волноваться, Маша. Я расплачусь».

Храп, временами задыхающийся, прерывал то и дело наш едва тлеющий, как сырые дрова, разговор. Я сказал:

«Это оттого, что она лежит на спине».

«Она всегда лежит на спине».

«Это ваша мама?» Всё время мешались эти «ты» и «вы».

Она покачала головой. «Бабушка. Ей восемьдесят восемь. Она меня воспитала. Единственный человек, который согласился с нами поехать».

«С кем это, с вами?»

«Со мной и с мужем».

«Я не знал, что ты замужем».

«Была».

«А сын?»

«Я вам уже сказала. У него своя жизнь».

«Ещё по одной?»

Она кивнула. Она смотрела мимо меня – неподвижный лунатический взгляд. Наступил тот поздний час, когда бывает трудно сделать несколько шагов до постели. «Маша», – проговорил я, хотел ей что-то сказать и не мог вспомнить.

«Маша... Ты разрешишь мне тебя так называть?»

«А тебя как?»

«Меня? – Я усмехнулся. – Никак. Имена ненавистны!»

«Чего?»

«Пожалуйста, тут нет никакой тайны», – сказал я и назвал себя. Разлил остатки вина по стаканам, какие-то картины плыли перед моими глазами, огромная раскалённая пустыня, барханы до горизонта. Меньше всего я склонен увлекаться сравнениями, которые были модными в те времена, когда пришла пора уезжать, но в этих видениях была какая-то навязчивость: пустыня, сверкающие, как ртуть, созвездия над головами идущих. Умирают старики, рождаются дети, вянут и стареют женщины, а они всё идут и идут. Редеют стада, износилась одежда. И почти никого уже не осталось из тех, кто вышел в дорогу с пресными лепешками, потому что тесто не успело взойти, как пришлось отправляться.

«Сломался», – сказала она, заметив, что я смотрю на будильник, стоявший на тумбочке возле кровати.

«Дай-ка я посмотрю...»

«А на меня посмотреть не желаешь?» Без сомнения, эта фраза была следствием выпитого.

«Может быть, – проговорил я, – можно его починить?»

«Его пора выбросить. Я его ещё оттуда привезла».

Она стояла посреди комнаты, спиной к свету.

«Ты, может, думаешь, я гонюсь за гонораром. Я за гонораром не гонюсь».

Натужное, прерывистое храпенье объятой паралитическим сном старой женщины. Ночь в оазисе, полосатые пески. Тёмные бугры стариков-верблюдов с отвисшими, как бурдюки, горбами.

Она слегка подбоченилась, свет позолотил её волосы, лицо погрузилось в тень.

«Это называется – товар лицом, да?...»

«Да, – если ты это так толкуешь...»

«Толкуй – не толкуй... Что есть, то есть».

«А если я...»

«Что – если? Ты хочешь сказать: не оправдала ожиданий? Да нет, отчего же. Наоборот», – сказал я, уселся боком к столу и даже закинул ногу за ногу. Понять не могу, отчего это зрелище, вместо того чтобы разбудить чувственность, погружает меня в странные, парализующие грёзы, вызывает горечь, скорбь, сострадание. Почему мне жалко женщин? И хочется закрыть глаза. Вместо того, чтобы сблизить людей, нагота разъединяет, Естество кажется неестественным. Мягкий свет окружил её тусклым сиянием, подчеркнул контур шеи, плечей, опущенных рук, словно она готовилась принести себя в жертву. Это длилось не больше минуты. «Холодно, – пролепетала она, – чего уставился, отвернись».

VII

Время подпирало; предупредив моего товарища, что я не приду в редакцию, я отправился в путь. Одна пересадка, другая. Тут я услышал, стоя на платформе, голос по радио, по какой-то причине поезд задерживался на двадцать минут, пассажирам предлагали воспользоваться автобусом. Объявление было повторено несколько раз, прежде чем я опомнился, бросился к эскалатору и, выехав наверх, увидел, что автобус уже отходит от остановки. Подошёл следующий; водитель советовал ехать не до конца маршрута, а до ближайшей станции метро, хотя это была другая линия. Там тоже пришлось долго ждать поезда. Выйдя из-под земли, я подумал, что все линии континента связаны между собой, – а ведь мы находились, не правда ли, на одном континенте, – и тут только мне стукнуло в голову: я еду с пустыми руками. Необъяснимая забывчивость, – накануне я приготовил подарок. Возвращаться бессмысленно. Я очутился на площади, похожей на площадь бывшей Калужской заставы; перед автобусными остановками толпился народ, мимо, разбрызгивая лужи, неслись машины с включёнными фарами. Стал в очередь, но все смешалось, люди подбегали с разных сторон, расталкивали друг друга и втискивались в подошедший, старый и забрызганный грязью экипаж. Сквозь мутные стёкла ничего невозможно было разобрать.

Тут была какая-то путаница: во-первых, я вспомнил, что жена не знает о моём приезде, я могу её не застать. Предупредить невозможно, позвонить рискованно, вдобавок ещё три года тому назад я узнал, что её нет в живых, – правда, известие могло быть ложным. Во-вторых, я смутно сознавал, что это моя фантазия или скорее наваждение: на самом деле я еду в больницу, в травматологическое отделение, навестить профессора оккультных наук. Но если мой друг профессор мог ещё кое-как примириться с тем, что я пришёл с пустыми руками, – и в конце концов, напле-

вать мне было на профессора, – то она, конечно, будет обижена. Все эти мысли, как черви в банки, шевелились и сплетались в моей голове.

Между тем автобус, урча и сотрясаясь, кружил по тусклым улицам, нёсся мимо заброшенных, дотла выгоревших кварталов. Где-то на горизонте, едва различимый на жёлтой полосе заката, начинался новый район. Моя жена переехала вскоре после моего отъезда, главным образом из-за того, что весь дом узнал о случившемся. Соседи пылали патриотическим возмущением. А здесь была пустыня безликих домов и безымянных жителей. Лифт не работал. Добравшись до нужного этажа, со стучащим сердцем, я разглядел в полутьме табличку – там стояла моя фамилия. И поднёс палец к пуговке.

Звонок продребезжал в квартире, никто не отозвался, я нажал ещё раз, послышались шаги. «Слава Богу, – с величайшим облегчением сказал я, входя в комнату следом за ней, – всё неправда».

«Что неправда?»

«Всё! Ложный слух».

Она посмотрела на меня, – оказалось, что она нисколько не изменилась, разве только стала ещё бледней. Посмотрела, как мне почудилось, с холодным удивлением:

«Что же я, по-твоему, должна была умереть?»

«Я не в этом смысле... просто я получил сообщение. Не стоит об этом».

«Ты почему-то думаешь, что без тебя тут всё рухнуло. Это ты умер, а не я!»

«Катя, – сказал я жалобно, – я только успел войти. И мы уже начинаем ссориться...»

«Никто не начинает. Это ты начинаешь; твоя обычная манера. Как ты вообще здесь очутился?»

Я пожал плечами, попытался улыбнуться. «Извини... я без цветов, без подарка. Приготовил и, понимаешь, забыл».

«Мне твои подарки не нужны. Это что, – спросила она, – теперь разрешается? Я хочу сказать, таким, как ты. Надолго?»

Я окинул глазами убогую мебель, голые стены.

«Вот ты как теперь живёшь. Одна?»

«А это, милый мой, тебя не касается... Ты не ответил».

Я сказал:

«Зависит от тебя».

Хотя она понимала, что я имею в виду, но спросила:

«Что значит, от меня?»

«Я приехал за тобой».

«За мной. Ага. Как трогательно. Ты приехал за мной. Вспомнил...»

«Ты прекрасно знаешь, что я не мог тебе писать».

«Если бы хотел, нашёл способ. А вот я хочу тебя спросить. О чём же ты тогда думал?»

«Катя, ты прекрасно помнишь...»

Она перебила меня:

«Ничего я не помню. И не хочу вспоминать. Уходи».

Мне не предложили сесть, мы так и стояли посреди комнаты.

«Катя, – сказал я. – Ты же помнишь, как всё было. Надо было выбирать: или – или... А ты не хотела ехать».

«Конечно. Что мне там делать?»

«Если бы ты меня любила, ты бы поехала».

«Если бы *ты* меня любил, ты бы меня не бросил».

«Не будем сейчас спорить».

«А я и не спорю. Ты когда-нибудь подумал, что я тут должна была пережить?..»

Она заговорила громко и невнятно, слушать было мучительно. И оттого, что я не всё понимал, и оттого, что понимал – если не каждое слово, то по крайней мере смысл сказанного. Должно быть, она повторяла то, с чем мысленно много раз обращалась ко мне; наступил час отщепенца. Зачем я явился, меня никто не звал. Она свою жизнь устроила. Между нами нет ничего общего.

Устроила, подумал я, глядя на её впалые щёки, на нищенскую обстановку её жилья.

Мне нужно было что-то ответить, да, да, лепетали мои губы, я виноват, я ужасно виноват перед тобой... И я тянул к ней руки, как будто хотел удостовериться, что вижу её наяву.

Но я в самом деле видел её наяву! Она умолкла, провела рукой по волосам.

«Катя! – сказал я, смеясь. – Ты даже не представляешь себе, ты просто не можешь себе представить – как я счастлив. Я не надеялся тебя застать. Всё у нас будет хорошо, уверяю тебя...»

Она смотрела на меня почти с омерзением.

«Никто тебя не звал. Катись отсюда».

«Этого не может быть, Катя, мы когда-то друг друга любили. Ты меня гонишь?»

«Нечего тебе здесь делать».

Я решил схитрить и сказал:

«Но, знаешь, уже поздно. Мне негде ночевать...»

Вот этого как раз и не следовало говорить. Моя жена, прищурившись, взглянула на меня, отвела взгляд, мне показалось, что её лицо меняется. Временами я её вообще не узнавал. Я даже подумал, не ошибся ли я. Она пробормотала.

«Ах вот оно что. Ну, мы это уладим».

Я хотел ей сказать, что не стоит беспокоиться, — очевидно, она хотела устроить меня у знакомых, — и продолжал что-то говорить, но она не слушала. В углу на тумбочке стоял телефон. Она сняла трубку и дважды крутанула диск. Я потёр лоб. «Может, мне лучше уйти», — пробормотал я. Всё произошло очень быстро. Моя жена — если это была она — подошла к окну и заглянула между занавесками.

«Ага, они уже тут». И тотчас раздался длинный звонок в дверь.

VIII

Я сказал: «Это недоразумение. Я думал, здесь живёт моя бывшая жена. Ошибся адресом».

Милиционер повторил своё требование. Я рылся во внутренних карманах пиджака, в плаще, в карманах брюк. Ужас случившегося дошёл до меня: я потерял портмоне — может быть, его вытащили в автобусе, потерял свой паспорт апатрида или забыл дома вместе с подарком. Мне ничего не оставалось, как пообещать толстому человеку в шинели и блинообразной фуражке, что пришлю ему фотокопию моего документа по почте. По какой это почте, спросил он, усмехаясь, и мы вышли на лестницу, где стоял другой милиционер.

В тесном фургоне я покачивался между двумя стражами, в темноте белели их лица, отвечивали пуговицы шинелей, блестели орлы на фуражках. В зарешечённом окошке мелькали тусклые огни. Нас бросало из стороны в сторону, автомобиль гнал по ночному городу, не снижая скорости на поворотах. Всё это мне было знакомо. И я утешал себя тем, что это была всё-таки милиция, а не другое учреждение. В конце концов, это их право: человек без документов, удостоверяющих личность, подержат и отпустят. Гораздо больше меня угнетал разговор с моей женой.

Я продолжал себя уговаривать и тогда, когда меня втокнули в комнатёнку без окон и обхлопали со всех сторон, после чего было велено раздеться догола. Необходимая формальность, ничего не поделаешь. Я стоял на каменном полу под холодным душем. Вошёл человек в белом халате поверх милицейской формы, с машинкой для стрижки волос.

Но когда, сунув ноги в ботинки, придерживая брюки, я прошествовал по коридору и сел на указанное мне место, боком к столу, перед яркой лампой, которая отражалась вместе с моей голой головой, с неузнаваемой физиономией в чёрном оконном стекле, — когда я уселся, вернее, когда меня усадили, дверь за моей спиной неслышно отворилась, милицейский чин, пожилой лысый мужик, собравшийся составлять протокол, вскочил, чтобы уступить место вошедшему человеку в штатском, молодому, с лицом, по которому слов-

но прошлись утюгом. Человек сел. Без документов, сказал капитан милиции. Плоский человек кивнул и сделал знак капитану оставить нас вдвоём.

Он спросил, чем я занимаюсь.

Я ответил: собираю подавание перед церковью святого Непомука. Что это за святой такой, поинтересовался он, побарабанил пальцами по столу и поглядел в окно.

Как ни странно, разговор, который занял, вероятно, не больше получаса, – циферблат на стене показывал без четверти два, я взглянул на свои часы, собираясь перевести стрелки, но вспомнил, что часы у меня отобрали вместе с брючным ремнём, шнурками от ботинок и ключами от моей квартиры, подумал, что на самом деле время не такое позднее, хотя что значит «на самом деле»? – на самом деле я сидел перед окном, выходящим во двор, – можно было разглядеть и решётку снаружи, – в городе, откуда я никуда не уезжал, где только что виделся с Катей и по-прежнему надеялся, что все наши ссоры в конце концов завершаются примирением, вот что было на самом деле, а того, другого города, и профессора, и Марьи Фёдоровны никогда не существовало, – так вот, если вернуться к моей мысли, как это ни покажется странным, разговор с человеком, у которого не было лица, окончательно меня успокоил: именно так он должен был выглядеть, скучающим, насторожённо-рассеянным, загадочно-непроницаемым, как требовала его должность; в сущности, он не питал ко мне дурных чувств, таковы были «инструкции», другими словами, вступила в свои права рутинная; всё было рутинной, то есть чем-то предписанным, подобно придворному этикету или дипломатическому протоколу. Все действовали как по уговору.

Мне хотелось сказать этому сотруднику или кем он там был: какое, в сущности, благо все эти условности, этот ни от кого не зависящий порядок, всё то, что по-русски выражается словами «положено» и «не положено».

«Значит, говорите, милостыню собираете. Чего ж так?»

Я пожал плечами.

«Поэтому и решили вернуться на родину».

«Не то, чтобы вернуться».

Он перебил меня: «А вам не кажется, что вы... – и снова побарабанил пальцами, – своим поведением родину, народ, всю нашу нацию позорите?»

Чем это я позорю, спросил я.

«А вот этим самым. Сидите у всех на виду и канючите. И ещё небось в каких-нибудь лохмотьях».

Этот вопрос или, лучше сказать, постановка вопроса заинтересовала меня, я возразил, причём тут родина, о какой родине он говорит.

«Родина у нас, между прочим, одна!»

Я согласился, что одна.

«М-да. Так вот, у нас есть другие сведения».

Другие, какие же?

«У нас есть сведения, что всё это – маскировка».

Что он имеет в виду?

«А то что ты сидишь на паперти и поёшь Лазаря. (Тут следовательно, как и полагалось, перешёл на «ты»). А на самом деле занимаешься подрывной работой. Листовки печатаешь, организовал подпольную типографию».

Не листовки, а журнал. И почему же подпольный?

Человек поднялся, вышел из-за стола и воздвигся над сидящим. Потому что и я был как бы не я, а персонаж инструкций.

«Ты дуручку-то из себя не строй, – проговорил он. – А если не понимаешь, о чём речь, то я тебе объясню...»

Он добавил:

«Чем вы там развлекаетесь, мы прекрасно знаем».

Мне хотелось возразить: знаете, да не всё. Например, что период обращения кометы Галлея вокруг Солнца равен... Или что существует инстинкт нищенства, тайный голос, который зовёт.

Мне хотелось сказать, что нет, не призрак – город с башнями и церквями; а вот то, что я нахожусь здесь, есть поистине наваждение, морок, закроешь глаза, откроешь, и ничего нет. Я сидел перед лампой, а он расхаживал в тени, взад-вперёд.

«К твоему сведению: мы всех вас знаем. Каждое слово, каждый шаг, что вы замышляете, куда ездите, откуда деньги берёте, всё знаем... А вот ты мне лучше скажи. – Он остановился. – Просто так, не для протокола... Человек, который бросил свою старую, больную мать и уехал, вот так, взял и уехал за тридевять земель, как его можно оценивать? А что можно сказать о людях, который оставили родину?»

«Да ладно, – он махнул рукой, – я знаю, что ты хочешь сказать. Свобода выше родины – да? А чего стоит так называемая свобода без родины? Или, может, ты начнёшь рассказывать, что у тебя не было другого выхода, дескать, пришлось выбирать: или на Запад, или... – и он ткнул большим пальцем через плечо. – А откуда ты знаешь, что тебя собирались арестовать, тебе что, так прямо и объявили?.. Может, поговорили бы, вправили мозги и отпустили?»

Вошёл капитан.

«Верни ему барахло. Он мне не нужен. И отвези его... – крикнул он в дверь, – чтобы его духу здесь больше не было!»

«Ясно? – спросил, когда мы снова остались одни, человек за столом. – Ещё раз приедешь, пеняй на себя».

IX

«Так прямо и сказал: пеняй на себя?»

«Так и сказал».

«Я что-то не пойму. Ты в самом деле там был или...?»

«Я сам не знаю, Маша».

Пора вставать, идти на работу. Я лежал, закрыв глаза, чтобы не видеть комнату и хозяйку. Рассвет не пробуждает во мне бодрых чувств, и это утро, конечно, не было исключением.

Она что-то делала, ходила по комнате. Остановилась. Фальшивым тоном спросила:

«Ну, как я тебе показалась?»

«Что ты имеешь в виду?»

«Как я тебе... вчера вечером?»

Я пробормотал:

«Лучше не бывает. Первый разряд».

Фальшь, наигрыш, думал я, не те ноты. Утром не вспоминают, что было вечером. Просмотрев пьесу, выбрасывают билет. Нагая иудейка на пороге шатра. Дурацкие смотрины в состоянии обоюдного подпития... Я не постигал, зачем я здесь оказался.

Но ей хотелось продолжить нелепый разговор, завернувшись в халат, она присела на край кровати.

«Ты всегда так?..»

Я не понял.

«Ты от всех требуешь, чтобы тебе предварительно показали, что есть и чего нет?»

«Что значит, от всех. У меня никого нет. И откуда ты взяла, что я потребовал. Ты сама...»

Я почувствовал, что говорю с ней грубо, и добавил:

«Ты прекрасно сложена, что тебе ещё надо».

«У меня слишком плоский живот...»

Я вздохнул. Краем глаза взглянул на будильник, забыв, что он сломан.

«У меня низкая грудь».

«Хорошо, мы устроим ещё один сеанс и обсудим всё детально. Мне пора на работу...»

«Ты, наверное, думаешь, что я так со всеми. Скажи правду».

«Да, – сказал я. – Думаю».

«Можно быть с мужчиной и совершенно ничего не чувствовать».

Я молчал, мои мысли были далеко.

«Я о тебе ничего не знаю. Ты мне ничего не рассказываешь...»

«Что рассказывать?»

«Где ты работаешь».

«Где работаю... В редакции. Мы издаём журнал, разные брошюрки».

Я сел в постели, Марья Фёдоровна встала. По-прежнему раздавался храп за занавеской.

«Ей надо сменить пелёнки. Я сейчас её разбужу, буду кормить».

Она добавила:

«Отвернись к стенке, не могу же я одеваться при постороннем мужчине».

«Но тебе приходится одеваться при посторонних».

«Я никого на ночь не оставляю».

«Для меня, стало быть, сделано исключение?»

«Не надо», – попросила она.

О, Господи. Внизу заработала турбина, заскребли ножом по стеклу, рвали на куски мясо – это проснулась проклятая музыка. Я стоял одетый посреди комнаты, нужно было что-то сказать ей. Всё моё существо рвалось вон отсюда.

«Куда же ты без завтрака...» Я возразил, что спешу. «Ты придёшь?»

«В чём дело?» – спросил я.

«Не обращай внимания». Марья Фёдоровна вытерла слёзы. Я оглядел её, она запахла плотней, подтянула поясок халата.

«Мы что-нибудь придумаем, – сказал я быстро. – Найдём тебе какую-нибудь работёнку. Как насчёт того, чтобы убирать нашу контору? Хотя, конечно, заработок не очень...»

Она заторопилась. «Подожди минутку. Плевать на заработок. Ты уже уходишь... мы увидимся, да?»

Отдуваясь, я влетел к себе домой (квартира Марьи Фёдоровны казалась роскошной в сравнении с моей берлогой) и спустя немного времени плёлся, что-то дожёвывая на ходу, в рабочей одежде, с полиэтиленовым мешком и бутылкой, в грибовидной табачной шляпе. Свернул в переулок, который упирается в церковь, – так и есть: кто-то уже расселся на ступенях.

Он приветственно помахал мне, это был Вивальди. Кстати, я до сих пор не знаю: кто он был, откуда? Говорил без акцента, но чувствовалось что-то нерусское, а когда пользовался местным наречием, слышались русские интонации. Я думаю, что количество людей ниоткуда постепенно возрастает в мире.

«А ты, говорят, пошёл в гору. Лучший друг профессора».

«Вали отсюда».

«Ну, ну, вежливость – прежде всего».

«Отваливай, говорю», – сказал я, расстилая коврик.

«Я тебе мешаю?»

«Мешаешь».

«Но ведь и ты мне мешаешь».

«Бог вас вознаградит», – сказал я вслед старухе, которая сзади могла сойти за девушку. Будь я художник, я бы писал женщин со спины.

«Вот видишь, – заметил Вивальди, – тебе бросила, не мне».

«Не доводи меня до крайности».

«Только успел заступить на вахту, и уже... Хлебное местечко отхватил, ничего не скажешь».

«Я повторяю, не доводи меня до крайности. Вон место освободилось. Уже целую неделю пустует. Можешь сесть там...»

«Ты разрешаешь? – возразил он иронически. – Тс-с, вон идёт одна, наверняка даст... Милостыню, конечно, а ты что думал?»

«Благослови вас Бог».

«Дай-ка мне хлебнуть... Ну что ты скажешь! Опять тебе бросила».

Несколько времени спустя к нам приблизился блюститель закона.

«Здорово, дядя», – сказал Вальдемар.

«Вы что, теперь вдвоём?»

«Что поделаешь, герр полицист. Конкуренция большая, а посадочных мест мало!»

«Да, много вас развелось», – отвечивал полицейский и зашагал дальше.

«Тоже мне работа – груши членом околачивать, – заметил Вальдемар. – Вот так лет двадцать походит, глядишь, пенсия выросла. А мы?.. – Он вздохнул. – Я читал бюллетень. За истекший отчётный период подаваемость снизилась».

«Какой бюллетень?»

«Есть такой. Надо читать прессу!»

Он добавил:

«И пахана навестить надо».

Я пропустил эти слова мимо ушей. Вальди приложился к бутылке, утёр губы ладонью. «Навестить, говорю!»

«Кого?»

«Старого пердуна, кого же».

Я спросил, что случилось.

«Весь город знает, ты один не знаешь. Он в больнице... в травматологии».

Оказалось, что профессора сбила машина. То, что наш принципал сидел на игле, не было для меня новостью. Менее понятным было, однако, смещение времени – или это был провал памяти: я вспомнил, что, стоя на перроне в метро, собирался к нему в больницу.

«Давно?» – спросил я.

«Что давно?»

«Давно он там?»

«Кстати, – промолвил Вивальди. – Что я хотел сказать. Я его замещаю. Нет, ты только взгляни: какая попка. Какая попка!» – воскликнул он.

«То есть как замещаю?» – спросил я.

«А вот так. Тариф прежний – двадцать пять процентов. Эх, старость не радость», – сказал он, бодро вставая, подтянул штаны и пропал за углом.

Высокие двери раскрылись за моей спиной, и я услышал скрежет органа.

Х

Думаю, что Клим охотно избавился бы от моего присутствия, если бы не нужда в переводчике. То, что можно было назвать внешней политикой журнала, находилось всецело в его компетенции. Мне неизвестны примеры из эмигрантской жизни, когда бы славные принципы равноправия, демократии, терпимости к чужому мнению, всё то, что мы проповедовали, применялось на практике. Дым, а также нравы нашего отечества мы привезли с собой.

Иногда я думал о том, что все наши усилия тщетны, журнал никому не нужен, эту страну не переделаешь, – и мне становилось жаль моего бедного товарища. Отчего люди, одержимые верой, вызывают у меня сострадание? Поглощённый вызволением родины из оков деспотизма, коллега не имел времени выучить язык изгнания. Чужой язык заведомо не заслуживал усилий, которые надо было потратить для его освоения. Эти усилия были в глазах Клима чем-то непатриотичным.

Дорогой мы говорили о предстоящем визите, Клим придавал ему большое значение. *Pater familias*¹, южный барон с четырёхсотлетней родословной, был важной шишкой, председателем чего-то, вращался в консервативных кругах и пописывал в газетах. Супруга нигде не состояла, но была ещё влиятельней. Мы рассчитывали на субсидии.

Сойдя на безлюдной платформе, побродили по чистеньким тенистым улицам пригородного посёлка, оставалось ещё добрых полчаса; в назначенное время позвонили у калитки. Усадьба была защищена зелёной стеной бересклета. Никто не отозвался. Клим нажал ещё раз на кнопку. Кажется, о нас забыли. Наконец, микрофон ожил, послышалось что-то вроде шуршанья бумаги. Женский голос спросил, кого надо. Должно быть, прислуга или кто там у них.

«Это я... мы», – сказал Клим, и я перевёл его ответ.

Калитка отщёлкнулась, навстречу бежал огромный волосатый пёс, махая пушистым хвостом. Прошли по аллее, вступили на крыльцо. Дверь,

¹ Отец семейства (*лат.*).

над которой висели развесистые олени рога, была приоткрыта. Из внутренних покоев, изображая сдержанное радушие, в прихожую вышла хозяйка дома.

«Бога-а-тенькие», – промурлыкал, озираясь, мой коллега. Мы очутились одни в огромной гостиной. Вероятно, нам давали время освоиться. Затем хозяйка, в чём-то шёлковом, шелестящем и переливающимся, внесла поднос с кофейником, чашками и печеньем, это была бледная, субтильная женщина, по виду за сорок, такие женщины никогда не выглядят юными, но и не стареют; с лицом не то чтобы красивым, но каким-то слишком уж характерным. Густые, янтарного цвета волосы, полукруглые брови, прямой костистый нос, тонкие губы, впалые щёки, отчего лицо казалось немного скуластым, узкий раздвоенный подбородок; ей не хватало только круглого шарообразного чепца. Никакой косметики. Домашний капот, достаточно нарядный, всё же означал, что гостям не придают большого веса, во всяком случае, визит не считается официальным.

Вскоре появился барон, дородный господин средних лет с грубым мужицким лицом. Одет в короткие штаны, гетры и народную, по-видимому, очень дорогую куртку. Заметив, что Клим поглядывает по сторонам, он подвёл нас к висевшей на видном месте картине под стеклом: на фоне стилизованного пейзажа древо – дуб короля Генриха Птицелова или ясень Игдрасил. Вместо птиц и животных на ветвях висели щиты с гербами и коронами.

«Да, так вот. М-да!» – сказал барон, извлекая пробку из бутылки.

«Превосходный коньяк», – сказал Клим, и я перевёл его слова.

«Вы так полагаете? Я тоже, м-да... Ещё глоток?»

«Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в Кремле?» – разливая кофе, спросила хозяйка.

Я перевёл: «Её интересуют эти старые жопы в Кремле».

Клим обрадовался случаю продемонстрировать свою осведомлённость. Барон усердно подливал, не забывал и себя, и постепенно багровел; Клим, напротив, становился всё бледнее, он говорил без умолку, глаза его сверкали. Хозяин сопел, кивал, поднимал и опускал брови. Я не поспевал за моим товарищем, а потом и вовсе умолк; было ясно, что если что-нибудь здесь имеет значение, то не речи, а самый факт того, что мы здесь сидим.

Барон потрепал лохматого пса, лежавшего у его ног. Пёс, вероятно, обладатель не менее славной родословной, умильно смотрел на барона.

«Мне приходилось бывать в России. Это огромная страна».

Пёс насторожился. Барон помешивал ложечкой кофе.

Клим сказал, что последние события с особой убедительностью говорят о том, что свободному миру необходимо пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. В частности...

Пёс дал понять, что придерживается других взглядов. Хозяин поднял брови: «Ты так полагаешь? Вы правы, – сказал он. – Если не ошибаюсь, от Москвы до Урала пять тысяч километров!»

Запад слишком наивен, возразил Клим, если принимает на веру все эти заявления. Пора, наконец, понять, что...

«Страна с большим будущим. Непременно уговорю мою жену снова поехать. Что ты на это скажешь, Schatz¹?»

«Вы тут побеседуйте, – сказала хозяйка, – а мне надо сказать два слова господину, э...»

Теперь инициативу захватил южный барон. Он подвинул Климу, продолжая рассказывать, коробку с сигарами.

Хозяйка поднялась и направилась в соседнюю комнату, она шла маленькими шажками, как гейша, слегка покачивая бёдрами. Я поплёлся следом за ней. Мы прошли мимо низких резных шкафов с фарфором и хрусталём и оказались на кухне, почти такой же просторной, как гостиная, откуда сейчас раздавалось нестройное пение: это хозяин и Клим исполняли русскую народную песню «Широка страна моя родная».

Баронесса притворила за собой дверь.

«Знаете вы эту песню, о чём она?»

«Да, это национальный гимн, он очень древний».

«Древнее, чем царский гимн?»

«Пожалуй».

«О чём же он? Вероятно, о том, какая у вас замечательная страна?»

«Само собой».

«Но ведь она в самом деле замечательная, не так ли?»

«Кто в этом сомневается».

«Приятная мелодия, только они ужасно фальшивят... А я думала, – сказала хозяйка, – что это советская песня».

«Советская власть гораздо старше, чем думают».

До нас донёсся голос Клима:

«Наши ни... ивы глазом не обшаришь!»

Барон вторил, вместо слов произнося какую-то абракадабру, пёс подвывал.

Мне показалось, что хозяйка смущена и не знает, с чего начать.

«Поразительно», – сказал я. Теперь я понял, на кого она была похожа.

«Вы имеете в виду...?» Она усмехнулась, чтобы скрыть, что она польщена.

Я кивнул.

«Откуда вы знаете эту картину?»

«Все её знают: Дюрер. Не помню, как называется».

¹ Дорогая (нем.).

«Портрет патрицианки. Считается, – сказала она, – что эта Эльзбет... Так её звали, Эльзбет Тухер... Считается, что я происхожу от неё по линии моей двоюродной бабушки. Она была замужней женщиной, это видно по портрету, и согрешила с художником. Так что и Дюрер будто бы мой предок. Всё это легенда. В нашем роду не было женщин с такой фамилией».

«Легенды бывают правдивей действительности».

«Бывают, это верно... Имя тоже нетрадиционное. Все мои прабабки носили имя Мария. В разных сочетаниях. Кстати, меня зовут Луиза-Света-Мария».

«Света?»

«Это какое-то славянское имя. Мне объясняли, что оно означает. Вы, вероятно, можете дать точную справку».

«За этим вы меня и позвали?»

«Нет, конечно. Вы не догадываетесь, зачем?»

«Понятия не имею».

Она вздохнула. «Вы... давно здесь? Я не знаю, как это назвать: изгнание, эмиграция?»

Я ограничился неопределённым жестом.

«Но язык, наверное, знали ещё до того».

«Знал».

«Я хотела задать вам один вопрос... Вы можете не отвечать. Только прошу вас, не сочтите за обиду моё любопытство».

«Не сочту».

«Вы не обидитесь, договорились?»

«Я вас слушаю».

«Церковь святого Иоанна Непомука... вам это имя что-нибудь говорит?»

«Он, кажется, охраняет мосты».

«Вы образованный человек. Видите ли, в чём дело. Мой кузен – пресвитер этой церкви. Да и я там бываю... иногда».

Она прислушалась, пение в гостинной умолкло.

«Ладно, пусть побеседуют».

«Это довольно трудно», – заметил я.

«Коньяк им поможет. Так вот... Простите, что я так. Я хотела спросить. Это вы там сидите? Можете мне не отвечать. Я понимаю. Жизнь на чужбине... Но неужели настолько...»

Я сказал, глядя в сторону:

«Считайте, что это моё хобби».

«Да, конечно, – сказала она. – Разумеется, – сказала Света, Марта, Мария или как там она звалась. – Я слишком хорошо понимаю ваши чув-

ства. Вашу гордость. Хобби... Позвольте мне быть откровенной, я позвала вас не для того, чтобы удостовериться, я знала это наверняка. Сожалею, что так грубо вмешиваюсь в вашу жизнь, но раз уж... Я только очень надеюсь, что это обстоятельство, это... вынужденное обстоятельство не помешает нашему знакомству. Пожалуйста, не отвергайте с порога моё предложение. Или, вернее, мою просьбу. Я бы хотела вам помочь».

«Благодарю вас, баронесса, – сказал я, – вы очень добры. Но уверяю вас, вы заблуждаетесь. Я вовсе не...»

«Я? заблуждаюсь?.. О нет, моё сердце меня не обманывает. Пойдёмте, нас ждут».

XI

Разумеется, я постарался не придавать значения этому разговору, ни в чьей помощи я не нуждался; разговор оставил неприятный осадок: за мной подглядывали, вот что было тягостно; на обратном пути в электричке я вяло и невпопад отвечал Климу, который пребывал в приподнятом настроении. Похоже было, что они с бароном понравились друг другу.

«Ну, а реальное какое-нибудь обещание ты получил?»

«Вот увидишь, – сказал Клим. – Он богат, как Крез!»

Погода вдруг установилась отменная, настоящая золотая осень, и в одно из воскресений, вместо того, чтобы с утра облачиться в балахон и касторовую шляпу, я отправился к моему другу и покровителю. Разыскать его оказалось непростым делом, наводить справки у Вивальди я не стал, не хотелось, чтобы он знал о моём визите.

Больница находилась у чёрта на рогах, предстоял путь на западную окраину города, метро с пересадками; так что чуть было не произошло то, чём я уже рассказывал; я ненавижу эту линию, там всегда что-то случается; поезд задерживался на двадцать минут, пассажирам предлагали воспользоваться наземным транспортом. Объявление повторилось несколько раз, со своей ношей под мышкой я бросился к эскалатору, водитель автобуса объяснил, что лучше ехать не до конца, а до следующей остановки метро. А ведь он прав, подумал я. Тут и погода стала меняться, небо посерело, окна домов отсвечивали оловом. Я чувствовал, что дорога тащит меня в потусторонний мир. Слава Богу, успел выпрыгнуть из автобуса.

Словом, я кое-как добрался и даже успел попасть в приёмные часы, но, войдя в вестибюль, увидел, к своей досаде, Вальдемара. «Вот, – пробормотал я, – последовал твоему совету». Он ухмыльнулся. Мы подошли к справочному окошку. Долго блуждали по коридорам, поднимались по лестницам. «Может, помочь?» – спросил Вивальди. Он нёс какой-то кулёк. Я тащил нечто более весомое.

Профессор лежал в светлой палате, над кроватью была устроена рама с кольцами на шнурах для подтягивания. Я поставил проигрыватель на столик-каталку и воткнул вилку в розетку. Наш патрон сумрачно кивнул, когда Вивальди, поглядывая по сторонам, извлёк из внутреннего кармана своё приношение, завёрнутые в бумагу ампулы, – следовало бы начертать на них мелкими буквами на целительной латыни: *paх in terra et in hominibus benevolentia*¹.

Вполголоса Вальдемар осведомился, не желает ли страдалец причаститься немедленно. Профессор покачал головой. Ампулы исчезли в тумбочке с двойным дном. Я покосился на соседей. Профессор заметил:

«Ничего, потерпят. Им тоже полезно».

Я нажал на клавишу, наступило молчание – слабый шелест пространства – короткое вступление. Два волшебных женских голоса запели:

Мать скорбящая стояла, вся в слезах, а на кресте...

Профессор, лёжа на спине, дирижировал, устремив взор в потолок.

*Dum pendebat Filius*².

Немного погодя он сделал знак остановить музыку:

«Потом».

Мы топтались возле кровати. Глядя в потолок, профессор заговорил:

«Я пересмотрел свой жизненный путь – всё не то, не то... О вас, говноедах, тоже, между прочим, думаю. Что будете делать без меня? Ещё попадёте кому-нибудь в лапы...»

«А что эскулапы говорят?» – спросил Вивальди.

«Чего они говорят, ничего не говорят...»

«Ползать будешь?»

«Ползать? а что толку?.. Жил в двенадцатом веке, – сказал он, помолчав, – знаменитый учитель, богослов, как же его звали, едри его... Однажды он сидел в своей комнате и писал гусиным пером проповедь. Вы за моей мыслью следите?»

«Стараемся».

«Сидел и писал проповедь. А сам смотрел в окно на реку Сену. На берегу сидел мальчишка лет десяти. Великий богослов бросил перо, вышел из дому и видит, в руках у пацана ракушка. И этой ракушкой он загребаёт воду. Как же ты, говорит, собираешься вычерпать реку ракушкой? А мальчишка ему отвечает: а как же ты хочешь изъяснить тайну Святой Троицы?»

«Ты что-то не то понёс, папаша», – зевнув, сказал Вальдемар.

«То есть как это не то?»

¹ Мир на земле и в человеках благоволение (лат.).

² ...висел Сын (лат.).

«Сам говоришь: десять лет пацану. Как это он...»

«А ты дослушай, я, между прочим, ещё не кончил! Слова не дадут сказать, вечно перебивают. Распустились, суки!»

Наступила пауза. Профессор смотрел в потолок.

«Чего замолчал-то?»

«А то, что надо сначала дослушать, а потом свои блядские замечания вставлять... Это, говорит, дело такое же безнадёжное.»

«Кто говорит?»

«Пацан говорит! – загремел профессор. – Устами младенца глаголет истина. И вот когда настал день и народ собрался, чтобы послушать проповедь великого богослова, он вышел, поднялся на кафедру и сказал: вот я тут перед вами. Все меня видели? Ну, и довольно с вас. И ушёл, и след простыл.»

«Куда же он делся?»

«Слинял. Удалился в далёкий монастырь. И своё имя скрыл, поэтому, – сказал профессор, – и я не знаю, как его звали.»

Снова помолчали, соображали, что-то надо было ему ответить. Большой промолвил:

«Вот и я тоже думаю...»

Я спросил: включить? Он покачал головой.

«Вот и я думаю: пора, давно пора. О душе подумать надо. Пошлю вас всех к солёной маме... Надоели вы мне все, и всё мне надоело.»

«Да куда ж ты денешься?» – спросил Вивальди.

«А вы куда денетесь? Попрошусь в монастырь.»

«Да ведь ты, папаша, неверующий.»

«Или студентом на теологический факультет.»

«Я хотел вас спросить, – сказал я. – Вальди вас пока замещает...»

«Что?» – нахмурился патрон.

«Я говорю, пока вы здесь, он...»

«А кто это ему позволил? – закричал профессор. – С-суки поганые, мародёры, стоит мне только отлучиться!...»

«Спокуха, ваше преподобие. Тебе волноваться вредно...»

Вальдемар проворно сел на корточки, извлёк из тайника ампулу с героином, откуда-то явился шприц. Вальдемар всадил иглу в бедро профессору.

XII

Моё аристократическое знакомство имело продолжение: сняв трубку, я услышал её голос. Минуту спустя в комнату вошёл Клим. Я извинился и положил трубку. «Зайди ко мне, – сказал он. – Кто это?»

Я знал, что нам предстоит то, что он называл принципиальным разговором. Ещё меньше охоты было у меня беседовать с баронессой. Что ей понадобилось? Именно этот вопрос задал Клим.

Почему он решил, что это она?

«Не уваливай. Она, наверное, хотела поговорить со мной».

«Не думаю», – сказал я.

«Мало ли что ты думаешь. Она позвонила в редакцию, чтобы поговорить со мной о деле».

«Позвони ей сам».

«Ты прекрасно знаешь, что это невозможно». Мы сидели в его кабинете (комнатка чуть больше моей, с картой во всю стену, свидетельствующей, что родина всегда с нами), он в своём кресле, я на стуле сбоку от стола.

«Я давно жду этого звонка. Это по поручению барона. Я думаю, он хочет мне кое-что сообщить. Что она тебе сказала?»

«Так, ничего особенного».

Я смотрел на свои руки, разглядывал ногти.

«Ты сейчас позвонишь ей, – сказал Клим, беря второй микрофон, – от моего имени. Спросишь...»

Я покачал головой.

«Почему? – спросил он. Я пожал плечами. Клим подумал, процедил: – Ладно. Может быть, ты и прав, подождём ещё немного. – Я встал. – Минуточку! Сядь... Вот эта статья. Что это такое?»

В чём дело, пробормотал я.

«В чем дело? И ты ещё спрашиваешь. Да я просто не нахожу слов!»

Таково было вступление к принципиальному разговору. Увы, не первому. Полагаю, не будет неожиданностью – после всего, о чём говорилось выше, – если я скажу, что отношения наши достигли критической точки. Тут была в самом деле некоторая принципиальная разница, и чем дальше, тем она становилась очевиднее. Наше пребывание на чужбине мой товарищ считал временным. Он не терпел слова «эмиграция». (Именно это делало его стопроцентным эмигрантом). Мой товарищ был подлинным патриотом – чего нельзя, к сожалению, сказать обо мне.

Может быть, достаточно простого объяснения. Орбиты наших планет приблизились к пункту опасного противостояния. Мы слишком тесно были связаны своим делом, мы порядком надоели друг другу, это был обыкновенный житейский факт, ясный для обоих. Был ли он причиной идейных расхождений или, наоборот, их следствием, не имеет значения. Наше далёкое отечество, всё глубже, словно скалистый остров, тонущее в дымке, всё дальше уходившее от нас в свою собственную недоступную жизнь, – для Клима это был единственный свет в окошке. Вся наша деятельность должна была служить подготовкой к возвращению. Он так в него верил, что времена-

ми меня охватывало сострадание. Он знал, чего он хотел. Чего хотелось мне, я не ведал. Я ничего не добивался. Я питал – чем дальше, тем сильнее – отвлечение к «идеям». Выражаясь поэтически, Клим верил в Россию, – а я? Будет ли преувеличением сказать, что вся Россия для меня помещалась в постели, где на подушке рядом с моей головой покоилась голова Кати? Но Катя умерла, это случилось три года тому назад или около того.

Кризис напоминал едва заметную трещину, которая, однако, змеилась всё дальше, грозя расколоть льдину, где мы поставили нашу палатку. Кризис совпал со временем, когда надежда вернуться на родину блеснула, как лезвие зари на ночном небе. Клим жадно ловил новости. А вернее сказать, продуцировал новости, как и подобает истинному журналисту; мнимые перемены были исполнены для него огромного значения. Но мы по-прежнему были прикованы друг к другу, словно каторжники, и волочили вдвоём нашу тачку; тот, кто хотел бы ускорить шаг, должен был потащить за собою товарища.

Мне незачем пересказывать наш разговор, я вернулся к себе, и тотчас задребезжал телефон, словно там дожидались, когда я войду.

«Hallo», – сказал я скучным голосом.

Но это была не баронесса.

«А, – сказал я. – Привет».

Там молчали.

«Привет, – повторил я, – это ты? Извини, я ещё не говорил насчёт работы, надо подождать...»

«Успеется. Я не поэтому звоню...»

«Что новенького?» – спросил я, не зная, что сказать.

«Ничего».

«Откуда ты узнала мой телефон?»

Номер был в телефонной книге. Адрес редакции указан на обратной стороне журнальной обложки. На улице рядом с входом висела наша вывеска. Всеми этому мы придавали когда-то особое значение, это был вызов. Если журнал в самом деле достигал берегов отечества, то его первыми читателями, разумеется, были сотрудники славного ведомства – первыми и, возможно, единственными. Получалось, что мы трудились для них. В редакцию заглядывали подозрительные личности, звонили незнакомые голоса. Случись у нас взрыв или пожар, Клим, я думаю, был бы доволен.

«Мы увидимся?» – спросила Мария Фёдоровна.

Я что-то ответил.

«Когда?»

Едва только я положил трубку, раздался новый звонок.

«Да», – сказал я, поглядывая на дверь, где в любую минуту мог показаться Клим.

XIII

В назначенное время, это было на другой день, я сидел за столиком у окна и поглядывал с высоты на площадь, голубей и туристов, на колонну с кукольной Богородицей и часы на башне. Прождав полчаса, я двинулся к выходу, испытывая некоторое облегчение, – в эту минуту она появилась: маленькая рыжеволосая женщина на высоких каблуках впорхнула, рассыпаясь в извинениях. Я подумал, не следует ли мне, как принято в консервативном кругу, наклониться к ручке. Повесил на вешалку её плащ.

«А знаете... – сказала она, усевшись, оглядевшись, это было то, что называется буржуазное кафе, с зеркалами, лепниной на потолке, редко расставленными столиками, место конфиденциальных встреч, где полагалось говорить негромким голосом, выпускать дым, не затягиваясь, и отдавать распоряжения кельнеру, полузакрыв глаза, – коснулась пальцами пышных волос и расправила широкое платье, – знаете, на самом деле я пришла вовремя. Я наблюдала за вами!»

«Чтобы решить, стоит ли продолжать со мной знакомство?»

«Я размышляла о вашей судьбе... Вы приглашены», – сказала она, опуская глаза, почти тоном приказа. Это означало, что она собирается за меня платить. Без всякого любопытства я пробежал глазами меню.

«Позвольте рекомендовать вам... Как насчёт божоле – лёгкого, молодого?» Официант принял от нас похожие на почётные грамоты папки с картами меню и напитков и удалился.

Я поглядывал на сублильную баронессу со странным именем Света-Мария, она смотрела на меня, и оба мы спрашивали себя, что может быть общего между нами.

«Как поживает ваш соиздатель? Надеюсь, – это было сказано небрежно, – он не знает о нашей встрече...»

«Разумеется, нет. Он интересовался, будут ли иметь продолжение переговоры с...»

«Ах, да, да. Можете передать ему... впрочем, муж сам ему позвонит».

«Коллега не говорит... э...»

«Ах, да. Конечно. Ну, как-нибудь обойдёмся. Муж позвонит вам. Скажите... Ведь это, наверное, очень трудно – жить в стране и не говорить на языке её народа?»

«Большинство наших так и живёт».

«Как я им сочувствую. Но ведь когда живёшь в чужой стране, необходимо научиться».

«Вы правы».

«Я имею в виду необходимость адаптации».

«Так точно».

«Вы отвечаете, словно в армии».

«Так точно».

Разговор грозил иссякнуть. Легко вздохнув, скосив глаза направо, налево, она спросила:

«Как вы относитесь к музыке?»

«К музыке?»

«Да. Я хочу сказать – любите ли вы музыку?»

«Смотря какую».

«Я хочу сказать, настоящую музыку».

«Настоящую люблю».

«У меня предложение...» – проговорила она и остановилась. Кельнер приблизился со своими дарами.

«Ого», – сказал я.

Она поблагодарила официанта кивком, он зашагал прочь походкой манекена. Я чувствовал себя в мире кукол. Одна из них сидела напротив меня – с фарфоровой кожей, слегка скуластая, с узким подбородком, в пышной причёске семнадцатого столетия. Под широким струящимся платьем целлулоидное тело, должно быть, обтянутое розовой материей.

«Здесь неплохо готовят, надеюсь, вам понравится. – Она была уверена, что я не только не был, но и не мог быть никогда в этом заведении. Она подняла бокал. – Prost... э-э...?»

Я назвал своё имя.

«А как зовут меня, вы, надеюсь, не забыли. Представьте себе, я догадываюсь, о чём вы думаете!»

«О чём же?»

«Вы думаете: кругом искусственные люди, всё у них рассчитано, подсчитано, и живут они рассудком, а не по велению сердца... Ведь так? Русские очень высокомерны. Я хочу сказать... Вероятно, западная психология...»

Она умолкла, закуривая сигарету, подала знак официанту принести кофе. Выпустила дым к потолку.

«У меня на сегодня абонемент. Мой муж, знаете ли, равнодушен к музыке».

Я мог бы возразить, что и я, пожалуй, равнодушен к музыке, если музыка равнодушна ко мне. Если же нет... Мне не пришлось долго ждать в фойе, баронесса явилась, оживлённая, издающая еле ощутимый аромат духов, и несколько времени погода мы оказались в высоком сумрачном зале, где, впрочем, изредка приходилось мне бывать. Огромная тусклая люстра под потолком обливала мистическим сиянием ряды публики, колонны вдоль стен и гобелены с подвигами Геракла. Свет померк. Пианист появился, встреченный

аплодисментами. Пианист играл Адажио си-минор, удивительную вещь, от которой невыносимо тяжело становится на душе и оставшуюся без названия: может быть, начало какого-то более крупного произведения, которое Моцарт так и не написал, увидев, что уже всё сказано, что дальше может быть только молчание, терпение и покорность судьбе. И в самом деле, зал безмолвствовал, когда музыкант, уронив руки на колени, опустил голову, сидел перед своим инструментом; потом раздались неуверенные хлопки.

Что-то происходило со мной, к стыду моему, что-то заставившее меня разомкнуть уста; я совсем не был расположен вести светскую беседу и охотно распрощался бы с баронессой, поблагодарив за доставленное удовольствие; вместо этого, ни с того ни сего, сказал, что музыка всегда напоминает мне Россию. «Только музыка?» – спросила она. Да, музыка и ничего больше. Сеялся мелкий дождь, она сунула мне ключи от машины, я принёс зонтик, и мы побрели в Придворный сад. Сидели там, подстелив что-то, на скамье в открытой ротонде с колоннами, и город церковей и сумрачных башен, в призрачных огнях, влажной паутиной обволакивал нас. Город, сотканный, как некогда было сказано, из вещества того же, что и сон.

Она спросила: откуда это?

«Шекспир. Буря».

«Мне кажется, у него сказано иначе...»

«Какая разница».

«Вы в это верите?»

«Во что?»

«Вы верите в сны?»

«Госпожа баронесса...» – начал я.

Она поправила меня: «Света-Мария».

«Пусть будет так... Давайте внесём ясность. Я благодарен вам. Вы проявили ко мне необыкновенное внимание. Но мне кажется, вы принимаете меня не за того, кто я на самом деле...»

«Кто же вы на самом деле? – спросила она, закуривая; я отказался от сигареты. – Вы молчите».

«Мне трудно ответить».

«Хорошо, – сказала она, – я попробую ответить за вас. Если я не права, вы меня поправите. Я действительно приняла вас не совсем за того, кем вы, по-видимому, являетесь. Из чего, однако, не следует, что я разочарована...»

«Спасибо».

«Я приняла вас даже за двух разных людей. Когда вы пожаловали к нам... с вашим коллегой... я подумала: этого не может быть. Это другой человек. Но это были вы. Я не знаю вашей среды...»

«Пожалуй, в этом всё дело».

«Но мне совершенно безразлично, кто вас окружает. Я знаю только одно».

«Что же именно?»

«Что мне придётся принимать вас таким, каков вы есть! – сказала она, смеясь. – И вы не должны отказываться... не смею сказать, от моей дружбы, но от моей помощи...»

Я встал.

«О, я не покушаюсь на вашу гордость. Удивительные вы люди! Разве вас не унижает сиденье на паперти?..»

«Света-Мария», – проговорил я.

«Да, – она откликнулась неожиданно глубоким, грудным голосом. – Вы хотите мне что-то сказать?»

«Нам пора прощаться».

«Но до машины вы меня хотя бы доведёте?»

XIV

Я нарочно остановил такси на соседней улице, чтобы не привлекать внимания; меня могли узнать, ведь она никуда не переезжала, это была просто одна из ложных версий. Возможно – слухов, распространяемых всё той же конторой. Дом был рядом. И ничего не изменилось, разве только фасады старых зданий стали ещё обшарпанней, обрушились водосточные трубы, подъезды с настежь распахнутыми, залатанными фанерой дверьми, зияли тьмой. Тускло отсвечивали пыльные окна. Впереди, в расщелине переулка тлел ржавый закат. Мало что изменилось, и в то же время всё стало чужим. Двойное чувство владело мной, – я узнавал и не узнавал город. Редкие прохожие растворились в сумерках, пробежала собака, я шёл, вглядываясь в номера домов, но и номера стёрлись; я уже подумывал повернуть оглобли, свернул в соседний переулок – дом был в десяти шагах от меня, я кружил, не замечая его. Пёс стоял неподалёку, перебирал лапами от нетерпения, я поманил его, он бросился в сторону, остановился, виляя хвостом, точно ждал, что я позову его снова, позову по-русски: зверь не понимал чужого языка. Я вошёл в подъезд и стал подниматься по лестнице.

«Здание, как я вижу, не ремонтировалось с тех пор», – сказал я, войдя в квартиру.

Она была больна, лежала в постели. Она поднялась мне навстречу.

«Простудишься, надень халат. Где у нас...? Я сам»

Стоя на шаткой табуретке, я достал с антресолей два чемодана, сдул пыль и проверил замки. Я спросил у Кати, что она хочет забрать с собой, вынул стопку белья из шкафа, снял с плечиков и уложил её платья, а где

то, где другое, зубная щётка, спрашивал я, где твоя зубная щётка? Тут только я заметил, что говорю с ней, задаю вопросы, а она не откликается. Она сидела на краю кровати, поджав пальцы босых ног, сунув руки между колен, её ключицы резко выделялись в разрезе рубашки, глаза блестели в тёмных глазницах. Ты совсем больна, пробормотал я, но ничего, мы тебя там подлечим.

Наконец, я услышал её голос. Глухой голос, как прежде.

«Я не понимаю», – сказала она.

Я возразил: чего ж тут не понимать. Приедем, надо будет основательно заняться здоровьем.

В ответ она покачала головой, оттого ли, что не верила в своё выздоровление, или оттого, что не понимала меня.

(Конечно! Сам того не замечая, я говорил на чужом языке).

«Катя, – сказал я, – какой я идиот!»

Мне показалось, что в дверь постучались. Я взглянул вопросительно на жену, она пожала плечами и кивнула головой.

«Кто это?» – спросил я, и она снова кивнула.

«Это – они?» – прошептал я в ужасе.

Отомкнуть дверь и броситься, пока они не успели войти, прочь по коридору.

Она покачала головой, словно хотела сказать, что «они» теперь не у дел, я не верил ей. На кухне был чёрный ход. Но внизу во дворе кто-то наверняка уже поджидал, нужно уходить на чердак. Перебраться на крышу соседнего дома. Слезть по пожарной лестнице... Все эти мысли, как ток, ударили мне в голову и ушли по спинному мозгу в пол. Я застыл, всё ещё под воздействием электрического удара. Раскрытый чемодан с одеждой лежал у моих ног.

Голос Кати прошелестел: «Сейчас увидишь». Дверь отворилась, вошёл некто, и я тотчас успокоился.

Вошёл оборванный бородатый мужик в изжёванной непогодой фетровой шляпе, в сапогах, просящих каши, с сумой через плечо, не здороваясь, спросил, кто это.

«Мой муж», – был ответ.

«Какой такой муж». Человек, ворча, начал стаскивать через голову свой мешок.

Я рылся в карманах, чтобы дать ему мелочь.

«На херá мне твои подачки, у меня своих денег хватает».

Он сунул руки в карманы своего рубища и вынул полные пригоршни монет, там было и две-три скомканных бумажки. Мешок лежал на полу, человек наклонился и стал выкладывать на стол рядом с деньгами куски хлеба, остатки еды, завернутые в газету, достал со дна полуоткрытую жестянку с бычками в томатном соусе. Под конец явилась поллитровка.

«Садись, ужинать будем...»

«А как же...?» – спросил я, кивая на чемоданы.

«Успеется». Он открыл зубами бутылку, налил себе и мне по полстакана, плеснул на доньшко Кате.

«Значит, говоришь, за ней приехал. А ты у неё спросил, хочет ли она? Со мной согласовал? Ладно, давай... Со свиданьицем».

Он подвинул ко мне консервную банку, Катя принесла три тарелки, я их сразу узнал, я даже помнил, когда мы их купили, теперь они были тёмные и выщербленные.

Я сказал:

«Ей бы надо одеться, здесь холодно. Хотя бы халат накинуть».

«Ничего. Так она мне больше нравится. Мне вот даже жарко. – Сожитель скинул своё одеяние, остался в майке, обнажив могучие татуированные плечи, на груди поверх майки висел большой целовальный крест. – Так, говоришь, приехал? Ну, раз приехал, оставайся. Как-нибудь устроимся... в тесноте да не в обиде».

Но я вовсе не собираюсь ночевать, возразил я или, может быть, подумал.

«Всё своим чередом. Одну ночь ты, другую я».

Я спросил: это как понимать?

«А вот так и понимай. Ты пей, ешь... Чего тут не понимать: сперва ты её харишь, потом я. Уступаю тебе очередь. Цени моё благородство. Гостю почёт и уважение, верно я говорю, Катька?»

«Послушайте, – сказал я. – У нас мало времени. Спасибо за угощение, было интересно с вами познакомиться. Нам пора. Такси ждёт за углом».

Катя молча вышла из-за стола и улеглась в постель.

«Ну чего ты, – сказал новый хозяин, – чего тебе здесь не нравится. Я, что ль, не нравлюсь? Харчами моими брезгуешь?»

«Не в этом дело...»

Кто-то скрёбся в дверь. Человек встал и открыл. Вбежала собака, вероятно, та же, которую я видел на улице, и стала кружить по комнате.

«На место!» – зарычал хозяин.

Он поставил тарелку с едой на пол.

«Не в этом дело», – проговорил я.

«А в чём же тогда? Я тебе вот что скажу. – Он уселся за стол. – Ежели с одной стороны посмотреть, то...»

Пёс скулил в углу.

«Молчать! Ежели какая-нибудь там философия, то, конечно. А вот если так, по-простому, как жизнь велит... Жизнь, она свои законы диктует».

«Я вас не понимаю».

«А ты вообще-то что-нибудь понимаешь?»

Скулёж перешёл в протяжный вой. Мы поднялись. Пёс сидел, задрал вверх морду, возле кровати.

«Катя, – спросил я, – тебе холодно?»

Она молчала.

«Укрыть тебя ещё одним одеялом?»

Ответа не было, я увидел, что она умерла.

XV

Странные и нелепые происшествия, которые совершались у меня на глазах, не стоили бы упоминания, если бы следом не потянулись другие, если бы с ними не входили в мою жизнь важные перемены.

Отнюдь не надеясь кого-либо убедить, я хочу только заметить, что моя вторая профессия оставляла мне время для размышлений. Я чувствовал необходимость подвести некоторые итоги. В те дни я понял, что целая эпоха моей жизни подходит к концу. Ничего не осталось от молодости, «зрелость» начала вянуть; я стоял у порога старости.

Не то чтобы я собирался устроить смотр своих достижений, какие там достижения. Если у меня и были какие-то задатки, я не сумел их реализовать. Я ничего не добился в жизни, ничем особенным себя не проявил. Умри я сегодня ночью, завтра ни одна душа обо мне не вспомнит. Просто я понял, что достиг поры, когда можно сделать кое-какие выводы, извлечь кое-какие уроки из прожитого, и более того, выводы, в сущности, уже готовы, нужно лишь по возможности чётко сформулировать их для себя. Вслушаться в голос, который их втолковывает. Я не отделяю себя от своего «времени» (что за дурацкое слово). Очевидно, что я представляю собой в самом чистом виде то, что называется – дитя времени. Именно поэтому я принял единственно разумное решение выломаться из времени, как выламывают решётку тюремного окна.

Какое это, в сущности, гнусное время.

Скажут: почему же только гнусное? Почему не великое? Время грандиозных открытий, неслыханных достижений. Например: когда и где ещё были изобретены зубные щётки такой изумительной формы, хитроумнейшей конструкции, для всех челюстей и на все случаи жизни? Скажут – да ведь никогда не было в истории счастливых времён, и всегда современники считали свой век самым бедственным. Почитайте, что пишет Тацит, почитайте хроники Великого переселения народов, или Чёрной смерти XIV века, или Тридцатилетней войны; в конце концов, загляните в историю Иова.

Я подумал: есть ли что-нибудь вроде объективного критерия бед, существует ли температура несчастий? Убывает вода в клепсидре, сы-

плется струйка песка в песочных часах столетий, столбик ртути в термометре то опустится, то подскочит, – пока, наконец, не упрётся в верхний конец шкалы: наш гектически-лихорадящий век. Никогда я не мог понять людей, которые гордятся тем, что были свидетелями и участниками великого времени; этому времени можно только ужаснуться, его надо стыдиться.

Мы свидетели войн, разрушений и жертв, которые не умещаются в уме. Зачем, ради чего? Конкретных целей и поводов сколько угодно; фундаментальная причина – абсурд. Всё было построено на рациональных основаниях. Всё оснащено по последнему слову техники и науки, продумано, расчислено, распланировано, бюрократизировано. Но за чудовищной организацией скрывалось безумие. Безупречная логика подробнейших проектов и абсурд целого. Техническое совершенство процесса – во имя чего?

Кто-то объяснил: дух истории утоляет горечь сознания, что всё в этом мире идёт прахом. Пускай нам кажется, что мы были этим прахом, человеческой пылью, спрессованной в сыпучее содержимое песочных часов. История ставит всё на место. История воздаёт правым и виноватым. История всё объясняет, примиряет, оправдывает. История – Бог нашего времени.

Господи, какая чушь.

Да, мы сподобились, мы в самом деле посетили мир в его минуты роковые; мы видели историю, не ту, о которой написано, но ту, которая была, воочию, как солдат видит перед собой медленно вращающиеся гусеницы танка. Куда деваться от чудовища, нависшего над нами, над каждым человеком? Вот великий вопрос. То, что будет историей нашей эпохи, не будет историей людей, это будет история трупов, это будет история человеческих существ, у которых вырвали душу вместе с внутренностями. Как спастись, думал я, куда деться?

XVI

Два слова по личному, так сказать, вопросу... Моё отношение к Марье Фёдоровне. Боюсь, что мне не удастся сказать что-нибудь вразумительное по сему поводу: в моей жизни, мало помалу приобретающей какой-то призрачный характер, она была ещё одним призраком, вот и всё. Видимо, я разучился по-настоящему привязываться к людям. Что же тогда мешало мне порвать с ней? Возможно, я просто жалел её. Жалость вообще движет людьми гораздо чаще, чем думают. Или это была самая обыкновенная, вульгарная мужская причина, заставлявшая меня заглядывать в общежитие: похоть, звоночек, который время от времени позвякивает в мозгу? Наконец, то и другое могли быть двумя сторонами одного и того же, состра-

дание к женщине подогревало желание. Я не мастер анализировать взаимоотношения полов.

Тут, впрочем, было ещё одно, весьма скользкое обстоятельство. Меня не смущал способ, которым моя подруга – придётся её так называть – зарабатывала на жизнь. Загвоздка была как раз в другом – в том, что я пользовался её благодеяниями бесплатно. Для Маши это было знаком того, что она относится ко мне, так сказать, непрофессионально; знаком того, что она меня отличала, доказательством любви, если уж на то пошло. А для меня... гм. Для меня это означало, что я оказался в дурацком положении невольного конкурента. В чём и пришлось убедиться в самое короткое время.

Я вошёл в холл; перед лифтом стоял человек.

«Не работает».

Я повернул к лестнице, он преградил мне дорогу.

В чем дело, спросил я. Он спросил, к кому я иду. Я пожал плечами.

«Можешь не объяснять, – сказал он, – я и так знаю».

Оказалось, что это комендант. Мы вошли в каморку, где стоял письменный стол. Бумаги, телефон, на стене портрет – всё как полагается. Портрет изображал восточного potentата в погонах.

«Председатель революционного совета. Великий человек», – сказал комендант.

Я поинтересовался, какое это государство.

«Ирак. Не слышал, что ли?.. Ирак – оплот свободы и независимости Востока против американского империализма. Друг нашей страны».

Какой страны, осторожно спросил я.

«Нашей! – отрезал комендант. – Есть ещё вопросы?»

Медленно отворилась дверь, показался широкий зад уборщицы, которая несла поднос со стаканами, сахарницей и тарелкой. Несколько времени мы пили чай, комендант, спохватившись, протянул через стол волосатую ручищу, представился:

«Алексей. Можно просто Лёша... А как тебя звать, я знаю. И чем ты занимаешься, знаю... Я ваш журнальчик почитываю, – сказал он, – вы там тоже небось, на американские денежки... того...»

Комендант допил чай, обсосал лимонную дольку.

«Не хочу, конечно, тебя обижать, но вообще-то говоря... – он покачал головой, – нехорошим делом занимаетесь».

Почему, спросил я.

«А потому. Предаёте национальные интересы России. Ты Ильина читал?»

«Иван Александрович, профессор?»

«Он самый. Великий человек. Вот вы там всё долдоните: фашизм, тоталитаризм... А что говорит Ильин? Ильин говорит: фашизм исходит из

здорового национального чувства... России нужна сильная власть. Запад нас не знает, не любит, радуется нашим бедам... Пей чай».

Я поблагодарил за угощение, сказал, что мне пора.

«Куда это?»

Я вздохнул, пожал плечами.

«К ней?»

«Знаешь, Лёша, – сказал я спокойно. – Это не твоё собачье дело».

«Ага, – зловеще молвил комендант, развалился на стуле под портретом наследника ассирийских владык и сложил руки на животе. – Вот так, значит. Нет, ты постой, постой! Мы ещё как следует не поговорили».

«О чём?»

«А вот о том самом. Во-первых. Посторонним вход в общежитие запрещён. Мне ведь только стоит слово сказать. И тебя отсюда грязной метлой погонят! Это как минимум. Ясно?.. Нет, ты постой. Ты – не торопись. Сядь...»

Он почесал в затылке и продолжал:

«Во-вторых... Мы так хорошо поговорили. Давай и дальше по-хорошему. В чём тут дело, всю, так сказать, ситуацию ты знаешь. Я тебе так скажу: если бы не я, Маша твоя давно бы пропала. Шаталась бы по панели, а потом, как все они, – в выпребную яму... Попала бы в лапы одному из этих... Я этот мир знаю. Советую со мной не ссориться. Давай начистоту: хочешь к ней ходить – пожалуйста. Я ничего не вижу, ничего не знаю. Но имей в виду! Если ты что-то другое задумал...» – он погрозил пальцем.

«Что задумал?»

«Будто не понимаешь. Стать её другом. Покровителем, что ли, ёп-тоую. Так вот: ни-ни. И думать не смей. У неё есть покровитель. Ну кот, что ли, по-русски... Вот он здесь перед тобой... Мою мысль понял? Ходить – ходи. И про это дело не забывай: сколько надо, – комендант потёр палец о палец, – она тебе сама скажет».

XVII

Было воскресенье, по-прежнему стояли тёплые, дымчато-сонные дни затянувшейся осени. Полупустой поезд, безлюдная платформа; я спустился в туннель под железной дорогой, вышел наружу, там тоже ни души, вышел с другой стороны, она ждала на стоянке, она помахала мне издалека, я уселся рядом с ней. И мы покатали через уснувшие поля, мимо игрушечных деревень с двускатными крышами и балконами, со шпилями церковей, где вместо крестов красуются петухи, навстречу медно-оранжевым, поднимающимся из низин, тронутым вялой киноварью лесам. По узкой, пус-

тынной асфальтированной дороге ещё километров двадцать, а затем лес расступился. Взошли на крыльцо. В этом домике, сказала она, её отец отдыхал после размолвок с её матерью, писал мемуары и сочинял стихи.

Среди сизых елей за железной оградой помещалось фамильное кладбище, гранитные плиты с длинными и звучными именами. Многосложный герб – принадлежность не слишком древнего рода. Что значит, спросил я, не слишком древнего.

«Древние гербы всегда просты, крест или зверь, больше ничего. А наш род известен только с шестнадцатого века. Я говорю о нашей фамилии, не о фамилии моего мужа... Вон там, – сказала она, – лежит мой дед. Он был повешен».

Вошли в дом и вступили в большую комнату, обставленную в рустикальном вкусе.

«Voilà». Она протянула мне фотографию в рамке, стоящую среди других на столике в углу. Сухощавый человек с генеральскими листьями в петлицах, с планками орденов.

«Между прочим, один из немногих, с которыми Эрнст Юнгер был на ты. Вам это имя что-нибудь говорит? У Юнгера есть запись в дневнике о моём дедушке».

Она разыскала книгу на полке.

«В нём проявляется очевидная слабость аристократии. Он достаточно хорошо понимает, куда всё это идёт, но совершенно беспомощен перед лицом сволочи, у которой есть только один аргумент – насилие... Беспомощен. Это он так пишет о моём дедушке. Но ведь это неправда, как вы считаете?»

«Если судить по результатам заговора, то Юнгер, может быть, и не так уж неправ...»

«Ах, не говорите. Разве сам по себе этот поступок, этот... жест не имеет значения?»

«Разумеется. И всё же...»

«Мне было десять лет. И дед мой сидел вот в этом самом кресле. Он был в мундире с золотыми пуговицами и узких лакированных сапогах. Всё в нём было узкое, лицо было узкое, он был высокий и стройный. И говорил со мной с испанской учтивостью, словно с инфантой... Я стояла возле него, он усадил меня к себе на колени... От него пахло... всю жизнь буду помнить этот запах. Духами, табаком, сталью... да, не удивляйтесь. Он весь был из какого-то благородного металла. У него были синие глаза. Больше я его никогда не видела. Как он был похоронен... не знаю. Нам, как вы понимаете, пришлось уехать. Плиту положили уже после войны».

«Вы сказали – повешен?»

«Да, как все они. Он находился в Париже, там же, где и Юнгер... Они жили в одной гостинице... Он успел кое-что сделать, когда пришло сообщение

о взрыве. Ведь сначала думали, что покушение удалось. Но я уверена, он всё равно начал бы действовать, даже если бы знал, что диктатор остался жив... На другой день после взрыва, – всё было уже известно, эта бестия отделалась царяпинами... – на другой день дедушку срочно вызвали в столицу, он предпочёл не лететь самолётом, ехал в машине с денщиком и шофёром. По дороге велел остановиться. И они услышали выстрел в лесу. Сначала думали, что это партизаны. Моя мама узнала, что он лежит в госпитале в Вердене. Его спасли, но он повредил зрительный нерв и ослеп. Палач вёл его под руку к виселице.

Она поставила портрет на столик, долго возилась, переставляя рамки с фотографиями.

«Некоторые до сих пор считают, что заговор и покушение, в военное время... Мой муж тоже так говорит. Он считает, что это измена и по закону с ними так и должны были поступить».

Я спросил: «По какому закону?»

«По тогдашнему, какому же ещё».

«И что вы ему ответили?»

«Что я могу ответить... – Она пожала плечами. – Мы давно уже ни о чём не спорим. Я ужасно голодна. А вы? Мы можем предварительно закусить, а ближе к вечеру пообедаем».

Мы вышли из дому. Неловкость росла между нами, растерянность, которую можно было преодолеть только разговорами, но светский тон был неуместен, и оттого разговор только усугублял эту неловкость. Маленькая, бледная и зеленоглазая женщина в платье, почти доходящем до щиколоток, в ореоле янтарных волос, шла, стараясь попадать в шаг, помахивая прутиком; поговорили о здешних местах, об удивительном цвете неба и календаре, начался охотничий сезон, объяснила она. Барон каждый год в это время ездит в Каринтию, у него там Schloßchen, крошечный домик-замок в горах. Так что я могу переночевать здесь без всяких затруднений.

«А если бы...»

«Если бы он был здесь? Я бы вас не приглашала!»

Она прибавила:

«Мой муж – своеобразный человек. Да и я тоже... У нас нет детей».

Я спросил, означают ли её слова, что барон против.

«Против того, чтобы у нас были дети? Что вы! Как вам могла придти в голову такая мысль. Род должен продолжаться».

«Он последний в своём роду?»

«Есть родня в Англии, в Швеции. Северная ветвь. Но знаете, генеалогические соображения меня лично мало беспокоят».

Дошли до леса.

«Я думаю, – пробормотала она, – дождя не будет».

Блёклое голубоватое небо незаметно превратилось в серо-жемчужное, дали заволоклись, исчезли тени. Мы шли кружным путём вдоль лесной

опушки. «Расскажите о себе, – попросила баронесса, – мы всё время говорим обо мне».

«Вам в самом деле интересно?»

«Если бы не было интересно, я бы вас не приглашала».

«Что же мне рассказывать?»

«Меня всё интересует. Как вы здесь оказались. У вас есть жена?»

«Была».

«Здесь... или там?»

«Она умерла».

«О! Простите».

«Мне кажется...» – проговорил я и хотел сказать, что незачем и не о чем особенно распространяться, что она уже достаточно обо мне знает. Я хотел сказать, что мы случайно познакомились и так же ненароком расстанемся. И что лес, увядающий, ржавый, и фиолетовые небеса, и что-то неясное вдали – пелена туч, или другие леса, или развалины замков, – призывают к молчанию. «Мне кажется, что...»

«Да. Мне тоже», – сказала она, и теперь, когда я вспоминаю этот диалог, мне почти ясно, что имелось в виду. Мы подбирались к неизвестной мне цели нашего разговора, к тому, ради чего была затеяна эта поездка, мы словно карабкались на высокую гору, и чем дальше, тем труднее был каждый шаг, и мы радовались возможности брести, отдыхая, когда крутизна сменялась пологой тропинкой. А там опять круто вверх – последний, почти отвесный отрезок пути – и чуть было не оступились, чуть не сорвались вниз, – и вот площадка.

«Послушайте...» – пробормотала она.

Обогнули опушку, открылось широкое поле, рапс был уже убран.

Я подставил руку кверху ладонью.

«Вы думаете, капает? – Она оглядела небо и покачала головой. – По моему, дождя не будет».

«Вы не боитесь промокнуть?»

«Я? Нисколько. Но я говорю вам, дождя не будет. Вы плохо знаете наш климат».

«Вы хотели мне что-то сказать...»

Короткое молчание.

«Да. Хотела сказать. Дело вот в чём».

XVIII

Первые фразы были произнесены сухим, строгим, я бы даже сказал, начальственным тоном. Но затем самообладание стало покидать мою собеседницу.

«Дело вот в чём... только не свалитесь со стебля!»

«Что это значит?»

«Это такое выражение. Вы его не слышали? Я хочу сказать, не падай-те в обморок. Мои семейные обстоятельства вам теперь более или менее известны. Я бы хотела просить вас, чтобы наш разговор, как и эта встреча, остались между нами. Впрочем, сейчас вы всё поймёте. Я хотела вам предложить... просить вас... не сочтите это экстравагантностью. Я... – она запнулась, – одним словом, я хочу, чтобы вы подарили мне ребёнка».

Площадка на вершине, куда мы, наконец, взобрались.

«Ребёнка?» – ошеломлённо спросил я.

«Да. Ребёнка».

Я остановился, и она остановилась. Кругом стояла такая тишь, что, упавши с дерева листок в ста шагах от нас, мы бы услышали. Стало накрапывать. Она вздохнула.

«Выслушайте меня... Я сделала все необходимые исследования. Вероятно, мне не следовало бы вам говорить, что я не люблю моего мужа... никогда не любила... но дело не в этом, дело в том, что теперь стало окончательно ясно, виновата не я, виноват он, я имею в виду бездетность... Мои годы уходят...»

Мы стали под деревом. Дождик слабо шелестел вокруг нас.

«Вы молчите», – сказала она.

Я проговорил:

«Света-Мария...»

«Да».

«Но почему я?»

«Почему вы. Представьте себе, мне трудно объяснить. Потому что вы, а не кто-нибудь. В тот день, когда вы приехали с вашим коллегой... когда вы вошли. У меня вдруг мелькнула мысль. Как-то ни с того ни с сего. Первые мысли всегда самые безумные... и... и, может быть, самые верные. Так вот, я подумала: Бог мой – а почему бы и нет?»

Я усмехнулся. «Света-Мария, вы меня совершенно не знаете».

«Немного знаю».

«Вы даже не знаете, – продолжал я, – достаточно ли я здоров».

«Я навела справки».

«Каким это образом?»

«Предоставьте мне самой заботиться об этом».

«Я здесь совершенно чужой человек».

«Это и есть, скажем так... один из доводов. Не единственный, конечно, но всё-таки... Позвольте мне выложить все карты на стол. Если вы согласны... пожалуйста, не возражайте, выслушайте меня... Если вы согласны и... всё будет хорошо... я хочу сказать, если ребёнок появится на свет, никто ему нико-

гда не должен будет сообщать об обстоятельствах его рождения, его жизнь, как вы понимаете, будет обеспечена, он будет носить наше имя, будет законным наследником, и никто...»

«Баронесса... – я перебил её, она посмотрела на меня с упреком. – Света-Мария. Я ничего не хочу обсуждать...»

«И не надо», – сказала она быстро.

«...разрешите мне только задать один вопрос. Вы сказали – если я вас правильно понял, – сказали, что барон не способен зачать ребёнка...»

«Да, но он не в курсе дела. Он считает, что причина – это я».

«Значит, э...»

«Да, – сказала она просто, – врач показал мне его сперму под микроскопом».

Стало совсем сумрачно, капли падали сквозь листву, дождь шуршал, шумел вокруг нас, дождь был семенем, падавшим на осеннюю бесплодную землю. Баронесса сжимала на шее кружево воротничка, я набросил свой пиджак ей на плечи, она пробормотала:

«Само собой, и ваше существование будет обеспечено».

«Моё существование, что это значит?»

«Вам будет выплачиваться ежемесячное пособие. Из Швейцарии...»

«Баронесса!»

Она не слушала. «С тем, однако, что вы никогда...»

Пособие, подумал я, – за что?

Странно сказать, но только в эту минуту я осознал, чего, собственно, от меня хотят. Физически осознал. Чтобы назавтра выкинуть меня, не глядя, как использованный билет для однократной поездки.

Расхотелось! Вот что сделал бы каждый на моём месте.

Мы стояли под деревом, продрогшие, в сырой, пахнущей мёртвыми листьями полумгле, полутьме, спустя немного я услышал ей голос на бегу.

«Пожалуйста, ничего не говорите... не отвечайте... Я понимаю, что говорила много лишнего... Не повезло с погодой... Вы были правы... Боже мой, – говорила она, – вы совершенно промокли. Вам надо сменить платье. Пожалуйста... вот сюда. – Она немного суетилась. – Вы найдёте там всё что нужно... Вы умеете разжигать камин?»

Умытый и причёсанный, я чиркал спичкой, сидя на корточках, подбрав полы шёлкового халата. Она вошла. Как и я, она была в кимоно. Я откупорил бутылку. Мы сидели между свечами. Воцарилось спокойствие, больше ничего не было сказано, словно ничего не произошло; в сущности, и не могло произойти; в самом деле, лицо её выражало полную безмятежность, уста произносили будничные незначащие слова, – она давала мне понять, что не было никакого разговора. Двое, женщина и мужчина, сидели за столом, трещали дрова, мерцали свечи, искрилось вино. И вот она яви-

лась издалека, непостижимая музыка, четырежды стучащая тема наполнила счастьем, которому нет названия, рояль робко начал разговор, вполголоса ответил оркестр; постепенно скрипки овладели собой, стали задавать тон, почувствовалось тайное могущество, и волшебная тема отступила, прощальная, уплывающая, как далёкий остров вечной юности.

ХІХ

Новость, которую я услышал от Клима, не была новостью: к этому шло. Правда, всё это происходило по секрету от меня: телефонные переговоры, визиты и совещания, во время которых Клим оставался с гостями в своём кабинете. Меня не приглашали, со мной не советовались, меня оставили в покое. Я не протестовал. Мало помалу мы вовсе перестали разговаривать, обсуждать что-либо; коротко приветствовали друг друга, после чего каждый уединялся в своей комнате и делал что положено. Главное, при всей его всё ещё не остывшей сенсационности, подразумевалось само собой.

Главное – это был гниловатый запах весны, которым тянуло всё сильней из России. То, чему я отказывался верить, по-видимому, совершалось на самом деле, неотвратно и с возрастающей скоростью: глетчер сдвинулся с места и поехал вниз, крошась и оплывая на солнце. Каждая неделя приносила новые перемены. Клим объявил, что на очереди вопрос о восстановлении гражданства. «Тебя, конечно, это вряд ли интересует». Моё равнодушие уже не раздражало его. По-видимому, он давно списал меня в расход. Войдя как-то раз в комнату, где я проделывал своё обычное упражнение, он коротко осведомился о чём-то, поглядел в окошко и пробормотал: «Да, кстати... не помню, говорил ли я тебе».

Я встал на ноги.

«Журнал закрывается».

Как уже сказано, этого надо было ожидать, и всё же я был несколько ошарашен.

Журнал был, что ни говори, нашим общим детищем, он сделался для нас почти живым существом, и вот теперь тебе объявляют, а вернее сказать, доводят до твоего сведения, что это живое существо готовится испустить дух.

«Когда?» – спросил я.

«По-видимому, со следующего месяца».

Клим развёл руками, это было сказано так, словно весть была неожиданной для него самого. Сказано – и он почувствовал облегчение. Он поспешил уточнить: то есть, конечно, не закрывается насовсем. Приостанавливается. Мы рассчитываем возобновить его на новой основе.

Я спросил: кто это «мы»?

«Я... и будущие сотрудники. В конце концов, и ты тоже... Если, конечно, захочешь».

То есть явно подразумевалось, что я не захочу. На новой основе – это значило «там».

«Ты решил вернуться?»

«Разумеется. А как же иначе? И ты ещё спрашиваешь».

«Но ты мне об этом ничего не говорил».

«Разве?.. Господи, но это же ясно. Это же само собой разумеется. Что нам здесь делать? Когда там такие события. Происходит настоящая революция! Мы просто обязаны вернуться».

Я спросил, могу ли я рассчитывать на выходное пособие.

«Какое пособие?»

«Фирма закрывается и выплачивает служащим компенсацию. Так принято... по крайней мере, в этой стране».

Последнюю фразу не следовало произносить. Получалось так, что я противопоставляю «эту страну» варварским обычаям России. И как бы попрекаю моего товарища тем, что он верен этим обычаям. В былые времена он бы взорвался. Но теперь – никакой реакции. Словно он хотел показать, что он уже там, по ту сторону границы. Покачал головой. Разумеется, никакого пособия мне не полагалось. Наши средства на исходе. Южный барон, как мне, вероятно, известно, отказал. Из Штатов больше ничего не поступает: они там считают, что холодная война кончилась. Так что уже по этой причине пора было закрывать лавочку.

Но сколько-то ещё осталось, сказал я. Нет, сказал Клима, денег хватит только на то, чтобы переправить технику и остальное.

Он собирался забрать с собой обе пишущих машинки, копировальный аппарат, ещё что-то и гордость редакции, недавно приобретённый компьютер. Прочее составлял наш архив, стопки старых номеров журнала, крамольных брошюр и рукописей. Говорить больше было не о чем, всё же я не удержался и спросил:

«А если там ничего не получится?»

«В каком смысле?»

«Если не удастся наладить выпуск?»

«Не думаю, – сказал он. – Наш журнал там известен. Одним словом...»

Одним словом, надо ехать, все эти годы мы держали руку на пульсе страны, но теперь события развиваются столь стремительно, что мы здесь начинаем отставать. Даже если бы денюжки не иссякли, надо было выпускать журнал там. Надо ехать, надо возвращаться туда, где нас ждут, где мы нужны, где нам готовы всё простить. Что простить? Да то, что мы сбежали, оставили родину, бросили нашу старую мать.

«Выходит, – пробормотал я, – можно считать себя уволенным?»

«Выходит так», – промолвил Клим и снова развёл руками. Я окинул взглядом свой «кабинет», оторвал прикипяченный над столом план очередного номера, снял цветной календарь, свернул в трубку и сунул в карман. На улице шёл проливной дождь; постояв в подъезде, я швырнул в урну календарь и двинулся в неизвестном направлении.

Summing up¹, – я испытывал облегчение.

XX

Как ни странно, восстанавливать иные события легче несколько времени погодя, нежели сразу после случившегося; память переживает нечто подобное обмороку, нужен срок, чтобы она пришла в себя. Дождь покончил с бабьим летом. Мы ввалились в уединённый дом, промокшие до нитки. Дождь шумел ночь напролёт с воскресенья на понедельник, тот самый понедельник, когда Клим объявил о своём решении, и во весь обратный путь в город стрелы дождя летели навстречу окнам вагона. И когда, выйдя из нашей конторы на улице Шеллинга, чтобы никогда больше не увидеться с моим товарищем (позже я узнал, что он в самом деле отбыл, некоторое время спустя вернулся, снова уехал, журнал, по слухам, не возобновился), когда, стоя в подъезде с ненужным календарём в руках, я думал о том, что непостижимая судьба поворачивает ко мне свой серебряный лик, чтобы сказать мне, что я свободен, – а ведь что в конце концов было самым глубоким, самым заветным моим желанием, как не мечта избавиться раз навсегда от всех обязанностей, – когда я стоял и размышлял, – дождь по-прежнему хлестал по чёрному тротуару и гнал согбенных прохожих, и мимо, с могильным сиянием фар, в веерах брызг неслись автомобили. Итак... на чём мы остановились?

Воистину на самом прекрасном из вечеров, по крайней мере, прекрасно начавшемся, а вернее сказать, прекрасно задуманном. Патрицианка, сошедшая с полотна XVII века, указала на ванную. Гость принял душ и, облачившись в дальневосточный халат, словно повелитель, прошеествовал в маленькую гостиную.

Я вспомнил, как это делалось в годы нашей юности, в те дни, когда мы провели однажды каникулы в деревенской избе, вдвоём, с запасом привезённых продуктов и вин, с заснеженным штабелем дров на дворе, сложил крест-накрест сухие мелко распиленные полена. Хозяйка, маленькая и уютная в тесном оранжевом кимоно, в вязаных носках, внесла тарелки с едой.

¹ Резюмируя (англ.).

Ни единым словом не было упомянуто о том, что произошло на лесной опушке. Мне стало ясно: она спохватилась, она поняла, что совершила оплошность, и благодарна за молчаливое согласие считать не состоявшимся наш дикий разговор. Я похвалил вино, мы наслаждались покоем, сухостью, теплом, божественной музыкой, это был Четвёртый фортепьянный концерт Бетховена, мой любимый, – и сидели, как зачарованные, глядя на язычки огня. Говорят, три свечи – дурное предзнаменование, так, по крайней мере, считалось в России. Здесь же, если не ошибаюсь, они служат знаком и обещанием благополучия. *Pax in terra et in hominibus benevolentia.*

Вспомнилась эта формула, поход в больницу, покойный профессор, – как далёк был от этого мира тот, куда я ненароком забрёл! Как далёка была от них планета, на которой мы жили зимой в заваленной снегом деревне, вдвоём, с запасом еды и вина, с отсветами огня на железном полу перед печкой. *Pax in terra*, на земле мир... Я спросил, католичка ли она. Взглянув на меня, она спросила, почему я спрашиваю, я не знал, всё говорилось по наитию, невзначай. Да, конечно, сказала она; как и подобало южной дворянке; потом добавила: «Для меня это большого значения не имеет».

«Религия?»

«Не религия, а вероучение. Существует разница между культом и...»

«И чем?»

«Верой в Бога».

«Вы верите?»

Она снова взглянула на меня и ничего не ответила.

«Но вы бываете в церкви».

Должно быть, она подумала, что я намекаю на моё времяпрепровождение на ступенях св. Непомука и моё разоблачение. Перевела глаза на жёлтые лепестки огня – фаллические цветы на трёх стеблях – и проговорила:

«Да, бываю».

Я встал, чтобы подбросить дров, вернулся к столу, подлил ей и себе, за что же мы выпьем, спросил я. «В самом деле, – улыбнулась Света-Мария, подняв бокал, – за что? Может быть, за вас?..»

Она сидела спиной к огню, прошло невообразимо много времени, в камине что-то происходило, летели искры, рушились чёрные головни, некогда бывшие юной порослью, стройными стволами, аккуратными поленицами, и за это время прошла вся наша жизнь, и жизнь была разрублена пополам, когда обстоятельства, о которых нет ни малейшей охоты вспоминать, вынудили меня оставить Катю и опостылевший город, пресловутую родину, а лучше сказать, когда эта родина вышвырнула меня

пинком под зад... – а как же Катя? – думал я и не мог ответить. И вот теперь я сижу за столом, в невероятном японском облачении, вернее, сидит моя уцелевшая половина, в доме, где я никогда не был и никогда больше не буду, перед маленькой пышноволосяй женщиной, отважно предложившей себя и тотчас отказавшейся от своего проекта, сижу в последний раз, ибо и с ней я больше не увижусь. Мысли, которые и мыслями не назовёшь, картины одна другой притягательней и ужасней проплывали на дне моих глаз, машинально я протянул руку и отпил глоток.

«Конечно, – проговорила она, – и у меня есть проблемы...»

Я перевёл на неё вопросительный взгляд.

«Прежде всего, я nullipara».

«Что это значит?»

«Не рожавшая. Мой врач считает, что есть известный риск...»

Значит, она вовсе не думала отказываться. Весь вечер её мысли вертелись вокруг этого предложения! Значит, то, что в «проекте» должны участвовать двое, что в конце концов у меня есть собственная гордость, – ею вовсе не принималось во внимание.

«Света-Мария...»

«Молчите. Это не ваше дело. Я же говорю – мои проблемы. Я ужасная трусиха. Вы знаете, что мне уже за сорок? К тому же доктор говорит, у меня узкий таз...»

«Вы что, обсуждали всё это с вашим врачом?»

«Конечно, а как же. – Она добавила: – Он абсолютно надёжный человек».

Я молчал, она продолжала:

«Может быть, следовало побеседовать со священником. Но я вам уже говорила... Я, может быть, и верю в Бога. Да, конечно, я верую. Только, знаете, наша церковь как-то не внушает мне доверия».

«Ещё бы», – заметил я, невольно отклоняясь от темы.

«Вы, наверное, православный. Православие – очень строгая религия».

«Её не существует, – сказал я. – В России, во всяком случае».

«Как это?»

«Так. Одна оболочка. Видимость».

«Вы думаете? – сказала она рассеянно. Она пробормотала: – Иногда мне начинает казаться, что вас мне послал Бог...»

Говоря по совести, меня слегка передёрнуло от этих слов.

Не помню, что я ответил. Должен оговориться, что чужой язык имеет свои преимущества. Чужой язык освобождает от запретов. Он кажется безопасней. Слова не так обжигают, как на родном языке. На чужом языке можно говорить о вещах, которые на своём родном невозможны, на чужом языке легче признаться в любви или отказаться от любви... одним

словом, я не думаю, что мог бы вести разговор с хозяйкой, случись нам беседовать по-русски.

Она умолкла, занятая своими мыслями, предоставив мне заполнить паузу незначащей репликой, вместо этого я вышел из-за стола, выбрал свободное место и, взмахнув руками, встал на голову.

«Что вы делаете?»

«Баронесса, – сказал я с пола, – мне так легче собраться с мыслями».

XXI

Обыкновенно, изъясняясь на языке аборигенов, я непроизвольно начинаю на нём же и думать или по крайней мере приводить в порядок свои мысли, теперь же я заметил, что думаю по-русски. Полагаю, со мной согласятся, если я скажу, что язык родных осин удивительно хорошо приспособлен к тому, чтобы размышлять на нём, находясь в позе, которую я продемонстрировал моей собеседнице.

«И долго вы так будете стоять?»

«Всего три минуты, дорогая», – сказал я. Мы снова сидели за столом, перед оплывшими свечами. Над чёрными руинами в камине плясало бесовское пламя, это была агония. Баронесса встала и вернулась, сияя улыбкой, неся два высоких бокала и в крахмальной салфетке бутылку в оранжевом уборе под цвет её кимоно, сереброголовую, с портретом знаменитой вдовы.

«Я считаю, нам нужно отпраздновать нашу свадьбу!»

«Вы ещё не получили согласие жениха», – сказал я холодно.

«Ах да, согласие... – Меня смерили длинным взглядом. – Я считаю, – внятно сказала она, – что мы должны отпраздновать нашу свадьбу».

Я отделил станиолевую обёртку, снял проволочный предохранитель, медленно, угрожающе вращая куполообразную пробку, сдерживая напор газа, я смотрел в глаза моей сообщнице, это был поединок зрачков; я почувствовал, как дёрнулась моя щека, слабый хлопок, словно отдалённый взрыв, нарушил молчание, лёгкое облачко курилось над горлышком, ледяной напиток полился в бокалы. Стоя мы ждали, когда осядет пена. Мы напоминали дипломатов двух враждующих государств. Медленно, с опаской были вознесены кубки. «Prost!» – и она назвала меня по имени.

«Prost».

Я спросил, подняв брови: не подкинуть ли ещё дров в камин?

Она покачала головой. Я заметил, что её взгляд изменился: что-то почти умоляющее.

Она промолвила – холод шампанского проник в её голос:

«Между прочим, отвернуться от дамы, когда она бросает вам цветок, это... по меньшей мере невежливо. Знаешь что... Ведь мы теперь на ты, не правда ли. Я понимаю, что так просто это не делается... Не надо сейчас об этом думать. Предоставь вещам идти своим естественным ходом».

«Естественным?»

«Конечно. Разве это не естественно, если мужчина и женщина остаются наедине, и... ясно, что дальнейшее неизбежно?»

«Неизбежно?»

«Да».

«Мне кажется, – сказал я, – в нашей ситуации есть что-то комичное».

«Может быть... Отнесись к этому легче. Русские из всего делают проблему. В конце концов, это действительно забавно: представь себе, что у тебя интрижка с дамой из хорошего общества. Нет, нет, – она помотала головой, – я говорю не то. Совсем не то. Лучше помолчим. Представь себе, что...»

Она подвинула мне свой бокал.

«Бывают неудачи», – заметил я, берясь за бутылку.

Она обвела меня искоса ироническим взглядом.

«Вот что тебя волнует», – сказала она.

Мы вновь осушили рюмки. Я бы даже сказал, бодро осушили. Возможно, вдова Клико была виной тому, что диалог стал принимать игривый характер. В конце концов, выносить пафос можно лишь в небольших дозах. И мы попытались найти убежище во фривольности.

«Не то чтобы волнует, но... Всё бывает».

«Ты хочешь сказать: не всё бывает. Станный разговор... накануне брачной ночи. В конце концов, впрыснуть два миллилитра – или сколько там – мужского семени, разве это так сложно? О, извини, – сказала она, смеясь. – Сама не знаю, что говорю!»

«Ты говоришь то, что думаешь».

«Может быть, но слова всё искажают. Я думаю обо всём сразу. Это судьба... Ты веришь в судьбу?»

Я пожал плечами.

«Ты находишь меня недостаточно привлекательной?»

«Я этого не говорил».

«Хорошо, тогда я сама скажу. Сначала налей мне... только немного... это вредно для ребёнка. Ты говорил, что я похожа на портрет Дюрера. Другие тоже говорят. Но ведь эта дама, согласись, не так уж уродлива! Да... да... – говорила она, теперь уже глядя не на меня, а в пространство, – я не юная девушка. Но позволь тебе напомнить: жёны, не слишком влюблённые в своих мужей, хорошо сохраняются, это давно замечено. Они не засыхают, как старые девы, и это понятно: вследствие регулярного полового

контакта. Но и не расходуют зря свои силы. А я к тому же ещё была добродетельной супругой».

«Света-Мария... зачем ты мне всё это говоришь?»

«Ты недурно сложен, для мужчины это самое главное. Залог полноценного отцовства. Но ты, возможно, не обратил внимания... должного внимания, что и я... Мои платья не дают ясного представления... Уверю тебя, я сложена на диво. Ничего лишнего! У меня в меру широкие бёдра. Мой зад выступает ровно настолько, насколько это требуется. Живот без складок, живот не рожавшей женщины. У меня грудь, которой позавидует любая девчонка. У меня маленькие, немного расставленные, прекрасно сформированные железы с розовыми сосками. Хочешь, чтобы я продолжила это описание? Плесни мне ещё немного... капельку».

XXII

Пауза. Я намерен сделать паузу. Я огляделся: сколько уже было в моей жизни таких пристанищ, голых обшарпанных стен, подтёков на потолке. Всё, что я забираю с собой, книги, зимнее пальто и, само собой, моё профессиональное обмундирование – штаны, балахон, древняя касаторовая шляпа, к которой я питаю суеверную привязанность, – все это частью сложено в чемодан, частью висит на стуле. Прочее мне не принадлежит. В положенный срок внесена квартирная плата, правда, я ещё не предупредил жилищную компанию о том, что освобождаю свою конуру. Я вернусь, чтобы захватить этот скарб. Они могут потребовать, чтобы я произвёл ремонт, но с меня, как говорится, взятки гладки. Я принял решение, хотя ещё не знаю в точности, какое. Не буду рассказывать о формальностях, о сидении в коридорах всем нам знакомого учреждения, где, кстати, произошла у меня встреча со старым приятелем. В дальнем конце возникла, валкой походочкой приблизилась фигура Вальдемара. «Алала!» – услышал я эллинское приветствие. Я уже говорил, что не знаю, кем он был; отчего бы ему не быть греком? Теперь он был в длинной седой бороде, которую, я думаю, специально отбеливал; есть такие снадобья.

«Ты чего здесь торчишь?»

«Да вот, сию...»

«За пособием пришёл, что ль?»

«В этом роде».

Вальди выразил удивление, что давно не видел меня на рабочем месте.

«Если ты имеешь в виду редакцию, – сказал я, – то её больше не существует».

«Накрылась?»

«В этом роде».

«Ну и хрен с ней. Я не об этом. Кстати: за тобой должок!»

«После отдам», – сказал я.

«Когда это, после?»

Мы ещё немного потолковали. Прохвост сумел-таки после смерти нашего пахана окончательно закрепить за собою его прерогативы. Не знаю только, счёл ли своим долгом взять на себя его заботу о нас. В это время на табло появился мой номер, замигал огонёк над дверью.

«Я тебя везде найду!» – крикнул он вслед.

Выйдя из кабинета, я огляделся: коридор был по-прежнему полон страждущих; Вальдемар исчез; я спустился по лестнице в вестибюль, вышел на улицу, поглядел в обе стороны, дорога в мир была открыта. На углу я сунул три монеты в щель автомата, снял трубку и набрал номер. Я брёл мимо вывесок и витрин, настезь открытых дверей кафе, кое-где столики снова стояли снаружи, кое-где за стёклами уже сияли шестиугольные звёзды, близилось Рождество, была оттепель, всё ещё продолжалось неопределённое время года. Навстречу мне постукивали каблуками женщины, маршировали мужчины в плащах нараспашку, плелись старухи, и на всех лицах играла, как солнце на поверхности вод, обманчивая весна; я шёл без цели и направления, почти весёлый, беззаботный, как этот город, по которому некогда брёл юноша-монах в чёрном плаще с капюшоном и видел в небе огненный меч возмездия. Но до огня и пепла было ещё далеко. В самом деле, времени было хоть отбавляй; я вышел к скверу и вольготно расселся на скамье. Спиной ко мне, окружённый цепями, сидел на постаменте позеленевший бронзовый монарх.

Известно ли ей, кто это, спросил я Марию Фёдоровну, когда она опустилась на скамейку рядом со мной. Она покачала головой.

«Надо знать историю нашей новой родины», – сказал я наставительно, принял из её рук банку кока-колы и аккуратно завернутый бутерброд и прочёл учёную лекцию. Спор герцога с князем церкви, судьбоносный спор, разгорелся из-за того, что люди епископа собирали дань с купцов из южных земель, а герцогу ничего не доставалось, и тогда он приказал разрушить переправу и выстроил собственный мост выше по реке, откуда всё и пошло. Зависть, сказал я, породила этот привольный город.

«Но мы не станем никому завидовать. Мы не будем завидовать горожанам, у которых есть собственные квартиры, мебели и фарфоры, и автомобили, и... загородные дома, и...»

«О ком это ты?»

«О всех».

«А кто это – мы?»

«Мы – это я», – сказал я торжественно и ткнул пальцем себе в грудь. Жестянка полетела в урну. Бледное солнце выглянуло из марли облаков. Я хлопнул себя по коленям, мы поднялись.

«Ты что-то задумал?»

«О нет, я ничего не задумал. В том-то и дело, что я ничего не задумал. Но зато я принял решение».

«Какое?»

Я вздохнул. «Вот этого, Маша, я пока ещё не знаю. Но ведь главное – решить. А что именно, посмотрим».

Помолчав, она сказала:

«Ты бы мог поселиться у меня».

«Маша, – проговорил я. – Известно ли тебе, что такое зов нищеты?»

Она поджала губы.

«Слышала ты когда-нибудь её тайный голос: бросай всё...»

Она посмотрела на меня сбоку. По-видимому, она хотела сказать: но ты же культурный человек, – что-нибудь в этом роде, на что я мог бы ответить, культурный, а что это значит? Не исключаю, что я казался ей слегка невменяемым. Мы шагали мимо старинных, украшенных скульптурами и лепниной особняков, чугунных решёток и маленьких львов, сидящих, точно дети на горшках, на своих постаментах, мимо аккуратных безликих зданий, выстроенных на развалинах и пожарищах, мимо голых деревьев, где высоко на суках висели похожие на гнёзда растения-приживалы, где сидели, задумавшись, чёрно-лиловые птицы, по мокрым песчаным дорожкам, где мальчишки мчались на карликовых велосипедах, с красными флажками на длинных качающихся жердях бамбука за спиной, словно конные самураи. Держась за руки, мы спустились по каменным ступенькам к воде. Мост гремел высоко над нашими головами.

До зимы было ещё не так близко, настоящая зима в наших палестинах начинается в январе, но народ запасается одеялами, воровства здесь не бывает, кто-нибудь притащит жаровню, люди живут коммуной. В крайнем случае, сказал я, зимуют в приюте, можно ночевать в метро, бургомистр заблаговременно распорядился не запирать двери в морозные ночи. Бургомистр даже посетил как-то раз это убежище. В газете была статья и фотография.

На сухой площадке между бетонными плитами берега и каменным быком, стояли деревянные койки, ржавые железные кровати, комод с телевизором, газовая плита; на плечиках висел фрак, порыжевший от старости и невзгод, стояло облупленное пианино, на котором владелец, облачившись во фрак и цилиндр, в перчатках с обрезанными пальцами, играл в рождественские дни на базаре Христа-дитяти, для чего пианино выволакивали наверх и грузовичок вёз его на главную площадь города. Исто-

ченный червяком шкаф, переживший все царствования и войны, с остатками деревянной резьбы, с чёрным исцарапанным зеркалом отгораживал угол для желающих воспользоваться двуспальной кроватью. Марья Фёдоровна взглянула на меня, я пожал плечами. Устанавливается очередь, сказал я.

XXIII

Мало того, что я забыл о случившемся. Из памяти начисто выветрилось время, три или четыре года тому назад, когда я сам по собственной воле чуть было не отправился к праотцам. С тех пор я был осуждён, если можно так выразиться, на пожизненное существование. Но сейчас мысли заняты были другим, я снова куда-то ехал. Так как движение поездов временно было прекращено, я поднялся следом за всеми по эскалатору, рассчитывая воспользоваться наземным транспортом; было пасмурно, смеркалось. Угрюмая толпа штурмовала автобус. Снова, как навязчивый сон, как сон во сне, изнурительная езда в лабиринте тусклых улиц, по кривым ухабистым переулкам, в тряске и духоте, в испарениях мокрой одежды, мелькание огней, дождь, ползущий по чёрным стеклам колышающегося автобуса. Дождь лил всё гуще, экипаж остановился посреди водной глади, люди старались перепрыгнуть с подножки на тротуар. На моё счастье ливень стал утихать; оглянувшись, я увидел, что никого больше нет, ни автобуса, ни людей. Нечего было удивляться, что я не сразу отыскал дом и полуразрушенный подъезд, ведь прошло столько времени; и, однако, ничего, в сущности, не изменилось. Единственная новость – фонари, лунное сияние газосветных трубок. Память возвратилась ко мне. Лучше сказать, я вернулся в свою память, как в мёртвый дом. На постели лежала моя жена.

«Т-сс, – прошептал я, – только не пугайся».

Она села на постели. Я нащупал выключатель, свет зажёгся над столом в оранжевом абажуре, остальное – кровать, стены, тускло отсвечивающий шкаф, циферблат часов – было погружено в полумрак.

Я принёс ей домашний халат, она накинула его на плечи поверх ночной рубашки, сунула руки в рукава, поднялась – я подвинул ей домашние туфли – и завязала пояс. Мы сидели за столом, она сказала, можно вскипятить чай, есть остатки ужина, осведомилась о багаже, я ответил, что оставил вещи в камере хранения, но тотчас сообразил, что этого не может быть, поправился, сказав, что приехал налегке, она недоверчиво взглянула на меня, едва начавшийся разговор заглох. Она взглянула на часы. Я сравнил их с моими наручными часами, стоят, сказал я. Она возризила: «Тебе надо перевести свои часы».

Я пробормотал:

«Значит, слух оказался ложным».

Она рассеянно кивнула, очевидно, поняв, о чём я говорю. Она хотела подняться, я остановил её жестом. Она провела рукой по волосам.

«Ну, рассказывай», – сказала моя жена.

Я ответил ей вопросительным взглядом.

«Как ты там живёшь. Обзавёлся семьёй?»

Я покачал головой.

«Очень уж ты облез, – сказала она. – Надолго приехал? Где собираешься остановиться?»

Я усмехнулся. «Знаешь что, – сказал я, – может, я сам приготовлю? Я всё найду!» – крикнул я, выходя на кухню.

Мы снова сидели друг перед другом, под абажуром, помешивая в чашках, где кружились маслянистые блики.

«Надолго, – промолвил я, пробуя с ложечки обжигающий чай, – ты спрашиваешь: надолго? А как ты сама думаешь?»

«Откуда мне знать».

«Как можно спрашивать, – я дул на ложечку, – как можно спрашивать, зная о том, что со мной здесь произошло?.. Он не остывает!» – возмущённо сказал я.

«Потерпи немного. Налей в блюдце».

«Да если бы и не произошло... В этой стране нельзя жить. Я бы просто загнулся в этой стране! Вот ведь и ты...» – я осёкся.

«Слух оказался ложным», – сказала она спокойно.

«Слава Богу», – пробормотал я.

Она сказала:

«Значит, так. Жить здесь невозможно. Всё ужасно – начиная с чая...»

«Да – и кончая этим гнусным переулком, этими грязными, необрунными улицами, вечной толчеей, этим всеобщим, застарелым, неизлечимым хаосом, этой вечной неустроенностью, этим наглым презрением к человеческой личности!»

«Ну вот, теперь ты можешь спокойно пить свой чай... Ты завтра уезжаешь?»

Я сидел, опустив голову.

«Ляжешь там, – она кивнула на необрунную постель. – Я себе постелью на полу».

«Что ты, Катя, – сказал я испуганно, – с твоим здоровьем!»

«Как-нибудь пересплю ночь. Когда тебе надо вставать?»

«Мне? – спросил я. – Ах, ну да... Чуть было не забыл».

«Что ты бормочешь?»

«Я хотел тебе сказать, Катя...»

Свет абажура, тишина и тепло разморили меня. Слова, как обсосанная карамель, прилипли к зубам, я чувствовал, что мне трудно говорить на своём родном языке, – я уже упоминал о том, как трудно произнести вслух некоторые вещи на родном языке. Станный хохоток вырвался из моей груди, я проговорил:

«А зачем мне, собственно, рано вставать? Я хотел спросить... Может, мне остаться?»

Она подняла брови.

«Я вернулся, Катя, – сказал я. – Вернулся. Ничего не поделаешь».

Чай остыл.

ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ

Tes cheveux, tes mains, ton sourire rappèlent de loin
quelqu'un que j'adore. Qui donc? Toi-même.

M. Yourcenar. Feux¹

С тех пор как живой огонь смоляных факелов, масляных плошек, свечей, керосиновых ламп больше не озаряет человеческое жильё, уступив место беспламенному освещению, мир стал другим, вещи смотрят на нас иначе, и бумага ждёт других слов. Но нет, это всё те же слова.

В области технологии попятное движение возможно так же, как и на лестнице живых существ. Приспособление, стоявшее на столе, представляло собой именно такую регрессивную ступень, зато имело важное преимущество перед более совершенным предшественником, а именно, экономило дефицитный керосин. Уничжительное название «коптилка», возможно, указывало на недостатки с точки зрения экологии и защиты окружающей среды, но экология была изобретением позднейшего времени.

Проще говоря, это была всё та же керосиновая лампа, с которой сняли стекло и отвинтили железный колпачок с узорным бордюром. После чего можно было прикрутить фитиль до чахлого огонька, повторённого в тёмном окне, где виднелось призрачное лицо пишущего. За вычетом некоторых частностей, – к ним следует отнести прошедшие годы, – это тот же персонаж, который и сейчас предаётся этому занятию, описывает комнату, архаический осветительный прибор и самого себя, склонённого над тетрадкой. Пишущий описывает пишущего. С пером в руке, зачарованный собственной решимостью, он застыл, вперив в огонь сузившиеся зрачки; в этот момент его застаёт наше повествование.

Жёлтый огонёк в запотевшем оконном стекле прыщет искрами, перо, забывшись, ворошит маслянистые чёрные останки в чашечке горелки.

Двойной тетрадный листок, лежащий перед подростком, исписан до конца. Остаётся перечитать, он медлит, как Татьяна над письмом Онегину. Остаётся сложить и сунуть в конверт. Но в те годы почтовые кон-

¹ Твои волосы, твои руки, твоя улыбка издали напоминают мне кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. – Маргерит Юрсенар. «Огни» (*фр.*).

верты вышли из употребления. Письма сворачивали треугольником. Он сам склеил конверт. И чем дольше он вперяется в огонь, чистит перо о край чашечки и вновь пытается подцепить обугленный остов таракана, тем настойчивее трубит рог судьбы, тем сильнее восторг и зуд небывалого приключения. Такое зудящее чувство испытывает человек перед тем, как сигануть с вышки в воду. Он встаёт. Ему представились сумрачные леса, отливающий оловом санный путь.

Грёзы памяти прочнее зыбкой действительности. Случись нам однажды посетить места далёкого прошлого, мы увидели бы, что с действительностью произошло что-то ужасное, всё изменилось, разве только лес и река остались прежними под тёмным пологом туч; мы с трудом узнали бы этот жалкий сколок с немеркнувшего воспоминания; и совершили бы насилие над собой, если бы захотели соединить эти новые впечатления с тем, что живёт в памяти, надругались бы над памятью, которая не верит в искажённую, выродившуюся действительность и попросту не желает её признавать: так богатое процветающее государство не хочет впускать к себе оборванцев.

Мальчик стоит посреди комнаты, в коротком пальто, из которого он вырос, шапка-ушанка в руке; перед тем, как дунуть на огонёк, он видит в окошке своё лицо, освещённое снизу, как у преступника. Сейчас он выйдет. Та же дорога, что и тогда. Но тогда, две недели назад, был солнечный день, снег скрипел под ногами. Тогда... о, сколько лет этот день ещё будет стоять перед глазами. Она шагала в полушубке, в платке, из-под которого выбились её пряди, в юбке чуть ниже колен и маленьких чёрных валенках, глядя под ноги, держа правую руку в варежке перед грудью, левой помахивая от бедра в сторону, в такт шагам. Все эти мелочи, на которые прежде он не обратил бы никакого внимания. Когда он догнал её при выходе из больничных ворот, она сказала: «А я даже не знаю, в каком вы классе». Вместе прошли весь путь, два или три километра от больницы до районного центра, о чём говорили, не имело значения, забылось, остался звук её голоса, морозный румянец, ослепительный день; и то, как она шла, легко и уверенно ставя ноги в валенках, по утоптанному скрипящему снегу, в юбке немного ниже колен и хлопчатобумажных чулках, шла, внимательно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, рука в шерстяной варежке перед грудью, другой помахивая от бедра в сторону, как делают женщины, что придавало ей забавный деловой вид. Оба должны были идти по сторонам скользкой дороги, отступали в снег, чтобы пропустить встречную подводку, шли по обочинам, сходились, шагали рядом.

Когда это началось? Когда затеялась эта история, всегда одна и та же, сколько о ней ни вспоминать, ибо она держится на нескольких более или менее прочных фактах, словно палатка на колышках под порывами ветра, и всегда другая, оттого что так называемые факты разбухают новыми подробностями, ветвятся, соединяются и даже меняют свою после-

довательность. Образ девушки, неколебимый, как фатаморгана, стоит над всеми событиями. Ибо, как сказано, «там» ничего не изменилось, ни лес, ни заснеженный берег, ни дорога, по которой она шла, откидывая руку в сторону, глядя под ноги, чтобы не поскользнуться, а может быть, для того, чтобы не смотреть на спутника. Всё как прежде, и если бы через много лет по неслышанному стечению обстоятельств мы увидели её снова, если бы нам сказали: вон та сморщенная старуха, это и есть она, – возмущённая память отшвырнула бы её прочь.

В который раз воображая всё сызнова, – для чего не требовалось усилий, достаточно было припомнить одну какую-нибудь сцену, одну подробность, перо с загнутым кончиком, называемое «селёдкой», огонёк на столе и в оконном стекле, – достаточно было вспомнить, и сам собой приходил в движение весь механизм, – воображая или, лучше сказать, восстанавливая эту историю, подросток, который давно уже не был подростком, столкнулся с проблемой особого рода, мы бы сказали – с грамматической трудностью. Всё ясно и просто, пока вы пишете о других. И насколько сложнее найти в мешанине событий и лиц подходящую роль для себя, другими словами, подобрать для себя подходящее местоимение. Странная коллизия, которая показывает, как трудно уживаются память и повествование. Оба лица глагола – и первое, и третье – были несостоятельны. Он говорил о себе: «он», «его отражение в запотелом стекле», представляя себе того, кем уже не был, – он писал о другом. Но другой, тот, кого давным-давно не существовало, был он сам, был «я». Он был тем же самым, он был другим. И он чувствовал, что местоимение первого лица расставляет ему ловушку, тайком выпускает через заднее крыльцо в заколоченный дом памяти того, кому находиться там не положено. Если и удалось бы отделить себя от того, прежнего, то уж никак невозможно отделить прежнего – от себя нынешнего.

Литература находит выход, пусть конформистский, рабский, в цепях грамматики, которые она сотрясает, приучая читателя к зыбкости глагольных форм, условности местоимений, а значит, и к зыбкости точек зрения; литература шепчет: не доверяй «ему», на самом деле это я, скрывшийся под личиной повествователя; но не полагайся и на «меня», ибо это не я, а некто бывший мною; не верь в то, что ты имеешь дело с вымыслом, это всего лишь этикет литературы, *единственный вымысел этой повести – то, что она притворяется вымыслом*; но и не обольщайся мнимой исповедальностью, на самом деле «я», как и «он», – не более чем соглядатай.

К этому времени – четырнадцать, пятнадцать, надо ли уточнять? – окончательно прояснилось, кем он будет или, вернее, кем он стал. Чем туманнее были его представления об этой профессии, тем прочней была его уверенность. Предчувствие этой судьбы давно давало себя знать – в баснословную старину, обозначаемую словами «до войны», во времена,

от которых подростка теперь отделяло такое же расстояние, как расстояние от юноши до дремучего старца. Откапывая первоисток, будь то начало любви или рождение страсти к писательству, мы убеждаемся в неисчерпаемости прошлого, похожей на неисчерпаемость древней истории.

Идея, прочитав что-нибудь, сочинить нечто подобное, но ещё лучше, — когда она появилась? Он прятал тетрадки с рассказами и стихами, рисовал на узких бумажных рулонах приключенческие фильмы и писал пояснительные титры, как было принято в настоящем кино. *Это случилось в Париже, в один из тёплых летних вечеров 193... года.* Его литературные амбиции распространились на все роды словесности, он писал романы, поэмы, критические статьи, учёные трактаты; мало что доводилось до конца, большей частью ограничивалось первой главой или прологом; новый замысел оттеснял предыдущие. Всё становилось предметом литературы; всё стало литературой. Было ли ею и это письмо? Любовь и словесность вступили в заговор. Вот оно, уже заклеенное, которое автор вертит в руках. В десятый раз перечитывает адрес. Мальчик стоит посреди комнаты, тень в огромных валенках, в пальто, из которого он вырос, дважды переломилась от пола до потолка, и чьё-то лицо, освещённое снизу, следит из окна. Он сунул конверт за пазуху, нахлобучил ушанку, слабая керосиновая вонь от потухшего светильника повеяла ему вслед. Влажный ветер ударил в лицо. Была оттепель.

Под тёмным небом, в оловянной ночи он брёл краем дороги, чтобы не промочить валенки, неся в кармане письмо с адресом, который не отличался от его собственного, — ведь она жила в том же доме-бараке, второе крыльцо, — письмо, содержащее нечто такое, что никогда и ни под каким видом не может быть произнесено вслух. Как если бы он прошептал ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *parlant sans parlant*¹, как выражается персонаж одного романа, где объяснение происходит в полуреальной обстановке карнавала и вдобавок не на родном языке. Подросток никогда не слышал об этой книге. Но, в конце концов, все наши поступки уже описаны кем-то. В это время та, для которой предназначалось оглушительное известие, дремала на топчане в инфекционном бараке, накрыв ноги казённым одеялом, рядом со столиком дежурной сестры. Пока ещё она ни о чём не подозревает.

Но когда же всё-таки это началось? С чего началось? Был летний день, один из первых горячих дней, народ собрался на пологой лужайке, вероятно, это были дети больничной обслуги, женщины в светлых платьях сидели на траве, не решаясь раздеться, и вода сверкала так, что больно было смотреть. И кто-то уже сходил к песчаной отмели босиком, придерживая подол, а вдали, на тёмно-сверкающем просторе, мимо зелёной кромки противоположного берега, длинная чёрная баржа тянулась следом

¹ Говоря и не говоря (*фр.*; Т.Мани, «Волшебная гора»).

за пароходиком, над которым курился дымок; кто-то, приставив ко лбу ладонь, старался прочесть название полукругом над парходным колесом. Не оттого ли мы склонны приписывать особенное значение мимо-лётному эпизоду, что смотрим на него из будущего? Зная о том, что за этим последовало, мы говорим себе: вот решающее мгновение, вот когда сделана первая инъекция эротического наркотика, а на самом деле – что было на самом деле?

Несколько минут спустя докатившаяся волна плеснула на прибрежный песок, забрызгав подол платья; и ватага с визгом, с уханьем бросилась вперёд, в блеск реки и бледную голубизну неба. Посреди этого детского лягушатника, белея круглыми плечами, в воде до начала груди стояла чужая и незнакомая, неизвестно даже, как её звали, кругло стриженная. Кого же она напоминала теперь, в воспоминаниях: ту, которой стала позже? И да, и нет.

И ещё меньше, чем тогда, на реке, когда она стояла, шурясь от солнца, среди кувыркающихся мальчишек, ещё слабая, с не успевшими отрасти волосами, сама похожая на болезненного крупного мальчика, стесняясь выйти и не решаясь пуститься вплавь, – ещё меньше оснований было бы считать началом этой истории другой день, когда в комнате за перегородкой, где потом поселилась с матерью Маруся Гизатулина, в просвете занавески, заменяющей дверь, лежала на подушке её наголо стриженная голова, покоилось бледное лицо с закрытыми глазами. И когда она вышла в первый раз на крыльцо, в рубашке, весенним днём, – можно ли утверждать, что с этого дня, в эту минуту всё началось? Нет, конечно. Слишком часто память приписывает незначимым впечатлениям профетический смысл.

В эти дни повторился кошмар молниеносной войны. Вновь, как минувшим летом, армия панически отступала. Вал нашествия прокатился по степи к Дону, оттуда, согласно безумному замыслу верховного стратега, полчище повернуло на юг, прорвалось к Кавказу, горные егеря вскарабкались на Эльбрус и всадили красное, цвета крови знамя с белым диском и свастикой в каменную расщелину. Другая часть наступающих войск устремилась к излучине Волги. Когда перед генералами открылась вся неоглядная, залитая солнцем, мерцающая, неподвижно-текучая ширь, с едва различимым другим берегом на горизонте, они были поражены, ничего подобного они не видели у себя на родине. Город, растянувшийся на пятьдесят километров вдоль правого берега, был окружён с трёх сторон. Далеко в тылу, в Виннице, в новой штаб-квартире, фюрер изнывал от украинской жары. Город нужно было взять во что бы то ни стало. В Москве вождь, слывший величайшим полководцем и никогда не выезжавший на фронт, издал приказ: «Ни шагу назад». Эвакуация населения была запрещена. Две трети развалин с их обитателями были в руках врага. В подвале универсама на бывшей площади Героев

революции сидел главнокомандующий. Река, вся в пламени, стояла перед глазами, но оставалась недостижимой. Город на Волге утратил стратегическое значение, но его надо было взять. Город удалось отстоять, но его уже не существовало.

Тем временем части, незаметно подтянутые с фланга, в ста пятидесяти километрах к северо-западу, применили тактику, которую переняли у противника. Артиллерия ударила всей мощью на узком участке, после чего туда устремились танковые подразделения и пехота. Навстречу, с юго-востока, двигались войска, чтобы сомкнуться с ними. Над половецкой степью пошёл снег. Фланги охраняли румынские части, чей боевой дух уступал немецкому. В темноте танки подошли к узловой станции и включили фары перед мостом через Дон. Окружение завершилось на пятый день после начала операции. Фюрер из штабквартиры запретил попытки прорвать с боями кольцо, что означало бы отступление. Оставалось погибать под бомбами, в летних шинелях, от мороза и нехватки продовольствия. Некая Лизель из Аахена, семнадцати лет, послала слёзное письмо солдату, чьё имя осталось неизвестным: зачем он сделал её такой несчастной, все смотрят на её раздувшийся живот. Мать девятнадцатилетнего гренадёра 16-й танковой дивизии Рольфа Бергера написала сыну, что знает о том, что он сидит в котле под «Штталлиградом», давно ничего от него не получала. Письмо (вернувшееся, как и письмо Лизель, со штампом «Пал за Великогерманию») было написано в комнате за глухо задёрнутыми чёрными шторами при свечах, электричество не функционировало после налёта британской авиации. На другую ночь налёт повторился, и от дома ничего не осталось. Студент Валентин Егоров, рядовой, двадцати одного года, раненный на станции Калач, выжил и, оставшись без рук и ног, лишился возможности покончить с собой. Генерал Чуйков потерял в руинах города почти всех своих солдат. Вместе с погибшим населением Сталинграда потери от всей операции приблизились к двум миллионам. От 250-тысячной армии генерал-фельдмаршала Паулюса осталось к моменту капитуляции 90 тысяч. Вернулось из плена после войны шесть тысяч. Это была война, в которой победа была такой же катастрофой, как и поражение. Стоимость человеческой жизни сравнялась с ценой членистоногого. Героизм, страх, самоотверженность и волчья жестокость обесценили все остальные чувства. Война перечеркнула культуру. Война разрушила европейское человечество, но об этом никто не думал, выпотрошила души людей, но они этого не заметили. Эти годы уже никто не помнит.

И снова...

Снова эта дорога, армада туч, даль – как мглистое пространство сна. По левую руку холмы, замороженные леса; где-то между деревьями, сейчас не различишь, двойной лыжный след на снежной крутизне. Пристыжённый рекордом неизвестного смельчака, мальчик решил

было тоже съехать с обрыва, стоял там, наверху, между елями, сделал робкий шаг, подтянул другую ногу, лыжи висели над пропастью, в следующее мгновение он уже летел вниз в свисте и громе ветра, почувствовал слабость в ногах и несколько раз перекатился через голову, раскинув ноги с лыжами, растеряв палки, в фонтанах снега. К счастью, никто не видел его позора. От быстрой ходьбы становится жарко, он стащил с головы шапку, вытер шапкой мокрый лоб, расстегнул пальто, он шагает налегке в облаке пара, письмо в кармане, голова мёрзнет, он нахлобучивает холодную влажную шапку. Отступают, уходят во тьму леса и овраги, всё ближе редкие огоньки, подросток бредёт по безлюдной улице, ещё шагов полтора, ещё каких-нибудь десять домов до каменного двухэтажного дома с вывеской почты.

Сунув в щель конверт, он ждёт, – еще мгновение, и он ринется, как тогда, с обрыва, в громе ветра. Разжать пальцы, только и всего. Письмо упало в ящик. Мальчик подумал, что утром по дороге в школу он успел бы перехватить почтальонку, как все её называли, представил себе, как она роется в сумке, как он выхватывает письмо у неё из рук и суёт в карман. Я передумал, говорит он. И на другой день всю дорогу до школы он думает о том, как она бредёт в тёплом платке, в куцавейке и старушечьей юбке, с сумкой через плечо, мимо лесистых холмов, мимо взрыхлённой крутизны в просвете елей – след его падения, уже запорошённый снежком, – и вот уже видны дымки из труб, больничный посёлок. Старая женщина свернула с тракта. Сейчас, думает он, избегая на второй этаж, она вошла в ворота. Сейчас... Среди беготни и гама, словно сомнамбула, никого не видя, не слыша звонка, он пробирается в класс, опускается на своё место, вскакивает вместе со всеми при появлении учительницы, – сейчас она шагает мимо конюшни.

Сразу же за воротами площадка, жёлтая от навоза и конской мочи, сарай для телег, саней и кибитки главного врача. Налево заваленный снегом огород, брёвна, сваленные Бог знает когда, штабеля дров. Барак для персонала... Вестник в юбке и куцавейке поравнялся с крыльцом, где жили подросток и его мать, где в комнате за занавеской проживала Нюра в те далёкие времена, когда она выздоравливала от брюшного тифа, а потом поселилась Маруся Гизатуллина, она-то всегда ждала писем, и мать ждала писем, но старая тётя Настя прошла мимо. Великий момент! Она остановилась перед следующей секцией.

Кто-то вышел, о чём-то поговорили; почтальонка рылась в сумке; женщина, с самодельным конвертом в руке, воротилась на кухню и, держась рукой за поясицу, наклонилась подsunуть конверт под дверь соседки. Конечно, никто из них не догадывался, *от кого* это письмо. Всё это он представил себе, как если бы стоял рядом, но что если письмо не дошло, затерялось на почте? Между тем тётя Настя двинулась дальше к проходу в плетне, отделявшем жилую зону от больничных кор-

пусов, плелась мимо дома завхоза, мимо бани на пригорке, из толстых брёвен, с единственным маленьким окошком. И тотчас, ни того ни сего, едва только слово «баня» промелькнуло в сознании, эпизод, казалось бы, навсегда забытый, принадлежащий совсем уже архаической эпохе, всплыл в его памяти.

Не считая главврача, завхоза, да ещё полусумасшедшего Марсули, каким-то образом прибывшего к больнице, он был единственным представителем мужской половины человечества в этом маленьком мире; мелкая ребятня, дети полузамужних сестёр и санитарок, разумеется, не в счёт. Главный врач, человек с негнушейся ногой, вместе с падчерицей эвакуировался с Украины, где, по слухам, заведовал чем-то, а здесь стал важным лицом в районе, председателем врачебной комиссии, мог всегда положить к себе двух-трёх призывников с сомнительными болезнями, говорили даже, вовсе здоровых. Главврач с падчерицей мылись первыми; после них шествовал в баню следующий по рангу завхоз Махмутов, пожилой мужик с картофельным лицом, жена в тёплом платке, закутанная до глаз, несла следом тазы для ног, для головы; а далее женщины, их было слишком много, так что мальчик должен был мыться последним, когда горячей воды оставалось на доньшке. На худой конец можно было идти вдвоём с матерью, но мать была не настолько важной персоной, чтобы одной с мальчиком занять баню, а главное, время шло очень быстро; время, казавшееся нескончаемым, тянувшееся, как товарный поезд, – на самом деле, оттого что было наполнено доверху впечатлениями, чтением, планами, – один месяц этого грузного времени был равен многим годам жизни взрослого человека, одной недели хватило бы на целую книгу, – несло вперёд с курьерской скоростью. Он сам не заметил, как перестал быть ребёнком, каким его привезли в начале войны, и уже неудобно было вести его с собой в женскую баню. И оттого, что оно так несло, этот случай отступил в незапамятные времена; придавать ему тайное значение – какового он, без сомнения, был лишён – могла только поздняя память, наделённая свойством беллетризовать хаос жизни, о чём мы уже говорили: искусством манипулировать прошлым, и позапрошлым, и будущим, которое стало прошлым.

Этот случай погрузился в легендарные времена. В те времена, когда Ньюра ещё жила через стенку от них и никакого волнения данное обстоятельство не вызывало, словно это была не она; женщины не обращали на него внимания, а он был слишком занят, чтобы удостоить их вниманием, рисовал карты несуществующих государств, из которых одно напало на другое и стремительно продвигалось вперёд, рисовал линию фронта, стрелы наступающих армий и кружки осаждённых городов, писал статьи для задуманной астрономической энциклопедии, вечерами, глядя на небо, убеждал себя, что открыл новую комету, хотя три звезды, которых он не различал из-за близорукости, по всей вероятно-

сти, были Стожары. Потом астрономия как-то забылась, рисовать стратегические карты надоело, литературные замыслы оттеснили все прочие увлечения; словом, всё это было ещё до того, как Нюра лежала в бреду и за ней ухаживала строгая чернобровая Маруся Мухаметдинова, а другая Маруся ещё не появлялась. До того, как Нюра стояла на крыльце, бледная и остриженная, в чём-то белом, вероятно, в ночной рубашке, зажмурив глаза под весенним солнышком, до того, как её плечи белели в воде посреди барахтающейся детворы, до того, как она переселилась в соседнюю секцию. В эпоху до нашей эры, вот когда это было – и представлялось далёким островком в океане времени, и лишь много лет спустя стало казаться, что он был не чем иным, как вершиной подводного континента.

Женщин было слишком много. Все мылись ужасно долго. Поздно вечером мальчик всё ещё сидел, дожидаясь своей последней очереди, в холодных сенях с заиндевевым окошком, дверь из предбанника приоткрылась, и высунулось красное и блестящее, окружённое космами мокрых волос лицо Нюры, пахло влажным, гниловатым теплом, затхлостью сырого дерева, хозяйственным мылом и ещё чем-то свежим, блестящим, это был запах женского тела; от неожиданности он открыл рот, она замахала руками, ей было холодно, она захлопнула дверь. Когда он переступил порог предбанника, там никого не было. В полутьме на лавках валялось бельё, на крюках висели пальто, платки, стояли валенки. Он стащил с себя пальто и ушанку, поколебавшись, снял всё остальное, толкнул забухшую дверь, толкнулся ещё раз изо всей силы и ввалился в жаркий, жёлтый, тускло-блестящий туман, где, слава Богу, было плохо видно, тела двух женщин белели в тумане, гулкий голос окликнул его. В углу на полке справа от двери, в светящемся облаке, пылала в стеклянной банке керосиновая лампа. Мальчик всё ещё не понимал, зачем его позвали, стеснялся, но увидел, что, занятые своим делом, они не обращают на него внимания, и сам старался не смотреть на их блестящие покатые плечи, крутые бёдра, несоразмерные с верхней половиной тела, большие круглые груди с розоватыми плоскими сосками у Нюры и маленькие, сужающиеся, татарские груди Маруси Гизатуллиной. Вдвоём с Нюрой держали за руки худенькую Марусю, которая, как он помнил, носила имя Марьям, была рукодельницей, целыми часами пела за перегородкой «Тёмную ночь», и «Про тебя мне шептали кусты», и «С неба звёздочка упала», и что там ещё, и сейчас казалась совсем маленькой, на голову ниже мальчика, и не сводила зачарованных глаз с бочки. «Ну, давай, шагай», – приговаривала Нюра. Маруся, застыв от ужаса, не двигалась с места.

«Давай...»

Маруся Гизатуллина поставила ногу на табуретку и, поддерживаемая с двух сторон, встала на табуретку перед бочкой, задев мальчи-

ка круглым влажным бедром. Внутри, в бочке стояла другая табуретка. Маруся попробовала воду ногой и охнула. «Ну чего», – сказала Нюра сурово. Маруся сунула ногу в воду. «Держи, держи, – говорила Нюра, – привыкнешь... Другой ногой становись». Подросток ждал со страхом, что сейчас её придётся вытаскивать и звать на помощь, потому что она сожгла себе всё тело кипятком, но Маруся героически сидела на корточках там, на табуретке, схватившись руками за края бочки, и громко, со свистом дышала открытым ртом, моргая круглыми и блестящими, чёрно-смородиновыми глазами с огромным неподвижным зрачком. «Терпи! – сказала Нюра, строгая, словно на работе, вся розовая, полногрудая, с потемневшими глазами, в шлеме темно-русых, кое-как свёрнутых волос, теперь уже совершенно не стесняясь подростка. – А ты, – она показала рукой на предбанник, – посиди там... – И когда он толкнулся в тяжёлую дверь, крикнула вслед: – Смотри никому ни-ни!» Процедура помогла лишь отчасти. Ночью хлынула кровь, полуживую Марусю принесли на руках в хирургию, и главврач, в халате, кое-как завязанном на затылке, в ботинках на босую ногу, облив спиртом руки, при свете керосиновых ламп сделал то, что было необходимо.

Эпизод, как уже сказано, забылся, забвению способствовало то, что последовало за этой сценой – кровотечение и всё прочее, немедленно ставшее известным, ведь в этом мире женщин ничто не могло остаться тайной. Мальчик ощутил беспокойство, смешанное с непонятной брезгливостью, услышав краем уха о том, что случилось; можно предположить, в чём был смысл этой брезгливости и почему обо всём этом хотелось забыть: аборт (слово, точное значение которого он не знал) означал некоторый взлом женского тела, которое в его представлении (хоть он этого и не сознавал) было чем-то загадочным, и аномальным, и вместе с тем целостно-неприкасаемым, кругло-замкнутым, с плотно сжатой складкой; всё что его разжимало, будь то естественные отправления, кровь или насилие, вызывало в нём отвращение. Мальчик был мужчиной, иначе говоря, адептом девственности. Так получилось, что обе части ночного приключения – баня и то, что последовало за ней, – разделились в сознании, и несчастье, едва не унёсшее Марусю Гизатулину, было репрессировано памятью. Но зрелище двух женщин в тускло-блестящем, пахучем банном тумане отнюдь не пропало бесследно; оказалось – в тот момент, когда он думал о письме, – что оно хранится в дальнем закоулке памяти, словно под замком, который отомкнуло одно единственное слово-ключ; он и стыдился вспомнить, и не мог воспрепятствовать этому воспоминанию.

Пробудило ли оно некое специфическое чувство в подростке? Нет, мы этого не думаем; скорее чувство экзотики, внезапное откровение красоты и гибкости этого тела, чьё совершенство, может быть, нарушала

лишь потемневшая от влаги дельта внизу живота; не зря ваятели древности избегали изображать эти волосы. Но, как и все архаические воспоминания, образ полногрудой и круглобёдрой девушки-богини не мог связаться с той Нюрой, которая сказала: а я даже не знаю, в какой вы классе; с восторгом совместного пути по скрипящему снегу, морозным утром из больницы в село.

Лето кончилось, уже не купались, и горячий солнечный день, когда она стояла, круглоголовая, похожая на мальчика, с серёжками в ушах, шурясь от пляшущих бликов, и её круглые плечи и начало груди белели над водой, в свою очередь ушёл в легендарное прошлое. Подросток жил тем, чего было в избытке: будущим. Подросток вышел на крыльцо, весь захваченный новым замыслом, словно внезапно налетевшим ветром: то была грандиозная драматическая поэма, в которой должна была отразиться вся история человечества, поэма с прологом на небесах, как в «Фаусте», и эпилогом в коммунистическом обществе. Между тем было нетрудно догадаться по голосам и смеху за перегородкой, что у Маруси Гизатуллиной снова гостит муж. Как спящего будит тревога, а он от неё отмахивается во сне, словно от чего-то несущественного, мешающего, постороннего, так мальчику, которого настойчиво будила жизнь, казались досадной помехой вздохи и скрипенье кровати за стеной. Он дунул на пламя и вышел, ночь была синей, серебряной, где-то за тысячи километров гремела война. И вся жизнь была впереди.

Возвращаясь по узкой тропинке из домика на отшибе, похожего на скворечник, он увидел человека в накиннутой на плечи шинели, который сидел перед домом на брёвнах, сваленных, может быть, ещё до войны. «Что, спать не дают тебе?» – спросил солдат. «Рано ещё», – ответил подросток. «Чего же ты делал?» – «Читал». – «Чего? Ты извини, я плохо слышу. Уроки, что ль, делал?.. Садись, чего стоять».

Он добавил:

«Вон какая лунища».

Подросток молчал, человек спросил, в каком он классе, вопрос, означавший только одно: сколько осталось ещё до призыва? Вытянув ногу, извлёк из разлтых штанов серебряный портсигар, из кармана гимнастёрки вынул мелко сложенную газету, оторвал листок, добыл щепоть махорки из портсигара – всё левой рукой. Правая, обрубок, замотанный во что-то, висела на перевязи. «Куришь? – сказал он, защёлкивая зажигалку. – Давай, приучайся». Усевшись рядом, подросток свернул и стал слюнить цыгарку. «Бумага херовая, очень-то мочить не надо», – заметил инвалид. Он поднёс зажигалку к самому его носу. Мальчик закашлялся. Луна стояла в пустом небе, чёрным оловом обливая лицо солдата, его сапоги, пуговицы шинели. «Откуда будешь?» Эвакуированный, сказал подросток. Солдат кивал, он, очевидно, не расслышал.

«Ну, и как ты тут живёшь, среди баб. Небось какая-нибудь уже... а?.. А самому хочется? – спрашивал он. – Х... стоит?»

«Ты извини, – пробормотал он, – это я так, в шутку. Ты не обращай внимания. И курево, того. Побаловался, и хватит». Он отобрал у него цыгарку, к большому облегчению для мальчика, загасил плевком, ссыпал остаток махорки в портсигар.

«Женщины, это, брат, такое дело, без них невозможно, а свяжешься, тоже одна морока».

Оба смотрели на чёрно-маслянистую траву, начавшую кудрявиться, как бывает осенью, на слабо отсвечивающую дорогу, по ней, оскальзываясь, брела старая почтальонка тётя Настя, чтобы вручить письмо Нюре. Конечно, письмо было позже, зимой; но в воспоминаниях ничего не стоит перетасовать события, и в конечном счёте всё происходит одновременно. «Ну, я пошёл», – проговорил подросток.

«Куда? Посиди, ещё рано. Посиди со мной... Ты её знаешь?»

Солдат сказал, что у него был друг в госпитале; теперь ждёт, обещали какие-то особенные протезы. Такие, что хоть пляши. Одно враньё, сказал инвалид. Нельзя же у человека отнимать надежду.

Этот друг дал адресок. «Привет велел передать... Что народу покалечено, это я тебе рассказать не могу».

Получалось, что солдат с обрубок вместо руки был вовсе не тот муж, который приезжал в прошлый раз, и вообще было не понятно, который из них муж. Подростку казалось, что уже тогда, год тому назад, он был достаточно взрослым, чтобы понять, что означало происходившее в бане, зачем понадобилось лезть в горячую воду; но лишь теперь до него дошла чудовищная связь событий: кровь была расплатой за то, что происходило в комнатке за перегородкой, год тому назад.

Холода, неожиданно рано ударившие в ту первую осень, поначалу оказались кстати, сковали грязь на дорогах, что способствовало успешному продвижению; и очень скоро передовые части оказались в пятнадцати километрах от вожделенной столицы. Командир 12-го артиллерийского дивизиона справился по карте и увидел, что из десятисантиметровых дальнобойных орудий можно обстреливать Кремль. Командир был убит осколком снаряда на другой день, когда началось русское контрнаступление. Мороз рассвирепел, столбик ртути опустился так низко, что его больше не было видно. В прецизионных прицелах ручных и станковых пулемётов замерзло масло. Пехота закопалась в снег; ночью патрули обходили расположение и будили замерзающих. Битюги, тащившие орудия, вязли в снежной каше. Фюрер отдал приказ войсковой группе «Центр» стоять во что бы то ни стало. В Москве вождь и верховный главнокомандующий воскрес духом после того, как чуть было не покинул столицу в роковые дни октября. Несмотря на потерю трёх с половиной миллионов пленённых врагом солдат, армия, попол-

няемая свежими резервами, численно превосходила рать завоевателей. После массированной артподготовки армия двинулась вперёд. Позади наступающих стояли заградительные отряды. Поля и перелески были усеяны трупами и умирающими. Среди них, в темно-розовых пятнах крови на снегу, с раздробленными ногами, всё ещё живой лежал осенний муж Маруси Гизатуллиной, это было наутро после того, как подросток и Нюра держали за руки маленькую, не решавшуюся ступить в бочку Марусю; кровь была обоюдной расплатой.

«А я тебе так скажу: можно и на колёсиках ездить... Зато списан вчистую. А? Чего говоришь-то, не слышу».

Подросток топтался перед сваленными на землю брёвнами. Человек с лопнувшими барабанными перепонками устремил на него вопросительный взгляд.

«Завтра уезжаю, – сказал солдат, – ночь переночую, и...»

Кивнув головой, не прощаясь, подросток вошёл в сени. Конечно, это было раньше, но в воспоминаниях время застывает на месте – или передвигается прыжками. Поближе всмотреться, описать её, вспомнить, какой была она в ту минуту, четыре месяца спустя, когда, постучавшись, вошла к нему в полутёмную келью. Ибо она пришла, вот что поразительно: явилась собственной персоной. Представить себе фильм, мятущийся огонёк на экране, сменяющие друг друга титры. Музыка из «Бориса Годунова» – 1603 год, келья Чудова монастыря.

Камера отъезжает. Коптилка, край стола, рука, держащая школьную вставочку, зрачки сидящего в полутьме, которые он переводит навстречу еле слышному звуку. Кто там, спросил подросток. Прежде чем войти, она поскреблась в дверь. По-видимому, она ужасно стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

Теперь она звалась Анной, Аней. Прошлого не существовало. Слово от летних дождей и снежных заносов, не осталось и следа от времён, когда она ничем не отличалась ни от Маруси с её мужьями, ни от строгой, молчаливой, преданной своему фантастическому жениху Маруси Мухаметдиновой, ни от глупенькой регистраторши Зои Сибгатуллиной, вообще от всякого другого, более или менее юного существа женского пола. Слово не она стояла в воде среди визжащей детворы, не она лежала в бреду, бледная и остриженная. Все воспоминания гаснут в магниевой вспышке настоящего, все сравнения отменены, настоящее ни с чем не сравнимо. Она явилась, выбрав поздний час, когда маленький посёлок спал, только в главном и родильном корпусах и в инфекционном бараке теплились огоньки; когда мать подростка дремала на топчане в закутке для дежурных сестёр, в «общем» отделении терапии и хирургии. Скрипнула тяжёлая дверь на кухне, мальчик услышал жалобу ржавых петель, и всё стихло, словно кто-то не вошёл, а вышел; должно быть, она медлила несколько мгновений и, совсем было

решив, что всё это ни к чему, приблизилась к его двери. Мальчик сидел, устремив глаза на тусклый лепесток огня, впав в бесчувствие; он спросил почти автоматически: «Кто там?»

И она вступила в комнату, неуклюжая, слишком большая, в шерстяном платке, в наброшенном на плечи коротком, до бёдер, суженном в талии пальто на вате и белом платье с прямым вырезом, которое скорее всего было ночной рубашкой. Значит, она уже легла – и раздумывала, что предпринять и стоит ли что-нибудь предпринимать, – и, наконец, встала, сунула ноги в валенки и накинула пальтецо и платок, так что соседи могли подумать, что она вышла по нужде. Похоже, все спали. Она побежала, скрипя маленькими валенками, по снежной тропе к домику на отшибе и, озябая, на обратном пути остановилась возле первого крыльца, думая о письме и о том, что всё это ни к чему, и не зная, что она скажет. Она поскреблась в дверь, там что-то ответили. Она вошла. Было полутемно, стол освещён коптилкой. Она вошла – в блеске и красоте своих девятнадцати лет, пунцовая, нелепо улыбаясь, «а вы ещё не спите?» – пролепетала она, как будто это могло служить извинением за поздний визит. Ответа не последовало, ошеломлённые глаза уставились на неё. «Нюра?» – сказал он наконец. Она села, сжимая на шее воротничок пальто из дешёвого меха. Не найдётся ли чего-нибудь почитать?

В школе, сказала она, её всегда называли Аней, и в училище Аней, только здесь кто-то придумал. Нюра и Нюра, так и пошло. «Но это красивое имя», – возразил мальчик. «Чего ж в нём красивого». – «Хорошо, – сказал он, – так я и буду вас называть».

«Аня», – сказал он.

«А вы всё не спите. Глаза портите».

Он пожал плечами.

«Всё учитесь, так поздно».

В её словах почувдился какой-то ласковый упрёк – или она их произнесла, чтобы что-нибудь сказать? Всё учитесь. Она хотела сказать, делаете уроки. А может быть, имела в виду другое: тетрадь, лежавшую перед ним, из неё, из этой тетрадки, был вырван двойной лист для письма, которое неотступно стояло между ними, связало и вместе с тем разделило их; о котором ни слова, неизвестно даже, получила ли она это письмо.

«Да нет, – пробормотал он, – какие уроки».

Ещё не легли, всё сидите, что-то в этом роде пролепетала она, не эти слова, так другие, надо же было что-то сказать. Но фраза имела мысленное продолжение, ясно было, что она пришла неспроста, никто на свете не усомнился бы в том, что она пришла не случайно. Но мальчик не смел этому поверить. Значит, ты точно так же сидел три дня тому назад, вот что означала эта фраза, сидел и писал... а знаешь ли, что я его действительно получила? Капли инея блестели на её волосах. Мельком взглянув в окно, она отвела со лба выбившуюся прядь, – на среднем пальце

левой руки она носила оловянное колечко, – её глаза скользнули по столу, по раскрытой тетрадке.

«Да нет, какие уроки».

«Что же вы пишете?»

«Что я пишу? Дневник», – сказал он отважно.

Она обрадовалась этой возможности говорить о чём-нибудь, в конце концов можно было повернуть дело и так, что никакого письма не было, и в то же время держаться близкой темы; и что же это, спросила она, демонстрируя несколько преувеличенное любопытство, что это за дневник?

Мальчик ответил, что он записывает события своей жизни и всё, что он думает о людях.

Она поправила пальто на плечах, уселась удобней на табуретке, отвела прядь волос, разговор, напоминавший осторожное продвижение по минному полю, как будто принял более естественный характер, письмо заняло своё место в распорядке вещей; и показалось даже нормальным, что оба помалкивают о нём. И, укрепившись на занятых позициях, она расхрабрилась до того, что задала следующий вопрос, но сейчас же почувствовалось, что они снова приблизились к мине, зарытой в землю: «А мне?» – спросила она, кладя локти на стол и слегка наклонясь, отчего её груди поднялись из выреза рубашки; конечно, это был непроизвольный жест. «А мне – можно почитать?» Её тень простёрлась по дощатому полу, достигла кровати. Но тотчас же она изменила позу, откинулась, подпёрла щеку ладонью, другой рукой, с колечком на пальце, сомкнула пальто на груди, подняла на подростка глаза, серый жемчуг, приготовилась выслушать, что он там написал.

Нюра Привалова никогда не получала любовных писем. За свою жизнь она сменила пять пар туфель и прочла десять книг. Река была главным средством сообщения между городком, где она родилась, и остальным миром, и лишь два или три раза в жизни ей пришлось ездить по железной дороге. Как все её сверстницы, она была одержима мыслью, что её время, время любви, проходит. Как многие девушки её поколения и социальной среды, она видела жизнь без прикрас, хотя могла бы показаться ребёнком девицам её возраста, которые будут жить спустя полвека. Нюра Привалова ещё не получала таких посланий. (Можно предположить, что оно было не только первым, но и последним в её жизни). То, что она прочла там, перечитывала дома и на дежурстве, разбередило её воображение, как только может разбередить воображение литература. Письмо, словно горячий шёпот, звучало в её ушах. Письмо было от ребёнка, и не стоило принимать его всерьёз. Письмо было от мужчины. Письмо возвестило её голосом чревовещателя о том, что она могла бы сказать и сама, если бы умела найти такие слова, о сладостно-стыдном, сокровенно-откровенном; что-то ворвалось в её жизнь, как порыв ветра в хлопнувшую дверь, вознесло её над самой собою, ис-

торгло из монотонного быта, – и вот, она постучалась в комнатку. Она пришла. Зачем? Всякое обожание льстит, и Нюре по крайней мере хотелось взглянуть поближе на того, кто прислал ей такое письмо. Значит, она пришла, чтобы поговорить о письме? Но оказалось, что дразнящая тайна, о которой знают оба, становится ещё увлекательней, когда о ней умалчивают. Вместе с тем почувствовалось, что непроизнесённые слова мешают продолжению; слова служат смазкой, которая застывает, если механизм стоит на месте. Она ждала, что он заговорит первым. Оба, мальчик и женщина, словно не понимали, что уголь, пышущий жаром, подёрнется золой, если его не раздуть.

Она была медицинской сестрой и хорошо знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желёз и что мужики хотят от баб всегда одного и того же; знал ли об этом автор письма? Довольно странный вопрос, но приходится его задать. Мальчику нужно было родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Обречённый вечному сидению перед лампадой, он унаследовал от своих неведомых пращуров культ молчаливого слова, он перенял их надменную застенчивость, их близорукость, размывающую контуры женских лиц. И у него было только одно преимущество, если это можно считать преимуществом: за вычетом двух-трёх человек он был единственным мужчиной в больничном посёлке.

Он спросил, глядя на её руку: из какого это металла? «Это дешёвое кольцо», – сказала Нюра, или Аня, всё-таки он не мог привыкнуть к этому имени, – и с усилием стянула колечко с пальца. У неё были крупные крестьянские руки с короткими пальцами. Мальчик разглядывал кольцо, на внутренней поверхности была вырезана надпись: её имя. Он думал о том, что держит в руке кольцо, которое она всегда, днём и ночью, носит на пальце. Был такой случай, он разглядывал в комнатке дежурного врача огромную книгу в картонном переплёте – и вспомнил о ней по нелепой, стыдной ассоциации. Это была подшивка газеты «Врач». Тонкие глянцевые страницы, дореволюционная орфография, розничная цена, условия подписки, учёные статьи, хроника, смесь, – он листал дальше, – случай из практики: восьмилетний пациент надел себе кольцо из любопытства или озорства. Доставлен с сильными болями из-за отёка головки члена. Фотография: колечко, распиленное на две половинки.

«Почитайте, – сказала Нюра, беря у него кольцо двумя пальцами, стараясь не коснуться его ладони, – что вы там написали. – Он помотал головой. – Отчего же? Это секрет?»

«Там написано о вас».

«Вот и прочитайте».

Он молчал.

«Значит, вы написали обо мне плохое».

«Нет, – сказал он, – наоборот».

Она насунула колечко на средний палец левой руки, помогая себе винтообразными движениями пальца, это был удобный повод опустить глаза. У неё были довольно толстые, сужающиеся к концам пальцы, пухлый, с ямочками тыл ладони.

«Ну тогда я сама прочту, можно?»

Подросток покачивал головой, глядя на огонёк коптилки, и, конечно, спустя много лет не мог вспомнить, о чём, собственно, были эти страницы. Конечно, о том же, так что в сущности ничего нового для неё там не было, но именно это ей хотелось прочесть. Тетрадка, сгинувшая вместе со всеми его сочинениями, серо-голубая обложка с большой римской цифрой, четвёртый или пятый том дневника, стоит перед глазами, словно ещё вчера он сидел над нею перед голодным огоньком; его почерк, говоривший об авторе больше, чем он мог написать о себе, даты, беззвучный грохот войны, которая шла уже на Волге. Ни за что на свете подросток не показал бы тетрадку никому, слишком велики были его авторская стыдливость и авторское самолюбие, но тут перед ним был совершенно особый читатель.

«Дайте, – сказала Нюра, угадав его мысль, – я сама прочту...»

Он закрыл дневник. В этом жесте было что-то от целомудренной бабышки, почти готовой отдался. Он захлопнул тетрадь, как сжимают колени. Они поменялись ролями, теперь она наступала, деликатно и осторожно; дуновение чувственности, овеявшее обоих, пронеслось мимо; она поправила пальто на плечах; ей хотелось услышать то, что было в письме.

«Значит, вы написали обо мне неправду. Раз не хотите дать почи-
тать».

«Нет, – возразил он. – Это правда».

«Вдруг ваша мама узнает».

«Что узнает?»

«Что я у вас так поздно сижу».

Внезапно заколотилось сердце от этой фразы. От признания, что она пришла не случайно, что об их свидании никто не должен знать, от того, что их связала тайна. И, может быть, пришла не от скуки или не совсем от скуки, не из любопытства или не только из любопытства. Додумать до конца эту мысль возможно было лишь спустя годы. Мальчик не догадывался, что в этот вечер он одержал победу как писатель.

Встаёт вопрос, чего он, в свою очередь, «добивался».

Да, собственно, ничего.

Нельзя сказать, чтобы он был чужд тайных и, как считалось в то время, постыдных помыслов и желаний, но право же, ни в каком другом возрасте расстояние между идеальной и плотской любовью не бывает так велико, ничьи целомудренные воздыхания не могут сравниться с упоительным ханжеством подростка. Это была любовь, которая кормилась взглядами исподтишка, видением живой, реальной женщины, цвела и то-

милась, как тепличное растение, в лучах её физической красоты и в то же время отворачивалась от неё, не искала свиданий и могла бы сказать себе, ах, всё это неважно, я буду любить, даже если её краса несовершенна, даже если возлюбленная глупа и вульгарна, любить в ней то, о чём она сама не подозревает, любить ради того, чтобы любить. Поистине кажется удивительным, в перспективе лет – невероятным, что эта любовь могла возвыситься до того, что её «предмет» – женщина в её живой реальности – становился уже чем-то несущественным.

Он употребил несколько смелых выражений, навеянных чтением книг, и легко предположить, что в особенности они, эти выражения, взволновали Нюру, усмотревшую в них неприкрытое желание. Она не могла представить себе, что письмо – как и писательство – может стать чем-то самоценным и самодостаточным, чуть ли самоцелью. Объяснение в любви уже было в некотором смысле осуществлением любви. Потому что всё, что хотел автор, это «сказать» ей. Она должна была знать, вот и всё, знать, что её походка (что в ней особенного?), манера откидывать руку в сторону (так делали тысячи девушек), её выпуклые серо-жемчужные глаза, пухлые губы, хрипловатый голос и самый звук её имени – род наваждения, которое не побуждает ни к каким тактическим замыслам. Это была любовь рыцаря Тогенбурга. Женщина была польщена. С этой любовью, однако, нечего было делать.

Как всякая в её положении, она ожидала дальнейших действий, не особенно задумываясь, чем и как на них пришлось бы ответить. Сказать себе: глупости, не хватало ещё связаться с младенцем, – или сделать встречный шаг, впрочем, еле заметный, поддаться неопределённому соблазну, сказать себе, какой же он малолетка, коли пишет такие письма. Если она пришла ночью, по собственному почину, то этим и ограничивалась её инициатива: перейти по-настоящему в контрнаступление она была неспособна, для этого она была слишком связана репрессивной моралью своего времени и круга; слишком скована, чтобы просто подумать, а не переспать ли с ним. Отсутствовало ли слово «спать» в лексиконе её ровесниц? Мы в этом не уверены. Между тем Нюра была девственницей. Она чувствовала, что с ней и ведут себя как с девственницей, хоть и не отдают себе в этом отчёта, и что робость мальчика должна соответствовать её стыдливости. Довольно было уже и того, что она отважно постучалась к нему, выбрав время, когда мать подростка дежурила в отделении (впрочем, мать подростка дежурила часто, через ночь); довольно было того, что, увлечённая бессмысленным спотыкающимся разговором, забывшись, – мы охотно допускаем, что это произошло произвольно, – она склонилась над столом и её груди, теснясь под рубашкой, поднялись и выступили из выреза. Нюре показалось, что глаза подростка скользнули по ним, это был опасный момент. Она мгновенно выпрямилась, убрала руки со стола и подтянула пальто. И так,

можно сказать, что главным чувством, которое руководило обоими, было чувство отваги. Скучный быт районной больницы, река, похожая на вечность, метели и оттепели – всё сместилось и отступило перед этим событием, и обоим, каждому на свой лад, показалось: их ожидает что-то неизведанное, восхитительно-роковое; обоих соединила высокая тайна и отгородила от окружающих, ветер судьбы приподнял их, может быть, для того, чтобы больно шмякнуть об землю. По неписаным правилам игры, уже учредившей над ними свои права, женщина должна была делать вид, что выходит из дому вовсе не ради того, чтобы встретиться, бежала по снежной тропке от крыльца к домику на отшибе, за конюшней, подросток стоял на крыльце, она возвращалась, медленно шла, опустив голову, кутаясь в короткое ватное пальто, над головой у неё горели Стожары, её лицо казалось чёрным в ртутном сиянии звёзд, и волосы окружал, точно нимб, серебряный иней. Она озиралась. В полутёмных сенях стояли друг перед другом, дрожа от холода, неподвижные, с окоченевшими ногами, печальные, словно брат и сестра, которых ждёт тысячевёрстная разлука, не зная, что сказать друг другу, и когда, наконец, удавалось преодолеть немоту, по-прежнему говорили друг другу вы.

Но сны, проклятье, насылаемое богами! Такая гипотеза хотя бы снимает со спящего ответственность за всё постыдное, что является воображению. Боги вознаградили подростка за его робость, другими словами, мстили ему за его целомудрие. О снах можно сказать, что не мы их видим, но они взирают на нас из каких-то уже не принадлежащих нам низин. Сны не то чтобы демонтировали хрустальный дворец, но как будто водили вокруг него, чтобы впустить во дворец с чёрного хода, – и что же там оказалось? Сон приснился с такой достоверностью, какая не бывает наяву. Они были совершенно одни, это было решающее свидание, кругом тишь и тьма. Где-то в лесу было это и в то же время в тёмных сенях, и мальчик силился что-то сказать, но то ли не мог выговорить ни слова, то ли она не слушала, повернувшись спиной, что-то делала там, он видел её шевелящиеся локти, плечи, склонённый затылок, пока, наконец, не понял, что она снимает с пальца оловянное кольцо. Он понимает, что в этом тесном кольце есть намёк на глубокий тайник её тела, что оно и есть этот тайник, и все его мысли устремлены к нему, можно всё совершить здесь же, в тёмных сенях, и Нюра совсем уже как будто согласна, но за спиной у неё стоит тень, кто-то застучал их, тень Ченцова закрыла звёзды в дверном проёме. Мучительный сон! Вновь потеплело, с утра хлестала мокрая метель, подросток пришёл в село, весь облепленный снегом. Сидя на скучном уроке, он всё ещё вспоминал случившееся ночью, свидание и обманную близость, и, стыдясь самого себя, не мог отделаться от сожаления о том, что сон, неожиданно прервавшись, оказался всего лишь сном.

«Тебе кто разрешил сюда ходить?» Большой Ченцов, ставший местной знаменитостью после того, как однажды утром он исчез из отделения, сидел с папироской на табуретке, греясь на жидком солнышке. Подросток вышел на крыльцо, держа на ладони завернутую в бумагу селёдочную голову, лакомство, которое мать добывала для него на больничной кухне. Подросток смотрел на человека с проплешинами, точно его бесцветные волосы были трачены молью, с неестественно высоким лбом и блестящими серебряными глазами; Ченцов был бледен, худ, одет в старую пижаму из больничной байки и байковые штаны, тощая нога закинута за ногу, на голой ступне болталась туфля-полуботинка с не завязанными шнурками. «У меня есть предложение, – промолвил он, щурясь от дыма, – даже два. Первое. Давай с тобой переведем заново всего Гейне».

Его хватились во время завтрака, как назло в ту ночь дежурила лучшая сестра, строгая и чернобровая Маруся Мухаметдинова, ей и пришлось отвечать. Маруся уже раздавала градусники, когда пришла сменщица, но для ходячих больных измерение температуры, в сущности, было формальностью; при сдаче термометров по счёту одного не хватило, пропал и сам Ченцов, спустя полтора часа он не появлялся, его не было на территории больницы; кладовщица, ехавшая со своей фурой из села, не встретила никого. Случайно подвернулся парнишка из деревни Онучино, в пяти верстах от больницы, если идти в противоположную сторону. Все русские деревни были расположены вдоль по берегу, потому что казаки плыли когда-то на своих ладьях вверх по реке и оттесняли местное население вглубь страны, так объясняла в школе учительница. Малец из Онучина сообщил, что какой-то человек стоял на дороге с часами в руках. Он показал ему эти часы, они были с одной стрелкой: не часы, а компас.

Ченцова нашли, его согбенная фигура виднелась у кромки берега, – река уже потемнела, лёд покрылся водой. Ченцов сидел на вмёрзшей в ноздреватый снег коряге, весь посиневший от холода, в глубокой задумчивости, с термометром под мышкой, он даже не заметил приближавшихся санитарок и до смерти перепуганную Марусю. Без сопротивления дал себя отвести в больницу. На другой день он во второй раз напугал Марусю Мухаметдинову, явившись поздно вечером к ней домой, с букетиком, чтобы сделать ей, по его словам, предложение, даже два. Первое было предложение руки, к которому Маруся отнеслась очень серьёзно, опустив глаза, поблагодарила, но сказала, что у неё есть жених и она выйдет за него, когда он вернётся с фронта; что касается второго, то оно автоматически отпадало после того, как было отвергнуто первое: Ченцов предлагал ехать вместе с ним в Москву.

Было холодно, стояли хрустальные лунные ночи, лёд только ещё собирался двинуться далеко в низовьях; что-то происходило по ночам,

трещали сучья, кричала загадочная птица, – и вот однажды утром блеснули трубы, громыхнули литавры, грянул небесный оркестр. Дорога поднялась над осевшим, посеревшим снежным полем, с голодным верещаньем между грязно-желтыми колеями неслись, тряся тощими задками, криво ставя короткие ножки с копытцами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Подросток швырял в них комьями мёрзлого снега и всю дорогу от дома до школы горланил песни. Он сорвал с головы шапку и крутил её над собой за верёвочку для подвязывания под подбородком. Весна, весна! Пахучий воздух свободы, праздник избавления от изнурительной любви. *Царевич я. Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой унижаться.*

«А второе?»

Ченцов не понял.

«Второе какое предложение?» – спросил подросток.

Больной задумался, засопел, уставился на окурочек и швырнул его в сторону.

«Второе, угу... Хотите знать? – медленно, перейдя на вы, проговорил он. – Я вам доверяю. Хотя, возможно, это несколько преждевременный разговор».

Он поманил пальцем подростка и продолжал вполголоса: «Надо дожидаться, когда установится дорога».

«Дорога?» – спросил мальчик.

«А также судоходство. Неужели вам здесь не надоело?»

«Где?»

«Здесь. В этой дыре».

Мальчик сказал, что нужен вызов.

«Э, чепуха; можно без вызова; когда ещё вызов придёт... А кто вас, собственно, должен вызвать?» – спросил Ченцов.

«Папа».

«Он в Москве?»

«Он на фронте».

«Ваша мама получает от него письма?»

Подросток был вынужден признать, что писем пока ещё нет. Собственно, письма не приходят с тех пор, как они уехали. Ченцов задумчиво поддакивал, кивал головой.

«Он в особых войсках», – объяснил подросток.

«Гм, это, конечно, убедительное объяснение... а вы уверены, что он...? Я хочу сказать, вы уверены, что он жив?»

«Оттуда нельзя писать письма».

«Угу. Да, конечно. Конечно, ты прав. Ну что ж: будет даже лучше. Отец вернётся, а ты уже в Москве!»

Подросток сошёл с крыльца. Ченцов снова поманил его жёлтым от курева пальцем.

«Это пока ещё сугубо предварительный разговор. И – сугубо конфиденциальный. Ты меня понимаешь?»

Подросток кивнул.

«Лучше всего сесть на какой-нибудь другой пристани. Например, в Сарапуле. У меня есть сведения, что там не проверяют... Главное, сесть на пароход, в крайнем случае можно уговорить, чтобы нас взяли на баржу. А там прямой путь до Москвы. Как у тебя с документами? Паспорта у тебя, разумеется, нет, это ещё лучше.»

Подросток колебался. Вообще-то, заметил он, у него был другой план.

«Можешь мне открыться».

Подросток всё ещё молчал.

«Я нем, как могила», – сказал Ченцов.

Мальчик спросил, слышал ли он когда-нибудь об Иностранном легионе.

«О! Легион? Ещё бы. Но ведь, э...»

«Ну и что, – возразил мальчик. – Иностраннный легион на стороне де Голя. Он воюет против Гитлера».

«Я думаю, – промолвил Ченцов, поглядывая по сторонам, – нам надо найти место поудобней... – Разговор продолжался вечером, они обошли с задней стороны инфекционный барак. – Как вы понимаете, дело не подлежит оглашению».

Поднялись на крыльцо регистратуры.

«Надеюсь, вы не поставили в известность вашу матушку. Женщин вообще не следует ставить в известность... Должен вам признаться, – продолжал он, – что я и сам когда-то подумывал. Да, подумывал, не завербоваться ли мне в Иностраннный легион. Я был молод и здоров. Белый фартук, красные эполеты, всё такое... Но, знаете ли, с нашими порядками. Послушайте... Я вновь и вновь убеждаюсь, что лучшие идеи всегда приходят внезапно. Их не нужно изобретать. Это то, что роднит поэтов и учёных. Как я рад, что нашёл в вашем лице родственную душу. А теперь представьте себе: через каких-нибудь две недели, может быть, через десять дней. Мы с вами шагаем по торцам московских площадей. Любуемся зубцами Кремля, колокольней Ивана Великого, дышим этим неповторимым воздухом... Ах, друг мой! Вы не представляете себе, что значит само это слово, этот звук: Москва! В Москве я человек. А здесь?..»

«Вы тут, кажется, с самого начала войны? Или нет: вы говорили мне, что эвакуировались в июле. После речи Сталина... Не беспокойтесь, – говорил он, впуская подростка в комнатку с двумя стульями, казённым письменным столом, канцелярским шкафом и фикусом, – здесь нас никто не потревожит. Смотрите только, никому не проговоритесь. Я здесь работаю по вечерам. Зюечка мне разрешает. Чудная девушка, прекрасный человек».

«Тяжело, знаете, всё время в палате, хочется побыть наедине с самим собой... Я хотел вам рассказать, как я покинул Москву. Вернее, как меня заставили уехать, они всех заставляли; просьбы, мольбы – ничего не помогло; я, разумеется, сопротивлялся; какие-то два мужика, огромного роста, якобы санитары, втащили в вагон, представляете себе, в товарную теплушку, битком набитую! Тут же больные, дети, женщины, у кого-то начались роды... Но вы, наверное, с мамой тоже ехали в теплушке... Самый страшный день моей жизни. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только смотрел глазами, полными слёз, на этот дорогой город, на эти башни, Ярославский вокзал или, кажется, Савёловский, не помню... Ничего не помню! Крики, плач, всё смешалось. Люди давят друг друга, толпа осаждает поезда, пассажирские, товарные, всё равно какие, вы этого ещё не застали, оказывается, немцы подошли к Москве. Уже в Химках, уже... не знаю, может быть, уже едут по городу».

«Вот, – сказал он торжественно. – Здесь всё записано. Для будущих поколений. А между тем отшельник в тёмной келье здесь на тебя донос ужасный пишет! Угадываете-ка, откуда это?»

Подросток пожал плечами. «Борис Годунов», – сказал он.

«Правильно! Нет, нет, не подумайте, что я что-нибудь такое... Какие-нибудь там выпады, клевета на нашу действительность, никоим образом, я лояльный советский гражданин. Я русский патриот! – грозно сказал Ченцов. – И я сторонник нашего строя. Ну, может быть, там, с некоторыми оговорками, это уже другой вопрос...»

Он гладил ладонью бухгалтерскую книгу, разворачивал, разглаживал страницы, засеянные причудливым стрельчатым почерком с широкими промежутками между словами, – признак, на который, несомненно, обратил бы внимание графолог. Он захлопнул книгу, и двойной язычок огня взметнулся в колбе, повевав чёрной кисточкой копоти, которая уже оставила полосу на стекле; да, на столе сияла высокая лампа, роскошь тех лет, предусмотрительно заправленная регистраторшей Зоей Сибгатулиной. Ченцов слегка прикрытил фитиль.

«Задача этих заметок, этой *Historia arcana, arcanissima*¹, – увы, вы, мой друг, латынь из моды вышла ныне, – представить человеческую жизнь на фоне всеобщей жизни. На фоне нашей эпохи. Нашей великой и, знаете, что я вам скажу, чудовищной эпохи... Все этажи человеческого существования, от мнимого, навязанного, иллюзорного – до подлинного. Поэтому здесь очень большое внимание уделено моей внутренней жизни. Когда-нибудь я познакомлю вас с избранными отрывками, но полностью прочесть можно будет только после моей смерти. Что значит подлинное существование? Мой юный друг... Меня назовут сумасшедшим, пусть. Я не возражаю. Я вам скажу вот что... Мало кто отдаёт себе отчёт. Мало кто осмеливается! Мы живём не в од-

¹ Тайная, секретнейшая история (*лат.*).

ном времени, вот в чём дело. Если по-настоящему, философски взглянуть на вещи, то мы существуем не в одном, а сразу в трёх временах».

Подросток думал о легионе. Он писал в дневнике об Иностранном легионе. Подросток чуть не проговорился, что он тоже ведёт дневник. Он думал о том, что за стеной находится инфекционное отделение и там дежурит Нюра. Теперь, когда он выздоровел от любви, – *царевич я*, – он мог бы равнодушно и высокомерно, с лёгким сердцем, сообщить ей кое-что под большим секретом; по правде говоря, ему просто-таки не терпелось намекнуть ей об при первом удобном случае; он представлял себе, как он встретит её где-нибудь на дороге и скажет. Её ошеломление и восхищение. Его спохватятся, возникнет подозрение, что он покончил с собой. И только она будет знать, куда он исчез, но он взял с неё слово, что она не проговорится.

Больной устремил на мальчика тоскливый вопрошающий взор, словно потерял нить мыслей.

«Мы живём в трёх временах. Я не говорю о временах грамматики, настоящее, прошедшее, будущее, в других языках целая куча, не об этом речь... Мы живём в историческом времени, это во-первых. Мы – народ, мы – нация, мы – общество, нам всем твердят, что мы живём в истории, что это будто бы самая важная, единственно важная жизнь. Так сказать, единственное оправдание нашей жизни, ради него мы только и существуем. Это вертикальное время. От царя Гороха и до... ну, словом, вы меня понимаете. Но с другой стороны, хочешь не хочешь, каждому приходится жить обыкновенной жизнью, какая ему выпала на долю, в скучной повседневности, в тусклом быту. Это уже будет горизонтальное время, ползучее время рептилий. Получается, знаете ли, такой чертёж... Всё равно как битюги идут по мостовой, тащат возы, а воробьи клюют навоз между колёсами. Битюги – это история, а воробьи – мы с вами. И те, и другие вроде бы делают общее дело. А между тем что у них общего?.. Так и оба времени, историческое и бытовое, очень плохо согласуются между собой, а вернее, отрицают друг друга. Попробуйте-ка связать то, о чём вам рассказывают на уроке истории, с жизнью, которая происходит за окнами; вот то-то же».

«По-настоящему, если хотите знать, мы не живём ни в том, ни в другом времени. Потому что это мнимая жизнь. Приходит день, иногда для этого нужно прожить всю жизнь... так вот, приходит день. И до сознания доходит иллюзия и труха коллективного существования, да, иллюзия и труха... И начинаешь понимать, что ты жил в царстве ложного времени. Суета повседневности, воробьиное чириканье – с одной стороны. И зловеющий фантом истории – с другой. Жуткая игра теней. Всё это тебе навязано... Ты потерял себя, свою бессмертную душу... Я вам скажу... Я тебе скажу. Я открою страшную тайну. Рутинка – это, конечно, враг человека. Но не самый главный. Быт – враг человека, но не

самый ужасный. Самый ужасный враг – это история. Или ты человек и живёшь человеческой жизнью, или ты живёшь в истории, в пещере этого монстра, и тогда ты – червь, ты – кукла. Тебя просто нет! Этот Минотавр пожирает всех! Я вам вот что скажу. Мой друг...»

И он раскашлялся.

«Мой юный друг, – хрипел Ченцов. – Настоящее, подлинное время – на чертеже его нет. Это время нелинейное, внутреннее время, не подвластное хронологии, для него не может быть никаких чертежей. И ты всегда в нём жил, с тех пор, как Бог вложил в тебя живую душу, только ты не отдавал себе в этом отчёта. И поэтому как бы не жил! Время, которое принадлежит тебе одному, только тебе, вот, вот оно здесь, – он стучал пальцем по бухгалтерской книге, – истинное, непреложное, в котором самые тонкие движения души важнее мировых событий, в котором память – это тоже действительность и сон – действительность, в котором, если уж на то пошло, только и живёшь настоящей жизнью...»

Он перевёл дух. «Мы увлеклись, пора заняться делом. Где у вас эта... ну, эта... Живо, время не ждёт».

Лампа опять коптила. Ченцов сказал, что он обещал вернуться в отделение не позже одиннадцати. «Они, знаете ли, за мной следят, они думают, что могут меня удержать, ха-ха... но сейчас надо быть особенно осторожным... не возбуждать подозрений. Сейчас я вам покажу, как это делается; пустяк; ловкость рук, никто даже не заметит».

«Сейчас мы это быстренько... комар... – напевал он, – носа не подточит... Что такое бумажка? Фикция, формальность. Бумажка не может управлять судьбой человека. От какой-то ничтожной пометки, от закорючки, от того, что кто-то когда-то написал одну цифру вместо другой, зависит вся жизнь... От этой идиотской цифры зависит, зачахнет ли смелый, талантливый молодой человек в глуши, в мешанском болоте, или перед ним откроется дорога в столицу! Ну что ж, коли мы живём в таком мире... можно найти выход. Нет таких крепостей, хе-хе, которых не могут взять большевики, как сказал товарищ Сталин. Подумаешь, важное дело. Был малолеткой, теперь станет взрослым. Дайте-ка мне... Отлично; теперь заглянем в стол; тут у Зоеньки должна быть, во-первых, бритвочка...»

Прежде всего, сказал он, задвигая ящик, следует оценить качество и сорт бумаги. От этого зависит дальнейшая тактика.

«Тэк-с, чернила обыкновенные, это упрощает задачу. – Он разглядывал потрёпанное, износившееся на сгибах метрическое свидетельство. – Бумага, конечно, не ахти. Из древесины, разумеется. Слава Богу, в нашей стране лесов достаточно... Плохая бумага обладает двумя отрицательными свойствами. Во-первых, она рыхлая и легко впитывает в себя чернила. А во-вторых... Ну, не в этом суть. Надо иметь практику, сноровку, это главное... Теперь бланки уже не изготавливаются на

такой бумаге, теперь бумага для документов ввозится из-за границы, это я могу вам по секрету сказать, особо плотная, что, между прочим, облегчает подобные процедуры... Вообще должен вам доложить, что поправки в документах не такая уж редкость, можно сказать, обычное дело, просто вы с этим ещё не сталкивались. Когда-нибудь, – рассуждал Ченцов, держа в одной руке резинку для стирания, в другой безопасную бритву, которую регистраторша употребляла для очинки карандашей, – когда-нибудь, через много лет, когда вы будете знаменитым писателем, а я – глубоким стариком, мы с вами где-нибудь, за стаканом, знаете ли, хорошего вина, далеко отсюда! Будем вспоминать, как мы сидели при керосиновой лампе, как по стенам метались наши тени, а кругом на тысячи вёрст расстилалась бесконечная ночь, и в вышине над тёмной рекой трубила неслышанная весна, и мы читали стихи... Трубят голубые гусары... В этой жизни, слишком тёмной... Гейне. Да... И я говорил вам, – не забывайте об этом никогда, – я предсказывал, что у вас впереди блестящее будущее. Вы будете философом, врачом, учёным. Кто знает... Или великим писателем, почему бы и нет? А теперь за дело».

Большой крикнул, отложил свои орудия, потёр ладони и на минуту задумался. После чего схватил бритву и начал царапать уголком по бумаге. Отложил бритву и принялся тереть по расцарапанному резинкой. Снова взялся за бритву, процедура была повторена несколько раз, под конец мастер загладил место, где стоял год рождения, жёлтым ногтем.

«Тэк-с, – промолвил он. – Аусгецайхнет. Угадайте, что это значит?»

«Отлично».

«Правильно! Далеко пойдёте, молодой человек. Итак... один росчерк пера, всесильного пера! И – позвольте поздравить вас с совершеннолетием».

Ченцов занёс перо над метрическим свидетельством и остановился.

«М-да».

Он отложил перо, подпёр подбородок ладонью.

«Я же говорил вам: отвратительная бумага. Во-первых, рыхлая... Они просто не умеют изготавливать настоящую бумагу».

Оба рассматривали документ, на обороте отчётливо была видна дырка.

«Дорогой мой, – промолвил Ченцов, – я думаю, что теперь нам ничего не остаётся, как выкинуть метрику. Лучше уж никакой, чем такая...»

«А как же...» – спросил подросток.

«Что? Очень просто. Когда придёт время получать паспорт, нужно объяснить, что метрика пропала... ну, скажем, во время поспешной эвакуации. Ничего не поделаешь, военное время».

«Я не об этом, – сказал мальчик. – Как же мы теперь поедсм?»

«Ничего, ничего, обойдёмся, – бодро сказал Ченцов. – Ах, друг мой...» – шептал он, глядя не на собеседника, но как будто сквозь него;

и почти невыносим был этот сухой, опасный блеск глаз, похожий на блеск слюды. В палате было сумрачно, на койках лежали, укрытые до подбородка, безликие люди, от всего, от белья, от тумбочек между кроватями, от тощего, подпёртого подушками Ченцова исходил тяжёлый запах. А снаружи был ослепительно яркий, голубой, звенящий птица-ми день, было уже почти лето, был май.

Значит, думал подросток много лет спустя, когда он уже не был подростком, значит, должно было пройти ещё около двух месяцев. Повествование – враг памяти. Оно вытягивает её в нить, словно распускает вязку, и смотрите-ка, дивный узор исчезает.

«Друг мой. Только вы меня понимаете».

Больной повернул лицо в подушках – серые губы, небритые щёки, острый нос, остро-бесцветные глаза. В дверях дежурная сестра. Пора уходить. Мальчик был рад её появлению.

«Ещё пять минут, – прошелестел больной, – Марусенька... Что я хотел сказать. Мне надо немного окрепнуть. Обострение пройдёт. И мы с вами... о, мы с вами! – Он покосился на соседей. – Они не слышат».

Поманил подростка пальцем.

«Я придумал другой выход, никаких справок вообще не нужно... Это хорошо, что ваша матушка ничего не заметила, лучше её не волновать... Мне нужно многое вам сказать, многое записать, чтобы не пропало. Я буду вам диктовать... Мою Historia arcana... У меня столько важных идей!»

«Друг мой единственный, ведь от этого я и болен. Оттого, что не могу больше здесь жить. Если бы я вернулся в Москву, всё слетело бы мгновенно. Я был бы здоров, уверяю вас! Человек – непредсказуемое существо. Он может болеть такой болезнью, о которой медицина слыхом не слыхала. Это не абсцесс лёгкого. Это абсцесс души. Исцелить его может только московский воздух. Пройтись по этим тротуарам... От одной мысли можно с ума сойти».

Подросток брёл по коридору, в палате кашлял Ченцов, шелестел в ушах вечный голос, уже сколько лет он шепчет, говорит без умолку о том, что скоро кончится война и начнётся новая, невообразимо прекрасная жизнь, не довоенная, нет, это только сейчас довоенная жизнь кажется идиллией, но об этом не будем, не надо об этом... Друг мой, мы ещё будем с вами вспоминать. Далеко отсюда, за стаканом хорошего вина. Будем вспоминать о том, как мы...

Скоро! Скоро! Никто не знает в точности, где идут бои. Но враг отступает. В такой же лучезарный день они сядут на теплоход. И ведь так и случилось, вернее, почти так или не совсем так; пожалуй, даже совсем не так; но не будем сейчас об этом. Это – будущее, ставшее прошлым. В такой же майский, звенящий, сияющий день они проедут

вниз по великой реке мимо далёких берегов, еле видных деревень и дебаркадеров, мимо низких белых стен татарского кремля, мимо башни царицы Сумбеки, которая бросилась вниз головой, чтобы не попасть в полон к русским. И дальше, дальше, до канала, до шлюзов, до Химкинского речного вокзала, и отец, весёлый, в распахнутом пальто, встретит их в порту. Он жив, он вернулся целым и невредимым. «А я уж хотела идти за тобой», – сказала Маруся Гизатуллина, маленькая, темноглазая и белолицая, как Сумбека, ей бы ещё расшитую золотом шапочку с покрывалом и алые шаровары. «Нельзя так долго сидеть, – говорила она, шагая по коридору, – ему вредно». – «Он поправится?» – спросил подросток. Она направилась в дежурную комнату. Выйдя, она сказала: «А, ты всё ещё здесь. Ему пора укол делать. Подожди меня».

«Что ж, ты разве не заметил, – сказала Маруся, когда они вместе вошли в дежурную комнату. – Это же такая палата».

Он спросил:

«У него есть родные?»

«У него никого нет. И местожительства нет никакого, иначе давно бы выписали. Чего держать умирающего. А ты, я вижу, здорово вырос за это время!» – сказала она.

Там, где лыжи проваливались в снег, где цепенели леса, бесшумно падали белые хлопья с отягощённых ветвей и время от времени что-то потрескивало, постанывало вдалеке, на холмах, откуда неведомый смельчак скатился, оставив на крутизне двойной вертикальный след, – там теперь всё заросло кустарником, там плещут папоротники, ноги топчут костянику, заячью капусту, лес уводит всё дальше, посреди поляны стоит пожарная вышка, четыре столба наподобие пирамиды, с берёзовой лесенкой и площадкой на верхотуре. Оттуда не видно уже ни берега, ни больницы, сплошная чаща, голубоватые верхушки, волнистые дали, и всё постепенно теряется в сизо-лиловой дымке. Там начиналась Удмуртия, где обитали древние меднолицые люди в лисьих шапках, где, может быть, ещё длился век Грозного и Ермака.

«А-у!» Выкрикали его имя. Звук повторился совсем близко. Подросток вышел к малиннику. «Мы уж думали, тебя волки утащили», – смеясь, сказала Маруся Гизатуллина. «Здесь волков нет», – возразил он. «А в позапрошлом лето, тебя тогда ещё не было, – помнишь, Ньюра?»

Это звучало так, словно его считали младенцем. Так говорят: ты ещё пешком под стол ходил.

«Такой волчище стоял, прямо перед воротами».

Что-то он не помнил такого случая. Два года назад они с матерью были уже здесь. Ехали на нарах из неоструганных досок, в товарном вагоне, в июльскую жару, обливаясь потом, женщины копошились, ссорились, качали младенцев, толстая тётка сидела, спустив голые ноги между головами у сидевших внизу, состав подолгу стоял на узловых

станциях, пропуская встречные поезда, «эй, бабоньки, куда путь держим?..» – кричали из эшелонов. «И второй с ним, – сказала Маруся Гизатуллина, – волчица, наверно». – «Это были не волки», – сказала Аня, но теперь она снова звалась прежним именем Нюра.

С какой независимостью, с каким величавым спокойствием он приближался к ним, не моргнув глазом взглянул на вышедшую из кустов Нюру с лукошком. Надо сознаться, она стала ещё прекрасней, расцвела невыносимо, в сиреновом лёгком платье с белым воротничком и «кружавчиками» вокруг коротких рукавов-фонариков, в левый рукав засунут платочек, и на загорелых ногах лёгкие тапочки, – да, сказал он себе, он знает, что она здесь, и приближается к ней без волнения, потому что прошли эти томительно-безысходные зимние ночи, всё прошло; да, он выздоровел от этой болезни и может спокойно смотреть на эту красоту. Конечно, она не могла не заметить его равнодушия, несомненно, её снедает тайная ревность. И он почувствовал гордость, тайное злорадство мужчины, который знает, что ради него цветёт эта краса; но удостоится ли она его внимания, это уж, извините, его дело.

«Ох, – сказала Маруся Гизатуллина, – умаялась. Мы тут весь малинник обобрали. Пока ты там шастал». Два года назад таким же летом высадились на пристани, шли с толпой, волоча свои чемоданы, прожили в физкультурном зале с большими окнами, с шведской стенкой и сдвинутыми в угол брусьями недели две, пока всех не распахали по учреждениям; теперь-то он знал, как свои пять пальцев, и школу, и базар, где в то лето ещё толпился по воскресеньям народ; война ещё не чувствовалась в этих местах. Выпряженные лошади стояли вдоль коновязи с мешками сена на мордах, на возах торговали луком, лесным орехом, молодой картошкой; марийки в узких расшитых лодочках под белыми платками, в зипунах, несмотря на жару, в новеньких лаптях и шерстяных чулках, продавали масло, обрызганные холодной водой, блестящие, как слонобая кость, шары на темно-зеленых листьях лопуха. Мать пробовала масло кончиком ногтя. Ещё можно было обменивать на продукты городские вещи, шляпку с бантом, кружевную сорочку.

Было или не было, что волки подошли к больнице, да ещё в летнее время, но он отлично помнит это первое лето, помнит, как впервые спустился к реке, в это время они уже поселились в больничном посёлке; и стоило лишь подумать о реке, как тотчас ковёр-самолёт перенёс его, через осень и зиму, – и опять этот солнечный день, и девушка, стриженная под ноль, с едва успевшими отрасти волосами, с круглыми белыми плечами и началом груди над водой, среди визга и блеска вод. Как и прежде, он не мог связать этот образ с Нюрой. Река унесла его. И так же, как вновь ни с того ни сего перед ним промелькнул этот эпизод, в котором лишь задним числом можно было предположить что-то значащее для будущего, так многие годы спустя вспоминался пикник на поляне,

пустяковый разговор о волках, пожарная вышка, заросли малины, щедро уродившейся в тот год.

«Ох, умаялась; надо бы ещё разок придти, варенья наварим, чай будем пить». Корзинки с похожими на шапочки темно-розовыми ягодами стояли в холодке под деревом. Маруся Гизатуллина раскладывала харчи на старой больничной простыне, расставляла стаканы, явилась бутылка с водой, заткнутая бумажной пробкой, и пузатая бутылочка. «А вот почему говорят: малиновый звон, когда почта едет, все говорят – малиновый?»

«Красивый, значит. Как малина», – сказала Нюра.

Подросток объяснил, что название происходит от города, где раньше отливали колокольчики.

«Ты у нас учёный. Всё знаешь. А мы с Нюрой тёмные, да, Нюра?»

И всё-таки было что-то обидное в том, что она цвела, несмотря на то, что они расстались, очевидно, ждала кого-то другого, – кого же? – и сердце подростка царапнула ревность. Словно мимо него по солнечной глади проплывал и медленно удалялся нарядный белый корабль, а он остался стоять на берегу.

«Ты записочек мне не пиши. Фотографий своих не раздаривай. Кто со мной выпьет? – Маруся налила больничный спирт в два стакана и развела водой. – Вот Нюра меня поддержит. Да чего ты... самую чутельку. Голубые глаза хороши, только мне полюбилися карие!»

«А ты как, попробуешь?» – спросила она.

«Да брось ты, – сказала Нюра. – Ребёнка спаивать».

«Какой он ребёнок. Скоро усы вырастут. *Полюбились любовью такой...*»

Леса, млеющие на солнце. Нюра – тоненьким голоском: *«Что вовек никогда не случается!»*

Маруся Гизатуллина: *«Вот вернётся он с фронта домой. И па-а-ад вечер со мной повстречается».*

Выпив спирт, она задумалась. Нюра, сделав глоток, отставила стакан, потянулась к корзинке, – её грудь слегка колыхнулась, – и положила в рот ягоду. «Ты зажми нос, – сказала Маруся Гизатуллина, – и одним махом, раз!» Подросток громко и часто задышал открытым ртом. Маруся проворно сунула ему в рот малину.

«Люблю мужчин с усами. Вот мой вернётся, я ему велю, чтобы непременно отрастил... На-ка вот ещё закуси».

«Это что весной приезжал?» – спросила Нюра рассеянно.

Маруся помотала головой. «Это так... знакомый. Не хочу о нём говорить. *А тебя об одном попрошу...*»

«Понапрасну меня не испытывай...»

Незаметно всё изменилось. Как там дальше? Я на свадьбу тебя приглашу. Мальчик знал эту песню наизусть, он запомнил все песни, которые пела за стеной Маруся Гизатуллина, никогда не входил в их

комнату, но знал, что Маруся сидит на кровати, поджав ноги в шерстяных носках, и вышивает. Вся комната убрана её вышивками. А на узенькой раскладушке, где когда-то лежала остриженная голова Нюры, заразившейся тифом, – тогда у неё вообще не было имени, – теперь спала мать Маруси, сморщенная бледная старушонка, всегда ходившая в одном и том же белом ситцевом платье с оборками, в вязаных чулках и носках, в белом платке, который в этом краю носили не уголком, а широким прямоугольником до половины спины, из-под которого высывался чёрный хвостик косички с серебряной монетой. Старуха пела другие песни, тоненьким голоском на своём языке.

«Я на свадьбу тебя приглашу. А на большее ты не рассчитывай», – пела Маруся

Всё вокруг изменилось; вокруг, но не в нём самом; он не был пьян, а если и опьянел, то лишь на одну минуту, – брызнуло стружкой в мозг, и вселенная пошатнулась, но тотчас же мы овладели собой, мы были, что называется, в полном ажуре, зато мир вокруг приобрёл другое значение, как бывает во сне; мир проникся ожиданием. «Могу и пройтись, пожалуйста», – смеясь, сказал подросток, вскочил и замаршировал по полю. Стало припекать. Нюра в сиреновом платье сидела, сложив руки на вытянутых загорелых ногах, и смотрела на него или, может быть, сквозь него, и от этого взгляда его охватила беспричинная радость, в нём было неясное обещание; темноокая Маруся Гизатуллина, на которой теперь были только чёрные трусики и бюстгальтер, белая и худенькая, с впалым животом, приподнявшись на локтях, так что обозначились ямки над ключицами, следила за ним насмешливо-испытующим взором; он плюхнулся на траву.

«Давай, давай, для здоровья полезно. Так и просидишь в комнате всё лето... Худющий, как Кашей, – приговаривала Маруся, стаскивая с него рубашку. – И брюки; нечего стесняться. Господи, в чём душа только держится». Подросток улёгся на живот. «А ты что сидишь? – это Нюре. – Снимай, он не смотрит. Да если посмотрит, тоже не беда. Я загорать буду, а вы как хотите», – сказала она. Подросток перевернулся на спину и увидел верхушки деревьев в ослепительной лазури. Всё пело, всё смеялось.

Лёжа он старался глазами остановить медленно плывущее небо. Женская рука коснулась его руки, «спишь?» – спросил голос Маруси Гизатуллиной. Не сплю, хотел он ответить и вдруг подумал, что пока он так лежал, потеряв чувство времени и, может быть, в самом деле задремав на минуту, Нюра незаметно удалилась, очевидно, ей было неинтересно с ними; белый и нарядный, изукрашенный флагами пароход уплыл, а они здесь остались. В тревоге он открыл глаза и, повернув голову, увидел, что она лежит рядом, увидел её руку, заложенную под голову, рыжеватые волосы под мышкой и высокий холм под белым лифчиком. Всё ещё сон, думал он, а на самом деле она ушла. Маруся Гизатуллина

склонилась над ним, он увидел близко перед глазами её маленькие татарские груди с чёрными почками сосков. «Мужичок, – пропела она, – спишь?» Не знаю, может, и сплю, подумал подросток. Он глядел на Марусю сквозь ресницы. А ты, а вы? Она тоже спит, ответила Маруся Гизатуллина, жарко-то как стало, это к грозе. Мы все спим и снимся друг другу, добавила она. Да не съем я тебя, не бойся. Но он не дослушал, что она говорила, в эту минуту он окончательно пробудился, уловил лёгкое посапывание и увидел, что обе женщины спят.

Лето в разгаре. Новая попытка противника добиться перелома войны, семидневное танковое сражение на широкой дуге, огибающей Курск, на изрытых снарядами полях и в перелесках, где поют соловьи. Наступление захлебнулось. Очередь за нами. Командующий фронтом знает, что если провалится его план ударить одновременно с севера и юга, ему не миновать расстрела. План удался. Группа «Центр» потеряла тридцать восемь дивизий. Сколько потерял Рокоссовский, никто не знает. На двух половинах гигантской шахматной доски полководцы имеют дело с двойным сопротивлением: огневой мощью противника и некомпетентностью обоих вождей. Война перевалила через зенит. Война катилась назад, к Днепру и в белорусские болота. Армия шла вперёд, оставляя широкий кровавый след. От генерала до солдата все знали, во имя чего идёт война. Вождь в Москве никогда не выезжал на фронт. Он стал богом, богу не полагается быть на фронте. Сильной стороной московского вождя была подозрительность. Этот дар усилился. Сильной стороной германского фюрера была способность импровизации. Этот дар угас. В главной квартире, в густых лесах Восточной Пруссии, фюрер провозгласил, что немецкий народ окажется недостойн фюрера, если война будет проиграна. Но война уже проиграна и победителями, и побежденными. Лето переломилось. Иван Сыч проживал в селе, как оно называлось, никто не помнит. Ночью пришли партизаны, застрелили старуху и двух других, подозреваемых в связях с врагом, забрали тёлок, поросят и ушли. Священник отслужил панихиду по убитым. Он сидел в огороде, когда прибежала девчонка и сообщила, что немцы пришли сжечь деревню. Два бронетранспортёра выехали из леса. Сыч облачился в церкви и, красный от волнения, с непокрытой головой, с крестом в руках вышел за околицу навстречу карателям. Он был скошен автоматной очередью. Это была война. Лето на исходе, давно освобождены калмыцкие степи, куда теперь вступило новое войско. Стрелок-радиот Иван Бадмаев, восемнадцати лет от роду, был сбит в воздушном бою к югу от Сталинграда, остался в живых и получил орден. Триста лет тому назад предки Бадмаева перекочевали в низовья Волги. Этого не следовало делать. Если бы они оставались в Монголии, ничего бы не случилось. В госпитале Иван Бадмаев получил приказ явиться утром на вокзал. Его затолкали в вагон, в спешке он выронил костыли. Вокзал

был оцеплён войсками. Сто тысяч степных жителей были посажены в товарные вагоны и отправлены на восток, доехала половина.

Война шла, а мальчик жил своей жизнью. Он не знал, что хотя война шла ради того, чтобы защитить его и таких, как он, она отменила всё, чем он жил: сделала ничтожными, смешными и бессмысленными все его переживания, бесполезными все его интересы.

Настала осень. Вечером чёрная коза по имени Лена не пришла к крыльцу, её разыскали на другой день, она стояла на дне оврага, по брюхо в глине, и равнодушно смотрела на людей, пытавшихся к ней подобраться. Козу внесли на кухню. С глазами как олово, медленно моргая тёмными ресницами, она лежала на соломе, у неё отнялись ноги, пропало молоко, подросток, сидя на корточках, кормил Лену листьями почерневшей капусты. И было что-то в этом эпизоде, который всё же по счастью закончился благополучно, было что-то предвещавшее череду невзгод. В кромешной тьме (лили дожди, он перешёл в следующий класс и ходил во вторую смену), подросток, сбившись с пути, увяз в грязи, упал и, потеряв галоши, промокший до нитки, добрёл кое-как до больницы. Поздно вечером, в непроглядную ночь, он вышел однажды из комнаты, чувство надлома, неясной, но близкой беды не давало ему покоя. Словно бич судьбы уже посвистывал над ним. Чувство это гнездилось в тёмной глубине тела, во внутренних органах; много лет спустя ему пришло в голову, что судьба есть не что иное, как упорядочивающее начало, которое мы вносим в расплывающиеся клочья существования, бессознательный механизм, цель которого – сохранить единство нашего «я». Ради чего?

Всё неспроста, всё оказывается неслучайным; всё тянет в одну сторону: дождь, и ночь, и одиночество; слабый, стонущий скрип двери в сенях, за его спиной, тень, перешагнувшая через порог. Он стоит на крыльце, вздрагивая от озноба, и вокруг всё струится и чмокает. Тень выходит из сеней на крыльцо, долго, сладко зевает, кутается в платок. «Ты чего не ложишься?»

Нелепый вопрос, ведь ещё не было и одиннадцати. «Прошлую ночь совсем не спала, – сказала Маруся Гизатуллина, – сперва с припадочной возились, а потом ещё этого привезли». – «Кого?» – спросил он скорее из вежливости, весь посёлок говорил об этом человеке, который выстрелил себе в сердце из охотничьей двустволки, говорили, что он оказался дезертиром, жил у любовницы в дальней деревне, прятался на сеновале, потом осмелел, стал приставать к хозяйкиной дочке, хозяйка на него донесла. Милиционер, который его привёз, в лаптях и в шинели с новенькими погонами, каких здесь ещё никто не видал, вышел покурить на крыльцо общего отделения, да так и не успел допросить самоубийцу.

«А чего допрашивать, и так всё ясно. А вот её, наверно, посадят».

Мальчик спросил, глядя в мокрую тьму: за что?

«За укрывательство. Вот любовь-то к чему приводит», – заметила Маруся. После чего наступило молчание.

Казалось, она завидует этой деревенской бабе. Сама того не ведая, Маруся Гизатуллина высказала мысль, которая в близком будущем станет тайной жалобой женщины. То была ностальгия по великому мифу любви, способной пренебречь всем.

Миф любви жив до тех пор, пока общество воздвигает вокруг неё запреты. Всепоглощающая страсть чахнет, если она не наталкивается на осуждение окружающих, репрессивную мораль общества, беспощадность государства. В новом обществе для свободной любви уже нет препятствий. Не осталось и времени на сердечные дела. В такую эпоху только очень юные существа ещё способны жить любовью и приносить ей жертвы, и значит, прошлое, о котором подросток вспоминал через много лет, когда он уже не был подростком, – не было тем прошлым, которое тащится, словно пыльный хвост, следом за «настоящим». Наоборот: настоящее есть не более чем его отзвук.

«Простудишься. Ну и погодка». – Он молчал, смотрел во тьму. – Её ждёшь?.. Не бойся, никому не скажу. Я ведь всё знаю», – добавила она.

Он спросил: «Что ты знаешь?»

«Всё знаю. И всё понимаю. Сама мучилась, когда любила». Он молчал, остолбенев.

«Хочешь сказать, что больше её не любишь? Чего ж тогда стоишь – небось весь окоченел. Спать пора, – сказала Маруся Гизатуллина, – пошли домой».

Неужели, думал подросток, Нюра ей всё рассказала. Он вспомнил о письме, теперь уже таком далёком, и ему стало стыдно. Тайна его сердца была выставлена напоказ. Они читали вместе и смеялись. Сколько там было нелепых, выпрєнных выражений. Он не знал, что женщины иногда берегут такие письма. Вернувшись в комнату, продрогший до костей, он думал о том, что с наслаждением порвал бы это письмо в мелкие клочки, если бы удалось им завладеть; в конце концов он мог бы потребовать его назад, мог набраться смелости напомнить о нём. Удивительная мысль пришла ему в голову: он представил себе, что каким-то образом через много лет встретился снова с Нюрой и спросил: получила ли она тогда его письмо? Чем больше он об этом думал, тем ясней становилось – не получила. Чем настойчивей он вспоминал, тем очевиднее было, что да, получила. Когда Нюра постучалась в его дверь, разве это не было доказательством, что письмо получено?

Удивительное дело: *он вспоминал будущее*. Что стало с Нюрой? Он пытается представить себе, придумать эту Анну Федосьевну или как её там по имени-отчеству: наверняка это была ничем не примечательная,

тягостно-бесцветная, тусклая жизнь в глухой российской провинции. Этот климат всё обесцвечивает. Память старой, изглоданной жизнью женщины в сравнении с памятью того, кто когда-то сидел за столом с копилкой и клеивал конверт протёртой сквозь марлю варёной картошкой, – всё равно что мутно-жёлтая фотография рядом с только что проявленным, чётким и влажным снимком. Мутно-жёлтая фотография – и уже не различишь, кто там изображён.

Как если бы оторвали бинокль от глаз. Увидишь смутный, стёртый ландшафт прошлого. После всех лет, после того, как Нюра вышла замуж – почему бы и нет? – за кого-то вернувшегося с войны и разрушенного войной, выжившего, чтобы просуществовать ещё десяток лет, взятых в долг у смерти, Нюра, прозябающая с детьми и заботами, под конец всеми брошенная и угасающая в каком-нибудь дальнем уральском городке, – после всех этих лет – что могла она помнить? Была война, больница, какие-то люди приехали в эвакуацию.

Бессмысленное занятие: образ будущего не имеет ничего общего с тем подлинным, несмываемым, который мгновенно ожил, едва лишь подросток прикрыл за собою дверь в комнату, где всё так же изнемогал на столе жёлто-голубоватый огонёк. Нюра, в пальто, наброшенном на плечи, в шерстяном платке, в белом платье с прямым вырезом, отороченным кружевами, которое на самом деле было не платьем, а ночной рубашкой. Светлые волосы с искрами инея. Должно быть, она уже легла, но что-то её томило, любопытство или Бог знает что, бес подмывал. Она попросила что-нибудь почитать и забыла об этом, поинтересовалась, что он пишет в тетрадке, вероятно, тотчас узнав бумагу, на которой написано было письмо. Он спросил, – чтобы что-нибудь сказать, – из какого металла колечко на её пальце, и тотчас кольцо сделалось значительным, как всё, как огонь на столе, прядь волос, которую она смахнула со лба, как её руки и грудь; она сняла кольцо, постепенно сдвигая его, это далось ей не без усилий, он попробовал надеть его себе на указательный палец, оба рассмеялись. Он пытается представить себе, что с ней стало, но видит только ту, какой она была. И ему кажется, теперь, через много лет, смехотворным открытие учёных психологов, будто отсутствие мужского отростка рождает у женщины чувство неполноценности, будто может существовать какая-то зависть; странная, в самом деле, теория! По крайней мере, в то время, если бы он услышал о ней, она показалась бы ему абсурдной. Жалеть о том, чего нет! Наоборот, тёмное чувство говорило ему о несчастье быть подростком, о проклятии пола, который делает его неловким, неуверенным, одержимым боязнью, что об этом узнают, проклятию, которое мешает жить. Между тем как девушка, лёгкая и свободная, без тёмных помыслов, без тягостных снов, без тени стыда, проходит мимо с независимостью царевны, избавленная от этого позо-

ра, и соблазна, и страха оскотления. Для него пол был новостью и скандалом, а для них всех чем-то таким, что разумелось само собой. Он чувствовал, что девушка, у которой там *ничего нет*, быть такой, какова она есть, значит просто *быть*, что она живёт в согласии с миром, что она часть природы, сам же себя представлял подчас чуть ли не выродком.

Он услышал в темноте за спиной: «Посижу у тебя маленько, ты не против?..» – пожал плечами, уселся на своё место у окна и прибавил огня. «Хорошо, тепло, – сказала она и поправила платок на плечах. – Что же ты, так поздно, – всё ещё уроки делаешь?» – «А сколько сейчас времени?» – спросил подросток. И разговор иссяк, в заплаканном окне маячил его двойник, отражался тусклый светоч и в глубине, бледным пятном – лик Маруси Гизатуллиной. Он ждал, когда она уйдёт. «Завтра на работу, – проговорила она, – я теперь дежурю через день. Что за жизнь... А ты небось всё думаешь о ней?» – «О ком это я думаю, ни о ком я не думаю», – проворчал подросток, вдруг стало ясно, что Маруся ничего не знает и «она» – попросту ничего не значащее слово. Или всё-таки знает? «Как это ни о ком, – продолжала она смеясь, – значит, ты уже её позабыл, вот и верь после этого мужчинам. А небось клялся в вечной любви».

Подросток метнул на неё взгляд исподлобья, игривое выражение исчезло на лице у Маруси.

«Ну, не сердись, у бабы язык – сам знаешь... Я что хотела сказать... – Она уставилась на огонёк коптилки. – Вот дура, забыла, что хотела сказать. – Опустила глаза. – Спать пора... Ты в какую смену ходишь, в утреннюю или днём? А это что у тебя, сочинение? Ты в каком классе, в восьмом? Или уже в девятом?» И так как он по-прежнему не отвечал, она сказала: «Ты только не подумай, что я над тобой смеялась. Я ведь знаю, как это бывает». Он взял ручку, ворошил что-то в чашечке горелки.

«Мне цыганка нагадала, – сказала Маруся Гизатуллина, – ты веришь цыганкам? А я верю».

Он спросил, подцепив пером обугленные останки: что же она ей нагадала?

«Ещё в Мамадыше, я сама из деревни, в Мамадыше семилетку кончала. Такая была шелапутная, совсем учиться не хотела... Курсы окончила, думала, на фронт попрошусь, а тут похоронка пришла, папу убили, сразу, в первую неделю, нет, думаю, хватит вам одного, вот так мы с мамашей здесь и очутились. Что ж я хотела рассказать-то... Да, цыганка раз ко мне подошла, уже старая, хочешь, говорит, девушка, я тебе открою, что тебя в жизни ждёт. Ничего с тебя не возьму, что подарить, на том и спасибо, только ты, говорит, не старайся сердце от меня скрыть, откройся сердцем... Ты, говорит, много будешь грешить. А жизни тебе будет ровно тридцать лет. – Она помолчала. – Я ей брошку подарила... Зачем это я рассказываю, голову тебе дурю?»

Он спросил, как гадают на картах.

«Шайтан его знает, меня учили, да я всё равно не умею. Надо сперва карту выбрать, вот ты, к примеру, будешь крестовый король».

«А не валет?»

«Какой ты валет – ты уже взрослый. Проживёшь, говорит, на свете тридцать лет. А до той поры можешь веселиться, всё тебе будет прощено. Вот я и веселюсь», – сказала она печально.

Подросток поднёс перо к огню, он не мог понять ни себя, ни её, не знал, куда клонит ночная гостья, если она вообще куда-то клонит, а не просто коротает с ним бесконечную ночь. Он скосил глаза на Марусю Гизатуллину, она сидела, сложив руки на коленях, и воистину понадобились годы, чтобы понять, что означал её взгляд, устремлённый вовсе не на него, а в себя, понять ту, которая сидела перед ним на месте, где сидела Нюра, и скорее задумалась, чем задумала что-то. Словом, надо было долго учиться умению видеть людей такими, каковы они сами по себе; но подросток не умел освоиться и в собственной душе.

«Может, пройдемся немного, дождь перестал», – сказала она полувопросительно. И вот, словно не было всех этих лет, словно всё ещё шаришь впотьмах: в кухне висят на гвоздях армяки, куцавейки; изодранный, ставший общей собственностью тулупчик, «вот его и надену, – пробормотала Маруся, – мы недолго, пробежимся туда-сюда...» Оба, крадучись, вышли в сырую свежесть ночи. Всё ещё капало на крыльце, и капало с крыш, дул ветер, серые, как дым, облака неслись по небу, и в просветах, в чёрной синеве, сверкали, как ртуть, звёзды. Брели мимо конюшни к воротам, маленькая женщина уцепилась за руку подростка.

«Одна бы ни за что не пошла, вот дойдём дотуда, и назад». Он спросил, чего она боится. «А всего. Сама не пойму; то, бывает, такая храбрая, всё могу, на всё решусь. И никто меня не остановит. А то вдруг каждого куста боюсь. Кто его знает, может, правду говорят, что ночью покойники бродят. Да я однажды сама видела. Иду по дороге, летом, ночь светлая, лунная. Вдруг вижу, стоит... И точно: мертвец; весь в белом. Меня поджидает. Ну их, лучше не говорить. А то ещё впрямь кто появится. Ты держи меня крепче, – сказала она, смеясь, – поскользнусь, да и повалимся вместе». И они дошли до того места, где дорога из больничного посёлка соединялась с трактом, постояв, повернули назад. «Бр-р, к утру подморозит, это точно, – говорила, разматывая платок, Маруся Гизатуллина, – ну что же ты, согрей девушку...» Она подошла к столу. «А это нам не нужно, это мы сейчас потушим». Дунула, и острый запах керосина провеял по комнате.

Чувство целокупного времени, похожего на прибой, на стоячую волну, на зыблущиеся воды. И оно тоже пришло с годами. Миг, за который чуть было не пришлось расплатиться жизнью, в накатывающем

прибое всеединого времени, этот миг остался таким, каким случился тогда; был ли он точкой просветления, моментом истины – или стал им спустя много лет? Вечный вопрос.

«Чего уж тут, раздевайся, что ли; всё равно спать ложиться... Ну? Не съем же я тебя».

Сказано было так просто, что он подумал, ничего такого вовсе и нет, просто она устала, хочет спать, и ей холодно.

Отблеск звёзд, смутно-свинцовый свет из окна, казавшегося огромным, лунноликий призрак на его кровати, с провалами блестящих глаз. Что-то она там перебирала вокруг себя, стряхивала и расправляла, сидя, повернувшись, взбила подушку, и просто и естественно, как у себя дома, скрестив руки на бёдрах, взявшись за платье и что там ещё было, одним движением сняла всё сразу через голову, встряхнула чёрными волосами и подняла тонкие руки к затылку, чтобы собрать волосы. Что там произнесли её губы, может быть, не по-русски, было невозможно вспомнить, остался голос, приглушённый, почти воркующий, уговаривающий, осталось чувство жгучего стыда; и много лет спустя эта ночная сцена предстала как в замедленной съёмке, прокручивалась вновь и вновь. Тебе ведь всё равно пора ложиться, говорила Маруся Гизатуллина, только эти слова и запомнились, в нашей деревне да-авно-о-о уже спят, почти пропела она и, справившись с одеждой, не зная, куда её деть, сложила у себя на коленях, встряхнула головой, подняла к затылку белеющие в сумраке руки с тёмными впадинами подмышек, и одновременно слегка поднялись тёмные кружки её груди. «В нашей деревне, а-а...х», – и она потянулась, точно в самом деле собралась лечь и уснуть.

«Ну чего ты оробел. Полежим, и всё».

«Я не оробел», – сказал он мрачно.

Оба едва успели придти в себя, когда странный звук, невозможный звук раздался в кухне, жалобный стон петель и осадистый вздох вернувшейся в пазы двери. Подросток перекатился на бок. Всё стихло. В полутьме отворилась дверь в комнату, и вошёл призрак. Призрак подошёл к столу. Чиркнула спичка. Язычок коптилки взвился и осел, мать подростка прикрутила фитиль. Мальчик лежал спиной к женщине, на краю кровати. Он поднял голову. Но мать смотрела не на него. «Вылезай», – сказала она. Там не пошевелились.

«Вылезай, – повторила мать подростка. – Так я и знала...»

Она наклонилась, подняла с пола то, что там лежало, и швырнула на кровать. Из-под одеяла показалась чёрная растрёпанная голова Маруси Гизатуллиной.

«Развратная проститутка, – сказала мать подростка, – я просто глазам своим не верю».

Маруся голой рукой, придерживая одеяло, нашла рубашку в ворохе одежды и, кое-как просунув голову и руки, напялила на себя.

«Чего ругаетесь-то...» – пробормотала она.

«Да я слов не нахожу!»

«А чего такого...»

«Чего такого! Ах ты бесстыдница. А ты знаешь, как это называется, а?.. Это называется растление малолетних! Нет, я это так не оставлю. Все знают, кто ты такая...»

«А кто я такая?» – спросила Маруся.

«Все знают! Нет, я так не оставлю. Я на тебя напишу!»

«Ну и пишите, – осмелев, надменно возразила Маруся. – Какой он малолетний? Он мужчина. Я его люблю».

«Люблю... Ха-ха. Насмешила. Развратная тварь! Я тебе ещё покажу, ты меня будешь помнить. Господи, Гос-по-ди!» – повторяла мать подростка, стискивая руки, между тем как Маруся, прижимая к груди ком одежды, другой рукой подхватив полусапожки, пропала из комнаты.

«Ну вот, – тоскливо сказала мать, кивая головой, подняв глаза на подростка. – Что значит нет отца... А я, как проклятая, день и ночь на работе... Чтоб его сберечь, чтоб его накормить... Что же нам теперь делать?» И это был вопрос, который, как ночной гость, не уходил, сидел на кровати после того, как дверь на кухне захлопнулась за матерью, она прибежала с дежурства. Что же теперь делать, повторял подросток, тупо глядя перед собой, он медленно повернул голову, дверь в комнату неслышно отворилась, там стояла Маруся Гизатуллина, он ничего не сказал, дверь закрылась, он смотрел в пол, в одну точку.

Каждая эпоха оставляет свою археологию запретов, подобных надписям на умершем языке; их можно расшифровать, но их истинный смысл остаётся загадкой, ибо они состоят из иносказаний. Вся область их применения окутана тайной. Таков обычай сверхдобродетельной эпохи. Но, добившись права произносить вслух то, что прежде лишь подразумевалось, наивно было бы думать, что мы вовсе отказались от умолчаний: кажется, что они возникают сами собой, словно они часть нашей природы. Или словно они охраняют некий клад. Ну и что, сказал бы сегодняшний сверстник, что тут такого. И всё же совсем не просто решить, как повёл бы себя этот сверстник сегодня, окажись он на месте подростка.

Мать успела застать его утром, когда он запихивал учебники в портфель, разве вы снова занимаетесь в первую смену, спросила она, подросток не ответил. Хорошо, я всё понимаю, сказала мать, то есть я ничего не понимаю, но чаю выпить хотя бы можно?.. Он вышел из дому, дорога слегка подмёрзла, в воздухе кружились редкие снежинки, он миновал место, до которого ночью они дошли с Марусей Гиза-

туллиной, немного погодя, шагая по тракту, обернулся и увидел, что туманная пелена заслонила больницу. Тогда он сошёл с дороги и двинулся через поле к холмам. Пожухлый дёрн хлюпал у него под ногами. Вскарабкавшись по скользкому склону, весь мокрый от холодной росы, сыплющейся с кустов, он вступил в лес. Его ученический портфель валялся между опорами пожарной вышки, подросток стоял наверху, на смотровой площадке. Туман становился всё гуще, исчезли леса, вокруг был серый, непрозрачный океан. Может быть, к полудню проглянет солнце. Может быть, через несколько дней он почувствовал бы желание вновь повидаться с горячей и жадной, словно зверёк, маленькой женщиной. Сейчас он не мог вспомнить о ней без стыда и отвращения. Он был загажен с головы до ног, от мысли о том, что произошло ночью, у него вырвался стон – сейчас, когда он стоял, вцепившись в сырой дощатый барьер, в промокших ботинках, с лицом, залитым злыми слезами. Всё пропиталось горечью, горечь капала с веток. Всё оказалось так омерзительно просто. Он зажмурился, чтобы выдавить эту горечь из глаз, его веки слиплись, нужно было что-то предпринять. Что-нибудь сделать. Бежать! Или, может быть, изувечить себя. Злорадная, сладострастная мысль, взять всё в руку – и ножом р-раз. Несколько успокоившись, хлопая носом, он поднял голову, распрямился, он набрёл на другой выход. Он сам не заметил, как пробрался лесом, спустился с холма возле самой больницы, заглянул домой, зная, что матери нет дома, запаса необходимым; оглядевшись, вышел на крыльцо. Он действовал с безупречной точностью, холодно рассчитав каждый шаг, и всё время думал об одном. Несколько мгновений спустя он вошёл в конюшню. Кто-то стучал и скрёб копытом по деревянному настилу. Он прошагал мимо стойла, где беспокоилась молодая кобыла Комсомолка, на которой выезжал главврач, прошел мимо старой одноглазой лошади по кличке Пионерка, она стояла, понурившись, за загородкой. Каморка конюха находилась в конце прохода. Он постучался.

Узкий подоконник заставлен чахлыми цветами в консервных банках, в углу и под самодельным столом помещались старые картонные коробки с имуществом хозяина, сам Марсуля, в картузе и грязных сапогах, лежал на топчане, накрывшись армяком, под портретом маршала Пилсудского. Мальчик расцепил крючки у ворота, отстегнул пуговицы пальто, которое стало совсем коротким. Поздоровался.

«День добрый», – ответил Марсуля.

Мальчик стоял, опустив торчащие из узких рукавов руки.

«Что пан желает мне сказать?»

Гость вытащил из портфеля приношение.

«Так, – сказал Марсуля. – Это что же значит? Это значит, – ответил он сам себе, – что ты от меня чего-нибудь хочешь. Так?»

Мальчик выдавил из себя что-то. Хозяин раздвинул рот в улыбке, подложил руку под голову.

«Nie rozumem», – сказал он внушительно.

Кашлянув, подросток повторил свою просьбу.

«Nie rozumem. Ты хочешь меня подкупить или что ты хочешь?»

Подросток пожал плечами.

«Нет, ты говори прямо. Ты пришёл меня подкупить. Я не возражаю».

Марсуля спустил сапоги со своего ложа и указал гостю на полку с утварью. Мальчик достал с полки мутный гранёный стакан. Марсуля взглянул на себя, на гостя, молча показал два пальца. Подросток поставил на стол второй стакан и жестяной чайник.

Марсуля развёл спирт водой из чайника, стащил картуз с лысой головы и, нахмурившись, провозгласил:

«Na zdrowie!»

Мальчик не стал пить. За стеной был слышен конский храп, стук копытом. Хозяин отдувался, хрустел солёным огурцом.

«А теперь скажи, ты откуда узнал?»

Подросток что-то пробормотал. Марсуля нахмурился.

«Нет, ты скажи. От кого ты узнал, что у меня есть этот przedmiot?»

«Ты сам говорил», – сказал подросток.

«Я?.. тебе говорил? Что-то не помню».

Помолчав, он добавил:

«Я так думаю, что это будет слишком опасно. Не одного меня, тебя тоже могут заарештовать, если увидят. А ты ещё молодой. Клянись!»

Подросток поклялся, что никто не узнает.

«А зачем тебе нужно?»

Мальчик объяснил, что хочет поупражняться. Хочет попроситься на фронт.

Марсуля важно кивнул.

«Вот это правильно. – Он посмотрел в окошко. – Скоро, – сказал он сильным голосом и поднял палец. – Скоро затрубит труба. Ту-ру, руру! – Он приставил ладонь ко рту. – Тебе понятно?»

Подросток кивнул. Марсуля усмехнулся. Он покачал головой.

«Не думаю, что понятно. Но ты увидишь. Все увидят! Когда придёт час, и Марцули здесь больше не будет. Генерал Андерс собирает армию в поход. Кто такой генерал Андерс, знаешь? Мы им всем покажем. Вам тоже», – сказал он, подмигнув.

«Кому это, вам?»

«Всем вам покажем».

Хозяин каморки обозрел своё жильё и прислушался к перестуку копыт. «Я вообще никакой не Марцуля, если пану угодно знать. Это я только здесь Марцуля.. Я подал на регистрацию. Жду приказа. – Он понизил голос. – Теперь тебе ясно, зачем у меня этот?.. Na zdrowie».

Он перелил спирт из стакана гостя в свой стакан, выпил и задумался.

«С другой стороны, ты меня подкупил. Я человек честный. Я пил спиртус, значит, должен выполнять. И я даже не знаю, умеешь ли ты с ним обращаться?»

«Умею. У нас в школе...» Мальчик хотел сказать, что они тоже проходят военное дело. Трёхлинейная винтовка Мосина образца тысяча восемьсот девяносто первого дробь тридцатого года. Затвор служит, р-раз, для досылания патрона в патронник, два, для плотного замыкания канала ствола, три, для производства выстрела, четыре, для выбрасывания стрелянной гильзы. Канал делает три с половиной оборота и служит для придания пуле вращательного движения. После уроков, строем, за-певай! *Краснармеец был герой. На разведке боевой. Да эх! Э-эх, герой.* Он сидит у подножья пожарной вышки, на поляне, прислонясь к врытой в землю опоре, и осматривает «пшедмёт», крутит большим пальцем барабан, заглядывает в дуло. У него в запасе три патрона. Он отводит предохранитель, открыв рот, целится в толстую ель. Рот всегда в таких случаях нужно держать открытым. Страшный гром потрясает лес и катится вдаль. Отлетела гильза, барабан мгновенно повернулся, наготове следующая пуля, отлично. Оружие функционирует как полагается. Подростка страшит боль, особенно если стрелять в висок. Кроме того, бывают случаи, когда человек остаётся жив. В живот, чтобы пробить аорту... о, нет. Ему приходит в голову, что лучше всего это сделать на берегу, тело упадёт в воду, и его унесут волны. *На разведку он ходил. Всё начальству доносил.* Он как-то странно бодр, его переполняет злобная радость. Несколько времени погода, поглядывая по сторонам, он подходит к реке, темно-серые, тусклые воды влекутся на всём огромном пространстве под небом туч, далеко впереди, почти вровень с водой чернеет другой берег, мальчик выпрастывается из пальто, бросает рядом шапку, озираясь, усаживается на песок, разувается, ему холодно. Скорей, больше некогда рассуждать, он и так потерял уйму времени. Слишком медленные приготовления ослабляют волю. Едва успев войти в ледяную воду, стуча зубами, он прижимает холодное дуло к груди, к тому месту, где должно находиться сердце, нажимает на курок, и – никакого результата. Он осматривает револьвер. Барабан повернулся, патрон стоит на выходе напротив ударника с бойком, ничего другого нельзя предположить, как только то, что оружие дало осечку. Такие дела в суматохе не делаются. Спешка унижает достоинство человека. Со стволом, прижатым к груди, преодолевая дрожь в руке, сжимающей рукоятку, вскинув голову, он смотрит вдаль, на кромку берега, на низко стелющееся, серо-жемчужное, холодное небо. После чего проходит неопределённое время, а лучше сказать, время исчезает.

Дневник, начало большой поэмы и что там ещё, запихнуто в портфель. Мать хлопочет вокруг чемоданов. Марсуля грузит вещи на телегу. Старая Пионерка моргает единственным глазом, второй глаз, вытекший, слипшийся, зарос седыми ресницами. Их никто не провожает. Темнеет, когда они подъезжают к пристани. Двухпалубный теплоход, очень большой вблизи, скудно освещённый, грузно покачивается у дебаркадера, трутся резиновые покрышки, очередь, давка, трап трещит и качается под ногами, на нижней палубе не протолкнуться. Они стоят в проходе, мать пересчитывает пальцем вещи, медленно отодвигается, отступает, сливается с темнотой пристань. Сколько ночей и дней предстоит ещё ехать, пока вдали, на солнечном разливе не покажется высокая, узкая, украшенная звездой башенка речного вокзала – Химки, Москва.

СОНАТА, ОПУС 90

Для точности мне бы надо было указать дату этого приключения. Стыдно признаться, я не стараюсь его забыть; да и не хочу; наоборот, стараюсь припомнить все подробности, всё, о чём нормальная женщина никому не расскажет. Вот сейчас возьму лист бумаги, и – как на духу: всё как было.

Меня всегда удивляла откровенность современных писателей: ведь ясно, что под видом вымышленных событий описывается то, что было с самим автором. А если не было, если он всё придумал, значит, он не стесняется продемонстрировать перед всеми свою разнузданную фантазию. Боюсь, что в конце концов я порву свои записи в мелкие клочки. Вернее, боюсь, что у меня не хватит духу порвать их. Это было бы изменой. А я уже сказала, что не хочу ничего забывать. Прошу моего сына, если случайно эта тетрадка когда-нибудь после моей смерти попадётся ему на глаза, выкинуть не читая. Ему, я думаю, в голову не приходит, что со старушкой могло приключиться что-нибудь такое.

Обычно ставят в вину старшим, что они не знают, чем живут их дети, но это неверно: всё главное в жизни детей родителям известно. Потому что это абсолютно то же самое, что было главным в их собственной жизни, в жизни старших. Люди не меняются, что бы ни происходило в мире, и по-настоящему важные события в жизни мужчины и женщины всегда были и будут одни и те же. Зато дети ничего не знают о родителях. Если они и догадываются, что всё, что они переживают, когда-то переживали родители, то уж наверняка не могут себе представить, что родители до сих пор тянут всё ту же песню.

Я так и слышу голос моего сына: *в твои-то годы?* Вот уж, действительно, смех – на старости лет уподобиться собственным детям. Но хватит философствовать. Дело происходило во вторник, а число не имеет значения. Время одиннадцатый час, пора готовить к столу, а я всё ещё верчусь перед зеркалом; на косметику я не трачу времени, разве только чуть-чуть, мысль о том, что человек, которого я жду, подумает, что я намазалась, чтобы ему понравиться, для меня мучительна. Я стою перед зеркалом. Деловой осмотр давно закончен. Но какая-то сила меня всё ещё удерживает. Зеркало висит наклонно, от этого фигура выглядит короче; я

снимаю его и прислоняю к стене; теперь, напротив, я кажусь себе слишком высокой.

Тело женщины просвечивает под любой одеждой. Этот сомнительный афоризм принадлежит моему бывшему супругу. Не стоило бы сейчас о нём вспоминать. Ложь: одежда меняет женское тело, делает его толще, тоньше, старше, моложе. Я недолго раздумывала, что мне надеть; повторяю, мне было бы неприятно, если бы гость решил, что я нарядилась ради него. Но, конечно, напаялить на себя что-нибудь старушечье тоже не хотелось.

Последний, подводящий итоги взгляд; печальные итоги, что и говорить. Умение видеть себя – особое искусство, не каждая им владеет. Не искусство, а проклятие – способность увидеть себя такой, какая ты есть. Большинство смотрится в зеркало в надежде найти там не себя, а ту, которую хотят увидеть. Утро вообще не лучшее время для таких, как я, а в это утро моё лицо было ниже всякой критики. Это оттого, что я плохо сплю ночью. Вечером долго не ложусь, боюсь заснуть слишком рано и проснуться среди ночи, и, конечно же, просыпаюсь. И лежу, лежу... Боюсь ночей: по ночам меня осаждают страшные мысли. Ясно видишь, всё потеряно, и впереди ничего не осталось. Думаешь о том, как жестоко насмеялась над тобой жизнь, и эта мука тянется, пока не начнёт светать. Результат был в буквальном смысле налицо.

Я увидела себя, свои дряблые щёки, слегка алеющие под набрякшими нижними веками, свои грустно-насмешливые глаза, всё ещё сохранившие тёмный, таинственный блеск, которым я славилась в молодости. В последний раз, отступив на два шага, я оглядела всю себя, одёрнула юбку. Отмечу всё же ради справедливости, что белая кофточка с отложным стоячим воротничком мне идёт. Я надела бусы и отстегнула верхнюю пуговку. Мои груди, пожалуй, слишком бросались в глаза. Всё же я осталась собой довольна.

Он оказался пунктуален, ровно в двенадцать в прихожей раздался звонок. Я помедлила и открыла. Он вошёл. Моё жильё... что можно сказать о нём? Обыкновенная квартира в обыкновенном, паршивом блочном доме. С окнами без подоконников, с низкими потолками, одна из двух квартир, на которые мы с мужем разменяли наши бывшие хоромы или, лучше сказать, нашу бывшую жизнь. Теперешнее моё обиталище состоит из крохотной передней, кухни и комнаты, правда, довольно большой, где стоит инструмент. У окна помещается письменный стол (за которым я сейчас сижу), и есть ещё ниша вроде алькова, прикрытая занавеской, за ней стоит кровать. Память о моём неудачном супружестве. Мысль о том, что на этой кровати мы когда-то любили друг друга, что на ней был зачат наш сын, меня давно уже не волнует. Итак, я выждала, пока звонок повторится, встала и вышла в прихожую. Я не стала спрашивать, кто там, открыла, зная, что это он, и в самом деле это был он, в пальто и шляпе, с букетом в руках.

Надо было, конечно, развернуть бумагу и воскликнуть, ах, какие чудные цветы, или он сам должен был развернуть; вместо этого я сказала: «Привет», и он, усмехнувшись, ответил: «Привет», – расстегнул пальто, стряхнул капли дождя с шляпы, тут-то я и увидела, как он изменился, как страшно он изменился. И тотчас подумала, как же должна измениться я сама. «Но что же мы стоим?»

Следом за мной он вошёл в большую комнату, я всегда говорю: большая комната, словно у меня их несколько. Остановился и обвёл глазами стены, фотографии, люстру, рояль. На пиюитре стояли ноты, бетховенские сонаты. «Ты преподаёшь?» – спросил он. Я хотела задать ему встречный вопрос, но вовремя остановилась. Он понял и ответил: «Я давно оставил музыку».

Когда я вспоминаю сейчас эти первые минуты, замешательство, смущённое стояние друг перед другом и первые фразы, которыми мы обменялись, то невольно вкладываю в каждую реплику какой-то особенный смысл, которого, может быть, вовсе и не было. Когда знаешь, что было потом, то кажется, что всё к этому и шло. Всё как будто говорилось неспроста, все вещи были участниками тайного заговора. Музыка на пиюитре и фотографии, следившие за нами, и пуговики на моей блузке, которые я перебирала, словно хотела убедиться, что они все на месте. Потухший, блуждающий по комнате взор моего гостя... Почему потухший?

Вероятно, и у того, кто прочёл бы эти строки, возникло бы такое же впечатление умышленности; ошибочное впечатление. Конечно, я немного волновалась. Но не стоит преувеличивать: мы просто испытывали неловкость, обычную для людей, которые знали друг друга в юности, а теперь пытаются связать концы оборванной нити времени, лёгкое беспокойство, вызванное не столько встречей друг с другом, сколько встречей с прошлым. Должна сразу сказать: никаких особенных чувств я к нему никогда не питала. Разве что любопытство, желание немного помучить кавалера. Мне кажется, я никогда не была кокеткой, да в то время и не было принято у молодёжи заигрывать открыто друг с другом. Мне было любопытно поглядеть, как он будет реагировать на какую-нибудь туманную фразу, на какой-нибудь мнимо-многозначительный взгляд. Ну и, конечно, это чувство, знакомое каждой барышне: что надо иметь кого-нибудь возле себя про запас.

Мы сидели на кухне, где я выставила угощение, перебрасывались бессвязными фразами, он что-то спросил, я отвечала, всё это не имело ни малейшего значения. Вся жизнь, все эти годы, прошедшие с тех пор, как ни странно, не имели значения; мне не хотелось выпрашивать, что с ним стряслось, его не интересовала моя жизнь. Важно было далёкое прошлое. Только оно было интересно. И разговор наш мало-помалу свёлся к бесконечным «а помнишь, как...» Вспоминали разные истории, перебивали друг друга, смеялись. И когда разговор начал истощаться и больше уже ничего забавного не прихо-

дило в голову, почувствовался лёгкий страх, что не о чем будет больше говорить, и мы всё ещё повторяли, как заведённые, чувствуя, что кончается завод: а помнишь?..

«Помнишь, как мы ходили всей компанией вечером по улицам, был Новый год, и прыгали через сугробы».

«И рисовали на снегу? Конечно, помню».

«А ветер какой был, помнишь?»

«Конечно».

«Но бури Севера не страшны русской розе. Как жарко поцелуй...»

«Ну уж этого не помню».

«Да, конечно... А помнишь, – проговорил он, – как я тебе написал письмо?»

Тут я почувствовала, что он нарушил правила игры. Была как бы молчаливая договорённость, о чём можно вспоминать – и о чём не стоит.

Почему не стоит? Сама не знаю. Потому что ведь ничего из этого не вышло. Потому что у нас *ничего не было*.

Помолчав, я спросила:

«Откуда ты знаешь, что я его получила?»

«Значит, – сказал он, – ты его получила. Ну, и как ты к нему... отнеслась?»

Я пожала плечами.

«Или уже не помнишь?»

«Я всё помню», - сказала я.

«И что же?»

«Я удивилась».

«И всё?»

«Я думала, что за этим последует продолжение».

«Какое же продолжение?»

«Ну... – я замаялась, – что ты что-нибудь скажешь вслух».

Он усмехнулся: «Ты хочешь сказать, что я молчал, вместо того, чтобы приступить к дальнейшим действиям?»

Я тоже улыбнулась. «К каким же это дальнейшим действиям?»

Было ясно – что-то сдвинулось в эту минуту, и я почувствовала тревогу, хотя, я уже говорила об этом, никаких нежных чувств я к нему никогда не испытывала. Наш разговор за столом, весёлый и непринуждённый, даже немного растрогавший нас обоих, – кто же не умиляется воспоминаниям о юности, – наш разговор перешёл в другую тональность. В том-то и дело, что всё было важно в этом прошлом, в том числе и то, что казалось неважным. Шутки и смех прекратились, мой гость вертёл рюмку, он был, казалось, целиком поглощён этим занятием. Потом проговорил:

«Можно тебе задать один вопрос?»

«Зачем?» – спросила я.

«Мне интересно. Скажи, пожалуйста... У тебе тогда уже кто-нибудь был?»

«Зачем тебе знать?»

«Мне очень важно».

«Когда?» – спросила я, чтобы оттянуть ответ.

«В это время. Когда мы учились в консерватории».

Я пожала плечами: «Какая же девчонка не увлекается».

«Я не об этом».

«Разве теперь уже не всё равно? Хорошо, – сказала я, – тогда я тебя тоже спрошу: а ты, когда мы учились... Ты думал, что у меня никого не было? То есть считал меня девицей? Извини, – я засмеялась, – слово какое-то нелепое».

«Да», – сказал он серьёзно, и эта серьёзность мне понравилась. Мне нравилось, что он не иронизирует, не смеётся над нашей молодостью и не изображает из себя всё изведавшего скептика.

«Я был в этом уверен», – сказал он и подлил себе и мне. Глядя на его искалеченную руку, я пролепетала:

«Я не очень-то разбираюсь. Мне сказали, хорошее. Венгерское».

Он похвалил вино.

«У меня есть ещё бутылка».

«Допьём эту, примемся за следующую... А водки у тебя не найдётся?»

«Я могу сбежать», – сказала я растерянно.

«Нет, не надо. Не надо», – повторил он.

«А почему, – спросила я, – ты был так уверен?»

«Уверен».

Я усмехнулась. «По-моему, ты тогда ещё тоже был девицей».

Он промолчал, и я продолжала:

«Уж очень мы все друг друга стеснялись. Современная молодёжь не может даже себе представить, до чего мы были скованы. Пуританские времена, ты не находишь?»

Он рассеянно кивнул, о чём-то думал.

«Конечно, мы были слишком молоды, то есть я хочу сказать, ты был для меня слишком молод. Если бы ты был лет на пять старше...»

«Что тогда?»

«Не знаю», – я улыбнулась.

«Ты говоришь: тоже был девицей. Значит, и ты?»

«Удивительный вы народ, – я рассмеялась, – вам всегда надо знать.

Неужели это так важно?»

Он молчал.

«Не было у меня никого, – сказала я. – Ещё вопросы?»

Он откупорил вторую бутылку. У него было что-то с рукой, пальцы не разгибались до конца. Разливая вино по рюмкам, он чуть не уронил бутылку, пролил на скатерть и взглянул на меня с убитым видом.

«Ничего страшного. Это отстирывается»

«Говорят, надо солью посыпать», – сказал он.

Я подняла рюмку, выпили.

«Ну, хорошо. Был один случай, – сказала я. – Я ездила летом к бабушке. У меня была бабушка в деревне, в Тульской области. Я у ней каждое лето гостила. Ну, и там был один... тоже приезжий. Глупость, одним словом. Больше никогда не повторялось. Ты разочарован?» – спросила я улыбаясь.

Он тоже усмехнулся, встал из-за стола и вышел в «большую» комнату. Я слышала, убирая со стола, как он подбирал пальцем что-то. Потом сыграл кое-как несколько тактов.

«Ты знаешь эту вещь?» – спросила я, входя в комнату. Глупый вопрос: конечно, он знал.

Он повернулся ко мне, покачался вправо-влево на круглом стуле, это доставляло ему удовольствие, и сказал:

«Есть такой рассказ, по-моему, у Шиндлера. Бетховена спросили, что он хотел выразить в этой сонате».

«И что же он ответил?»

«Он ответил, что в первой части говорится о споре сердца с рассудком, а вторая часть – это беседа с возлюбленной».

«Знаешь что, – сказала я, – по-моему, это ни к чему».

«Что ни к чему?»

«Ни к чему всё время возвращаться».

Я не задавала ему никаких вопросов, не спросила даже, есть ли у него семья, словно мы с самого начала договорились, что будем говорить только о том, что касалось нас обоих. Я уже упомянула, как я была поражена происшедшей с ним переменой. Но теперь как будто начала привыкать, прежние черты проступили сквозь годы и невзгоды. Да ведь и он, увидев меня, наверное, не обрадовался.

«Я ещё хотел тебя спросить».

Я взмолилась: «Ради Бога, не надо!»

«Хотел спросить... у тебя были тогда неприятности?»

По своей тупости я не поняла, о чём он. Какие неприятности?

«Нас всё-таки часто видели вместе».

А, сказала я, нет, ничего особенного не было.

«Тебя вызывали?»

«Всех вызывали».

«И что же?»

«Ничего. Расспрашивали о тебе».

«Что же ты ответила?»

«Я не помню».

Наступила пауза. Он спросил, знала ли я, что он вернулся. Знала; кто-то рассказывал... Не хотелось говорить ему, что я редко о нём вспоминала. И вообще считалось, что оттуда не возвращаются.

Я взглянула на часы.

«У тебя дела?»

Вместо ответа я спросила: «Ты завтра уезжаешь?»

«Улетаю». Он жил где-то далеко, может быть, в тех же местах, где освободился.

«М-да. Ну что ж».

Он встал и подошёл ко мне. Я стояла лицом к окну. Вот так и бывает – люди встречаются, потом снова расстаются, на этот раз навсегда. Он медлил, переминался с ноги на ногу, может быть, ждал, что я скажу: побудь ещё немного. Мне хотелось, чтобы он ушёл.

«Что я хотел сказать... – проговорил он. – Послушай, Лиза», – и положил руку мне на плечо. Я отстранилась.

«Хочешь, – сказала я, – посмотрим альбом?»

«Альбом?»

«Да. У меня сохранились фотографии».

«И мои?»

«Твои нет. К сожалению. Сам понимаешь... Ладно, – сказала я, видя, что моё предложение не вызывает у него интереса, – пошли, выпьем на посошок».

«Слушай, – сказал он быстро, – только не удивляйся. И не говори сразу нет. Это, конечно, смешная идея, нелепая идея, но мы больше не увидимся. А может, и не такая нелепая... Я хочу сказать, что... Ну, в общем, жизнь прошла!»

Я рассмеялась: «Это ты и хотел мне сообщить?»

Не отвечая, он отодвинул меня от окна и одним движением задёрнул шторы.

«Что ты делаешь, зачем?»

«Свет. Слишком яркий свет, – сказал он. – Лиза, мы можем возместить».

Я ничего не понимала.

«Мы можем возместить, – повторил он тупо. – Не говори нет. Пожалуйста».

«Что возместить?»

«То, чего мы не сделали. То, что мы потеряли».

Я спокойно возразила: «Я ничего не потеряла».

«Нет, мы потеряли. Лиза, это моя просьба. Не возражай».

Тут, наконец, я упала с облаков. И, конечно, сказала самое банальное, что говорится в этих случаях:

«Ты с ума сошёл!»

«Нет. Не сошёл», – сказал он, не спуская с меня глаз, а вернее сказать, глядя сквозь меня. И добавил:

«Я ради этого приехал».

«Ага; вот как. Ты для этого приехал, – сказала я со злостью. – Схватился. Через двадцать пять лет».

«Лиза».

«Что Лиза? Вот ты всё допытывался – была ли я с кем-нибудь и всё такое... А я, может, назло тебе... – Должна сказать, только теперь эта мысль пришла мне в голову. Но казалась мне очень убедительной. – Знаешь, как я была на тебя зла?»

«За что?»

«За что... Неужели непонятно? За то, что ты был мямлей, вот за что!»

Он подошёл к нише. «Э! э! – сказала я. – Ты что делаешь?»

Откинул занавеску.

«Между прочим, мой сын должен сегодня придти», – заметила я.

«Не придёт», – сказал он.

Я вздохнула. Это было чудовищно – то, что он хотел со мной сделать. Я сказала: «Образумся. Возьми себя в руки. В нашем возрасте!.. Лучше попрощаемся, и... будет хорошая память, как мы встретились...»

Он ничего не ответил.

«Мы ведь всегда были друзьями, а?»

Молчание.

«Ну, и, наконец – я просто не хочу!»

«Угу», – отозвался он.

Он был целиком поглощён своим занятием. Хмурый и озабоченный, снял покрывало, сложил аккуратно и, не зная, куда деть, повесил на спинку кровати. Из-под подушки вынул мою ночную сорочку, тоже повесил. Отвернул одеяло. Я следила, обалдев, за его движениями.

«Послушай. – Я предприняла последнюю попытку: – Неужели мы не можем без этого обойтись?»

Он покачал головой.

«Мы, в нашем возрасте?..»

Всегда лезут в голову нелепые мысли: я подумала, что на мне неподходящее бельё. «Выйди, – сказала я. – Ну, пожалуйста».

Когда он снова вошёл, – видимо, думал, что я приготовилась, – я стояла, не зная, что делать. Я уж не говорю о том, что тут было нарушение всех правил, тех правил, которые вбиты нам в голову чуть ли не с детства, что всё должно происходить без твоего участия, как бы против твоей воли. Интересно, как ведут себя молодые девицы сегодня? У меня был взрослый сын, но он мне ничего не рассказывал.

«Он должен скоро придти», – сказала я.

«Он не придёт».

«Откуда ты знаешь? А если придёт?»

«Мы не откроем».

«У него есть ключ».

«Ты оставишь свой ключ в двери, он не сможет открыть».

«Но он подумает, что со мной что-то случилось!»

Это уже напоминало какую-то торговлю. Он держал свои руки у меня на плечах, мы смотрели в глаза друг другу, смешно сказать – я почувствовала себя какой-то несчастной, у меня даже навернулись слёзы. Мы смотрели друг на друга, но думала я не о нём, а о себе. Я невысокого роста, с юности была расположена к полноте. После родов похудела. Не могу сказать, что я вела сытую и довольную жизнь, вот уж нет. Нахлебалась достаточно. Может быть, и есть на свете счастливые женщины, только не у нас. Как и большинство, после сорока я стала полнеть. Толстой я не могу себя назвать. Определённую роль сыграло то, что на мне была белая блузка, это опасный цвет. С одной стороны, он молодит, придаёт женщине свежесть. У меня всегда была нежная, молочно-белая кожа. Белый цвет идёт ко мне, моя кожа начинает светиться. Зато тёмные цвета придают ей болезненный вид. Моя мама всегда говорила мне: не носи тёмное, в тёмном ты выглядишь хворой. А с другой стороны, в белом расплываешься. Начинает выступать живот. Конечно, от талии мало что осталось. У меня довольно полные груди, но не оттого, что я пополнила. У меня всегда были полные груди. Говорят, это сочетается с глупостью. Становишься похожей на корову.

Счастье ещё, что в комнате было сумрачно, меня обуял страх. Я боялась, что он увидит меня и я покажусь ему безобразной, я хотела, чтобы ничего не вышло, и боялась, что ничего не выйдет: как мы тогда посмотрим в глаза друг другу? В панике я пятилась и неожиданно села на кровать. А как же ключ, подумала я. Мы сидели рядом. Я прикрыла себя смятой блузкой, сунула лифчик под подушку. Он наклонился и стал у себя развязывать шнурки ботинок. Шнурок не развязывался. Не выйдет, ничего не выйдет, подумала я. Сейчас я вскочу и выбегу на лестницу; самый подходящий момент. Мне стало холодно. Он встал и задёрнул занавеску искалеченной рукой, и мы оказались внутри, словно в купе вагона. Я подняла на него глаза, он был в трусах и носках и очень худ. И я не могу передать, как мне вдруг стало ужасно его жалко. Я послушно сняла всё, что на мне ещё оставалось. Я спряталась от него под одеяло, подальше, к самой стене, взглянула украдкой – на нём уже ничего не было, и, глядя на него, я испытывала не возбуждение, а сострадание.

Это было странное чувство горечи, жалости, сострадания даже не к нему, к товарищу юности, срубленной нашим злодейским временем, это была жалость к бедному человеческому телу, и, обнимая его, я гладила это тело, гладила костлявые плечи, лопатки, косточки позвонков и ложбинку на пояснице. Я знала, что ничего у нас с ним не получится, когда-то он был для меня чересчур молод, теперь я была стара для него, но меня это уже несколько не волновало. Я отвечала его поцелуям, гладила и утешала его, утешала, потому что для мужчин это вопрос самолюбия, глупой чести. Я грела его своей грудью и животом, мне хотелось

сказать ему: всё хорошо, полежим спокойно. Но почувствовала его настойчивость, почувствовала боль и давно не испытанное ожидание близкого счастья.

Несколько времени погода задрезжал звонок, это пришёл, как я и предполагала, мой взрослый сын. Я быстро оглядела комнату, взглянула на себя в зеркало и вышла в прихожую. «Кто там?» – спросила я и открыла дверь, на площадке никого не было. Ни шагов на лестнице, ни звуков лифта. На случай, если дверь захлопнется, я захватила ключи, сошла вниз на несколько ступенек, вглядывалась в пролёт. Ни звука во всём доме. Я вернулась в прихожую и слушала эту мёртвую тишину, в которой мне всё ещё чудились шаги гостя.

ПУСТЬ НОЧЬ ПРИДЁТ

Женщина стояла, как птица, в прямой короткой юбке, лёгкая, стройная и прекрасная, как только может быть прекрасной женщина в девятнадцать лет, и эта линия обтянутой чулком, высоко открытой ноги, притягивала взгляды, заставляла людей украдкой поворачивать голову. Подошёл автобус, девушка оперлась на две палки и вскочила на площадку, я вошёл следом за ней.

Мы были знакомы – осмелюсь сказать, дружны – около года, каждую неделю виделись и говорили друг другу всё, за исключением того, о чём невозможно было говорить. Ничего особенного между нами не произошло, никакой «истории», о чём я честно хочу предупредить читателя, ничего такого, что началось бы с какого-нибудь необыкновенного события и кончилось неожиданной развязкой. Жизнь, как известно, плохой сочинитель; в жизни каждого из нас есть только одно начало и один конец – ни о том, ни о другом мы помнить не можем.

Мы не могли говорить о том, чего она не помнила; точная дата её рождения была неизвестна, считалось, что ей было семь лет, кто-то держал её на руках. Кто-то бежал с ней, все кругом спешили. Этот человек был, по всей вероятности, убит. Больше ничего не осталось в её памяти, ни боли, ни крови, и мы к этой теме не возвращались. Где-то на дне её души хранился запрет вспоминать; своего рода гриф «Секретно» на папке, в которой ничего нет.

Можно добавить, что это была война за национальную независимость – другими словами, война ни за что. Вы согласитесь со мной, что более мерзкого слова, чем «национальный», нет ни в одном языке. Свой родной язык она забыла. У неё было длинное экзотическое имя, похожее на название цветка или княжества, для моего уха, пожалуй, слишком церемонное, я укоротил его и слегка переименовал, получилось Дина.

«Дина, – сказал я. – Что за упрямство...»

Дом, где она жила, был старый, как все дома в этом городе, и казавшийся очень высоким, без лифта, с длинными полутёмными лестницами, квартира была на последнем этаже.

Я уговаривал её переехать ко мне. В доме обитал неопределённый люд. Этажом ниже помещалась пошивочная мастерская, дверь на площадку

была открыта, оттуда пахло утюгами, слышались женские голоса. Квартира Дины состояла из комнаты и кухни. Тут же при входе, за занавеской помещалась уборная и жёлтая от ржавчины ванна. В этой ванне я иногда мыл Дину. В мои обязанности, которые я сам возложил на себя, входило также покупать продукты.

Широкая низкая тахта, перед зеркалом подобие туалетного столика – коробочки, баночки, деревянное блюдо с бусами, флаконы из-под духов, по большей части пустые. Окно доходило до пола и было наполовину задрнуто тёмной гардиной. Паркет «дышал» – разошедшиеся половицы хлябали под ногами. Насколько свежа и опрятна, словно умыта росой, была хозяйка, настолько заброшенным выглядело её жильё. Время от времени я устраивал уборку. Дина сидела с ногами на тахте, – я хочу сказать, поджав ногу, – и смотрела в окно.

Говорят, Париж не меняется; поселившись здесь, я не уставал удивляться тому, что всё в этом городе существует по сей день: и крутые крыши, и дома без лифтов, и скрипучие лестницы, и окна до пола. Дешёвое барахло, вываленное из магазинов прямо под ноги прохожим, розы, попрошайки, старики на скамейках – всё как встарь, город давно смирился со своей ролью быть огромным сборником цитат, и всё так же течёт Сена под мостом Мирабо, с которого некогда смотрел на воду поэт, дивясь тому, что он жив, всё ещё жив, и высоко вдали непременно Монмартр с сахарной головой Святого Сердца. Я прекрасно понимаю, что и то, о чём я говорю, тоже повторение сказанного тысячу раз. Приезжаем я посоветовал бы внимательней смотреть под ноги: обилие собачьего кала на тротуарах свидетельствует о неугасимой любви горожан к священным животным.

Вернёмся к нашей теме, – я имею в виду её жилище. Пока я возился с пылесосом, она сидела, сгорбившись на тахте, курила, поглядывала мимо меня на улицу. В углу стоял протез – она не любила его, предпочитала палки. Костылями вообще не пользовалась. Из окна был виден сплошной, вдоль всего фасада, балкон дома напротив и крутая черепичная крыша с окошками. Улица находилась в Шестом округе, в знаменитом квартале, – спрашивается, что здесь не знаменито? Вам достаточно было пройти двести шагов, чтобы очутиться у подножья мрачной башни Святого Германца-на-Лугах, на перекрестке, облюбованном музами, где обалделый турист стоит в замешательстве перед прославленными забегаловками *Flore* и *Deux Magots*, как Буриданов осёл между двумя стогами сена.

На шаткой этажерке, среди кое-как напиханной макулатуры (она читала всё подряд), в резной овальной рамке стояла чернобровая барышня в белом платке, под зонтиком, отороченном кружевами, на фоне искусственного ландшафта. Вылитая Дина.

«Может, это ты и есть?»

«В некотором смысле».

«Что ты хочешь этим сказать?»

Она пожала плечами. Я спросил, откуда известно, что это её мать, может быть, это бабушка.

«Может, прабабушка?» – возразила она.

Она не знала, как звали её родителей, что с ними стало, не знала ничего. Всё это лежало в пустой папке с грифом «Секретно». Я переставил портрет с этажерки, откуда он легко мог свалиться, на туалетный столик. «Можешь ли ты мне, наконец, объяснить...», – спросил я, но объяснять было нечего, мы могли говорить обо всём, кроме того, о чём нельзя говорить. Я уже сказал, что тщетно убеждал её переехать в мою квартиру. Мы ничего не скрывали друг от друга, скрывался и ускользал, если можно так выразиться, самый предмет разговора.

Бывало и так, что меня просто не впускали. Я стоял на площадке со стучащим сердцем, с продуктовыми сумками, звонил, ждал. Звякала цепочка, дверь приоткрывалась, надменный голос произносил:

«Извините, но я не могу вас принять».

Высовывалась голая рука.

«Сколько раз я просила вас не утруждать себя...» Через несколько дней я снова взбирался к ней на шестой этаж, и она спрашивала светским тоном, как ни в чём не бывало:

«Что случилось, вы были больны?»

В декабре лили дожди, тускло сияла иллюминация; мы встречали годовщину нашего знакомства в заведении, которое, я надеялся, должно было ей понравиться. На Дине было чёрное платье с рукавами из тёмного газа, с полупрозрачной грудью, я облачился во фрак, – ей-Богу, мы были красивой парой. И когда мы шествовали по залу следом за чопорным метрдотелем, я, задрав подбородок, и она, слегка прихрамывая, люди за столиками оглядывались на нас с восхищением.

Гарсон вручил нам огромные, как почётные грамоты, папки с меню, второй официант приблизился с картой вин. Состоялся обмен мнениями, были высказаны глубокомысленные соображения, даны компетентные советы. Последовал церемониал опробования.

«Где вы обучились всем этим премудростям?»

«Нигде. Это разговор авгуров. Римские авгуры старались не смотреть друг на друга, чтобы не расхохотаться». Я предложил выпить за нас.

«Что это значит?»

«За тебя, за меня».

«За вас – пожалуйста».

«Знаешь что, – сказал я смеясь, – всякому терпению приходит конец, ведь мы уже, кажется, договорились: говорить друг другу ты. Это первое. Второе...»

«Я знаю», – сказала она и стала смотреть по сторонам.

«Нет, не знаешь. Я не собираюсь возвращаться к нашей избитой теме. Дина! – сказал я. – У нас сегодня торжественный день. Будем говорить о чём-нибудь высоком».

«О чём?»

«Об Эйфелевой башне. Или о поэзии. *Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Et nos amours*¹... Тебе нравится?»

«Нравится». И разговор иссяк.

Подъехал столик с блюдами, приготовления до некоторой степени оправдывали наше молчание.

«Тебе скучно со мной?»

Она усмехнулась, пожала плечами.

«Я понимаю, я для тебя слишком стар».

Дина учтиво ответила:

«Вне всякого сомнения».

«Будь я лет на пятнадцать моложе...»

«Вы были бы слишком молоды».

«У тебя кто-нибудь есть», – сказал я как бы в шутку.

«У меня?» – спросила она удивлённо.

«Не у меня же. Блины остывают».

Я решил угостить её деликатесом моей страны и давал указания: что надо положить, как надо сворачивать блин. Надеюсь, меня поймут правильно: слава Богу, я не принадлежу никакой стране. Единственный вид патриотизма, который я признаю, – гастрономический.

«Почему вам пришла в голову такая мысль?»

«Очень просто: может быть, ты сама мне когда-нибудь приготовишь...»

«О! Я не об этом».

«Конечно. Я пошутил».

За такой увлекательной беседой прошёл наш праздничный ужин. Ближе к полуночи на эстраде появились музыканты, публика оживилась, пары вставали из-за столиков, образовалась площадка для танцев. Я заказал шампанского... Когда мы вернулись, Дина выглядела усталой, слегка возбуждённой, глаза блестели. Она попросила расстегнуть ей стеклянные пуговицы на спине. После чего, удалившись на кухню, я с великим облегчением стащил с себя чёрное одеяние, бабочку и манишку. Постучался, она сидела в халатике.

«Царский ужин».

Я обрадовался и поспешно возразил:

«Всё-таки, знаешь, – это не настоящие блины».

¹ «Под мостом Мирабо течёт Сена. И наша любовь... (Здесь и ниже – из стихотворения Г.Аполлинера «Мост Мирабо»).

Мы лежали рядом на тахте, она в своём халатике, в чулке, я в носках и брюках.

«Прежде всего, настоящие блины должны быть с ноздрями».

«С чем?»

«Ноздреватые. С дырочками; это первое. Второе, блины должны быть тонкие, тонюсенькие. По краям оранжевая корочка. Но самое главное, настоящие русские блины...»

«Неправда, – сказала она строго, – всё было очень вкусно. И вино замечательное. Пожалуй, я даже перебрала. Можете снять брюки, а то они сомнутся... Я знаю, что вы джентльмен и не воспользуетесь моей беспомощностью».

«Дина! – взмолился я, – мы же договорились...»

Я верю в зловещую силу слов. Если бы удалось заставить её перейти на «ты», наши трудности отпали бы сами собой. Проклятое «вы» было как бруствер, за которым она укрывалась. Как лежавший между Тристаном и Изольдой меч.

«Самое главное, – мямлил я, – к блинам полагается... Блины, если хочешь знать, запивают не вином, а водкой. Ледяной!»

«Бр-р», – сказала она.

Нам действительно было холодно, мы лежали под одеялом, и я глядел её натруженную протезом кожу. Круглый обрубок, всё что осталось. Ампутация в верхней трети бедра. В конце концов я был когда-то медицинским студентом. Но так же, как она не помнила детство, так и я не мог представить себе Дину ребёнком, я гнал от себя прочь видение искалеченной, лиловой, с признаками гангрены, детской ноги, торчавшей из эмалированного ведра в комьях полусохших, бурых от крови бинтов, где-то там, в южном славянском городе, в операционной комнате, среди воя сирен. Мне казалось, что и тогда Дина была чернобровой и юной, была той, что стояла под зонтиком в овальной рамке.

«Незачем», – сказала она, когда я попробовал повернуться к ней лицом. Мне хотелось сказать ей нечто важное. Что не зря мы нашли друг друга в этом городе. И что при всей разнице возраста, вкусов, происхождения мы были парой. Если уж на то пошло, то и я был в некотором роде инвалидом – духовным калекой. Этот вечер должен подвести черту в наших отношениях. Всё это я собирался ей изложить, по возможности спокойно и рассудительно, но лицо её, губы, углы рта приняли знакомое мне холодно-отчуждённое выражение. Я пробормотал:

«У тебя кто-то есть. Скажи прямо».

Никакого ответа, и всё та же брезгливо-безразличная мина.

«Ты хочешь сказать, что я для тебя слишком стар».

«Эту тему мы уже обсуждали. Лучше взгляните, – добавила она, – сколько сейчас времени».

«Не всё ли равно? Дина!»

Она молчала.

«Скажи мне. Почему ты упрямись?»

«Прекратите! Я сейчас встану и уйду». Это было сказано, когда моя ладонь, прокравшись под то, что ещё было на ней, опустилась на шелковистый холмик. «И наш замечательный вечер будет испорчен».

Она переложила в сторону мою руку, точно посторонний предмет.

«Дина, это жестоко. Тебе нравится меня мучать?»

«Никто вас мучать не собирается... Да, вот именно: вы стары и безобразны. Что вы вообразили? Вы, кажется, забыли, что я вам ничем не обязана. Знаете что: одевайтесь. Я устала».

«Дина, послушай. Мы должны решить... Тебе надо переселиться».

«Куда это?» – спросила она брезгливо.

«Ко мне, куда же ещё».

«Мне и здесь хорошо».

«По крайней мере, не будем карабкаться на шестой этаж».

«Вас никто не заставляет!»

Мы лежали рядом, время было полночь. Событие уже произошло, ребёнок родился. Ребёнок родился и лежал на соломе, и солдаты Ирода уже рыскали по окрестным сёлам. Диковинные пришельцы, чужестранцы в пёстрых одеждах, с подарками, на верблюдах, спрашивали у встречаемых на ломаном арамейском наречии, как проехать к Вифлеему, и люди праздновали это событие, праздновали своё собственное детство; а мы, никому и ничему не принадлежавшие, – мы лежали и ссорились

«Переселиться, – буркнула она, – легко сказать. Это значит жить вместе».

«Да. Жить вместе. – Я добавил: – Это будет разумней во всех отношениях».

«Кроме одного».

«Интересно, какого же?»

«Жить вместе – это значит, что вы на мне женитесь, а я выхожу за вас замуж. Или я слишком самонадеянна?»

«Дина, – сказал я с упрёком. – Конечно. Конечно! Как только ты скажешь, мы идём в мэрию». Я снова повернулся к ней, она оттолкнула меня, сердясь и бормоча: «Ну что это... перестаньте». Мы лежали рядом, моя ладонь покоилась на её животе поверх халата.

«Но это не обязательно».

«Что не обязательно?»

«Не обязательно идти в мэрию».

«Это от тебя зависит, Дина, как ты захочешь; хочешь, зарегистрируемся. Не хочешь, пожалуйста...»

«И венчаться в церкви?»

«Можно и в церкви».

«В православной? Или...?»

«Это не так важно».

«Главное – поселиться вместе, да?»

«Да».

«Вместе жить».

«Да. Вместе».

«Будем последовательны, – сказала она. – Вместе жить, это значит спать в одной кровати. Или как вы это себе представляете?»

«Да».

«Вот так, как сейчас».

«Да... то есть нет».

«Вы хотите сказать, что...?»

«Ты находишь в этом что-то оскорбительное?»

«Не перебивайте меня. Конечно, ничего оскорбительного тут нет. Вы хотите, чтобы я стала вашей любовницей. Это невозможно».

«Почему?» – спросил я тупо.

«Потому что невозможно».

«Но всё-таки».

«Потому что это значит, что каждую ночь мы будем вместе. И каждую ночь это должно будет происходить, или не каждую, но это не важно... У вас, конечно, были женщины?»

«Дина, к чему этот разговор...»

«Пожалуйста. Прошу вас. Как это происходило?»

«Да никак».

«Но всё-таки».

Я гладил её живот. Я проник под халат. «У тебя слишком тугая резинка. Это вредно...»

«Вы не ответили».

«Что ты хочешь узнать?»

«Как это происходило».

«Как... Обыкновенно».

«Ага. Значит, это для вас обыкновенное дело».

«Ты прекрасно знаешь, что нет».

Разговор иссяк. Мы лежали рядом.

«Сволочи».

«Что?» – спросила она.

«Это я так... Почему же всё-таки мы не можем... вместе?»

«Почему, почему. Неужели я должна объяснять?»

«Что за чушь, Дина, ты нормальная здоровая женщина. У тебя будут дети».

«Вот этого, – она усмехнулась, – мне как раз и не хватало».

«Почему?»

«А разве не вы мне объясняли, – сказала она вкрадчиво, с нескрываемым злорадством, – что в этом гнусном мире для детей нет места, что

дети нас не поблагодарят, что мы не имеем право производить потомство, потому что не знаем, что его ждёт, разве это не ваши слова?»

«Дина...»

«Да, да. Лично нас это не касается, вы это хотите сказать?»

«Да. Не касается».

«Это всё общие рассуждения, а жизнь есть жизнь».

«Жизнь есть жизнь. Ты права».

«И вообще не об этом речь».

«Не об этом, – сказал я. – О чём же тогда?»

«О вас».

«Обо мне?»

«Да. Вы сами не сможете. Вам только кажется, а на самом деле вы не сможете».

«Что, что не смогу?» – вскричал я, сбитый с толку.

Она вздохнула, как учитель, которому приходится долбить одно и то же непонятливому ученику.

«Хорошо, будем говорить откровенно. Хотя меня просто поражает ваше скудоумие, – или вы притворяетесь? Пожалуйста, уберите руку. Уберите руку... Так вот: я не хочу, чтобы делали вид, будто я нормальная женщина и всё такое. Я не хочу, чтобы на мне женились из жалости, ясно?»

«Ясно», – сказал я.

Это была глупость. Она мне мстила. Мстила нам обоим, вот, собственно, и весь ответ. И надо было действительно быть выдающимся тупицей, чтобы этого не понимать. Лицо её перекошилось, она с ненавистью отшвырнула мои руки.

Может быть, я тоже слишком много выпил. Всё во мне вдруг как-то взорвалось. Стиснув кулаки, я пробормотал.

«Проклятые сволочи. Бл-ляди!»

Я больше не мог сдержать себя, вскочив с постели, я метался по комнате, Дина испуганно воззрилась на меня:

«Что с вами, я вас обидела?»

«Что со мной?! – завопил я по-русски, на языке, в котором она могла уловить разве только отдельные слова. – Что со мной... Ты на себя посмотри. Тебе девятнадцать лет! Проклятые гады! Что они с тобой сделали!»

Я остановился.

«Ты передачу видела? Митинг солидарности. Эти бандитские рожи. Борцы за независимость! Кому она нужна? Кому вообще всё это нужно? Что они с тобой сделали, что они сделали с тысячами таких, как ты... И всё это продолжается. И весь мир им аплодирует».

«Послушайте. Сядьте, пожалуйста. В чём дело? Если я...»

«Да причём тут ты...»

«Тогда в чём же дело? Почему вы разбушевались?»

Мне пришлось кое-как объяснить: накануне телевидение транслировало митинг солидарности с борцами фронта национального освобождения. Того самого.

«Ну и что. Господи, какое нам дело!»

Умница, она была права: в самом деле, нам-то что до них. Пусть перегрызут глотки друг другу.

«Извини, Дина, – сказал я. – Сегодня такой вечер, а я... Просто я вспомнил это собрание, представляешь себе, гигантская толпа сбежалась, чтобы выразить им свою любовь».

Она пожала плечами, я присел на край тахты, и мы снова не знали, что сказать друг другу.

Мне показалось, что она чувствует себя виноватой.

«Знаете что, – промолвила она после некоторого молчания. – Я бы разрешила вам остаться, но... Мне не хочется вам объяснять, надеюсь, вы сами понимаете... Почитайте мне немножко. И расстанемся. Уже поздно».

«Мы так ничего и не решили», – сказал я упавшим голосом.

«Уже поздно... Почитайте».

«Что же тебе почитать?»

«Что хотите».

Обычный женский трюк: она чувствовала себя виноватой, и, хотя ничего не было обещано, я почувствовал облегчение. Я молчал. Она повторила:

«Ну, пожалуйста».

«*Sous le pont Mirabeau, – глядя в тёмное окно, медленно начал я. – Sous le pont Mirabeau coule la Seine... Vienne la nuit, sonne l'heure...*»¹.

Мы договорились, что утро вечера мудреней и завтра мы всё спокойно обсудим. Она дала мне ключ на случай, если она ещё будет спать. Я снова напялил фрак, повязал кашне, лицо Дины смутно виднелось за моей спиной, она помахала мне рукой из зеркала. Завтра уже наступило. Я возвращался к себе на Правый берег пешком, основательно продрог, дома долго пил чай и поглядывал из окошка на раскалённые вывески, рождественские шестиугольные звёзды и гирлянды огней. Ребёнок родился, три волхва никак не могли объясниться с местными жителями, но в конце концов всё как-то уладилось.

Утро застало меня врасплох, в том удивительном состоянии, когда сон неотличим от яви. Брызнуло солнце из-за крыш. Черно-голубые тротуары блестели и дымились. Я был бодр и спокоен, чувствовал себя помолодевшим, я доехал до площади Согласия, оттуда было уже недалеко; я шагал в спокойной уверенности, что всё решилось само собой. Наш ночной разговор выглядел сплошной нелепостью. В самом деле, почему мы так судорожно вели себя, когда всё так просто. Когда-нибудь мы будем вспоминать об этой ночи, вспоминать наши пререкания. Или нет, мы поставим на ней крест, мы попро-

¹ Под мостом Мирабо течёт Сена... Пусть ночь придёт, пробьёт час...

сту вычеркнем её из нашей памяти. И всё-таки наш бесплодный спор был необходим. Нас отравляли произнесённые слова, их надо было выговорить и освободиться от них. Сказанные вслух, они потеряли свою злую власть.

Появились первые пешеходы, мимо просеменила старуха с батонами в кошёлке. Боясь разбудить Дину и сгорая от нетерпения, я оттягивал свой приход, расхаживал перед подъездом. Не выдержал и взбежал наверх.

Она меня не впустила. Что ж, это у нас бывает. Мне даже показалось, что это к лучшему: она всё ещё упрячилась и растрачивала на мелочи своё упрямство; что это могло значить, как не то, что внутренне она сдалась. Я терпеливо звонил. Подождав ещё немного, стал спускаться по лестнице, но вернулся и, поколебавшись, отомкнул дверь ключом. «Дина?» – сказал я осторожно. Она не отзывалась, я вошёл в комнату, где на полу лежал яркий солнечный свет.

Тахта была аккуратно застелена, сверху лежал вынутый из рамки портрет барышни в белом, с кружевным зонтиком. Чёрным косметическим карандашом наискосок через всю фотографию было написано:

«Il n'y a plus de moi. Ne me cherchez pas»¹.

¹ Меня больше нет. Не ищите меня (фр.).

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Чтобы понять, что такое литература, достаточно прочесть один роман. Чтобы постигнуть искусство парадов, мало увидеть военный парад. Надо отвлечься от всего постороннего: от славы, патриотизма, величия победителя и т.п.

Моей дипломной работой в Академии государственных искусств были шахматы на площади. Кони были живые, слоны принадлежали известной цирковой труппе. Ладьи представляли собой подобию крепостных башен из раскрашенной фанеры на колёсах. На высоких подвижных постаментов под знамёнами стояли полководцы-ферзи, два короля, белый и чёрный, медленно передвигались, сидя под своими балдахинами, под звуки труб, а пешками были молодые солдаты в шлемах и латах ландскнехтов. По обе стороны площади воздвигнуты были трибуны для публики, для удобства выполнения команд буквы и цифры были начертаны на клетках, что же касается шахматистов, то они находились с мегафонами, каждый со своей стороны, на специальных платформах; прибавлю, что меня совершенно не интересовало, кто выигрывает.

Успех этой работы, а также некоторые другие обстоятельства открыли передо мной широкую дорогу; после кратковременной работы в одном похоронном бюро и двух-трёх провинциальных театрах я занимался праздничным оформлением улиц, был назначен инспектором, а затем и главным декоратором столицы.

Не буду говорить о достижениях в этой области, о предложенной мною контурной иллюминации зданий, новой системе подсветки портретов и пр. Лучшие, наиболее продуктивные годы я смог отдать любимому делу – композиции парадов.

Многие считают, что я преобразил искусство парадов. Я скромно принимаю эту характеристику. Парад представляет собой синтез искусств: свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, динамика и гармония, пластика и мощь, обдуманное сочетание классической стройности и дисциплины с элементами модерна и даже авангарда, – да, я не стану отрицать, что эстетика современного парада не только нашла в моём творчестве наиболее совершенное воплощение, но по сути дела создана мною. Спросите: кто отец современного массового зрелища, кто возродил традиции

античного народного театра, игр и шествий под открытым небом? Вам назовут моё имя... До сих пор обо мне пишутся диссертации. Изобретённый мною развёрнутый строй вошёл во все руководства. Фильмы с моими работами демонстрируются во всём мире.

В качестве иллюстрации сошлюсь на большой военный парад по случаю 50-летия события, хорошо вам известного и о котором в данный момент нет надобности вспоминать. Дело ведь не в поводе. Повод мимолётен, искусство остаётся. Так вот: в чём главная особенность этой композиции, в чём её оригинальность? Парад начинается с выступления конных барабанщиков, музыка смолкает, слышен только гром барабанов. Они приближаются. Эскадрон построен клином, следом за двумя знаменосцами галопируют три всадника с барабанами по обе стороны седла, за ними шестеро и так далее, причём парад проходит не мимо публики, дипломатического корпуса и трибуны руководителей во главе с вождем, а движется им навстречу! Подъехав к трибуне, знаменосцы опускают свои штандарты... В своё время мне понадобилось немало усилий, чтобы убедить начальство в преимуществах моего проекта: в то время как художественный совет единогласно поддержал меня, а высшая контрольная комиссия, хоть и со скрипом, но дала своё согласие, чины госбезопасности забеспокоились. Меня выручили мои связи.

А затем знаменщики расходятся в стороны. То же делают два фланговых барабанщика, средний вольтижирует на месте, сзади подходят следующие; весь эскадрон разворачивается наподобие веера перед зрителями. Вступает музыка, две колонны военных оркестров расходятся в свою очередь, чтобы уступить место отряду пеших знаменосцев. После чего площадь на короткое время пустеет; звучат команды; весь остальной сценарий вы можете проследить на экране.

Ещё один пример; одна из моих ранних работ... Обратите внимание на этот кадр. Шеренга, плечом к плечу, спускается с парадной лестницы Мемориала побед. Каждый шаг в точности совпадает с ритмом барабанного боя. Шаг – вспыхивающий блеск сапог – ступенька. Достигнуто абсолютное единство пространства и движения, звука и света.

Можете ли вы мне объяснить, какое отношение это имеет к идеологии?

Я хочу ещё раз подчеркнуть: не надо путать искусство с политикой. В моём лице вы имеете дело с художником. Эти руки привыкли владеть пером и кистью. Они умеют обращаться с чертёжной линейкой, но никогда не касались ножа или карабина. Против меня выдвинуты фантастические обвинения, моё честное имя вываляно в грязи, раздаются требования изъять из библиотек мои теоретические труды. Дело дошло до того, что кое-кто снова, уже в который раз, вознамерился возбудить процесс. Меня хотят упечь в тюрьму. Интересно было бы узнать, где были в те времена эти обвинители!

Не исключено, что они сами были активными пособниками режима, да, я всё больше укрепляюсь в подозрении, что именно они были пособниками – в отличие от меня. А теперь пытаются отвлечь внимание общественности от своего неприглядного прошлого. Старая тактика, вор кричит: «Держи вора!»

Позволю себе заметить, что всю свою историю, на протяжении веков и тысячелетий искусство пользовалось покровительством власти. Так было всегда и везде. Но это не значит, что оно ей служило! Искусство служит людям и самому себе. Напомню, что я даже не был членом партии. Будучи всего лишь скромным композитором парадов, я не имел права находиться на правительственной трибуне. Я никогда не читал произведений вождя! Не говоря уже о классиках революционного учения. Я работал, у меня не было времени этим заниматься. Я не совался в политику. Мне было абсолютно неинтересно, что там написано на всех этих плакатах и транспарантах, что выкрикивали в репродукторы зычные голоса. Свет, цвет, звук, геометрия человеческих масс, стройность рядов и выверенность движений, одним словом – искусство. Вот что было главным, вот что составляло суть и душу моих композиций. Вот задачи, которые я решал.

На меня хотят взвалить ответственность за то, что не имело ни малейшего отношения к моему творчеству. Ответственность – поставим точки над *i* – за некрасивые дела режима. Какой абсурд! Я глубоко сочувствую судьбе погибших. Но я узнал о них только сейчас. В конце концов, мы жили в цивилизованном государстве, где существовали определённые законы, которые надо было уважать. Ошибки, конечно, везде возможны, – назовите мне государство, общество, где царит полная справедливость, нет такого общества! Я полагал, что если кого-то арестовали, значит, для этого есть основания. Я никогда не слышал о концлагерях! Мы, люди искусства, живём в особом мире – в мире наших замыслов, наших грёз. Согласен, это можно поставить нам в вину. Но тогда уж будьте последовательны: обвиняйте искусство – в том, что верно самому себе.

Литература, философия, – там другое дело. Ответственность писателя за свои слова очевидна. Но для того, чтобы постигнуть искусство парадов, необходимо забыть о лозунгах, отбросить шелуху слов. Ибо в своей глубочайшей сути оно не имеет с ними ничего общего.

ПОБЕГ

Погода заставила меня поспешить, я усмотрел в этом добрый знак. В лунные ночи стена снаружи была ярко освещена, в камере было недостаточно темно. Нужно было дождаться новолуния. Погода изменила мои планы. Тяжёлые низкие тучи заволокли всё вокруг. Надзирателю наскучило ходить по коридору, стук сапог затих и не возвращался. В третьем часу ночи (я научился безошибочно определять время) я встал, скатал тонкий матрас, в темноте под одеялом его можно было принять за тело спящего. Я подумал, что когда-нибудь, если побег удастся, я сам буду удивляться хитрости, точности, предусмотрительности, с которой всё было подготовлено. Воздержусь от некоторых объяснений, чтобы никого не подводить. Верёвка лежала в пустой параше, точнее, две верёвки; на одной надо было свесить оконную раму. Несколько минут я прислушивался. Окна в цитаделях, как известно, небольшие, глубокие, расположены высоко от пола; вместо подоконника – гладкая скошенная поверхность. Оконный проём позволяет судить о толщине стен, в толстое стекло впаяна мелкая проволочная сетка. Весьма кстати было отсутствие железных воротников снаружи. Не было, слава Богу, и стеклянных щитов, которые часто вешаются снаружи на окна камер.

Я был готов при малейшем шорохе в коридоре нырнуть под одеяло и притвориться спящим. На один миг я представил себе, как наутро всё начнётся снова: гнусавый звук гонга, подъём, гимнастика; скрежет ключа в замочной скважине, мне ставят ведро с водой, швыряют половую щётку; далее марш с парашей по коридору под аккомпанемент цокающих сапог, затем завтрак, опостылевшая баланда, и бесконечное, до одурения хождение взад-вперёд, четыре шага от двери к окну, четыре от окна к двери. Мне показалось, что где-то далеко идёт поезд. Слух обострился до предела. Я подставил парашу к окну. Встал на крышку и, схватив двумя руками подпиленную решётку, вырвал, чуть не свалившись на пол. Каким образом вслед за ней была вынута рама, об этом тоже позвольте умолчать, секрет фирмы. Вообще дело это такое, что я мог бы читать небольшой практический курс для тех, кто хочет слинять, не дожидаясь конца срока. Впрочем, какой же может быть конец, – смерть узника.

Сырой ветер ворвался в мою келью, это был хороший признак, приближение непогоды, собака не сможет взять след. И – не совсем хороший, ветер мог разогнать облака. Я проверил, как умел, надёжность узла, но не мог позволить себе чересчур транжирить верёвку. Подобные предприятия знакомы всем по приключенческим фильмам, расхожий сюжет. Но в фильмах опускаются многие важные подробности, и в конце концов вы понимаете, что всё это выдумки. Оказавшись снаружи, я растерялся. Я висел в пустоте. Дул пронзительный ветер. Я никогда не занимался альпинизмом, и кое-что пришлось осваивать на ходу. Несколько времени спустя, упираясь ногами в стену, я поднял голову, хотя этого делать не следовало. Высоко надо мной виделось окно моей камеры, похожее на выбитый глаз. Под ним косо висела и слегка раскачивалась под ветром оконная рама. Если бы она сорвалась, угол рамы пробил бы мне голову. Хорошо, что я захватил наволочку, это немного защищало ладони. Я помогал себе ногами. Я старался не смотреть вниз, не думать, хватит ли верёвки. Не хватило пяти-шести метров. Я отвязался, выпустил верёвку и полетел вниз, рухнул в колючие кусты, чуть не выколол себе глаз, оцарапался, пополз на четвереньках, скатился с пригорка... В эту минуту как будто кто-то чиркнул спичкой о небо – белая ослепительная молния разветвилась в серных облаках, и треснул гром. Дождь лил, хлестал, кое-как я перелез через стену, она была совсем невысокой, за стеной овраг, лес, вода текла с меня ручьями, я сбросил ботинки, сколько-то времени погода, должно быть, километра через четыре, показались мачты и провода железной дороги. Я остановился.

Только сейчас до меня дошёл подлинный смысл моих усилий, моего подвига, – да, я совершил подвиг. Я понял, какой изумительный шанс подарила мне судьба. Дождь стал стихать. Я промок до костей. На рассвете, когда они спохватятся, я буду уже далеко. Я был разгорячён, не чувствовал холода, я подставил ветру окровавленные ладони. Воля! Я дышал её сырым воздухом. Наконец-то, раб и потомок рабов, я был свободен.

Следует подчеркнуть, что всё это время я сохранял ясное сознание. Индивидуальные реакции могут быть весьма различны; в данном случае то, о чём говорил Либих, подтвердилось. Я полностью сохранил самоконтроль, при этом, однако, с трудом мог вспомнить, кто я такой. Это не удивительно: прошлое осталось там, в камере.

Первый опыт он провёл сам, на собственный страх и риск. Вслед за многими, кто работал с алкалоидами спорыньи, он был уверен, что явления, вызываемые этими веществами, не являются в полном смысле слова артефактами. Другими словами, препараты не привносят в психику ничего нового, постороннего, искусственного, но служат триггерами, или отмычками, то есть открывают путь к тому, что скрыто в глубинах нашего «я»; об этих ресурсах мы даже не подозреваем. Либиху нужен был человек, абсолютно надёжный, который согласился бы продолжать вместе с ним эксперименты.

Здесь необходимы некоторые пояснения. С некоторых пор, как вы, наверное, слышали, исследования в этом направлении стали модой. Я не специалист, но кое-какими сведениями могу поделиться. Говорилось о революции в фармакологии. Чего только не предсказывали, каких только чудес не ожидали от нового класса веществ, особенно после того, как появились сообщения о свойствах божественного гриба Теонанакатль. Между прочим, отыскивались какие-то упоминания в хронике одного францисканца по имени Бернардино де Саагун, составленной через тридцать лет после вторжения конкистадоров на американский континент. Гриб считался легендой до тех пор, пока не были обнаружены следы особого культа, связанного с его употреблением, в труднодоступных районах на юге Мексиканских Соединённых штатов, – заметьте, уже в наше время. Нечто вроде индейской Тайной вечери, вдобавок с отчётливой сексуальной окраской. Гриб переплюнул всё, что было известно о спорынье. Какое это было странное чувство – слушать рассказы об ацтеках, о тайных обрядах и приобщении к божеству, сидя на последнем этаже весьма современного здания на Андроновской набережной, вечером, в опустевшей институтской лаборатории, которую Либих, под предлогом работы над диссертацией, использовал для своих занятий.

«А сейчас я кое-что покажу, – сказал он, выключил верхний плафон, отвернул в сторону чёрные колпаки ламп на стеллажах, открыл шкаф и достал круглый стеклянный сосуд. – Он не выносит яркого света».

Бог жизни и смерти прозябал на дне банки, на тонком слое земли, перемешанной с пеплом предков. Всего несколько экземпляров на тонких изогнутых ножках, с плоскими белёсыми шляпками, загнутыми по краям, как крошечные сомбреро, и один совсем жалкий, под круглой шляпкой.

«Мне специально привезли... Должен тебе сказать, что и псилоцин, и псилоцибин, и ещё два-три индолалкалоида теперь уже синтезированы, это значительно проще и дешевле экстрагирования из грибов. Не говоря о том, что добыть эту самую *Psilocibe mexicana* не так просто... И, конечно, – добавил он, – всё это хорошо изучено, и вроде бы уже нечего делать. Но на самом деле, ха-ха, до главной тайны так и не докопались. Знаешь, что мне помогло? Я эту хронику прочёл очень внимательно. Монах знал, о чём говорил».

Богоносный грибок был упрятан на своё место, шкаф заперт на ключ, мы сидели в соседней комнате, он за своим столом, я примостился сбоку. Либих заварил чай.

«Там говорится... не знаю, откуда это он раскопал, может быть, жил среди аборигенов. Он утверждает, что у ацтеков существовало совершенно особое представление о времени. Они не пользовались этим словом, его не было в их языке, но имелось в виду именно время или временность. Некий срок как таковой, без связи с конкретными обстоятельствами... Был даже специальный бог быстротечного времени, забыл, как его звали. Мо-

жет быть, все спекуляции о времени можно свести к одной формуле. Время – это Смерть».

Я спросил, что это значит.

«Что значит... – повторил Либих, обжигаясь и дуя на чашку. – Это значит, что бессмертие, которое будто бы достигалось поеданием гриба, было не что иное, как освобождение от власти этого бога. Освобождение от времени...»

«Но разве псилоцибин и другие яды, о которых ты говорил, вызывают что-либо подобное?»

«Насколько мне известно, нет. В том-то и дело, что нет. Тут должно было участвовать какое-то другое действующее начало. Я его выделил».

«Выделил?»

«Да. Получил в чистом виде».

«Как же оно называется?»

Он пожал плечами.

«Эликсир бессмертия. Экстракт свободы... придумай сам название. И, кстати: это отнюдь не яд. Речь идёт не об отравлении. Когда я говорю – конечно, это пока ещё гипотеза... когда я говорю, что уничтожается чувство времени, то это означает, что препарат просто освобождает психику от этого груза. Возможно, мы получим экспериментальное доказательство кантовского тезиса насчёт того, что время и пространство – это только формы восприятия. Словом, всё это надо ещё проверять и проверять».

Я заметил, что без осознания времени и пространства невозможно сознание себя, собственной личности.

«А вот как раз и нет! Говорю тебе, что сознание остаётся ясным, как стёклышко. Твоя личность при тебе. Ты полностью владеешь своим Я». Как уже сказано, он оказался прав. Приблизительно через полчаса после погружения (в этой начальной фазе мне ещё удавалось регистрировать внешнее время) я взобрался на насыпь. Дождь перестал.

Я был совершенно спокоен. Хотя путь ещё не был окончен – а когда ему предстояло окончиться? и где? – я чувствовал себя в безопасности. Размышлять было некогда, свет бежал по рельсам, из-за поворота показались огни, вскочить в поезд дальнего следования – лучшего выхода не придумаешь. При небольшой скорости это было возможно. Но я догадывался, что в любом случае погоня мне не грозит, потому что они там остались в другом времени. Для них, возможно, с момента, когда я взобрался на подоконник и выглянул в пустоту, и до прыжка в поезд протекло всего каких-нибудь две секунды, а может быть, – что представляется более вероятным, – самое качество времени, моего времени, изменилось. Кажется, я начинал это чувствовать. Мимо меня с мерным стуком катились вагоны, я примерился, схватился руками за поручень и легко вскочил на площадку.

Нужно было привести себя в порядок. Я вошёл в туалетную комнату, разделся, выжал и отряхнул от песка мокрую одежду. Моя физиономия с царапиной на щеке смотрела на меня из зеркала; в эту минуту я в самом деле почувствовал перемену. Я спросил себя, кто кого разглядывает, и первый ответ был, естественно, тот, что я смотрю на своё отражение. Но я понимал, что и другой ответ корректен – отражение смотрит на меня – и, следовательно, будет логичным сказать, что подобно тому, как я вижу в стекле моё отражение, так отражение видит во мне *своё* отражение. Игра отражений: в итоге ничего, кроме отражений, не оставалось. Эти мысли могли быть следствием бессонной ночи, но спать мне не хотелось. В дверь постучали. Я пригладил волосы, отвернул защёлку, и вышел, пропуская женщину в халатике; она скользнула в туалет и заперлась там, оставшись наедине с моим отражением.

В коридоре горел свет вполнакала, ковровая дорожка приглушила стук колёс, тьма мчалась за окнами, навстречу шёл проводник, свободных мест не было, единственное, сказал он, что я могу вам предложить, это место на верхней полке в двухместном купе, но там уже едет один пассажир. Войдя в купе, я понял причину его смущения: там лежали женские вещи.

Я решил подождать, прежде чем лезть наверх, и почувствовал, что слово это – ждать – плохо согласуется с метаморфозой, которая совершилась во мне и вокруг меня. Это слово предполагало реальность равномерно текущего времени, очевидную для того, кто остался моим отражением, но не для меня. Ещё раз должен сказать, что погружение подтвердило тезис Либиха: я полностью сохранял контроль над собой. Но если бы меня спросили, *кто он*, этот «я», *кто именно* взял на себя обязанность наблюдения и контроля, я не мог бы толком объяснить, я просто не знал бы, что ответить; слова, которыми я машинально пользовался, принадлежали языку, непригодному в моей новой ситуации. Молодая женщина вошла в купе, не выразив ни малейшего удивления, словно демонстрируя своё презрение к проводнику (вероятно, он предупредил её) и к непрошеному попутчику. Я пролепетал что-то вроде того, что утром непременно найду другое место, не в этом вагоне, так в другом. Она ничего не ответила, распустила поясok и присела в задумчивости на своё ложе.

«Может быть, мне...» – проговорил я, может быть, лучше мне выйти? Она ляжет, а я потом войду. Не успел я произнести эти слова, как она приподнялась и защёлкнула замок. Она не собиралась тушить свет, и я мог получше её разглядеть: чёрные, прямые и блестящие волосы, цвет лица, насколько можно было судить при искусственном освещении, с бронзовым отливом, чёрные, как антрацит, глаза. Назвать её хорошенькой я бы не решился.

Видимо, ей расхотелось спать. «Позвольте представиться», – сказал я и снова не удостоился ни ответа, ни взгляда. Она отбросила волосы,

падавшие на лицо. У неё на коленях лежала книга. Глянцевая бумага, фотографии деревьев и цветов.

«Вы интересуетесь ботаникой?»

Вагон покачивался, я сидел рядом с незнакомкой, пристойно отодвинувшись, скосив глаза, пытался прочесть испанские надписи. Мне хотелось говорить, как бывает в дороге, когда вдруг тянет на откровенность перед случайной спутницей, которую никогда больше не увидишь. Блаженное тепло, уют и чувство безопасности после дороги, которую я проделал. Мне хотелось говорить о себе. А она то ли слушала, то ли не слушала и рассеянно листала альбом.

«Я...» – проговорил я и запнулся. Я должен был вспомнить, кто я такой. Наконец, выпалил:

«Я сбежал из тюрьмы. Можете себе представить?»

«Из какой это тюрьмы?» – спросила она равнодушно, не поднимая головы от книги.

«Решётка была подпилена. Я сидел в одиночке. Представьте себе, за вами всё время наблюдают. И всё-таки... Но теперь она уже далеко».

«Кто – она?»

«Моя тюрьма. Надзиратели».

«А это, – она перевернула страницу, – известно вам, что это такое?» Она говорила с сильным акцентом.

«Конечно, – сказал я. – *Psilocibe mexicana*. Вы... – Я повторил свой вопрос. – Вы – ботаник?»

Она, наконец, взглянула на меня, лучше сказать, смерила меня взглядом.

«Это вас не касается».

«Извините. Я надеюсь, что не слишком стеснил вас. Проводник сказал, до утра. До ближайшей станции...»

«Вы не можете меня стеснить. В сущности, тут никого нет».

Очевидно, она имела в виду свободную верхнюю полку. Так я понял её слова.

Я показал на картинку в книге.

«По-моему, он здесь выглядит слишком большим».

«Разве вы его когда-нибудь видели?»

«Видел. На самом деле это чахлый грибок вроде поганки. А молодые экземпляры напоминают... м-м...»

«Вы хотите сказать – напоминают фаллос?»

«Да».

«Это фаллос бога».

«Послушайте... если я только не ослышался. Вы сказали, здесь никого нет. Кроме вас и меня?»

«Кроме меня. Мне хотелось проверить. Теперь, – она захлопнула альбом, – я в этом не сомневаюсь. Кстати, о каком утре ты говоришь?»

«Проводник сказал...» – пролепетал я.

«Для него утро, может быть, и настанет. Для тебя – никогда».

Я воззрился на неё. Эта женщина говорила мне «ты», что могло означать определённую степень... интимности, что ли. Вместе с тем я уловил в её словах презрение. Не исключено, что она сама прошла через что-то подобное. Вопрос в том, существовала ли она на самом деле. Ведь если меня, как она выразилась, «не было», то не могло быть и женщины. Словом, я сделал вид, что не расслышал, не разобрал её акцент, но на самом-то деле – вот что интересно – на самом деле я прекрасно всё понял. Повторяю, я был в ясном сознании. Соитие с божеством не лишило меня рассудка. Собственно, это и позволяет мне отчитаться сейчас в том, что я пережил.

Трудность рассказа в другом: в языке. Моё сознание не только освободилось от второй кантовской формы созерцания вещей, оно отделилось от языка. Поэтому мне едва ли удастся подобрать выражения, адекватные этому опыту. Коротко говоря, дело обстояло так: я был – и меня не было. Я не настолько свихнулся, чтобы не чувствовать себя, своё тело, и в то же время испытывал странное отчуждение. Я отделился от самого себя, бежал из своего Я – и в каком-то другом пространстве наблюдал за собой, сидевшем в ночном купе рядом с женщиной, в поезде, который мчался сквозь ночь.

Только так можно было объяснить метаморфозу времени. Точнее, исчезновение времени. Я пребывал в безвременье. Моя спутница не ошиблась: это была бесконечная ночь. И можно сказать, что вагон покачивался, колёса вращались, локомотив нёсся, посылая вперёд слепящие струи прожекторов, – на одном месте.

Я спросил: «Как тебя зовут?»

«Зачем тебе знать?»

«Ты испанка?»

«Мой отец испанец. Я смешанной крови».

«Тебя не интересует, кто я такой?» – спросил я. Она усмехнулась и покачала головой.

Она сказала:

«Тебе, наверное, хочется вернуться».

«Вернуться, куда?»

«К себе, куда же».

«Как тебя звать?» – спросил я снова.

«Меня зовут Соледад».

«Послушай... А откуда, собственно говоря, тебе известно, что...»

Я хотел сказать, откуда ей известно об эксперименте с погружением.

«Не люблю глупых вопросов. Но имей в виду. С нашей верой не шутят».

«Ты же католичка», – возразил я, показывая глазами на крестик у неё на шее.

«Католичка, да. Одно другому не мешает».

«Ты говоришь о...?»

«Я говорю о том, что ты принял причастие. Ты причастился божественной головки Теонанакатля».

Я рассмеялся.

«Ах вот оно что. Уверяю тебя, всё гораздо проще. У меня есть один знакомый. Будущее светило психофармакологии».

«И я знаю, – продолжала она, пропустив мои слова мимо ушей, – что тебя снедает желание, не зря мы здесь с тобою наедине...»

«Донья Соледад, – пробормотал я, – такая мысль не приходила мне в голову, то есть я не решался об этом подумать... но если этого требует обычай – отчего же. Отчего бы нам не попробовать...»

«А ты уверен, что у тебя получится?»

«Уверен? – спросил я, несколько сбитый с толку. – Конечно».

«Вот видишь. Бог вселился в тебя. Ты охвачен вожделием. Но ты – это не ты. В сущности, тебя уже нет».

Мне показалось, что она смотрит на меня с насмешкой. Я спросил:

«А... там об этом тоже написано?»

«Где – там?»

«В хронике этого монаха».

«Не знаю, о чём ты говоришь. Не знаю никакого монаха. Хорошо, – сказала она сурово. – Тебе надо выйти. Я должна раздеться».

Я стоял у окна в вагонном проходе и смотрел в темноту. Стоял тот, кем я был. Сейчас, думал он и думал я. Сейчас войду и увижу её антрацитовые глаза. Её смуглую кожу при свете ночника. Почти непроизвольно, подчиняясь зову, который был сильнее меня, я взялся за ручку купе, посмотрел в обе стороны, – тускло освещённый вагон слегка пошатывался, что-то свистело вдали, это летел встречный поезд, – и надавил ручку. Мне показалось, что купе закрыто изнутри. «Донья Соледад...» – тихо сказал я. Ворвался свист. В окнах гремело и мелькало.

«Это я. Откройте...»

И дверь открылась. В купе никого не было. Исчезли её вещи, не было альбома на столике с ночником. Обе полки, аккуратно застланные, ожидали пассажиров.

Странно сказать: я был разочарован, удивлён... и не удивлён. Я вышел в тамбур. Отворил дверь. Дождя не было.

Поезд нёсся вперёд, не сбавляя скорости, и вместе с тем (чему тоже не следовало удивляться) я видел внизу под вагонной площадкой неподвижную насыпь. Я сошёл на насыпь. Поезд стал удаляться. Оглянувшись, я с трудом мог различить вдали на тёмном небе мачты железной дороги. Остался позади овраг. Я перемахнул через стену.

Меня занимал вопрос, как я доберусь до верёвки, но кто-то уже позаботился об этом, к стене цитадели была прислонена лестница. Я протянул руки, стараясь не свалиться с шаткой лестницы, поймал конец, оттолкнул ногой лестницу и закачался на верёвке. Над собой я видел висящую раму. Сколько-то времени спустя – это далось мне не без труда – я добрался до окна. Ни о какой галлюцинации не может быть и речи; всё это время я владел собой.

Я уже понимал, что меня не успели хватиться, так как со времени моего побега прошло едва ли больше двух-трёх минут. Подтянувшись из последних сил, я схватился одной рукой за остаток решётки, перевалился через косой подоконник и рухнул на пол камеры. Оставались сущие пустяки: подтянуть раму и вставить на место решётку.

САД ОТРАЖЕНИЙ

...Но, может быть, справедливо обратное.

Талмуд

Моя уверенность в том, что «сад» представляет собой литературное изобретение, глубокомысленную мистификацию в духе Вайолет Крейзи, Хорхе Борхеса и когорты их подражателей, была поколеблена после беседы с барышней из Бюро частных услуг. Заинтригованный слухами, ссылками на людей, будто бы заслуживающих доверия, хотя на самом деле их сведения в свою очередь были получены из вторых рук, наконец, пробежав как-то раз глазами заметку в одном бульварном листке, из которой было видно, что автор сам толком не понимает, о чём идёт речь, я решил выяснить, есть ли во всём этом хотя бы крупинка истины. Сразу оговорюсь, что самое понятие истины подверглось при этом опасному испытанию, но это уже вопрос скорее философский.

К сказанному стоит кое-что добавить. Дело в том, что мною двигало не только любопытство. К некоторым замечательным чертам моей профессии – если можно её называть профессией – принадлежит вечное сомнение, а именно, сомнение и неуверенность в её пользе. Вечно ловишь себя на этой мысли: какого лешего? Стоит ли вообще продолжать? Кому всё это нужно, и так далее.

Вот уже тридцать лет я по сути дела ничем другим не занимаюсь, подчас живу впроголодь. Дошло до того, что однажды мне пришлось просить подаяние на вокзале. Пожалуй, я кое-чему научился: элементам ремесла, технике; научился отличать плохую фразу от хорошей. Но всё отчётливей я сознаю, что делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже.

Я держусь в стороне от литературной жизни, однако слежу за ней. Даже кое-что читаю. Большая часть прозы, которая появляется в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение. Я хорошо вижу, что за редкими исключениями мои коллеги, отечественные беллетристы, даже даровитые, – непрофессиональны, неумелы, глухи к языку, подвержены влияниям, от которых завтра не останется следа, порабощены сиюминут-

ной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с новой европейской прозой и удручающе провинциальны. И я, словно стареющая кокетка, воображаю, что могу без труда перещеголять молоденьких провинциалок своими туалетами. Я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям настоящую литературу. Что же я могу им противопоставить? Хороший стиль, благозвучный язык, вкус, сдержанность, иронию, дисциплину.

Но всё это не то – не то, что требуется от литературы. Я прекрасно вижу оборотную сторону этих аристократических претензий: имя ей – безжизненность, академизм. Мой язык, заметил кто-то из критиков, это язык классических переводов, причём с мёртвых языков. Однажды я написал рассказ из эпохи древнего Рима, действие происходит в первом веке до нашей эры. Меценат приезжает в гости к Горацию. Они беседуют о литературе, с террасы открывается чудный вид, и вот выясняется, что поэт глубоко удручён: его стихи слишком совершенны. В них нет живой жизни, страсти, полёта, они холодны и гладки, как мрамор. Он чувствует, что в своём классицизме, своём отчуждении от собственной личности потерял себя. Это автобиографический рассказ.

Короче говоря, меня измучило чувство, которое можно сравнить с тем, что психиатры называют деперсонализацией. Я тоже потерял себя. Я почувствовал, что нахожусь в тупике, а так как я не мыслю своего существования вне моего труда – правильной сказать, вне писательского зуда, – то, можете мне поверить, мысль о самоистреблении стала закрадываться в мою душу. Так заигрывают с наркотиком.

Стоя перед дверью с табличкой на площадке верхнего этажа, я думал: чем чёрт не шутит. Быть может, я на пороге небывалого приключения. Хотя, как уже сказано, я был почти уверен, что все эти слухи – выдумка, это «почти» внушало мне отдалённую надежду, словно улыбка недоступной женщины. Мне необходимо было встряхнуться. Я предполагал – по видимому, без всяких оснований, – что Сад, если он в самом деле существует, наполнит меня, ну, скажем так: новым жизнеощущением. Промоет мне мозги, глаза, уши. И я смогу снова писать.

Итак, я разыскал Бюро (мне посоветовали к ним обратиться). Мало ли на свете всяких диковинных контор? О характере и престиже этой лавочки можно было судить по зданию, в котором она помещалась. Облезлый дом на малопривлекательной улице в районе вокзалов. Вы топаете наверх (лифта нет) мимо бесчисленных вывесок, навстречу спускаются рабочие с письменными столами, с тюками бумаг, кто-то выезжает, кто-то въезжает. То, что я искал, находилось даже не на последнем этаже, а в надстройке, куда вела узкая лесенка. Звоню – никто не отзывается.

Следовательно, и Бюро частных услуг было мистификацией; я почувствовал, что кто-то сознательно и планомерно водит меня за нос. Как вдруг, представьте себе, мне открыли. Открыла, жуя и вытирая карминовый ротик, девушка лет двадцати, может быть, немного старше, с довольно безвкусной причёской, очень хорошенькая. Когда я говорил о том, что разговор в Бюро рассеял мою неуверенность, я, конечно, имел в виду не секретаршу, а шефа. Но присутствие этого эфирного существа, как ни странно, вместо того, чтобы заставить меня усомниться в компетентности учреждения, куда я попал, внушило к нему доверие. Она говорила с забавным саксонским выговором, который теперь уже не редкость услышать в наших краях. Приехала на Запад искать счастья.

Я назвал себя. Она рылась в своих бумажках, переспросила фамилию. Мы договаривались по телефону (я сообщил, что мне нужна консультация, женский голос спросил, по какому вопросу, я сказал – по личному), но о моём визите забыли. Чем они здесь занимались, было трудно решить; по-видимому, всем на свете и ничем в особенности. На столе у барышни царил восхитительный беспорядок. Регистрационная книга, сумочка, маникюрный набор, телефонный справочник, роман в глянцевой обложке, тарелка с остатками пирожного, даже интимные принадлежности – всё валялось вперемешку. Следом за ней я вошёл в кабинет. Человек сидел за массивным полированным столом, совершенно пустым, в отличие от рабочего места секретарши.

Владелец Бюро услуг был круглый, жирный, плешивый господин или, лучше сказать, господинчик, он отъехал от стола, повернулся боком в своём кресле, юная секретарша вспорхнула к нему на колени. Он нежно обнял её и погладил по животу.

Я спросил (отнюдь не желая его обидеть): «Это ваша дочь?»

«Дочь? Вы бы ещё сказали – внучка! Это моя радость, моё утешение. Если бы я был поэтом, я бы сказал: моя Муза».

Девушка наклонилась и поцеловала его в лысину. Начальник закрыл глаза и подставил губы. Она оттолкнула его от себя, слегка поёрзала задом.

«Знаете, он обещает на мне жениться!»

«Обещает? Если бы я только мог надеяться!»

Девушка соскочила с его колен; вздохнув, он посмотрел ей вслед. Мы оба смотрели ей вслед.

«Так, э... о чем же...? Чем могу быть полезен?..»

Я изложил по возможности кратко цель моего визита.

«Ага. Вот как». Помолчав, он промолвил:

«Видите ли, в чем дело... Разумеется, я готов вам помочь чем могу».

Я пояснил, что, собственно говоря, никаких особых услуг мне не требуется, я хотел бы только удостовериться.

«Удостовериться?»

«Ну да».

«В том, что никакого Сада не существует?»

Я пожал плечами.

«Нет, вы скажите прямо. Вы действительно ждёте, чтобы я подтвердил вам, что всё это пустые слухи?»

«Откровенно говоря, нет», – сказал я.

«В таком случае должен вас обрадовать. Хотя... как посмотреть на эти вещи. В некотором смысле с такими вещами опасно шутить».

«Шутить?» – спросил я.

«Ну да. Это я так; не обращайтесь внимания... – Хозяин Бюро барабанил пальцами по столу, посвистывал, пристукивал ногой. – Узнаёте?»

«Н-нет», – сказал я неуверенно.

«Марш Черномора. Обожаю русских композиторов».

Стук и свист продолжались ещё некоторое время.

«Да... так, э... Вернёмся к нашим, э... Разумеется, он существует, хотя, если память мне не изменяет, ставился вопрос о его закрытии. Забытая достопримечательность. Я сейчас припоминаю... Да, лет десять тому назад. Приходил один клиент, ботаник или что-то такое. Интересовался... Мы договорились, что он потом зайдёт, поделится впечатлениями... К сожалению, от него не было больше никаких вестей. Между прочим, – спросил хозяин, – случалось ли вам заглядывать в еврейский Талмуд?»

«М-м...»

«Очень даже интересная книга, советую познакомиться. Там есть одна любопытная легенда... Я не отнимаю ваше время? Три мудреца решили пройти через пардес. Это слово означает сад, но о точном смысле слов есть разные мнения. В частности, пардес может означать мистическое знание. Вести их должен был рабби Акиба. Он предупредил их, что будет идти быстро и не оборачиваясь, а они должны следовать за ним, так как надо успеть выйти из пардеса да захода солнца. Когда солнце зашло, то оказалось, что бен Асай умер, едва только успели пройти первых сто шагов, бен Сома повредился в уме, а третий мудрец, бен Авуя, вырвал цветы и кусты и воткнул их вверх корнями. И только один рабби Акиба как вошёл, так и вышел. Как вам это нравится?»

«Не понимаю: что вы хотите сказать?»

«Нет, как вам нравится эта легенда?»

Я пожал плечами, болтовня начинала меня раздражать; мне хотелось сказать: не морочьте мне голову, если вы не можете выполнить мою просьбу, так и скажите. Толстяк угадал мою мысль. Он вырвал листок из блокнота и написал адрес.

Я бы не хотел, в отличие от этого господина, злоупотребить терпением собеседника, в данном случае – читателя. Поэтому скажу кратко: я не стал откладывать дело в долгий ящик. Ехать было не так уж далеко, нужно было пересечь границу бывшего соседа, который, как теперь принято говорить, воссоединился с нами. Тамошние дороги – сами знаете. Так что времени ушло много. Я отправился по Восточной автостраде, потом свернул на региональную дорогу, раза два мне пришлось остановиться, чтобы справиться по атласу дорог. Правда, и атлас в этой бывшей стране был ненадёжен. Хозяин Бюро услуг оказался прав, Сад был забытой и, очевидно, заброшенной достопримечательностью. Никаких дорожных указателей, никаких отметок на карте. Протащившись добрый час по заросшему травой просёлку, я уперся в железные ворота с вензелем и короной; оказалось, что Сад закрыт. Время было уже за полдень, кругом ни души. Я оставил машину у ворот и зашагал вдоль решётки в надежде найти другой вход или хотя бы встретить кого-нибудь. Громко пели птицы. То, что я видел за оградой, ничем не отличалось от окружающей местности. Вернувшись, я снова прочёл вывеску: говорилось, что вход с собаками воспрещён, не разрешается рвать цветы, загрязнять газоны остатками пищи и прочее. Плата за вход... А кому платить? На всякий случай я ещё раз громко постучался в ворота, покачал створы, ржавые петли скрипнули, ворота слегка подались. Просунув руку в щель, я нащупал защёлку или что там было.

Никто меня не окликнул, я шёл по центральной аллее, по виду клумб можно было догадаться, что садовник ушёл в бессрочный отпуск. На облупленных постаментах стояли статуи безносых богинь и героев. Круглый бассейн высох. Парк перешёл в лес. Парк, принадлежавший местному владетельному князю, был, очевидно, разбит в английском стиле, запущенность ещё более приблизила его к идеалу девственной природы. Углубившись в чащу, я увидел за деревьями блеск воды, это был пруд, подёрнутый ряской у берегов; чуть подалее поблескивал ещё один. Я обошёл пруд, за ним снова был лес, куда же девался второй водоём? Что-то в этом роде припомнилось мне; кажется, что-то похожее в самом деле было описано в одной новелле В.Крейзи, забыл, как называется. Такова была первая неожиданность, за ней последовали другие.

Я обнаружил красивую аллею, посидел на лавочке и двинулся в направлении, которое указывала стрела, прибитая к дереву; и, действительно, дорога вывела меня на поляну, посредине стояла каменная двухэтажная вилла, или, пожалуй, *château*. По-прежнему никого не видно вокруг.

Я обошёл со всех сторон маленький замок, становился на цыпочки, пытаюсь заглянуть в высокие тёмные окна с частыми переплётами. Взошёл на крыльцо, постучался. Взялся за ручку, и дверь открылась, мой вопрос отозвался слабым эхом в глубине. Немое гостеприимство вещей больше не удивляло меня. В большом зале, где на зеркалах лежал слой пыли, я подошёл к окну и взглянул на сужающуюся аллею и ещё одну виллу вдаль, в конце аллеи. Заподозрив неладное, я выскочил на крыльцо; обратный путь – на что я не обратил внимания, направляясь сюда, – вёл ко второму château, как две капли воды похожему на первый. Чем дальше я шагал, тем дальше отодвигался второй дворец, и, проделав весь путь, я убедился, что замок-двойник был фикцией.

Голова слегка кружилась, я решил снова передохнуть на скамье под сенью деревьев, двумя симметричными шеренгами шагающих вдаль. Мне пришло на ум самое простое объяснение. Сад – или лес – был ни при чём, сад как сад, мало ли ещё оставалось таких заброшенных, вымороченных имений в восточной части страны. Дело было во мне самом, это в моей голове творилось что-то неладное под воздействием непривычного климата, запахов, от долгой дороги и бесцельной ходьбы. Человек, сидевший невдалеке перед шеренгой деревьев по другую сторону аллеи, мог бы окончательно рассеять мои сомнения. Я встал и увидел, что он кивнул мне. «Прошу прощения», – сказал я, подходя, собираясь представиться, но никого уже не было. Мне незачем добавлять, что и скамейки не оказались.

Тогда я стал думать, что всё, что попадается мне навстречу, – и тропинки, и заросли, и залитые предзакатным солнцем поляны с отдельными, живописно расставленными там и тут, широколиственными деревьями, – чего доброго, всего лишь отражение того, что у меня за спиной. Обернусь, а там всё то же самое. Поглядывая на бьющие сквозь деревья лучи, я смутно припомнил, да, очень смутно, как будто это происходило очень давно, лысого владельца Бюро частных услуг, девицу и прочее; пора было возвращаться. Но мне совсем не хотелось возвращаться. Куда я поеду на ночь глядя? Я устал, почему бы не переночевать в маленьком замке.

Уже стоя перед крыльцом, я вспомнил, что оставил открытой машину. Солнце село; стволы деревьев отливали киноварью и золотом. Я никогда не забываю запереть свою машину, наверняка запер её и на этот раз, но вы знаете, как это бывает. Вдруг втемяшится в голову, что забыл закрыть воду в ванной или выключить газ. Мне казалось, что я без труда найду дорогу к воротам.

Это была довольно глухая часть Сада, тропа затерялась в кустарнике, я спустился к ручью и стал перебираться по камням, но почувствовал, что теряю равновесие, и шагнул ненароком в углубление между корнями

огромного дерева. Удивительным образом я не только не замочил ноги, но очутился позади ствола и бодро продолжал путь вверх по склону лужайки. Немного погодя – впереди была опушка леса, за ней, как я помнил, начиналась парадная часть парка со статуями и высохшим водоёмом, – я приблизился к другому дереву, такому же могучему и раскидистому, которое стояло, как часовой, перед залитой закатным огнём опушкой, и вновь не заметил, что оно осталось позади. Это явление заинтересовало меня, я решил вернуться и повторить опыт. И опять прошёл как бы сквозь дерево. Тогда я вернулся к ручью. Хватаясь за ветки, склонился над водой, надеясь увидеть своё лицо. Я ничего не увидел. И тут я понял, что никогда отсюда не выйду. Простая мысль осенила меня: я сам был всего лишь отражением.

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ПРИЧИНЕ

Найдётся ли кто-нибудь, кто ещё помнит эту историю? Её героиня, возможно, где-нибудь доживает свои дни, кое-что, может быть, и осталось в её памяти. Но, конечно, имена и подробности выветрились. Люди старшего поколения умерли, места, где всё это происходило, изменились настолько, что невозможно угадать, где находился дом; лес вырублен, чего доброго, и от озера ничего не осталось. Наконец, сама эта история выглядит незначительной на фоне всего, что должно было разразиться через короткое время; люди-песчинки затерялись в шквале событий.

В самом деле, происходило нечто таинственное и роковое, назревали события, которые смели всю прежнюю жизнь. Ранней весной, в первые погожие дни, салон-вагон международного поезда с неким важным пассажиром пересёк границу оккупированного Китая на станции Манчжурия, нёсся по забайкальским степям, через Южную Сибирь и Урал, по обширной русской равнине, императорский посланец, оторвавшись от бумаг, с сигарой в зубах, поглядывал в окно и видел одно и то же. Миновали Москву, миновали Смоленск, пронеслись, громяхая, под аркой мимо столбов и будок западной границы – теперь она называлась границей обоюдных государственных интересов СССР и Германии. Никаких инцидентов не произошло на многодневном пути до Берлина и далее в Рим. На всём пространстве от тихоокеанского побережья до Атлантики царило спокойствие.

Это был мир, в прочность которого никто уже не верил, затишье перед грозой. Что-то клубилось и колыхалось, что-то творилось в лабиринтах государственных канцелярий, в недрах разведывательных управлений и военных штабов, происходили тайные совещания, произносились зловещие речи, подписывались и визировались многостраничные планы под кодовыми названиями, с чертежами, со стрелами наступающих армий. Замечательной чертой этой эпохи было абсолютное несоответствие того, что происходило на самом деле, с жизнью людей. Как если бы маленькие люди копошились, устраивали свою жизнь и строили планы будущего – на вершине вулкана. История, о которой пойдёт речь, была исчезающе мала рядом с большой историей. Она никак не могла влиять на то, что со-

вершалось в мире. Она была попросту несовместима с тем, что творилось на самом деле. И встаёт вопрос: что же было «на самом деле»? С исторической точки зрения жизнь людей была чем-то не заслуживающим внимания. С человеческой точки зрения только она и была подлинной жизнью. Между тем мировые события происходили одновременно с ней, так что когда, например, в столовой за ужином не досчитались двух мальчиков, то в это же самое время начальник генерального штаба в Берлине, вернувшись после важного совещания, пометил у себя, что вождь планирует окончание военных действий во второй половине августа. Или когда число нарушений воздушного пространства в пограничных районах с начала года, согласно сводкам, достигло 120, когда в газетах появилась статья с разъяснением основных пунктов всеобъемлющего «Государственного плана развития народного хозяйства на 1941 год», когда знаменитый режиссёр, создатель эпохального боевика «Александр Невский», к этому времени, впрочем, отправленного в архив, демонстрировал на сцене главного оперного театра страны оперу Вагнера «Валькирия» – событие большой политики, но не искусства, – то в это же самое время, может быть, в тот же день девочка в темнокоричневом бархатном платье и розовых чулках вошла в класс в сопровождении директора Шахрая. Когда японский министр ехал с секретной миссией через всю Россию в Западную Европу, девочка стояла, заложив руки за спину, и глядела куда-то поверх всех глаз, устремлённых на неё. Как это совместить? Да никак.

С человеческой точки зрения мировые события представляли собой грандиозную фикцию. И, однако, этот фантом решал участь всех. Фикция, называемая политикой, государством с его искусственными интересами, нацией с её зловещей историей, правила всеми. Она отменила действительность, чтобы учредить на её месте другую, ложную, но всесильную, в которой не было места нормальному человеку; она обесценила личность, обесмыслила культуру и мораль, сделала мелким, смешным и ненужным всё, чем жива человеческая душа, – чтобы навязать ей свои призрачные идеалы и каннибальские ценности.

Они, эти двое, так и не появились, два места за столом у окна, выходящего на заснеженную веранду, пустовали, тарелки с гречневой кашей и гуляшом остались нетронутыми до конца ужина; оба отсутствовали на лыжной прогулке по Лучевому просеку перед сном, их не было на другой день в классах, в физкультурном зале, на катке, на веранде, где во время мёртвого часа лежали на топчанах в спальных мешках; их не оказалось на заднем дворе, откуда дорога вела прямо в лес; шёл густой мокрый снег, налипший на окна, снег засыпал дорожки, крыльцо и крышу деревянного двухэтажного здания школы; поздно вечером директор звонил в районное отделение милиции, там, по-видимому,

навели справки у родителей, связывались с другими отделениями, с детскими приёмниками на вокзалах, с городскими больницами и центральным моргом. На другой день после завтрака, когда выглянуло солнце, приехал на машине с шофёром человек невзрачного вида, в гражданской одежде. Директор Шахрай встретил его в дверях своего кабинета. Человек показал удостоверение и первым делом спросил, не вернулись ли пропавшие.

Директор уступил следователю место за столом. Человек сидел под портретом товарища Сталина и барабанил пальцами по столу. Директор вошёл в класс, это был 5-й «Б», а всего в школе было три класса, и сказал, что каждого будут вызывать по очереди. Стол был очищен от бумаг, следователь развернул папку. Солнце ярко светило в окошко, это был первый по-настоящему весенний день.

Первым вошёл Альберт Полухин, лопухий ученик, изнемогавший от любопытства; ему было задано два или три вопроса, и он вернулся на своё место на первой парте, а следом за ним отправилась в кабинет его соседка. И так одна парта за другой, все три ряда, работа затянулась до обеда, распорядок дня был нарушен. После чего следователь из угрозыска поговорил с директором, с учителями, с завхозом, попросил не разглашать историю, хотя о ней говорила уже вся школа, попросил расписаться под протоколами и уехал.

Выяснилось следующее. Мальчиков звали Феликс Круглов и Гарик Раппопорт. Как все ученики в классе, они были примерно одного возраста. Феликсу была выдана путёвка в лесную школу из-за увеличения бронхиальных лимфоузлов. Родители – служащие: отец старший бухгалтер управления городского автомобильного транспорта, мать заведующая парикмахерской, оба состояли на учёте в тубдиспансере. Мать Гарика Раппопорта работала в Камерном театре, судя по всему, на второстепенных ролях. Когда в школе готовились к вечеру в честь Дня Красной Армии, попросили мать Гарика проводить репетиции; и были поражены, когда она вдруг на одну минуту превратилась из маленькой усталой женщины в отважного партизана-комсомольца, которого допрашивает белый офицер. Отца у Гарика не было. Его не было никогда: мать развелась с ним после того, как он исчез, и фамилия у Гарика была материнская. Гарик попал в лесную школу из-за малокровия, а также нервных припадков, о которых ничего конкретно не было известно. Кроме того, Гарик – но это уже скорее легенда, чем факт, – иногда видел наяву то, чего на самом деле не было; по крайней мере, то, чего не видели другие.

Оба, Феликс и Гарик, были неразлучными друзьями: водой не разольёшь, как выразился Алик Полухин, первый из допрошенных. На вопрос, кто ещё с ними дружил, ученики называли разных людей, но всё это были скорее случайные и мимолётные дружбы; кто-то упомянул

девочку в розовых чулках, которая сперва сидела рядом с Раппопортом, потом на другой парте; кто-то сказал, будто все трое «вместе ходили». Сама девочка, когда следователь её вызвал, презрительно усмехнулась, глядя в сторону, и скривила губы. На этот раз она была в обыкновенных коричневых чулках. Ей было задано ещё несколько вопросов, сколько-нибудь существенных сведений эта ученица не сообщила.

Феликс Круглов был коренаст, немного выше Гарика и считался красивым мальчиком, с зелёными глазами, густыми ресницами и копной темно-ореховых волос. Гарик был шуплый, узкогрудый, черноглазый и черноволосый, очень бледный, и слегка косил. Феликс пел и участвовал в художественной самодеятельности, которую Гарик презирал. Феликс хорошо успевал, был одним из первых в классе и немного стыдился этого. Гарик учиться вовсе не хотел, тянулся кое-как, у него были другие планы, на которые он изредка таинственно намекал. Считалось, что у него большие способности, в чём они состояли, выяснить не удалось; просматривая школьные тетрадки мальчиков, следователь обнаружил толстую тетрадь в клеёнчатом переплёте. Там были стихи Есенина, полузапрещённого поэта, вернее, отрывки и отдельные строчки из его стихотворений. «Вечер чёрные брови насопил». «Не вчера ли я молодость пропил...» Там оказались и собственные стихи Гарика, бессвязная поэма, которая начиналась словами: «Молчали скалы, плыли тучи, однообразны и летучи». В поэме говорилось об одиноком герое, который стоит над морем, завернувшись в плащ. С некоторым отчуждённым интересом следователь разглядывал разлинованную страницу, на которой Гарик изо дня в день вычерчивал график: выше нулевой линии на оси ординат находились уровни, обозначенные словами «Хорошее» и «Прекрасное», ниже – «Плохое», «Очень плохое» и «Трагическое». График назывался «Настроениеметр». Судя по нему, настроение у Гарика менялось очень быстро. Однако накануне дня, когда оба исчезли, кривая показывала прекрасное настроение. Ближайшее подозрение – к нему склонялся и директор – состояло в том, что Гарик, мечтавший о бродяжнической жизни, уговорил друга бежать вместе с ним из лесной школы.

Следователь отбыл, после обеда был мёртвый час на веранде, директор, в белом халате, прохаживался между койками и говорил внушительно, с лёгким нерусским акцентом: «Это ваши гемоглобины». Далее подъём, выполнение домашних заданий, перед ужином в большой комнате, где стояло пианино, разучивание «Марша артиллеристов» – жизнь вошла в свою колею. К вечеру окончательно развезло, вместо лыжной пробежки шли по обочине до конца Лучевого просека и обратно. Перед сном в спальне мальчиков рассказывались страшные истории, но кровать Гарика Раппопорта, признанного мастера, пустовала; обсуждалась и эта тема, говорили о товарных поездах, поддельных документах, пере-

бивая друг друга; несколько раз воспитательница входила в спальню, чтобы восстановить тишину. Наконец, всё уснуло; большой деревянный дом за воротами и забором плыл, словно корабль с погашенными огнями, под беспокойным дымным небом; понемногу рассеялись клочья облаков, в лиловой бездне сияла луна, звук, похожий на сигнал рожка, послышался вдалеке, лесной дух, старый леший с козьими ушами, в бороде, покрытой инеем, с зеленоватыми искрами глаз, дрожал от холода, скорчившись на серебряном обледенелом пне, над заснеженным озером, и под утро ударили заморозки. На другой день было воскресенье, торжественная линейка, вынос пионерского знамени и рапорт Шахраю и старшей вожатой, а на следующей неделе, во вторник или в среду, произошло событие, которое не удалось скрыть, потому что скрыть его было невозможно.

Прибыли милицейская машина и грузовик. Среди осевших сугробов, подсакивая на корнях, подъехали к озеру. Следователь с директором стояли возле машины. Трое рабочих в ушанках, в брезентовых комбинезонах и высоких резиновых сапогах спрыгнули с грузовика, откинули задний борт, вытащили багры, верёвки и ломы. Двое, ломая лёд, раздвигая остатки мёрзлого кустарника, вошли в воду, третий подавал багры. Озеро было невелико, не озеро, а пруд. Леший прятался за стволами, снedaемый любопытством. Ближе к середине вода была выше пояса. Следователь давал указания. Директор школы вопросительно взглянул на следователя. Водолазы, не добившись результата, выбрались на берег, потом зашли с другой стороны.

Около шести часов вечера мать Гарика Раппопорта, усталая и уже немолодая женщина, – Гарик был поздним ребёнком, – вошла в холодный, поблескивающий кафелем в ярком неживом свете недавно изобретённых газовых трубок зал морга больницы имени Склифосовского и приблизилась к бетонному ложу; следователь приподнял простыню. Мать Гарика взглянула на лежащего, зажмурилась и зажала рот рукой, чтобы не закричать. На другом столе лежал Феликс Круглов, родители уже идентифицировали труп. Следователь остался в морге, чтобы дожидаться протокола вскрытия. Причиной смерти в обоих случаях оказалось заполнение водой лёгких вследствие утопления, что, впрочем, и так было ясно.

Обыкновенно учительница выжидала, стоя на пороге, пока народ утомонится, но географию вёл сам директор, и все смиренно сидели на своих местах; звонок прозвенел, все сидели и ждали, директор не появлялся. Наконец, услышали шаги, он вошёл. «Вот, – сказал он, – это наша новенькая».

Несколько времени директор обозревал класс, кое-что добавил, девочка стояла рядом. На ней было щёгольское бархатное платье, коричневое, с пуговками на груди, с белым кружевным воротничком и узки-

ми белыми отворотами на рукавах, колени обтянуты розовыми чулками (когда она села, сосед по парте заметил, что чулки держались спереди на резинках с застёжками). На ногах были плоские лакированные туфли с перемычками на пуговках. Ей не хватало лишь банта в волосах, чтобы выглядеть маменькиной дочкой. Волосы, прямые, цвета тёмной смолы, спускавшиеся двумя полукружьями до подбородка, сбоку над бровью были схвачены заколкой.

Девочка стояла, заложив руки за спину, и, казалось, раздумывала, не вернуться ли ей и броситься вон из школы, куда её привезли под предлогом увеличения лимфатических желёз, а на самом деле потому, что не с кем было её оставить: отец пропадал в командировках, вероятно, имел другую семью, мать умерла от разочарований, ревности и наследственного недуга, который, возможно, грозил и дочке. Она стояла, глядя прямо перед собой спокойными, слегка затуманенными, почти сонными жемчужно-серыми глазами, слегка поджав и без того тонкие губы, у неё было круглое фарфоровое лицо, прямые брови, короткий тупой нос, ямка на подбородке. Она не смотрела ни на кого, её взгляд повис над головами, отчего каждый почувствовал лёгкое беспокойство; это и было главное чувство, которое охватило всех: беспокойство, каждому стало не по себе; опустив руки, она переступила с ноги на ногу, и облако тайны, окружавшее девочку, слегка колыхнулось, дуновение пронеслось по классу. Шахрай развернул классный журнал; она вздохнула, скривила губы и уселась на свободное место, указанное директором, в левом ряду рядом с Гариком Раппопортом.

Директор восседал за учительским столом, методично постукивал карандашом по столу и поглядывал на ученика, который маялся перед большой картой Западной Европы. Директор повторил вопрос, на который должен был теперь ответить кто-нибудь с места – или он сам. Девочка в розовых чулках, на одной парте с Гариком, по-прежнему безучастно смотрела в пространство. В это утро число пограничных инцидентов достигло, как уже говорилось, ста двадцати. Министр иностранных дел доехал до Берлина и беседовал с немецким коллегой; в ответ на замечание, что если большевизм станет угрожать Германской империи, разгром России будет неминуем, высокий гость заморгал глазами и выразил на лице глубокую думу.

Феликс Круглов писал записку другу. Оба пользовались шифром, который изобрёл Гарик: нужно было знать ключевое слово из десяти букв, причём буквы должны быть разные. Например, пулемётчик. Или: челюскинцы. Или: республика. Каждая буква обозначается номером от 1 до 0. Все буквы алфавита имеют свои порядковые номера, так что каждую букву можно зашифровать в виде других букв. Не зная ключевое слово, ни один дешифровщик мира не мог разгадать шифр. Феликс сложил записку и послал её щелчком Гарику. Записка упала в проходе, ди-

ректор встал, не спеша приблизился, подобрал бумажку и развернул, возвращаясь к столу. «Так какой же полуостров из двух?» – сказал он, медленно разорвал записку и подошёл к ученику перед картой. Обрывки шифрованной депеши полетели в плетёную корзинку перед дверью в углу. Если бы директор знал ключевое слово, он мог бы её прочесть. Там стояло: «Шахрай сам не знает, где Бретань».

Некоторые из дальнейших происшествий, впрочем, малосущественные, остались вне пределов дознания; даже если бы следователь о них знал, он не придавал бы им значения. Налицо был несчастный случай, лёд стал хрупким в эти предвесенние недели; воспитанникам не возбранялось гулять в лесу около интерната, разумеется, с условием не уходить далеко; если кто-нибудь и был виноват в случившемся, – кроме самих мальчиков, – то это мог быть разве что старый леший, последний, доживающий свои дни в этих местах; по крайней мере он мог бы предупредить ребят. Но от леших добра ждать не приходится.

Солнце уже вставало довольно рано; перед самым подъёмом Феликс Круглов видел сон. Прозвенел утренний звонок, воспитательница в дверях спальни хлопнула в ладоши. Он разлепил глаза, поднял сонную всклокоченную голову от подушки, в эту минуту ещё помнилось ощущение тягостного, почти страшного: дул ветер и нёс обрывки бумаги, что-то тащилось по полу, паутина или верёвка, он не мог выйти, толкался в дверь, наконец дверь распахнулась, так что он чуть не упал, на крыльце стоял кто-то, ученица в бархатном платье и розовых чулках, но этот кто-то не смотрел на Феликса, и когда она повернула к нему лицо, оказалось, что лица у неё нет. Феликс сидел в кровати, моргая своими красивыми тёмными ресницами, а вокруг творился всегдашний утренний кавардак. Кто-то шлёпал босыми ногами между рядами кроватей, кто-то вскочил на чужую постель и орал несусветное, в углу демонстрировался опыт: тощий мальчик с провалившимся лицом, знаменитый своей худобой, который и здесь никак не мог прибавить в весе, хотя ел за двоих, лежал на подушке, неестественным усилием мышц сделав так, что на плечах образовались глубокие ямки, и в эти ямки ему наливали воду из графина. Феликс Круглов растолкал Гарика, который всё ещё лежал, натянув на голову одеяло. Дело в том, что у Гарика были свои проблемы.

В душевой ухали, становясь под холодный душ; очередь выстроилась перед столовой, каждый получал десертную ложку тошнотворного рыбьего жира. Облизать, запить водой из стаканчика, грязная ложка падает в ящик, бегом на своё место за стол, где уже стояло что-то пахучее, необыкновенно вкусное. Это был день, когда ничего особенного не произошло, если не считать того, что, выйдя неизвестно зачем на заднее крыльцо перед хозяйственным двором, Феликс вспомнил свой сон: дев-

чонка, в пальто и капоре, но по-прежнему в лакированных туфельках и розовых чулках, стояла на верхней ступеньке и смотрела – куда она смотрела? Услышав скрип дверных петель, она слегка повернула голову, но так и не взглянула на Феликса. В столовой её не видели, неизвестно, завтракала ли она.

Начались уроки. Её не было. Должно быть, она всё ещё стояла на крыльце. В своих туфлях спешила по дороге, проваливалась в снег. Приплясывала от холода на трамвайном кольце, далеко, где уже начинался город. Подъехал, визжа колёсами на повороте, пустой трамвай. Подъехала шикарная чёрная машина ЗИС-101. Подъехал на вороном коне всадник.

И когда, наконец, она вошла в класс, надменная и окружённая тайной, и с презрительной миной выслушала выговор учительницы, то было непонятно, отчего она опоздала: из-за расхлябанности, оттого, что раздумала бежать, или из-за того, что не хотела быть как все и смешиваться со всеми.

Когда она поворачивала голову, то казалось, что её взгляд остановился в глубине её серых глаз; это было лицо без взгляда. Медленно опускались её ресницы, девочка отводила невидящий взор, словно тебя не было, словно ты был незначимым предметом, камнем, растением.

«Тебя как зовут?» – спросил Круглов. Он знал её фамилию, все называли всех по фамилиям. Вопрос об имени звучал, как начало допроса. Но он мог означать и предложение познакомиться. Девочка не ответила и даже не повернула головы.

«Ты чего тут делаешь?»

Никакого ответа, разве только еле заметное движение плеч.

«Не хочешь говорить, и не надо», – сказал он.

Потом он всё же спросил:

«У тебя коньки есть?»

Он сидел на скамейке и подвязывал к валенкам коньки, на которых не стыдно было показаться на людях: это были «гаги», с узким лезвием, стреловидными носами и зубчиками, можно было встать на зубчики, как балерина становится на пуанты, пробежать два-три шага и понестись кругами. Он разбежался, понёсся, но зацепился за что-то и растянулся на льду. С пылающими щеками, вскочив на ноги, он обернулся, но ученица исчезла. Может быть, это было ещё оскорбительней. Подошёл и сел на скамейку Гарик. Несколько времени Феликс кружил по маленькому катку, спиной вперёд, расставив руки, эффектно заводя ногу за ногу. Гарик Раппопорт кататься не умел и презирал зимний спорт. Вообще Гарик презирал всё. Он сидел, развалившись, в старом зимнем пальто, с торчащими из коротких рукавов, красными от холода руками, грел руки у рта и постукивал друг о друга ботинками.

Феликс плюхнулся рядом и спросил: «Ты не видал её?»

«Кого это?» – сказал Гарик, и по его тону было ясно, что он знал, о ком идёт речь.

Феликс сказал: «Ну, эту...»

Гарик промолчал, потом спросил: «А чего ей надо?»

«Да так, – промолвил Феликс, – поговорили».

После чего Гарик встал и лениво направился к дому. Феликс, с коньками под мышкой, поплёлся следом за ним. Тема была исчерпана, девчонка не заслуживала внимания. Но если бы следователь районного отделения милиции проявил больше интереса к ученице в розовых чулках, он мог бы узнать или по крайней мере догадаться о том, что с тех пор, как она появилась, повысился радиоактивный фон. Да, придётся воспользоваться этим выражением, в те времена ещё малоупотребительным, чтобы отметить нечто ничем себя не проявлявшее, но которое ощутили все, одни больше, другие меньше.

Девочка была туповата, рассеянна, к школьным предметам не проявляла ни малейшего интереса; никто не видел её с книжкой; одним словом, «глупа, как пробка». О чём-то мечтала, приоткрыв бледные губы, устремив в пространство свои серые, с жемчужным отливом глаза. Лет триста тому назад в ней заподозрили бы ведьму. До сих пор, по-видимому, она с трудом переходила из класса в класс, так что, в сущности, было большой удачей для неё угодить в лесную школу, где не было экзаменов. Да и уроки были короче: 45 минут вместо пятидесяти. В день не больше четырёх уроков. Так можно было учиться и с её плохими способностями.

На перемене, когда открывали фрамугу и дежурный выгонял всех из класса, девочка стояла в коридоре у окна, никто не подходил к ней. Разве что Феликс мог случайно оказаться рядом, что-то цедил сквозь зубы; об этом следователь мог бы тоже узнать от многочисленных свидетелей. Однако все необходимые факты были собраны, о преступлении не могло быть речи, экспертиза подтвердила причину, следствием которой была смерть. Никаких дополнительных данных не требовалось. А главное, ничего бы не изменилось, если бы дело украсилось психологическими нюансами: случайность или не случайность – Феликсу Круглову и Гарiku Раппопрту было уже всё равно.

То, что здесь было названо «фоном», губительное излучение, сказывалось и в известной неловкости, которую испытывали преподаватели, вызывая девочку к доске. Разумеется, каждый учитель сталкивается с подобным сочетанием умственной отсталости, рассеянности и упрямства; и для всех случаев имелись научные определения, например: пубертатный период; но одно дело педагогическая наука, а другое – конкретный случай, магнетический и недобрый взгляд, то самое излучение: ученица молча стояла перед классом, приходилось задавать ей навводя-

щие вопросы, она кивала или пожимала плечами, лениво, точно дрессированное животное, водила мелом по доске; невозможно было понять, что это: тупоумие или презрение. Недели проходили, она по-прежнему оставалась «новенькой». То, что учителя готовы были считать чуть ли не слабоумием, ученикам казалось заносчивостью. Все девочки дружно возненавидели её, о ней распространялись жуткие слухи. Мальчишки старались перед ней отличиться; презирать её было бесполезно, она платила той же монетой. Когда однажды какой-то удалец, малорослый негодяй, способный на всё, преградив ей дорогу, стал ферттом, цыкнул в сторону, спросил: «Ты! это что у тебя?» и хотел было ткнуть пальцем в ямку на подбородке, девочка проткнула его насквозь смертоносным серым взором, точно стилетом.

Ученицы сразу заметили, что новенькая – красавица; не заметить могли только слепой; почти физически и куда быстрее, чем мальчишки, ученицы почуяли, словно запах, кружащее голову очарование, которое исходило от неё; отсюда, по непреложной логике, следовало, что она задавалась, при ближайшем рассмотрении стало ясно, что она только казалась красивой, вбила себе в голову, «воображала», а на самом деле – ничего особенного! Всякий анализ опасен; анализ, которому женщины подвергают соперницу, разрушителен.

За каких-нибудь две или три минуты, пока Шахрай что-то говорил, они увидели всё, успели рассмотреть её вызывающе роскошное платье, чулки нелепого цвета, туфли, пуговицы, заколку, что там ещё? Девочка стояла рядом с директором, словно ждала, когда окончится осмотр. Острые взгляды учениц ощупывали её, словно холодные пальцы. Может быть, первый раз в жизни она ощутила всю себя, своё тело, худенькие ноги, впалый живот. Она почувствовала злую отвагу. Прошло в самом деле не более двух минут, но казалось, что демонстрация длится ужасно долго. Вздохнув и, видимо, понимая, что она произвела впечатление, изобразив на лице гримаску, которая могла означать «ну что, съели?» или: «а мне плевать на вас всех», или: «мы ещё посмотрим», красуясь и «воображая», покачивая плечами, подрагивая еле-еле, так что лишь внимательный глаз мог заметить, мальчишескими бёдрами, она прошествовала между левым и средним рядами и опустилась на скамейку возле Гарика Раппопорта, не взглянув на соседа.

Обыкновенно звонок не мог утихомирить беснующихся; на этот раз, однако, все сидели на своих местах, и Гарик ждал, как все, появления директора; Шахрай вошёл, пропуская перед собой новоприбывшую, девочка стояла перед классом, шла между партами, и холодное, недоброе любопытство, с которым встретили её тридцать пар глаз, у Гарика превратилось в глухую ненависть. Трудно было бы объяснить причину

этой ненависти; виной была её красота. Единственное свободное место в классе было место на его парте. Ещё не хватало, думал Гарик, чтобы её посадили рядом с ним; какого чёрта она припёрлась. Он демонстративно отодвинулся. Новая ученица сидела выпрямившись, составив коленки, её розовые чулки держались спереди на резинках. Она передёрнула плечами, поёрзала, натянула платье поближе к коленям. Потом положила руки на парту, это был жест примерной ученицы. Тотчас, как будто спохватившись, она опустила руки ладонями на сиденье. На рукавах были белые отвороты, круглый кружевной воротничок вокруг тонкой шеи. У неё был круглый подбородок с ямкой. Кукла, думал Гарик; должно быть, ни единой мыслишки в голове.

Кто-то уже стоял, тоскуя, у доски. Ерундовый вопрос, назвать полуострова Франции, там всего-то два полуострова. Записка белела в проходе между рядами, Гарик повернул голову – Феликс, сидящий в среднем ряду, показывал глазами на записку. Каждый нормальный человек нагнулся и подобрал бы. Девчонка даже не пошевелинулась. «Ты! – прошептал Гарик. – Подними...» Она и ухом не повела. Шахрай, блеснув орлиным взором, приподняв бровь, поднялся из-за учительского стола. «Так как же он называется?» – спросил Шахрай, возвращаясь, и швырнул скомканную депешу в угол между доской и дверью, в мусорную корзину.

Народ лежал в спальных мешках, дежурная воспитательница, сняв варежки, захлопала в ладоши, все побежали, на ходу натягивая пальто и ушанки, вокруг дома к крыльцу, два часа оставалось до приготовления уроков, это было лучшее время дня – свободное время. В эти часы приятели отправлялись в лес. Они выходили не из ворот, а через задний двор, шагали по снежной тропе, продирались сквозь голый колючий подлесок, выходили к озеру. В замечательном фильме «Музыкальная история» Лемешев, в расшитой украинской рубаше и шёлковых шароварах, в заломленной папахе, с огромной бандурой в руках пел песню Левко, расхаживал по сцене и смотрел в зал, и из тёмной, дышащей глубины на него надвигался волшебный призрак артистки Зои Фёдоровой с выпуклыми глазами. И так прекрасен был этот образ, моргал и манил к себе, что Лемешев – теперь он сидел в плаще с пелериной, на камне, с непокрытой головой в тёмных кудрях, и готовился спеть арию Ленского «Куда, куда...» – замечтался, забыл обо всём на свете, и про арию, и про дуэль, и сначала суфлёр, потом дирижер, а за ними весь зал начал громко подсказывать: «Куда-куда!». Феликс сорвал шапку с головы, – всё уже дышало весной, – Феликс пел, а хмурый Гарик шёл рядом и не произносил ни слова. Но самой лучшей картиной был «Большой вальс», и Феликс изображал роскошную Карлу Доннер, а также того, кто был победителем её сердца, но победа досталась нелегко. «*О прошлом тоскуя, я помню о нашей любви...*» – пел Феликс. Что-то случилось, из-за чего они расста-

лись, и неясно было, как дальше сложатся их отношения. Но зато какие воспоминания! «О, как вас люблю я, в то утро сказали мне вы».

«Стой, – сказал Гарик. – Вон там... Видишь?»

«Ничего я не вижу».

«А я тебе говорю, там кто-то есть».

«Да нет там никого», – удручённо сказал Феликс. Прошли ещё несколько шагов.

«Может, за нами следят?»

«Кто?» – спросил Феликс.

«Вон, вон побежал. Эх, ты. Не заметил? Тут разные бродят», – пояснил Гарик.

Феликс спросил, не тот ли это, который бежал из тюрьмы. В свою очередь Гарик спросил, кто это, и Феликс напомнил, что Гарик рассказывал о нём в спальне перед сном.

«Ну, это совсем другое дело, – возразил Гарик, – это я всё придумал. Спой ещё», – сказал он помолчав.

Друзья двинулись вокруг озера, шли между елями, увязая в снегу.

«Я у тебя хочу спросить, – проговорил Феликс. – Только чтобы всё осталось между нами. Дай клятву, что всё останется между нами».

Гарик хмыкнул, поглядел сбоку на Феликса.

«Нет, ты дай клятву».

Обошли озеро, кругом ни души. Отсюда можно было пройти кружным путём к Лучевому просеку.

«Ну чего же ты», – сказал Гарик.

«Я передумал», – ответил Феликс, нахлобучил шапку и двинулся прочь.

«Сначала велел поклясться, а потом передумал».

«Клятва не пропадёт, мы её отложим на после».

«Когда это, на после?»

«Очень просто, я тебе что-то скажу, а ты уже связан клятвой».

«Когда же это ты скажешь?.. Ну как знаешь», – сказал Гарик и, обогнав друга, пошёл вперёд.

«Как ты думаешь, – проговорил Феликс, – она меня любит?»

«Кто?» – спросил, не оборачиваясь, Гарик. И было совершенно ясно, о ком идёт речь.

«Кто, кто. Сам знаешь, кто».

Вышли к засыпанному снегом кювету, отделявшему просек от лесной опушки.

«Я-то откуда знаю», – сказал Гарик презрительно.

«Мне надо знать».

«Ну, и спроси её».

«Ты спроси», – сказал Феликс.

«Чего это я буду спрашивать. Тебе надо, ты и спрашивай».

Так они стояли перед кюветом, в нерешительности, идти ли по Лучевому просеку к школе или возвращаться лесом. Гарик размахнулся перед прыжком, но не допрыгнул и свалился в кювет.

«Чего это я буду спрашивать», – бормотал он, вылезая и отряхиваясь.

«Ты мне друг? – спросил Феликс. – Если ты мне друг...»

«Да ну её, – сказал Гарик, – на-фиг она нам сдалась». Он помрачнел, сделался неразговорчив, и под вечер, когда готовили на завтра уроки, кривая настроением круто пошла вниз.

Тёмное предчувствие вело Феликса, он делал вид, что прохаживается по коридору, как бы невзначай подошёл к дверям класса, приоткрыл – девочка сидела за партой. Полтора часа, отведённых на приготовление домашних заданий, кончились, народ разбежался кто куда, она всё ещё сидела над своими тетрадками. Она не подняла головы. Следовательно, – Феликс смутно это почувствовал, – она догадалась, кто это был. Феликс топтался в дверях. Белый зимний день стоял в двух больших окнах. Поблескивали ряды пустых парт, глянцево отсвечивал портрет вождя народов над классной доской, и уже совсем немного, каких-нибудь восемь-девять недель, оставалось до того дня, когда вождь назначил себя председателем Совнаркома, совсем немного до банкета выпускников военных академий, на котором, с бокалом в руке, вождь сказал, что эра миролюбия миновала, и со свойственной ему проницательностью определил начало войны через год, совсем немного до той ночи, когда состав с поставками для германского рейха в последний раз пересёк границу обоюдных интересов.

«Ты чего тут сидишь?» – спросил Феликс. Она ничего не ответила и только ниже опустила голову. Он подошёл и увидел, что она хнычет.

«Ты чего?» Она не могла решить задачу.

Феликс стоял над ней. Он стоял, как рыцарь над закованной в кандалы пленницей.

«Покажь».

Барственным жестом он протянул руку, девочка подняла на него блестящие от слёз, таинственные глаза, протянула учебник.

«Так, – сказал Феликс. – Ну и что? Ну и ничего, – ответил он сам себе. – Задача на предположение. Пиши...»

Девочка тупо смотрела перед собой.

«Пиши, чего сидишь. В течение одного часа в бассейн вливается 350 литров воды». Он продиктовал условия задачи. Теперь, сказал он, проведи черту. Сперва сосчитаем разницу между тем, сколько вливается и сколько выливается за час.

Девочка захлопнула тетрадь, чтобы сунуть в портфель.

«Что ж ты не промокнула-то?»

Она развернула тетрадь, чернила размазались и оставили след на другой стороне.

«Эх ты, растяпа», – произнёс Феликс.

«Я не растяпа», – огрызнулась она.

«А кто ж ты».

«Сама бы решила».

«Чего ж ты тогда сидела?»

«А мне это всё до лампочки».

«Чего, чего?» – спросил Феликс. Это было новомодное выражение.

Девочка сидела за партой, упёршись ладонями в скамью, составив колени в розовых чулках, покачивая ногами в туфельках. Ноздри её раздувались Тёмные облака гнева проплывали перед глазами, она ненавидела арифметику, ненавидела школу, ненавидела всех.

«Можешь передать своему другу...» – проговорила она.

«Какому другу?»

«Этому чёрному, волосатому, – сказала девочка. – Еврею. Можешь ему передать».

Мгновенное подозрение окатило Феликса словно водой из ведра.

«Что передать?»

«Что я тебя не люблю», – выпалила девочка. Она уселась поудобней, смотрела в окно.

Значит, Гарик всё-таки спросил.

Феликс растерялся – больше всего поразила его эта прямота, хотя какая же это была прямота, – но тотчас овладел собой.

«Подумаешь... А мне... А я, может, пошутил», – добавил он.

«Врёшь».

«Ничего я не вру; пошутил, и всё».

«Этим не шутят», – сказала она угрюмо.

После этого наступила пауза, Феликсу хотелось сказать какую-нибудь колкость, что-нибудь блестящее и уничтожающее, а потом повернуться и медленно, твёрдым шагом, уйти, впечатывая каблук в пол.

Вместо этого он сказал:

«Хочешь, я тебе что-нибудь спою?»

Девочка взглянула на него с любопытством, как глядят на душевнобольного.

Он добавил:

«Только не здесь: пошли куда-нибудь».

Она сказала презрительно:

«Куда это я пойду».

Но Феликс ничего не ответил, тогда она спросила: «А что ты собираешься петь?»

«Что-нибудь. Хочешь, спою из "Большого вальса"».

Оказалось, что она даже не слыхала об этом фильме.

«Могу что-нибудь другое», – сказал Феликс. «Да ну тебя», – сказала она, на что Феликс возразил: «Ну и фиг с тобой». И на этом разговор прекратился, помахивая портфелем, девчонка вышла из класса. Дверь осталась открытой. Жизнь потеряла смысл. Что случилось? Ничего не случилось. Просто жизнь потеряла смысл.

По случайному совпадению на другой день была география, и вновь была перехвачена зашифрованная депеша; но было ли случайностью всё, что происходило? Порой события принимают принудительный характер. Это равно присуще большой истории и обыкновенной жизни. По крайней мере, такое чувство, смутное ощущение, что тебя куда-то несёт, – словно у человека, вставшего на эскалатор, – охватило обоих мальчиков. Можно назвать его наваждением или чувством судьбы.

Кто-то мыкался у доски, директор расхаживал между рядами, ловко схватил записку в тот самый момент, когда ученик, сидевший впереди Феликса, протянул руку назад, чтобы передать депешу по адресу. Величественно, не прерывая свою речь, Шахрай порвал записку, даже не взглянув, что там, дошёл до Камчатки и оттуда некоторое время обозревал класс.

Он вернулся к доске, скомканные клочки упали в корзину. Между тем записка содержала важное сообщение. После мёртвого часа приятели отправились в лес. Феликс сказал, что ему неохота петь. Поговорили о чём-то; Гарик заметил, что если не знать ключ, то никакой дешифровщик ни сможет расшифровать. Тем не менее в целях безопасности рекомендуется время от времени менять ключевое слово. Но ведь его, кроме нас, никто не знает, сказал Феликс. Мало ли что, возразил Гарик, во время допроса можно проговориться. Какого допроса? А вдруг начнут допрашивать, сказал Гарик. Он имел в виду директора.

Феликс был погружён в свои мысли. Наконец, он проговорил:

«Слушай-ка... Почему ты мне ничего не сказал?»

«Что не сказал?» – спросил Гарик.

«Ты ведь с ней разговаривал».

Гарик молчал.

«Ведь разговаривал».

«Ну и что? Допустим, разговаривал».

«Что она тебе ответила?»

«Она дура», – сказал Гарик, чтобы утешить друга.

«Что она ответила?»

«А мы на другие темы разговаривали», – сказал Гарик.

«Неправда».

«Чего неправда? Ты-то откуда знаешь».

«Знаю... она мне сама сказала. И тебе велела передать. Ты ведь у неё спросил, да?»

«Что спросил?»

«Да что ты всё увиливаешь», – сказал Феликс с досадой.

Гарик ничего не ответил. По-видимому, у него начался нервный припадок, который выражался в том, что Гарик вдруг умолкал и никакими силами нельзя было вытянуть из него ни слова.

Некоторое время спустя он всё-таки чуть не разомкнул уста. Нужно было принять решение. Дело в том, что у Гарика созрел план.

«Когда-то подростки убегали в Америку, к индейцам. Времена, конечно, изменились, но сама по себе идея побега... В этом возрасте страсть к приключениям – это, знаете, что-то неистребимое... Вот я, например, когда мне было лет тринадцать. Я ведь однажды чуть было...»

«Советский ребёнок никуда не побежит. Он знает, что...»

«Вы совершенно правы, о чём говорить. Я просто хочу сказать, что определённые предпосылки... особенности, так сказать, переходного периода...»

«Я уверен, что оба в Москве. Поболтаются и вернутся».

«Да, но каково родителям. Каково мне. Я как заведующий несу ответственность. Вы говорите: вернутся?»

«Да, если их вовремя не задержат».

«Как вы думаете, когда можно рассчитывать на...?»

«Пока что сообщений не было. Город большой. Это дело нескольких дней».

«Меня всё-таки совершенно озадачил Круглов. Вот уж от кого нельзя было ожидать. Спокойный, рассудительный мальчик, прекрасная успеваемость».

«Я тоже думаю, что виноват во всём Раппопорт. Не говоря уже о том, что... Вы, вероятно, в курсе?»

«Семейные условия?»

«Да, в этом роде... Поступил кое-какой материал. Отец враг народа. Это не по моей части, но приходится учитывать все обстоятельства».

«Да неужели. Представьте себе, я ни о чём не знал».

«Теперь будете знать».

«Нет, я действительно ни о чём...»

«Разумеется, это между нами».

«Понимаю. Как педагог я всё-таки хотел бы ещё раз указать на особенности возраста. Когда-то подростки убегали к индейцам».

«Эти времена прошли».

«Вы совершенно правы. И всё-таки... всё-таки».

Шли к озеру, Феликс пел, а Гарик рассказывал истории.

«Это только кажется, что оно такое невзрачное. На самом деле оно глубокое. Метров двести»

«Врёшь ты всё».

«Можно проверить. Эхолотом. Это только кажется, особенно зимой. А на самом деле остаток мезозойского моря».

«Чего?»

«Мезозойской эры. Там на дне стоят деревья, папоротниковые леса. Наверху они давно погибли, а под водой могут сохраняться миллионы лет. Там всегда царит сумрак. И только высоко-высоко наверху смутно виднеется синее солнце».

«Почему же оно синее?»

«Потому что сквозь толщу воды вся красно-жёлтая половина спектра не проходит. Там вообще всё синее. Посредине большая поляна...»

Зима вернулась, медленно падает снег. Снег лежит на капоре, на плечах у девочки, опушил ресницы. Она подошла к берегу, к тому месту, где под сугробами должна находиться кромка воды.

«Эй ты, – сказал Гарик, – провалишься».

«Там же лёд».

«Ну и что, мало ли что».

«Дальше», – сказала она.

«Что дальше?»

«Дальше рассказывай».

«А чего рассказывать, – сказал Гарик, которому смертельно хотелось продолжать. – Там, если спустишься, надо привыкнуть. Синяя тьма, в пасмурный день совсем как ночь. А когда наверху солнечный день, то как будто лунная ночь. На поляне, опираясь о дремучий ствол древовидного папоротника, сидит утопленник».

«Чего же он там делает?»

«Спит. Он спит уже сто пятьдесят лет. У него борода, как морская трава. Ноги все в ракушках. Рыбы к нему подплывают, он не слышит. Но однажды он проснётся».

«А вот спорим, – сказала девочка, глядя жемчужными глазами на белую пелену, – слабо пройти по льду».

«Чего это слабо», – возразил Феликс.

«А вот спорим, что струсишь».

«Надо уметь ходить, кто умеет, не провалится», – заметил Гарик.

«Ты-то уж точно не пойдёшь. Спорим, что не пойдёшь».

«Чего это я не пойду».

«Трусливая команда».

«Чего-о?» – сказал Феликс.

Все трое сидели в комнате для посетителей, вошёл санитар и позвал. Родители Феликса Круглова уже побывали там. И, собственно, больше нечего было здесь делать, но они остались сидеть, вероятно, хотели дожидаться, когда вернётся мать Гарика Раппопорта.

Мать Гарика, с сумочкой в руках, вошла в зал, и одновременно в другую дверь, с противоположной стороны вошёл патологоанатом, высокий, тощий человек в белоснежном халате и шапочке, в щёгольской рубашке с шёлковым галстуком, с худыми пальцами пианиста и сухими чертами, как у пастора, мог бы играть эту роль; всё это автоматически регистрировал её мозг. Прозектор важно кивнул, приблизился к столу и дал знак подойти. В зале с кафельными стенами было холодно, светло, над обоими столами подвешены люминесцентные трубки, новинка того времени, так называемые лампы дневного света, безжизненного, не дававшего теней.

Мать Гарика остановилась, прозектор ещё раз указал приглашающим жестом на то, что там лежало, покосился через плечо на санитаря, тот стоял со стаканом воды наготове. Прозектор перевёл взгляд на круглые часы, висевшие над дверью, откуда вошла мать Гарика; было пять минут седьмого. Следователь опаздывал. Следователь вошёл с портфелем, у него был деловой спешащий вид. Прозектор посторонился, следователь подошёл к изголовью, он был невысокого роста и всё же значительно выше матери Гарика, которая была похожа на старую девочку. Кроме того, она была очень похожа на своего сына. Она стояла, вцепившись в сумку, за спиной следователя. По другую сторону каменного ложа стоял с надменной миной патологоанатом.

Мать Гарика торопливо отомкнула сумочку и вынула платок, почти не сознавая, что она делает. В то же время она с жёсткой ясностью воспринимала всё вокруг, и чужие, странные мысли плыли в её пустом и светлом, как этот зал, сознании; например, она подумала, что сказал бы отец Гарика, если бы вдруг его привели сюда. Но отца Гарика не существовало, его не было никогда, а теперь не существовало и Гарика. Под широкой простынёй лежало что-то слишком маленькое, словно часть Гарика осталась в озере, да и то, что лежало, уже не было Гариком.

Портфель следователя стоял на полу, прислонённый к каменному основанию стола. Следователь взглянул на врача, врач сделал знак санитару. Следователь подвинулся, чтобы пропустить мать Гарика. Затем он приподнял простыню.

«Что день грядущий мне готовит?»

Феликс пел, Гарик шёл, понурившись, рядом.

«Его мой взор напрасно ловит. В глубокой мгле таится он.»

«Слушай, – пробормотал Гарик, и Феликс умолк, – я что хотел сказать. Ты мне друг?»

Феликс покосился на Гарика, тот по-прежнему шёл, глядя себе под ноги.

«А почему спрашиваешь?»

«Нет, ты ответь», – сказал Гарик.

Страшное подозрение осенило Феликса, до сих пор ни слова не было сказано «об этом», и он не знал, как реагировать на слова Гарика. Ужас заключался в том, что их дружба оказалась в самом деле под угрозой. Молча они прошагали ещё метров десять.

«Значит, – промолвил Гарик, – мы должны стреляться».

Феликс испуганно посмотрел на товарища, тот продолжал:

«Конечно, а какой же ещё выход? Другого выхода нет. Я вызываю тебя на дуэль».

«Но ведь я тебя не оскорблял».

«Ну и что, – сказал Гарик. – Не в этом дело».

«А в чём же?»

«В чём, в чём. Я тебя вызываю, и всё».

Они снова прошагали молча некоторое время.

«Это из-за неё?» – спросил Феликс.

Вместо ответа Гарик сказал: «Ты что, отказываешься?»

Он добавил:

«Если ты мне друг, то ты не посмеешь отказаться».

«А где взять пистолеты?» – спросил Феликс.

«Это другой вопрос. Это мы можем обсудить. Всё дело в принципе».

Шли дальше. Феликс спросил:

«А она знает?»

«Нет, конечно».

«Я думаю, она должна знать».

«А причём тут она. Мужики сами должны решать».

Он объяснил, что женщин, с их куриным понятием о чести, в такие дела не посвящают.

У него появился озабоченный вид. Детали, сказал он, дело второстепенное, главное – решить вопрос по существу. А насчет того, что... короче, он все обдумал.

Несколько времени погодя Феликс снова спросил:

«У тебя когда-нибудь было?»

«Что было?»

«Ну... с девчонкой».

«С какой?»

«С какой-нибудь».

Гарик сурово покачал головой.

«А у неё, как ты думаешь?»

В ответ Гарик пожал плечами и сказал, что у них никогда не разберётся.

«Два засранца, – сказал завхоз. – Конечно, видел. На крыльце стояли. Я ещё подумал, о чём это они там договариваются. У меня ведь глаз на-

мётанный. Ну, само собой, за всеми не уследишь. Потом смотрю, девчонка эта вышла. Ну, которая. Я так думаю, что без неё тут дело не обошлось. Их-то уж след простыл. Понятное дело, за каждым не побежишь. Не надо было разрешать одним шастать по лесу, вот что я вам скажу. Меня там не было, почём я знаю. Кто ж мог подумать. Это такой возраст, они на всё способны. Не надо было пускать их, вот что. Она там тоже была, это я голову даю на отсечение. Смотрю, её нет. Только что стояла, а тут смотрю, след простыл. У меня глаз точный, я сам отец. Ну там, договаривались или нет, чего там у них было на уме, кто ж их знает. Меня там не было. Жалко пацанов. А уж родители – чего говорить. Я сам отец».

Феликс дождался, когда девочка вышла из столовой, решительно шагнул к ней, приказал: «Иди за мной».

«Куда это?»

«Иди, говорят тебе. Важное сообщение».

Вышли на заднее крыльцо.

«Ну, сообщай», – сказала она и стала смотреть вдаль.

Феликс тоже смотрел вдаль. Феликс потребовал, чтобы она поклялась, что никому ни слова. Ещё чего, сказала она надменно. Феликс пригрозил, что тогда он ничего не расскажет. Ну, и не рассказывай, сказала она и сделала вид, что уходит. Феликс заметил, что это касается всех троих. Так они препирались короткое время, наконец, он не выдержал и произнёс слова, которые могли бы избавить следователя от ненужных хлопот. Мы, сказал Феликс Круглов, будем драться.

«Драться? С кем?»

«Стреляться».

Она всё ещё не понимала, и Феликс объяснил, что они намерены стреляться на дуэли.

«Ух ты».

«Из-за тебя», – сказал Феликс сурово.

Девочка сделала большие глаза, повернула лицо к Феликсу.

«Ты будешь принадлежать тому, кто победит».

«А если... – пролепетала она. Теперь было видно, что она не притворяется, но в самом деле потрясена. – Если я откажусь?»

«Как это, откажусь».

«Откажусь принадлежать».

«Исключается, – сказал Феликс. – Раз мы из-за тебя выходим к барьеру, значит, ты должна подчиняться. Такой закон».

Она спросила, к какому барьеру.

«Ну, это так называется. Минимальное расстояние, с которого можно бить в противника».

«А вот я сейчас пойду и всё расскажу», – сказала она.

«Не пойдёшь. Ты дала клятву».

«Ничего я не дала».

«Тебе всё равно никто не поверит».

«А вот пойду и...»

«Ну и катись».

Помолчав, она спросила:

«А где это будет?»

«Не твоё дело».

«Как это не моё, сам говоришь – из-за меня. А пистолеты у вас есть?»

«Это другой вопрос. С оружием сейчас трудно. Мы нашли выход, – холодно, не глядя на девочку, сказал он. – Тут всё дело в принципе. Это всё равно что дуэль, риск ничуть не меньше. Ну, в общем... Кто первым дойдёт... тот и...»

Последний товарный состав – цистерны с сырой нефтью, пульмановские вагоны с продовольствием, – проследовал в третьем часу самой короткой ночи через Брест-Литовск на территорию генерал-губернаторства, мерный стук колёс на стыках затих и огни последнего вагона потонули во мраке, а через сорок пять минут войска, засевшие вдоль границы, под гром и свист артиллерии, в мертвенном сиянии повисших в небе осветительных ракет, покинули свои позиции. Армия двинулась всей трёхмиллионной громадой по трём главным направлениям фронта протяжённостью в две тысячи четыреста километров. Если не ошибаемся, это произошло спустя два с половиной месяца после разговора Феликса Круглова с девочкой на заднем крыльце, откуда дорога вела напрямик в лес. В ту пору эти места ещё были глухим Подмосковьем. Может показаться странным сравнение несравнимых вещей, нелепой причудой автора – попытка поставить рядом розыск, который учиняют профессора истории о событиях прошлого, и следствие по делу о пропавших подростках, к этому времени уже найденных и погребённых. Вскоре закончился учебный год, экзаменов не было, дети разъехались по домам, это был последний год существования лесной школы. Что с ней дальше произошло, где погиб директор, вступивший в народное ополчение в первые дни войны, – должно быть, замёрз в лесах, в окружении между Смоленском и Вязьмой, куда угодило всё это собранное наспех войско, – сгорел ли деревянный дом-интернат во время поспешного отступления, стал ли пристанищем для вражеских солдат или сам собой развалился после войны, – неизвестно. Нечего и говорить о том, что историков занимали более важные вещи.

Чтобы восстановить для потомства деяния прошлого, понадобились десятилетия. Разумеется, историков интересовали причины. Ведь счита-

ется, что всякое событие есть следствие определённой причины, как и всякая причина влечёт за собой определённые следствия. Было изучено множество причин и обстоятельств, главных и побочных, можно подразделить их на военные, политические, всемирно-исторические и так далее. Например, завоевание России было предпосылкой для того, чтобы развязать руки для вторжения в Англию. Оно вытекало из необходимости раздела мира на три главных региона. Оно должно было обеспечить окончательную победу национал-социалистической идеи. И так далее, – всё было обосновано, продумано, диктовалось железной логикой. Венцом же была последняя и решающая причина. Двигаясь по цепи следствий и причин, словно восходя по лестнице, историки достигли этой высшей ступени, последнего и решающего основания, последней причины, которая и была Смыслом Истории. Вы желаете знать его: вот он. Этот смысл есть не что иное как бессмысленность. Бог Истории носит короткое имя: абсурд.

Чтобы узнать, куда делись мальчики, следовательно районного отделения милиции понадобилась неделя. Следственное дело (по-видимому, сгоревшее вместе со всем архивом) представляло собой тощую папку толщиной в палец. Что касается причины, то она, как уже сказано, была установлена без труда: заполнение водою лёгких, бронхов и верхних дыхательных путей.

Девочка увидела, что оба, каждый со своего места, многозначительно кивнули друг другу, после чего Гарик Раппопорт первым покинул класс. Феликс, помедлив для конспирации, вышел следом за ним. Народ скрипел перьями в тетрадках, зубрили уроки на завтра. В коридоре ни души. В расстёгнутом пальто, крутя за ленточки капор, она топталась на крыльце, смотрела на дорогу, уходящую в лес, и там тоже не было никого. Приятели шагали напрямик сквозь чащу, девочка кралась за ними, проваливаясь в снег; стонала одинокая птица, зима вернулась, пушистый снег сыпался с ветвей. Мир всё ещё царил во всём мире; имперский уполномоченный по поставкам докладывал из Москвы, что транзитное сообщение после некоторой заминки вновь функционирует превосходно, в дополнение к плановым поставкам зерна, марганцевой руды, цветных металлов и нефти готов к отправке состав с каучуком. Министр иностранных дел Японии услышал от немецкого коллеги в Берлине, что разгром России неминуем. Подготовка к вторжению шла полным ходом.

Девочка стояла за большим деревом и видела, как они совещаются, она была горда и счастлива, как вдруг оказалось, что их не двое, а трое: согбенный, заросший бородой до глаз, весь белый от инея, низкорослый мужичонка с растопыренными руками, в малахае, из-под которого выглядывали длинные мохнатые уши, в косматом полушубке и валенках, что-то

объяснял, показывал, ковылял вокруг озера; она заметила, что левая половина его одеяния запахнута на правую. Феликс шёл следом за секундантом. Приятели стояли по обе стороны запорошённого снегом, с кое-где торчащими, вмёрзшими в лёд корягами озера, Гарик спиной к девочке, Феликс напротив, ей казалось – он смотрит на неё. Леший выкатился на середину озера. Секундант захлопал руками в рукавицах, подавая знак. Противники не трогались с места. Наконец, Феликс двинулся вперёд, хватаясь за остатки кустарника, сошёл на лёд. Гарик медленно, скользящими шажками шёл ему навстречу. Леший подбадривал, подгонял, махал руками, словно постовой милиционер. Противники брели навстречу друг другу. Первым провалился Гарик. Феликс подкрался к нему, протянул руку; лёд треснул, и оба оказались в воде. Тогда она бросилась опростеть назад.

ПОСЛЕ НАС ПОТОП

РОМАН

ПАМЯТИ ДРУГОГО РУБИНА

Crebra relinquendis infigimus oscula portis:
Inviti superant limina sacra pedes.
Oramus veniam lacrimis et laude litamus,
In quantum fletus currere verba sinit:
Exaudi, regina tui pulcherrima mundi,
Inter sidreos Roma recepta polos,
Exaudi, genetrix hominum genetrixque deorum!
Non procul a coelo per tua templa sumus.
Te canimus semperque, sinent cum fata, canemus:
Sospes nemo potest immemor esse tui.

*Rutilii Cl. Namatiani.
De reditu suo. Laudes Romae¹.*

После нас, разумеется, не потоп,
Но и не засуха.

И. Бродский

I. ПТИЦЫ, ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В первых числах сентября всем нам памятного года произошло необыкновенное событие. Никто не знал толком, когда это случилось, ско-

¹ Вновь и вновь я целую ворота города, который придется покинуть. Как неохотно переступают ноги священный порог! Обливаюсь слезами, молю о прощении, воздаю хвалы, внемли, царица, моим словам, звучащим сквозь рыдания, ты, прекрасней которой нет в мире, подвластном тебе. Рим, вознесшийся к звездам! Внемли, родительница людей, родительница богов, – в храмах твоих и мы воспаряем к небу. Тебя пою и буду петь вечно, куда жив: можно ли быть счастливым, забыв тебя...

Рут依ий Клавдий Намациан. О моем возвращении. Похвала Риму. 416 год н. э. (лат.).

рее общественность столкнулась с уже совершившимся фактом. А именно: несколько больших улиц вдоль западно-восточной оси города вместе с прилегающими переулками и дворами оказались загрязнены липкой зеленоватой массой, издававшей отвратительный запах; вещество, как показал анализ, было животного происхождения и содержало селитру. Малыши, празднично одетые по случаю начала занятий, не могли добраться до школы, кое-где на перекрестках забуксовавшие трамваи сошли с рельсов. В центре, от бывших Сретенских ворот к площади, переименованной в честь забытого революционера, вниз по трамвайным путям сползала тускло поблескивающая на солнце, маслянистая серо-зеленая жижа; из домоуправлений поступили сигналы о том, что на крышах обнаружены скопления в виде широких блинов; фасады общественных зданий были обезображены, тестообразная масса свисала с карнизов, шлепалась на тротуары, неслышанному осквернению подверглись памятники вождям, зловоние витало над городом.

Недоумение, растерянность, грозные запросы начальства и невразумительные ответы низовых инстанций напоминали дни начала войны и, как в первые военные дни, сменились лихорадочно-хаотической деятельностью; посыпались приказы, телефонограммы, кто-то лишился партийного билета, кто-то был арестован, была мобилизована служба очистки, объявлен коммунистический субботник. Перепачканные добровольцы самоотверженно размахивали метлами и отколупывали скребками быстро засыхающую массу. Пожарные в сверкающих касках, стоя с брандспойтами на головокружительной высоте, обдавали маслянистыми брызгами толпящихся на мостовой зевак. Были приняты особо решительные меры по сохранению спокойствия и порядка, пресечению паники и провокационных слухов. Громкоговорители передавали бодрые марши. Газеты сообщили о трудовых подвигах рабочих на предприятиях и тружеников полей, загадочный инцидент был обойден молчанием. Перед общественными банями выстроились километровые очереди. Оттого что в городе днем и ночью бесперебойно работало несколько сот пожарных стволов, возникли перебои с водоснабжением. Переполнились водостоки. Понизился, а затем резко поднялся уровень воды в реке, и в ряде мест грязная, дурно пахнущая вода залила набережные. Старые люди ломали шейку бедра, падая на скользких тротуарах. Грузовики с солдатами, потеряв управление, сталкивались бортами. Липкое вещество присохло к решеткам, телефонным будкам, парадным подъездам, вывескам, доскам с портретами передовиков, к городскому транспорту и к одежде прохожих.

Так прошло несколько дней, и волнение начало успокаиваться, когда внезапно перед рассветом население было разбужено шумом крыльев. Затем раздался оглушительный рев моторов, свист пиротехнических ракет, стук хлопушек и других подобных приспособлений: запоздалая, но все же не совсем бесполезная мера властей. Некоторые граждане, выбежав на

улицу, хлопали в ладоши и размахивали швабрами, надеясь отогнать налетчиков от своего дома. Но за одной эскадрилей следовала другая. Стало ясно, что птицы, сделав огромный круг, вернулись. Обеспокоенные шумом, они уронили новые порции испражнений и, ко всеобщему негодованию, загадили Красную площадь.

Птицы происходили, по заключению специалистов, из пустынь Центральной Азии. Было высказано предположение, что они сбились с пути во время сезонного перелета: сильный юго-восточный ветер отнес вожака, а следом и всю стаю далеко от привычного маршрута. Возможно, вид высотных зданий послужил ошибочным ориентиром для птиц, которые приняли их за скалы. Эти вопросы значительно позже, когда все уже было позади, стали предметом дискуссии в ученых кругах; журнал «Вестник орнитологии» организовал представительный «круглый стол», хотя место действия по цензурным соображениям было перенесено в одну из зарубежных стран. Бомбардировка испражнениями была тайной, о которой все знали или по крайней мере слыхали, и оттого она выглядела еще таинственной.

Сказанное обусловило особую трудность, на которую натолкнулись наши старания отделить достоверную информацию от домыслов и преувеличений. (Некоторые из опрошенных лиц были убеждены, что вся эта история – легенда. Близкой точки зрения, по-видимому, придерживались и органы массовой информации, в появившихся наконец сообщениях говорилось об отдельных случаях загрязнения городских объектов.) Птицы принадлежали к отряду журавлиных и ближе всего могли напомнить туранских журавлей рода *grus cylops*, хотя и для этих, почти вымерших пернатых представлялись непомерно крупными. Как могли они залететь к нам? Говоря военным языком, как им удалось проникнуть в воздушное пространство города? А где же была ПВО? Птиц не засекали радары. Самая грозная в мире авиация даже не поднялась в воздух, чтобы отразить налет. Не была ли стая специально заслана в нашу страну? Не вызвано ли изменение потоков воздуха нарушением экологического баланса планеты? Представляют ли птицы неизвестный, еще не описанный в науке вид или мутацию известных видов? Каков гормональный баланс этих оживших ископаемых?

Практический интерес представлял вопрос, что с ними делать. Взъерошенные существа с тусклыми ночными глазами, обессиленные долгими блужданиями и неукротимой диареей, опустились во дворах и переулках. Любопытно, что и здесь они пытались размножаться: кое-где в укромных местах были обнаружены самки, сидящие на яйцах. Застигнутые врасплох, пробуя взлететь, они с шумом пронеслись мимо окон, задевали за пожарные лестницы, ломали ветхие водосточные трубы. Чтобы подняться в воздух, птице такого размера нужен значительный разбег. Птицы сновали по тесным дворам на длинных чешуйчатых ногах, сколь-

зили в собственном помете, хлопая крыльями, испускали хриплые крики; временами им удавалось взлететь до уровня второго этажа, и где-нибудь за углом слышался звон стекла: это гигантский журавль с размаху всаживался клювом в витрину, где отражалось небо. Хуже всего было то, что, несмотря на полное отсутствие питания, эти существа продолжали обильно испражняться.

Хотя милиция и внутренние войска оцепили центр, им не удалось надлежащим образом справиться со своей задачей. Сотни посторонних лиц просочились на площадь. Стоя по щиколотку в грязи, толпа, как зачарованная, следила за верхолазами, которые с помощью кранов, вооружившись шлангами, пескоструйными аппаратами, раздвижными трехметровыми швабрами, пытались счистить помет с исторических башен. Более или менее успешно удалось сгрести кал с мавзолея. Невыполнимой задачей, однако, оказалась очистка кремлевских звезд. С гигантских, опрарвленных в стальную арматуру лучей из рубинового стекла, подобно чудовищным сталактитам, свисали грязные, засохшие комья. Исключительную опасность представляло вращение звезд на шарнирах вокруг опорных осей под напором ветра.

Размочить окаменевший помет не смогли бы даже многодневные проливные дожди. Это не было неожиданностью для копрологов – специалистов по экскрементам животных и птиц. Но они не решались – по понятным соображениям – высказать свои опасения вслух.

В свою очередь, начальство, хоть и прекрасно понимало опасность паники, недооценило психологию глупого населения. Хуже того, руководство не учло громадного политического и национального значения звезд. Граждане столицы привыкли к сиянию малиновых светил в вечернем небе, и не просто привыкли; можно сказать, что искусственное неугасимое созвездие раз и навсегда утвердило в умах астрологию надежно предустановленного будущего. Вот почему народную душу так тяжело поразило временное отключение сверхмощных ламп в тысячу свечей. И то, что затем произошло, представляло собой уже вполне очевидный и несомненный плод расстроенного народного воображения; упомянуть этот эпизод можно разве только для полноты рассказа.

Говорили, что в полночь раздался грохот. Якобы этот грохот слышали во всем Старом городе, в пределах бывшего Бульварного, отчасти и Садового кольца. Эхо разнеслось еще дальше, докатилось до окраин, где его приняли за рокот непогоды. Гром повторился через две-три минуты. Некоторым жителям послышался звон стекол, почудился звук чего-то лопнувшего. Кое-кто клялся, что видел молнию короткого замыкания. После чего, как утверждают, наступила зловещая тишина. На рассвете люди высыпали на улицы. К этому времени все главные улицы, все радиусы столицы были перегорожены грузовиками, на перекрестках выставлены конные пикеты, проходные дворы перекрыты, чердаки заняты милицией

и войсками. Шепотом, под большим секретом, со ссылками на осведомленных знакомых, будто бы узнавших об этом из надежного источника, из уст в уста передавалось, что звезды, каждая весом в тонну, накренились и, не выдержав тяжести, сверзились со своей державной высоты. Население с ужасом внимало этим известиям.

Оценить в полном объеме экологические и санитарные последствия воздушного бесчинства невозможно; государственное телеграфное агентство сочло необходимым в специальном сообщении опровергнуть ложные провокационные слухи, как принято было в то время называть разного рода прискорбные происшествия; результаты анализов питьевой воды не были опубликованы; наши выводы отнюдь не претендуют на полноту, наши догадки в значительной мере основаны на эмпирических наблюдениях. Так, усилилась общая нервозность населения. По ничтожному поводу вспыхивали ссоры в публичных местах; столкновения в очередях, в коридорах государственных учреждений, в магазинах и кинотеатрах, на остановках городского транспорта стали характерной чертой повседневной жизни, матерная брань не стихала в пригородных поездах, в автобусах и вагонах метро, спор из-за свободного места, точнее, из-за нехватки мест мгновенно перерастал в идеологическую схватку; мировоззрения и поколения то и дело скрещивали шпаги. Инвалиды поносили здоровых, старики – молодежь. Город ненавидел деревню, деревня отвечала ему тем же. Жители столицы называли приезжих паразитами, обвиняя их в том, что они скупают продовольствие, чтобы перепродавать его в своих дырах. Приезжие осыпали ругательствами горожан за то, что они обедают деревню. У женщин, казалось, не было худших врагов, чем мужчины – пьяницы и лоботрясы. В свою очередь, мужчины дружно называли всех женщин шлюхами.

Каждый выступал в защиту государственных интересов, от имени народа. Каждый грозил другому расправой, и все вместе уличали друг друга в том, что они евреи. Неизменным пунктом и центральной темой попреков было уклонение от работы. Дискуссиям о том, что никто не хочет работать, что народ распустился, что бездельников надо наказывать по всей строгости закона, а не так, как это делалось до сих пор, посвящались нескончаемые часы и дни. В сущности, о том же размышляло и руководство на своих тайных заседаниях. Об этом – о всеобщем и удручающем нежелании работать – неутомимо напоминали газеты на присущем им языке, когда с ликованием возвещали о новых трудовых победах. Образовались особые профессии покрикивателей и погонял, целые ведомства истощали свое хитроумие в попытках заставить нерадивый народ работать, хоть и сами подчас нуждались в понукании. Поистине это была какая-то всеобщая болезнь. Подозревали, и не без основания, что это инфекция.

В тот год многими овладел беспричинный страх. Многих посещали видения. Предположение о том, что в помете птиц содержались галлюциногенные вещества, не кажется нам фантазией ввиду многочисленных сообщений о ночных кошмарах. Апокалиптические вести потрясали воображение; в небесах реяли летающие тарелки; упал урожай зерновых; вспомнили Нострадамуса; размножились секты; увеличилось число гадалок и ясновидящих, лунатиков, вылезавших на крыши, и людей, беспрестанно говоривших сами с собой. Тихая паника, мечта о бегстве завладели умами.

Видимо, дало о себе знать кумулирующее действие токсических действующих начал, осевших в сером веществе коры головного мозга и, возможно, в базальных ядрах межзачаточного мозга. Страх породил отвагу. Апатия сменилась подозрительным возбуждением. Блеснула догадка, стало казаться, что больше нельзя терять ни минуты. Появились люди – их становилось все больше, – которые принялись ни с того ни с сего паковать чемоданы, проявляли повышенный интерес к географии, предлагали купить у них имущество, интересовались расписанием поездов и международных авиалиний, заказывали телефонные разговоры с заграницей и целыми часами, не считаясь с затратами, вели переговоры с мнимыми родственниками на ломаном английском языке. Подслушивающие органы буквально не верили своим ушам; весь могущественный аппарат сыска и пресечения, остолбенева, следил за этими сношениями. Дошло до того, что граждане кучками и поодиночке, бравирюя своим антипатриотизмом, осаждали государственные учреждения, ссылались на мифические права, домогались приема у руководящих работников, с беспримерной назойливостью требовали разрешения эмигрировать – те самые люди, которые еще недавно писали в анкетах, что никаких родственных связей с заграницей у них не было и нет. Тщетно старались руководители возбудить против отщепенцев народный гнев. Нечто невиданное творилось на глазах у обескураженных представителей власти: потерявшие страх и совесть граждане демонстрировали откровенное презрение к карательным органам, закону и правопорядку. Трудно объяснить этот психоз иначе, как нервно-паралитическим и одновременно возбуждающим действием фекальных ядов, хотя выдвигались и другие гипотезы.

II. ОДИССЕЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ

Тем не менее все проходит и все забывается; и пролог на небе был бы забыт, если бы он не был тем, чем в конце концов оказался, – прологом; резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в конечном счете цепь абсурдных происшествий обнаружила свою скрытую логику. Каковы бы ни были причины смуты, в ней сквозило предчувствие конца. Все

вещие сны сбываются, в противном случае они не были бы вещими, все пророчества правдивы, иначе какие же это пророчества.

С другой стороны, предсказатель способен сам накликасть беду. Прогноз деформирует будущее. Приметы притягивают к себе то, что они предвещают. Некоторые считают, что, если бы не проклятые птицы, все бы обошлось. Оставим эту версию без обсуждения.

Знали, догадывались ли подданные Ромула, «маленького Августа», что их держава обречена, что ночь Рима на пороге? Догадывались ли византийцы, что их ожидает? И если высказывали свои догадки вслух, не значило ли это, что они стали союзниками рока, совиновниками крушения? Как в пятом веке Рима, как во времена последних Палеологов, многие спрашивали себя, отчего случилось то, что, казалось, никогда не могло случиться. Искали ответа на небесах, винили правителей. Нижеследующая хроника обманет ожидания тех, кто хотел бы найти в ней портреты государственных деятелей. Но не следует поддаваться и впечатлению кажущейся недостоверности. Следует помнить, что едва ли не главная черта страны, о которой идет речь, – это ее возмутительное неправдоподобие.

Обычай предписывает автору с порога предупреждать читателей и рецензентов, а также судебные органы, что его персонажи не имеют реальных прототипов, однако мы не решаемся сделать такое заявление: это было бы неправдой. Сходство героев этой хроники с реальными лицами нельзя считать случайным; если бы кто-нибудь их узнал, отпираться было бы невозможно. Этих людей уже нет в живых (что облегчает наше положение), но весь ужас, срам и трагедия – в том, что и страны, где они жили, больше не существует.

Вдруг оказалось – и это после того, как все вроде бы успокоилось, и следы безобразий были устранены, и руководители отправились отдохнуть на свои дачи и поправить здоровье в санаториях, и золотушное солнышко вновь озарило город, и запели искусственные птицы, – вдруг оказалось, что вся почва поплыла, пошатнулись опоры, сгнили тысячелетние сваи. Люди отказывались этому верить. Мало кто решался сказать об этом вслух. Сгнили устои, а это значило, что под подозрением оказалось все прошлое. История, слава, державная мощь предстали как одно грандиозное Якобы.

Согласимся, что никто так слабо не разбирается в своем времени, как тот, кто в нем живет. Никто не понимает его так плохо, не оценивает так наивно и ошибочно его провалы и взлеты, никто так не жесток к его мученикам, не глух к его пророкам. Надо знать, что наступило потом, чтобы постигнуть, чем была эта эпоха.

С этой точки зрения автор находится в выгодном положении. Будущее, к которому зывала ни о чем не подозревавшая эпоха, наступило

и принесло ей смерть. И повествователь имеет возможность спокойно обозреть ее с холма, как турист – остатки древнего городища.

Так угасшее время чудесным образом обретает то, чего ему не хватало при жизни, – цельность. Законы, нравы, установления, архитектурный стиль и манера носить башмаки – всему находится свое место, ничто не выглядит случайным. Ничто больше не кажется устарелым, ибо находится по ту сторону старины, не кажется изжившим себя, ибо уже не живет. Надгробные памятники не могут выйти из моды.

Кстати, раз уж зашла речь о памятниках. Цицерон рассказывает, как он отыскал могилу Архимеда в Сиракузах. Пришлось нанять людей, чтобы прорубить дорогу в диких зарослях к могильному камню, на котором виднелось полустертое изображение шара и цилиндра; никто уже не помнил о человеке, которому был стольким обязан некогда славнейший из городов Эллады!

Некоторые из наших героев принадлежали к особому роду граждан. Хотя они родились там, где родились, и жили там, где они жили, имели метрическое свидетельство и паспорт с гербом, числились на рабочих местах, ходили голосовать, состояли на военном учете, но уверяли себя, что живут в какой-то совсем другой стране. Они называли эту призрачную страну по-разному: Россией, Культурой, Духом, а также Журналом, – вообще предпочитали изъясняться с помощью метафор. И вопрос, над которым они ломали голову: какое из обиталищ подлинное? – остался для них без ответа. Речь пойдет, однако, не только о них, в чем читатель тотчас же и убедится. Попрошу пройти за ограду.

В конце аллеи, где песок не так чист и бурьян с обеих сторон скрывает свалки мусора, полусгнившие ленты, проволоку прошлогодних венков, узкая боковая тропинка приведет нас к первому экспонату скромной выставки прошлого. Не ломайте голову над эпитафией, здесь лежит Илья Рубин. Так пожелали родственники: никакой другой надписи, кроме древнееврейской, для чего пришлось умаслить кладбищенское начальство. Друзья же, принимая во внимание занятия и образ жизни покойного, настаивали на том, чтобы не заточать его в загробное гетто предков. В самом деле, кого тут только нет.

Быть может, лучшим способом воскресить наше, по видимости, бесвязное время было бы раскопать прошлое всех ушедших, разыскать родню, найти документы, терпеливо, как склеивают обломки вазы, сложить это прошлое по кусочкам. Быть может, только так и удалось бы реконструировать искомую связь и единство. На большой глубине все корни сплетены, и то, что на поверхности выглядит беспорядочным нагромождением камней и крестов, представляет собой подобие огромной грибницы.

И вот они лежат все вместе и видят сны. От них уже ничего не осталось, но они видят сны. Они все еще видят сны! Собственно, сны и остались.

Помнит ли еще кто-нибудь Августина Ивановича, изобретателя времени, его камень должен быть где-то неподалеку... Ах, если бы не свинская погода, не эта чудовищная глина, облепившая подошвы, эта жидкая грязь, засосавшая, можно сказать, всю православную цивилизацию. Мы отыскали бы многих. Мы не обошли бы вниманием крест с медальоном прелестной черноглазой женщины. Боже мой, да ведь это Шурочкино лицо: и ты, дитя!..

Все еще прочный, тесаный крест напоминает о том, что здесь обрел последний приют писатель-мыслитель, совопросник мира сего Петр Максимович Нежин-Старковский. Мир праху его; желающие могут сфотографироваться на фоне могилы.

Дальше двигаться будет совсем трудно, бурьян выше человеческого роста, бугорок земли, заросший крапивой холмик – вот и все, что осталось от человека. Говорят, территория в скором времени будет расчищена для новых поколений. А вернее, здесь будет строиться новый квартал. Под бугром, на глубине двух метров вкушает мир виконт Олег Эрастович, некогда известный в узком кругу как «гот самый», баснословная личность; и нам даже чудится вой седовласого пуделя; ужели оба не заслужили хотя бы скромного памятника?

Зато чуть подальше, о, вот это уже экспонат. Заляпанный птичьим пометом (не тем ли самым?) двухметровый мемориал из поддельного мрамора, в каком-то монгольско-мавританском стиле, с алебастровой лунной и кривой саблей, с письменами якобы из священной книги, – на самом деле это черт знает что такое. Воздвигнут объединенными стараниями приближенных и вдов. *Perché la grande regina n'aveva molto!*¹ У хана их было много. Мы называем его по старой памяти ханом, чтобы не путаться в сложном юго-восточном имени. Лишь условно памятник может быть назван надгробием: тело, по непроверенным сведениям, было транспортировано на родину.

А там еще кто-то, ржавые оградки, следы позолоты. Имена и даты, которые уже невозможно разобрать. Что же связывает этих людей? В какой мистической бухгалтерии им выписали путевки именно сюда, чтобы лежать друг подле друга? Если мы вынуждены начать с этого грустного паломничества, если приходится предлагать читателю вместо связного рассказа ворох фрагментов, то не из недостатка художественного воображения – как уже сказано, речь идет о реальных людях. Но такова была наша изорванная в клочья жизнь. Скажут: всякая жизнь есть хаос. Скажут: искусство должно внести гармонию и порядок. Скажут: измученный человек жаждет смысла, лада, композиции.

Но что же делать, если подгнили сваи, если время сорвалось с оси, *the time is out of joint*, как выразился некий принц, держа в руках череп шута... Или это было сказано по другому поводу?

¹ Потому что у великой царицы было много... (А. С. Пушкин. Египетские ночи.) (*итал.*).

«Сколько раз я сидел у него на коленях».

Да, провещал Йорик, сколько раз ты сидел у меня на коленях.

«Горацио, он разговаривает!»

«В самом деле, милорд?»

«Я своими глазами видел, как задвигалась челюсть».

«Этого не может быть, милорд, так не бывает».

Он прав, провещал беззубый Йорик, так не бывает. За оградой, вдали – полог туч. Бугристое поле, овраги, картофельные плантации, и на грифельном небе смутно рисуются корпуса новых районов.

Окраина паразитирует на городе наподобие некоторых диковинных форм биологического паразитизма, когда паразит живет не внутри хозяина, а, наоборот, хозяин оказывается внутри паразита. Окраина обступает город со всех сторон, и по мере того как она размножается, разбухает и захватывает все новые пространства, чахнет и съезживается город. Сухая, крошащаяся сердцевина столицы затерялась в рыхлой опухоли окраин. Не следует путать окраины с пригородом, который делит с городом его историю; у окраин нет никакой истории. Но зато им, а не дряхлому городу принадлежит будущее.

Ранним вечером – можно было бы сказать: поздним дождливым днем, точное время не имеет значения, а погода в наших краях всегда одна и та же – на конечной станции метро бородатый молодой человек в джинсовом костюме, с толстым и выдавшим виды портфелем выезжает на эскалаторе к автобусной остановке, в сырую фиолетовую мглу.

Подземелье изрыгает все новые порции человеческого фарша. Движение пассажирского транспорта на окраинах описывается простейшей математической формулой: чем больше народу на остановке, тем дольше не придет автобус. Стемнело, и в мохнатом воздухе зажглись вокруг площади иловые фонари. Портфель путешественника опасно раскачивается над толпой, штурмующей автобус, как революционные матросы – Зимний дворец. Грузная колымага отваливает от остановки, отряхивая повисших на подножке, и кто-то бежит следом, цепляется, падает, автобус плывет среди вод, трясется по грязным проездам, все выше громады домов, темнее и глуше улицы. Все дальше от одной остановки до другой. «Аптека», «Заготсырь», «Шинный завод» – так они называются. Где мы, все еще в городе? Но окраина – не город; мы в пространстве, чья метрика, словно метрика сферической вселенной, растягивается по мере отдаления от центра; пятьсот метров на окраине – совсем не то, что пятьсот метров в городе. Безмерная плодовитость автобусной самки не иссякает, роды происходят на каждой остановке. Целый выплод помятых пассажиров вывалился на остановке с табличкой «Корпус 20». Остались те, кто сидит, экипаж уже не покачивается, а подпрыгивает на выбоинах, и рокот мотора сливается с плеском луж.

Пассажир вылезает с последними седоками; растянув над собою зонтики, люди расходятся в разные стороны. Медленный шаг выдает неуверенность человека с портфелем, однако предположение, что он плохо знает окрестность, ошибочно; он высматривает телефонную будку. Телефоны возникают и исчезают в этих районах, где лишь прочные конструкции и крупные сооружения способны противостоять бесчинству стихий и населивших окраину феллахов. Он забирается в будку с неразбитым аппаратом, с необорванной трубкой, с шатающимся, но все еще функционирующим диском. Попытки соединиться безуспешны, стальная утроба глотает монеты, молодой человек с портфелем, зажатым между ногами, изрыгает вялую брань, молотит кулаком.

Аппарат живет мистической полужизнью: ухо ловит потусторонний шелест; отрыжка после съеденной мелочи, сырая тухлятина, запах железного пищеварения. Сквозь стекло телефонной кабины видны утесы зданий, видна рябая водная гладь. В последний раз перед тем, как пуститься в путь, мореплаватель набирает номер. Чудо, аппарат откликается. Гудки на другом конце света и щелчок рычажка.

«Алё... Это ты? Это я... Дуся моя, я тут рядом, алё? Ты как? Сейчас приду...»

Выйдя из будки, он озирается. Несколько мгновений спустя мы могли бы увидеть, как он прыгает со своим портфелем между лужами вдоль домов, пересекает пустырь, сворачивает, пропадает в паутине дождя.

По всей вероятности, нам придется еще побывать в квартирке на двенадцатом этаже, куда только что ввалился в хлюпающих башмаках, в потемневшей от влаги джинсовой куртке Илья Рубин. Хозяйка – ей можно дать лет двадцать пять – стоит перед зеркалом. Комната-квартира Шурочки мало чем отличалась от комнат в других квартирах блочного дома, совершенно так же, как дом ничем не отличался от других домов. Но это была ее комната, скромное чудо которой, как и чудо всякого жилья, будь то берлога зверя или апартаменты вельможи, состояло в том, что каждая вещь была более или менее частью ее души и продолжение ее тела. Некто утверждал, что человек – это его поступки. Ошибка: человек – это его вещи. Флаконы и пудреница на крошечном столике перед трюмо дожидались прикосновения ее пальцев. Чулки, брошенные на спинку стула, изнывали от ревности к другим, роскошным вишнево-серебристым чулкам на ее икрах. Ржавый трехколесный велосипед на балконе был немым укором умершего ребенка.

Сксив взгляд, выставляя то одно плечо, то другое, переступая туфельками, она оглядывала себя, она была в необыкновенном платье, эффектно-скромном, сдержанно-вызывающем – черное с красным, – таинственное отражение манило и будоражило Шурочку, а визитер помещался на особой разновидности тогдашней мебели, оригинальном изобретении

эпохи, под названием диван-кровать, шевелил лоснящимися почернелыми пальцами голых ног и чувствовал себя вещью среди вещей, хотя главной вещью, если говорить правду, была она сама. Не правда ли, поведение женщины перед зеркалом тем и отличается от глупого глазения мужчины, что он видит в стекле только себя, а она созерцает чудную дорогую вещь, вроде тех, какие стоят в витринах?

«Не коротко?»

Он усмехнулся. «Чем короче, тем лучше».

Постояв еще немного, глядя себе в глаза, она спросила:

«А кто он такой?»

«Я тебе уже тысячу раз говорил».

«Боюсь я что-то... Может, не пойдем?»

«Волков бояться, в лес не ходить».

Она одергивала подол, выставив грудь, разглаживала платье на талии.

«Сама не знаю», – пробормотала она.

«Никто тебя силой не тянет, сама напросилась».

«А ты предложил!»

«А ты согласилась».

«А ты, если бы меня хоть капельку уважал, никогда бы не посмел заикнуться об этом». Она прикладывала к груди брошь, примеряла клипсы.

«О чем?»

«Сам знаешь, о чем».

«Ну, посмотрит он на тебя, ну и что?»

«Тебе это безразлично?»

«Скажешь: раздумала – и общий привет».

Молчание.

«Сама не знаю... А кто это такие?»

«Между прочим, никто тебя не агитирует. Решай сама. Желающих достаточно...»

«Вот я и решила». Она наклонилась, приподняла подол платья, чтобы подтянуть чулки. Гость стоял позади нее, она выпрямилась, он лениво обнял ее. Босой, она на каблуках, черные волосы щекотали его лицо.

«И хватило же наглости, – сказала она, – предлагать мне. Никуда я не пойду».

Она сбросила с себя его руки. Он снова обхватил ее за талию.

«Убери лапы».

«Никто тебе не предлагал, сама вызвалась».

«А кто рассказывал, кто меня науськивал?»

«Науськивал?»

«Кому сказано – убери свои грабли!»

«Ну вот что, нам пора».

«Никуда я не пойду».

«Хорошо, я пошел».

«Ботинки не просохли».

«Они до утра не просохнут. Пошли, хватит вертеться. Ты ослепительна. Вот что, одно из двух. Или мы идем, или я позвоню и скажу, что ты раздумала».

«Коротковато, – сказала она задумчиво, – особенно когда сядешь. Может, опустить пониже? И проглажу, одна минута... Далеко идти?»

«Я думаю, пешком – самое разумное».

«Может, не пойдём?»

«Не пойдём».

«Я знаю, почему ты это все затеял. Чтобы от меня отделаться».

«Причем тут я?.. Ладно, забудем эту историю. Дай-ка мне портфель, там записная книжка».

«Чего ты с ним все таскаешься?»

«Дела, дуся моя...»

«Какие же это дела?»

Он развел руками, изобразил покорность судьбе.

«Если бы не дела, плюнул бы на все и женился на тебе».

Она скривила губы.

«Только ведь ты за меня не пойдешь. Тебе надо кого-нибудь послидней».

«Ах, ты гад! Все вы сволочи».

«Хорошо. Дай мне портфель. Сообщим, что визит отменяется, только и делов».

Он крутил телефонный диск.

«Занято», – сказал он.

«Вот если бы ты был кавалером... – прикинув к зеркалу, она покрасила рот, растерла помаду движением губ, вымела кончиком мизинца крошку черной краски в углу глаза, – если бы ты был кавалером...»

«То что?»

«То взял бы такси!»

«Какое тут такси, сюда ни одна собака не поедет...»

Она вздохнула.

«Все-таки коротковато».

Дождя не было. Белесая мгла обволокла тлеющие фонари. Пропали дома, пропал весь район, огни окон светились в пустоте, подъезды появлялись и исчезали в известковом растворе. Немного спустя в тумане обрисовались две фигуры, высокая и пониже, протащились мимо; Илья обернулся, они остановились, точно ждали оклика.

«Гм... девоньки, помогите сориентироваться».

«Заблудились, что ль?»

«Такая каша, ничего не видать».

«Мы сами ищем...»

«Тут должна быть где-то Кировоградская».

«Это она и есть, – сказали девоньки, – тут все Кировоградские. Вам который корпус?»

«Двадцать второй».

«Ну и нам двадцать второй. А, Зинуля? Нам ведь двадцать второй? Евстратова, тебя спрашиваю!»

«Я почему знаю», – сказала высокая.

«Ну, в общем, нам тоже в двадцать второй».

«Это какой корпус? Там должно быть написано».

«Сейчас погляжу, – сказала низенькая. – Двадцать второй!»

«Все в порядке, – сказал Илья, – а вам какая квартира?»

«Нам? Да в общем-то все равно. Зинуля, я правильно говорю? Нам все равно, какая квартира».

«Как это все равно?»

«А вот так, нам все одно, верно я говорю?»

«Ладно болтать-то», – сказала высокая.

«Мы вам мешать не будем, – сказала низенькая, – возьмите нас с собой».

«С собой?»

«Угу».

«Девоньки, – сказал Рубин, – с особенным удовольствием пригласил бы вас в гости. Можно сказать, мечтал всю жизнь. Но войдите в наше положение».

«Мы не будем мешать. Мы в другой комнате будем сидеть».

«Все понятно. Не в том дело. Мы сами идем в гости».

«Ну и что?»

«Да и Зина, мне кажется, не очень расположена».

«Зинуля? Да она только и мечтает. Правильно я говорю?»

«Ладно болтать-то».

«Все понятно. Давайте, милые, так договоримся. Мы сейчас быстро сходим – пятнадцать минут, не больше. Потом возвращаемся и идем вместе. Вы пока погуляйте!» – крикнул он, поднимаясь на крыльцо, и больше их не было, пучина сомкнулась над ними.

В тускло освещенной, шаткой коробке лифта Шурочка разулась, держась за провожатого, вставила ноги в узкие туфли на шпильках. Кабина доехала до последнего этажа и с лязгом остановилась. Дом был повышенной категории, как тогда выражались, другими словами, не совсем новый, согласно правилу: чем новее, тем хуже, – с широким лестничным пролетом, с просторными площадками. В полутьме поблескивали высокие обшарпанные двери жильцов. Илья Рубин трижды нажал на кнопку, в недрах квартиры продребезжали три звонка, два коротких и один длинный, издали слабо отозвался собачий голос, подкатился к дверям, прислушался, пролаял снова свой вопрос.

«Он сейчас скажет, что не ждал нас. Не обращай внимания».

«Какими судьбами, кель сюрприз! – вскричал Олег Эрастович. – А я уж, признаться, и надежду потерял!» Человек, чье имя здесь уже промелькнуло, стоял, держась за дверную ручку, как будто готовый тотчас захлопнуть дверь; это был господин лет пятидесяти, а может быть, семидесяти, малорослый и чрезвычайно импозантный: в голубых усах, остренькой эспаньолке, с холеным мясистым лицом, густобровый, в косо надвинутом лиловом берете на седых кудрях и в пенсне, которое, несколько подбочась, если можно так выразиться, сидело на его породистом носу. Одет был в домашнюю вязаную кофту, на жилистой шее – лазоревая в темный горошек собачья радость, на ногах шлепанцы, отороченные собачьим мехом.

«Наслышан, как же, как же... но не ждал!»

Он помог даме высвободиться из отсыревшего макинтоша, Шурочка тряхнула головой, ища глазами зеркало, хозяин отступил назад, как бы пораженный ее красотой, открывшимся зрелищем от туфелек и вишневых чулок до нимба волос, церемонно поцеловал руку у застыдившейся гостьи и устремился вперед. Жилище выглядело несколько запущенным и все же роскошным; на стенах в коридоре висели светильники наподобие канделябров, на полу лежал невероятно пыльный ковер; вдобавок квартира оказалась двухэтажной, что указывало на повышенную категорию владельца: как уже сказано, человек – это его жилье. В конце коридора находилась невысокая лестница, перед ней стоял со шляпой в руке деревянный карлик, весьма похожий на Олега Эрастовича, и пудель, вертевшийся под ногами, был тоже копия хозяина. Сам же он напоминал директора театра оперетты или заведующего домом для престарелых работников сцены, словом, лицо административно-художественное; возможно, и был некогда кем-то в этом роде, хотя, по некоторым сведениям, проработал всю жизнь бухгалтером конторы «Заготскот». Малоубедительная версия, принимаемая во внимание его хоромы.

«Погода монструозная; живем в бесчеловечном климате. Надеюсь, вы не промокли. Прошу наверх... А вы, – он щелкнул карлика по носу и нацелился на пуделя, – вы оба останетесь здесь, вам там нечего делать».

Особу такого рода трудно представить себе без трубки, которую даже не курят, а держат несколько на отлете и помавают ею, но как раз трубку Эрастович не курил; устроившись под оранжевым торшером в продавленном кресле, откуда был виден его нос и торчала подрагивающая нога в домашней туфле, он держал двумя пальцами, словно бабочку, пенсне, а в другой руке согревал бокальчик с благородным напитком. Гостья осторожно брала конфеты из коробки с бумажными кружевами.

«Гм, Ариадна... – говорил он, – позвольте мне быть откровенным, имя что-то не того... Дорогие мои, надо шагать в ногу с временем. Все эти Ариадны, Эльвиры, Элеоноры вышли из моды, они просто больше не копируются! Сознайтесь, вы его просто придумали, я угадал?.. Вообще я предпочел бы что-нибудь более скромное, задушевное, что-нибудь русское.

Я бы сказал так: ближе к действительности, ближе к народу, это сейчас особенно ценится... Между прочим – о чем тоже нередко забывают, – каждое имя требует соответствующей внешности. Бывают имена жаркие, знойные, откровенные, они предписывают форсированную косметику, ярко-алые губы, платья горячих расцветок. Ваше имя – это имя приглушенное. Допустим, Катюша, или Саша, или, может быть, Люся. В зависимости от обстоятельств возможен западный вариант: Люси».

«Олег Эрастович, вы просто ясновидящий».

«Что такое?»

«Я хочу сказать, папа и мама именно так ее и называли».

«В самом деле? – сказал Олег Эрастович, насаживая пенсне на мясной нос. – Вы действительно Людмила?»

«Александра», – потупилась Шурочка.

«Это подтверждает мою теорию: знаете ли вы, Илюша, что имя обладает таинственным обратным действием, я бы сказал, определяет облик женщины! Хотя из чисто практических соображений, вы правы, было бы лучше пользоваться псевдонимом. Вроде того как, знаете ли, актрисы в старину брали себе сценическое имя. Оно и практичней. Мы подумаем... Ну-с, а теперь я хотел бы перейти к делу. Рюмочку коньяку?.. Вы позволите?»

Она поглядывала украдкой на себя в стекле книжного шкафа.

«Милая моя, я не спрашиваю никаких подробностей, рекомендации Илюши вполне достаточно. Разрешите взглянуть на ваш паспорт... чистая формальность... Гм, вы замужем?»

«Давно с ним не живет», – уточнил Рубин.

«Дети?»

«Детей нет».

«Так-с, детей нет», – рассеянно констатировал Олег Эрастович, подрагивая туфлей. Неожиданно туфля свалилась, Шурочка увидела, что из продранного носка торчит черно-желтый коготь. Хозяин втянул воздух в широкие ноздри; нога нырнула в туфлю.

«Детей нет, так-с. Надеюсь, мы сработаемся... Возможно, понадобятся кое-какие усовершенствования, кое-какие дополнительные штрихи. Мне не хочется обижать вас, но, дорогая моя, эти... – он показал на свои уши, покачал головой, – эти... клипсы, кажется, они называются? Просто невозможны. Да, в сущности говоря, и прическа, мягко говоря, оставляет желать лучшего... Поймите меня правильно, я не хочу вас обидеть! Вы получите для начала необходимую сумму, для предварительного обзаведения. Впрочем, это потом, всему свое время. Итак. Вы ведь, кажется, медсестра? Я не ошибся? Прекрасно, медсестра – это чистая профессия, это аккуратность, чистоплотность, белая шапочка, свежий, подтянутый вид. Это молодость, это расторопность. Это, между прочим, дисциплина! – Олег Эрастович поднял палец. – Но увы! Это бедность. Будем смотреть правде в глаза».

И он погрузился в созерцание своего бокала.

Шура сидела, составив ноги в туфельках, с видом плохо успевающей ученицы. Илья Рубин оглядывал комнату. Книги, вещички. Над головой хозяина висел писанный маслом портрет вельможи александровских времен, впрочем, не масло, а вставленная в рамку репродукция.

«Олег Эрастович, а это правда...»

«Что такое?» – сказал Олег Эрастович, пробуждаясь.

«Это правда, что вашим предком был...?»

«М-м. Простите?»

«Я хотел спросить. Это правда, что...?»

III. Виконт, или ДОБРОДЕТЕЛЬ

Автора упрекнул в непочтительности. Скажут: чуть ли не каждое попавшееся на глаза лицо превращается в карикатуру, чуть ли не вся наша жизнь – повод для зубоскальства. Это, разумеется, не так, можно было бы вспомнить и знаменитый афоризм насчет невидимых миру слез, и все же оснований для упреков достаточно. Жуткая и неправдоподобная катастрофа, постигшая столицу, тяжкие предчувствия и общий раздрызг, – во всем этом нет ничего смешного, а между тем каков тон! Прав читатель, испытывающий злость и усталость от бесконечных ухмылок, и трижды правы были бы действующие лица, если бы они были живы и выступили с опровержением. Но что делать, что делать, о Господи, если серьезный слог сам звучит как пародия. Итак, revenons¹... к нашим баранам.

«Да, это правда. Если вас это интересует... Мой прадед был его родным братом, стало быть, сами решайте, в какой мы степени родства. А мать этих двух братьев была родом из Шотландии, князь Андрей Саврасович, наш прапрадед, увез ее от мужа в Россию... Есть в нашем роду и шведская кровь, и немецкая. А вот это место, где мы с вами находимся, эта гнусная окраина когда-то называлась Олсуфьево, мы ведь не только Вяземские, не только Гризебахи, мы еще и Олсуфьевы. Здесь было... но, я думаю, нам все-таки надо ближе к делу».

«Олег Эрастович, а это правда, – сказал Илья, подмигнув соседке, – что вашим предком был маркиз, как его...»

Олег Эрастович сверкнул стеклышками пенсне.

«Не маркиз, а виконт. Огюстен-Этьен виконт де Бражелон. Что тут странного? Впрочем, минуточку. Раз уж вы так интересуетесь».

Он зашлепал из комнаты, гостыя растерянно смотрела ему вслед. Рубин вертел в руках кремлевскую башню из янтаря с надписью над воротами: «Многоуважаемому О. Э. В. в день 60-летия в знак благодарности от друзей».

¹ вернемся (франц.).

Голос хозяина послышался в закоулках квартиры:

«Зимой 1812 года...»

Башня упала на пол, Шуручка в ужасе прижала ладонь ко рту. В последнюю минуту удалось кое-как насадить отвалившуюся звезду на обломок шпилья, сувенир был пристроен в шкафу перед книгами, стекло задвинуто.

Явился Эрастович с пожелтым канделябром, на этот раз настоящим, и фанерным щитом с ручками для продевания руки. Он прислонил щит к своему креслу; перед креслом поставили канделябр, потушили торшер и зажгли свечи.

«Раз уж вы так интересуетесь, – промолвил хозяин, – маленькая романтическая история. Зимой 1812 года, при отступлении Наполеона из Вязьмы, там остался раненый поручик, его перевезли в загородный дом помещиков Кулебякиных. Была такая, если не ошибаюсь, вдова Варвара Осиповна Кулебякина. Вдвоем с дочерью они выходили раненого француза, а года через два его разыскал в Вязьме отец, виконт де Бражелон. Вы, наверное, уже решили, что дочка втюрилась в молодого поручика. Ничуть не бывало: она подарила свое сердце старому виконту. Поручик, он даже, кажется, был не французом, а вюртембержцем, побочный сын, хрен его знает, обычная история, все мы в каком-то смысле побочные дети... так вот, поручик остался с носом, принужден был уступить поле боя, отбыл в свой Вюртемберг, и что с ним было дальше, неизвестно и неинтересно. А вот папаша, который был, между прочим, старше самой матушки, папаша-таки женился на дочери и стал одновременно и зятем, и отцом семейства. Вдова была вне себя от ревности, однако злые языки утверждали, будто он утешал обеих дам. И будто бы, но это уже легенда, обе имели детей. Впрочем, я происхожу от старшей. Фу! – сказал, нагибаясь, Олег Эрастович, и канделябр потух, распространяя слабую вонь. – Можете ли вы мне объяснить, зачем я приволок эту руину?»

Щит был водружен на кресло.

«Так на чем, э, – пробормотал он, – мы остановились?»

В самом деле, на чем?

«Да! В левой половине золотой шеврон с тремя ядрами и тремя звездами на голубом поле. Знак того, что прапрадед мой был лейб-кумпанцем и находился среди тех солдат, что помогли Елизавете взойти на российский трон. Все были возведены в дворянство, получили наделы и все такое... Что касается правой половины, то она принадлежит виконту. Три луны, значение их неизвестно. Согласно глухому преданию, этот астрологический рисунок содержит предсказание о будущем рода... Я занимаюсь сейчас конструированием совокупного герба, объединяющего все четыре фамилии».

Наступила тишина. Снизу донеслось какое-то движение, осторожный подвыв.

«Все умерли, – прошептал Олег Эрастович, – и Кулебякины, и Олсуфьевы. И шведы, и немцы, и хрен знает кто!»

Послышалось цоканье когтей вверх и вниз, урчанье, и снова кто-то гавкнул.

«Молчать! – закричал хозяин. Пудель залился лаем. – Вот я тебя сейчас, проходимца... Так на чем, э... Ну-с, – промолвил он, расправил на шее бабочку и приосанился. – Прошу».

Комната, называемая студией, была перегорожена ширмой, у окна помещался фотоаппарат на треноге.

«Милочка моя, не волнуйтесь, дело есть дело. Рядом, если надо, туалет... Сниматься пока не будем. В другой раз, может быть... Фотографии понадобятся для альбома... Но сперва я должен оценить ваши данные. Илья, будьте любезны...»

Он показал пальцем, где включить подсветку.

«Пожалуй, верхний свет не нужен... Если вы мне принесете, э, чуточку подкрепиться, там, на столике... буду благодарен по гроб жизни. Шторы опустите. Нужно учитывать все: цвет волос, глаз... О-о, вечная поясница! Позвольте, я прилягу... Милочка, вы живы?.. Мы ждем. Мы терпеливо ждем».

Прошло довольно много времени, прежде чем она выступила, сильно робея, из-за ширмы. Студия преобразилась, сияние ламп придало спектаклю фантастический вид. Олег Эрастович лежал на кушетке. Он взглянул на Шуру, грозно втянул воздух мясным носом и тотчас прикрыл рукой глаза.

«Дорогуша, вам придется, – пробормотал он, – самым внимательным образом заняться своим бельем. Таких тряпок никто больше не носит. Их нужно просто выкинуть. Теперь совсем».

Она исчезла за ширмой и вышла через минуту, близкая к обмороку. Эрастович лежал, не отнимая руки от глаз.

«Готово?» – спросил он.

«Да», – сказала она еле слышно.

Он сел, держа перед собой бокал. «Жарко», – промолвил он и снял берет, чтобы обмахиваться им. Или это был жест уважения к красоте? Лилово-седые кудри окружали его череп. Олег Эрастович отхлебнул хорошую порцию. Бокал стоял на полу возле его ног. Он снял пенсне, подышал, протер, вновь насадил на нос, нахмурил пышные брови.

«Ну-с, по-немецки орех, обратите внимание на эту линию. Люсенья, или как вас... чуть-чуть влево. Голова повернута в противоположную сторону, слегка скосить глаза. Нет, так нельзя, опустите руки. Правая – на лоне. Я сказал: на лоне. Поза Афродиты. Прекрасно... Теперь станьте прямо, просто так, руки опустите. Старые мастера называли это позой добродетели, почему бы и нет... Вам не холодно? Здесь не должно быть холод-

но. Теперь спиной. Ягодицы просто прелесть... Я положительно уверен, что вы будете иметь успех. Видите ли, друзья мои...»

Мерный голос Эрастовича напоминал голос лектора или экскурсовода.

«Видите ли... Майоль создал женщину с тяжелыми бедрами, такую Астарту с могучими формами, мощными, почти каменными ногами – это было актом исключительной смелости, это было революцией. Но я остаюсь верен классическому канону. Я счастлив, милая, поздравить вас с тем, что вы не успели отяжелеть. Бедра должны иметь форму фригийской лиры. Живот, как это ни парадоксально, должен оставаться маленьким, хотя и выпуклым. Видно, впрочем, что вы рожали... И без абортос не бось тоже не обошлось? Жизнь есть жизнь... Видите ли, я вам скажу так, – продолжал он, отнесясь к Рубину, – все дело не столько в формах, сколько в пропорциях. Это звучит как банальность, и тем не менее далеко не все это понимают. Женщины склонны придавать преувеличенное значение той или иной детали, женщины вообще поглощены деталями, так сказать, не видят из-за деревьев леса, одни обеспокоены тем, что у них слишком маленький бюст, другие думают, что надо обязательно иметь шаровидные груди, а грушевидные – это якобы уже не так красиво, большая грудь – тоже плохо... Все это вздор! В действительности размеры сами по себе не имеют значения, важно, чтобы они вписывались в общую панораму. Согласовывались со всем остальным, с ростом, с шириной бедер. Для художника это азбучная истина. Но главное – это музыкальность линий. Терпение, милочка, станьте бочком... Внимание! – Его палец вознесся в воздух. – Что я подразумеваю под музыкальностью? Прослеживая линию, идущую от подбородка к коленкам, мы должны получить единую мелодию, непрерывный тематический ход. Как всякая тема, эта мелодия обладает внутренней логикой; это пока еще только контур, посвящение в женственность, ибо, заметьте, вы еще не видите женщину, не владеете ее образом, то, что вам предстает, – лишь мелодия женственности. Люся... или как вас там. Прошу терпения. Вас касается... Вот: круглый, слегка подтянутый к нижней губе подбородок, затем плавное диминуэндо шеи, переходящее в проникновенную песнь, в торжествующий дуэт грудей, который завершает легкая фиоритура, форшлаг сосков, при этом второй форшлаг как бы эхом звучит позади первого. Вот почему, кстати, спелые груди требуют и хорошо развитых, выпуклых сосков... После чего... пардон. – Он прервал себя, чтобы отхлебнуть из бокала. – Гхм! Да... После чего мелодия, нисходя, делает небольшой ритмический перебой: вы слышите синкопу, теплая тяжесть молочных желез, их мощный, но приглушенный аккорд переходит в задумчивую, прохладную кантилену живота. Мелодия растет... и вновь легкий провал, снова форшлаг, впадина пупка, вот, кстати сказать, один из наиболее спорных вопросов музыкальной эстетики женского тела:

как отнестись к пупку, нужен ли он, не нарушает ли он мелодию? Еще Рескин писал о том, что пупок Афродиты Арльской – единственное, что грозит нарушить ее совершенство, вот почему он едва заметен. Читайте Рескина, мой друг! Дело дошло до того, что некоторые знаменитые красавицы в эпоху Возрождения – известный факт – зашивали себе умбиликус, да, да, предпочитая хирургический рубец восхитительному природному дефекту, который, на мой взгляд, не только не портит женский живот, но, напротив, придает ему пикантность. Это, если угодно, родник среди пустыни, это глаз, который смотрит на вас посреди живота... У индусов существует поверье, что из зернышка, брошенного в пупок богини, возрастает лотос. Из пупка Вишны рождается Брама. Можно понять, впрочем, – продолжал вдохновенно Олег Эрастович, – откуда возникло это гонение на пупок: не только из соображений эстетики, тем более что эстетические аргументы, на мой взгляд, неубедительны, я решительный сторонник пупка... Взгляните... Александра, чуть-чуть влево... достаточно. Взгляните, какая прелесть этот пупок, эта крохотная раковина, не правда ли? Так вот: откуда же все-таки это гонение? В чем дело? Почему? Я вам отвечу. Потому что пупок претендует, так сказать, на привилегию считаться центром тела! У индусов так оно и есть. Вообще пуп как середина и средоточие тела, а значит, и центр мироздания, *umbilicus mundi*, у древних римлян, – это интереснейшая тема! Центр тела – и, следовательно, отвлекает от другого центра. Это, можно сказать, вопрос принципиальный. Но мы отвлеклись. Итак! Нисходящий звукоряд, спуск к низинам разрешается мягким аккордом, я говорю о венерином холме – тоже, знаете ли, своеобразный композиционный ход. Ведь, казалось бы, мы ожидаем плавного нисхождения, равномерного спуска к кратеру, к завершению, в тайную щель, а вместо этого мелодия, хоть и обессиленная ожиданием, взмывает в последний раз. Как бы перед смертью, словно вспыхнувший и затухающий огонь, в последний раз – чтобы окинуть взором всю себя!.. У вас бывают ночные дежурства?» – спросил он, когда демонстрация была окончена.

«Суточные, – пролепетала Шурочка. – Сутки отработала, два дня свободных».

«Гм».

Все трое находились снова в комнате с книжным шкафом, торшер тускло отражался в стекле, и сам Эрастович после лекции выглядел несколько оплывшим, струйки пота блестели на его лбу, словно растаявший воск, пенсне едва держалось на отсыревшем носу.

«А изменить расписание невозможно? Вы не должны приходиться к работе утомленной. Мы сделаем так: я буду стараться приспособливаться к вам, а вы уж как-нибудь приспособьте свое расписание ко мне... Но мы еще вернемся к материальной стороне дела».

Он обвел полки томным коньячным взором, увидел искалеченный подарок, покосился на сидящих. Шура задумалась. Рубин изобразил преувеличенное внимание. Олег Эрастович втянул носом воздух.

«Вы будете зарабатывать достаточно, чтобы прилично жить. Мы думаем о том, чтобы улучшить ваши жилищные условия... И тем не менее... Я хотел бы вас просить, я даже настаиваю на этом. Вы не должны ни в коем случае бросать работу в больнице. Так надо. Надеюсь, вы меня понимаете... Вы получаете твердый гонорар, наличными, мне – две трети. Вы не будете обделены, Александра, уверяю вас...»

«Кстати, – заговорил он снова, – знаете ли вы, э-э... кто мне преподнес вот эту... вон там... Спасскую башню?»

Он ждал ответа, но Илья ограничился тем, что пожал плечами.

«Так вот... Два слова о наших клиентах. Большая часть из них – люди приезжие. Ответственные работники, серьезные, солидные люди, исключительно по рекомендации... Некоторые пользуются моей дружбой много лет... Абсолютная благопристойность, рыцарское отношение к даме. Это одно из моих правил. И, замечу попутно, люди щедрые. Я не вмешиваюсь, не требую отчета о том, какие подарки преподносятся сверх установленного гонорара, единственное, о чем прошу, – ставить меня в известность... Женщина, знающая жизнь, не будет спорить, если я скажу, что пожилой друг с твердым положением в обществе, с партбилетом в кармане, разумеется, на хорошей должности, предпочтительней молодого вертопраха... Об абсолютной конфиденциальности, я полагаю, незачем говорить, она подразумевается сама собой. Я звоню, я рассчитываю, что вы дома, по телефону никаких подробностей, сообщаю только адрес гостиницы. Там вам не будут чинить препятствий, называть себя тоже не обязательно... Сообщаю этаж, номер, время визита. В отдельных случаях возможна экскурсия за город, музей, концерт, что-нибудь в этом роде, ужин... Задерживаться на всю ночь – ни в коем случае. Впрочем, я сам договариваюсь об этом с заказчиком... Финансовый отчет – каждые две недели. Если вы больны или надо отлучиться из города, покорнейше прошу ставить меня в известность. Это касается и женского недомогания».

Наступило молчание.

«Все понятно? Или есть какие-нибудь вопросы?»

Илья Рубин взглянул на Шурочку, она сидела, выпрямившись, в своем черно-красном платье, положив сумочку на колени.

«Олег Эрастович...» – промолвил Рубин.

«Что Олег Эрастович? Что Олег Эрастович?! – неожиданно вскричал хозяин, лоя падающее пенсне. – Олег Эрастович должен крутиться, как карась на сковороде. Всем надо угодить, чуть что – Олег Эрастович, он все может, все устроит. Фигаро здесь, Фигаро там! Думаете, это так просто?.. Не устраивают мои условия – ради Бога. Скатертью дорога! Желających достаточно...»

Услышав громкий голос, пудель внизу проснулся и присоединился к хозяину.

«Молчать!»

Мелкий стук собачьих когтей, пудель взбежал по лестнице.

«Я кому...» – грозно начал хозяин.

Когти скатились вниз.

«Ну, что такое? – спросил он утомленно. – Что вы хотели спросить?»

«Мы уже уходим, Олег Эрастович, я только хотел вам напомнить...

Вы обещали насчет машинистки».

«Какой машинистки? Ах, да. Оставайтесь».

«Олег Эрастович, я бы хотел проводить...»

«Ничего, сама дойдет».

Вполне понятное смятение молодой женщины объяснялось более сложными, чем может показаться, обстоятельствами; мы не ошибемся, предположив, что стыдливость Шурочки была отчасти наигранной. Не то чтобы она без колебаний, как чему-то, что само собой разумеется, решилась подвергнуться этому странному экзамену. Но если не говорить о первых минутах, когда она вышла из-за ширмы с колотящимся сердцем, ужаленная ярким светом, уронив голову, если не говорить об этом минутном страхе, похожем на панику дебютантки на подмостках, – страхе, с которым она благополучно справилась, – то дальнейшее представление волновало ее не так уж сильно. Особенно когда она убедилась, что «экзамен», так сказать, носит не только деловой характер. (В альбоме Олега Эрастовича, пополнившим материалы следственного дела и впоследствии исчезнувшем, о чем можно пожалеть, ибо редкий документ эпохи может быть так красноречив, фотография Шурочки отсутствовала. Заметим, что далеко не все из представленных на снимках дам отвечали строгим эстетическим критериям Олега Эрастовича; в качестве рекламного проспекта альбом, очевидно, был рассчитан на разные вкусы. Тем не менее коммерческую сторону не следует абсолютизировать. Беглое знакомство с обитателем двухъярусной берлоги, где он проводил время среди книг и аристократических воспоминаний, убеждает, что им правил не один лишь голый чистоган. Рискнем высказать предположение, что в конспиративном заведении Олега Эрастовича смотрины были неким эквивалентом того, что некогда называлось *jus primae noctis*¹.)

Так вот, если вернуться к Шурочке, едва ли ее неуверенность была вызвана самой этой демонстрацией, ведь она приблизительно знала, куда идет, приблизительно догадывалась, что предстоит что-то «в этом роде». Мужчинам свойственно преувеличивать стыдливость другого пола. Вернее сказать, мужчины не в состоянии понять, где кончается истинная

¹ право первой ночи (*лат.*).

стыдливость и начинается театр, не в состоянии уразуметь простой факт, что стыдливость – это уступка тому преувеличенному значению, которое они придают наготы. Дрожала ли она от холода или при мысли о том, как бы не подкачать в телесно-профессиональном смысле? Профессией предстояло еще овладеть, и, как многие начинающие, несмотря на свои 27 или 28 лет, она несколько романтизировала ее.

В былые времена, если верить романистам, на рынке любви преобладали соблазненные горничные, изгнанные из богатых домов; в наши дни, когда горничных давно уже не существовало, общественную потребность удовлетворяли продавщицы магазинов, подавальщицы в пивных, уборщицы, парикмахерши, медсестры. Нам довелось беседовать с Шурочкой. Она была откровенной – насколько позволяет женщине быть искренней ее лицедейство перед самой собою. Что прельстило ее, почему она согласилась работать у Эрастовича? Она пожала плечами. А почему бы и нет? В самом деле, вместо того чтобы спрашивать, что побуждает девушку выйти на панель, следовало бы спросить, что удерживает ее от этого.

Десять, а то и больше суточных дежурств в месяц, весь день на ногах, ночью тоже нет покоя, так что к концу смены валишься с ног; а ведь и дома тоже не сидишь без дела. А зарплата? За такую зарплату вкалывать – надо еще поискать дураков. Да и вообще... В этом «вообще», собственно, и заключался ответ, заключалась правда, для которой ссылки на трудную жизнь были скорей оправданием.

Укажем на очевидный парадокс публичного ремесла: проституция, как нам объясняли, представляет собой опредмечивание женщины; не столько надругательство над телом, сколько пренебрежение личностью; женщина есть товар, объект желания и наслаждения, прочее несущественно. И в то же время, да, в то же время это ремесло обещает ей то, чего никогда не может дать обыденная жизнь. Разве не она, эта тусклая, скучная, безжалостная и бесперспективная жизнь, аннулирует ее личность? Тогда как «ремесло» возвращает свободу. Если хотите, возвращает чувство собственного достоинства! Ремесло приносит деньги, но так же, как скудость средств не была единственной причиной схождения на стезю порока, гонорар сам по себе еще не есть единственный резон продажной любви. Проституция тела есть раскрепощение души, да, не что иное, как особый способ самоутверждения, если угодно, самоосуществления.

Быть может, парадокс этот задан самим языком. Разве шум языка, риторика языка, демагогия языка не навязывают нам готовый образ мыслей, готовый ответ, едва только мы произнесли все эти слова: купля, продажа, отчуждение, унижение? Шурочка ожидала увидеть циничного работодателя, презрительного хама – чего доброго, для начала предстояло разделить постель с ним самим. Вместо этого ее встретил джентльмен изысканных манер. Шикарный дядька! Дуновение иной жизни, похожее

на аромат французских духов, обдало ее; она почувствовала себя в мире романтической богемы, в пестром и переливающимся, как финифть, мире кино, эстрады, конфет и коньяков, беспечности и головокружительного веселья. Проституция... При чем тут проституция? С этим грязным словом связывалось что-то непотребное, пьяные девки на вокзалах, темные углы, венерические болезни. Это слово было оскорбительным. В нем было то самое, что мы называли демагогией языка.

Не говоря уже о том, что в нашей стране проституции нет. Проституция как социальное явление в нашей стране уничтожена. Проституцией вынуждало женщину заниматься полуголодное существование. У нас голодных нет. Олег Эрстович показался ей немножко комичным, немножко дураковатым, даже трогательным, очень ученым и бесконечно обворожительным. Должно быть, в молодости был орел... Он рассмешил и поразил ее в первую же минуту. Когда в прихожей она сняла свой плащ. Когда она взбила волосы. Как он смотрел на нее! Или, лучше сказать, какой юной, стройной, манящей, изящной и таинственной она увидела себя в мерцающих стеклышках его пенсне!

Позировать перед несколькими зрителями – совсем другое дело, чем перед одним: проще и безопасней; хорошо, что Илья присутствовал на смотрах. Но что Илья! Настоящим зрителем и ценителем был этот старикашка в лиловых усах, именно это зеркало дало ей понять, что она женщина, открыть в себе то, что дремало в ней и что было сковано предрассудками, лицемерием, задавлено тухлой жизнью, унылым бытом, всеобщим хамством. Что он там пел? Она почувствовала себя несколько сбитой с толку, услышав ученые слова, ее насмешил этот комментарий, может, он и вправду какой-нибудь профессор. Но она понимала, что не в словах дело, слова сами по себе ничего не значат. Голос Олега Эрстовича был точно бархатная ладонь. Она видела, как он повел мясным носом, широченными ноздрями, точно приносивался. Пенсне Олега Эрстовича щекотало ее нежными молниями. Увидеть свое отражение и испытать восторг. Увидеть себя в зеркале мужских глаз – и в страхе обнаружить, что от тебя ждали большего? Ведь и это могло случиться. Вот что было причиной ее неуверенности, волнения и стыда.

«Послушайте, молодой человек... чья это работа?»

«Гм. Э...»

«Я спрашиваю, чья это работа.»

«Олег Эрстович, я сам не понимаю. Уверяю вас, я тут ни при чем. Хотел книжки посмотреть... А она свалилась».

«Сама свалилась».

«По-видимому. Странно, что она так легко сломалась. Мне кажется, янтарь ненастоящий».

«Но, но! – закричал хозяин. – Вы даже не представляете себе, кто мне преподнес эту башню. Самый дорогой подарок в моей жизни».

«Можно склеить».

«Все можно склеить. Жизнь не склеишь... А, что говорить! – Он сидел в кресле, сняв пенсне, тяжело вздыхал, сопел и дергал себя за эспаньолку. – По-настоящему вам бы следовало компенсировать мне эту потерю. М-да. Так чем могу служить?»

«Насчет машинистки...»

«Машинистки? А, ну да! Совсем забыл. Из головы выскочило. То есть, конечно, не совсем, но, знаете ли... Войдите в мое положение, – сказал Олег Эрстович, – у меня неприятности, у меня всегда были и всегда будут неприятности, увы, характер такой, не умею отказывать. А неприятности, как вы, может быть, знаете, всегда означают дополнительные расходы. Неприятности означают: плати и плати!»

«Что... опять?»

«Нет, нет! Слава Богу, пока еще не то, что вы думаете, хотя, разумеется, и властям предержащим требуется положенное, кесарю кесарево! То есть не то чтобы кто-нибудь так уж прямо стал напирать, но, знаете ли, никогда не мешает приобрести друзей заранее. Я вам скажу так: это правило жизни – друзей надо приобретать своевременно! Кстати, могу похвастаться: один из крупных чинов, там... – он показал на потолок, – не буду его называть, но действительно крупных, на правительственном уровне, – мой друг. Я думаю, эта девочка ему очень придется по вкусу. К тому же я обещал ей похлопотать насчет жилплощади».

«Кстати, Олег Эрстович... я бы хотел вас попросить: проявите к ней заботу».

«Всенепременно. А что, вы с ней в близких отношениях?»

«С чего вы взяли? Старая дружба... просто так».

«Угу, – отозвался Олег Эрстович. – Милый мой, я ко всем моим подопечным отношусь с одинаковым вниманием. Но в том-то и дело, что не все отвечают необходимым требованиям. Я ничего не говорю о вашей протезе. Слов нет, недурна, ноги, правда, коротковаты, но это ничего. Характер, кажется, неплохой, не избалована, не знаю, как насчет технических навыков, но это дело наживное. А вот с еще одной дамой я постоянно наживаю неприятности, уволить жалко: ни кола ни двора, нет московской прописки, надежды на брак никакой, одна дорога – на панель, на Курский вокзал, и, конечно, моментально сопьется, а между тем уже сильно за тридцать и, сами понимаете, шарм уже не тот... Одним словом, – продолжал он, и в руке у него снова появился заветный фиал, – ваше здоровье, как говорится, дай нам Бог всем... Одним словом, клиент звонит, какой-то кавказец, я даже не успел как следует с ним познакомиться. Был мне рекомендован, первый раз в столице, кто мог знать? Громы и мол-

нии. Убежала от него в слезах, и вот теперь он грозит дойти чуть не до Верховного Совета, грозит прокуратурой, у него там брат или сват, у всех невероятные знакомства и аристократическое родство. Мне, мне грозит, вы понимаете? Разумеется, я не поддался на угрозы, я, знаете ли, при случае сам могу пригрозить. Но пришлось платить! Пришлось срочно вызывать замену, гонорар за мой счет, чтобы эта сволочь заткнулась».

«И что же?»

«Ничего, уехал довольный».

«Олег Эрастович, так как насчет...»

«Да, да. Память! Память! – вскричал Эрастович. – Постойте... ага. Могу вам рекомендовать одну очень интеллигентную машинистку, пожилая дама, из наших, превосходно владеет русским языком. Может одновременно быть редактором, безупречная грамотность, видите ли, по-русски уже давно никто не в состоянии писать грамотно...»

«Можно на вас сослаться?»

«Сослаться-то можно, но...»

«Олег Эрастович, я ничего лишнего не скажу».

«В самом деле, кого я учу? Старого конспиратора!»

«Вот именно, можно ей позвонить?»

«Все эти ваши игры. Доиграетесь когда-нибудь...»

«Да мы ничего не делаем, Олег Эрастович. Мы в политику не ввязываемся».

«Это вы *им* скажите. Я сам с ней переговорю. Так будет лучше... Но, дорогой мой, это очень квалифицированная машинистка. И, сами понимаете, коэффициент секретности. Одним словом, это дорого стоит».

«Может, мы как-нибудь с этой тетенькой договоримся?»

«Тетенька! Вы не представляете себе, кто она такая. Наши бабушки были кузинами! Словом, короче говоря, поручиться не могу, впрочем, посмотрим. Могу ли я в общих чертах, э-э, узнать, о каком материале идет речь?»

«Номер еще не совсем готов, но лучше начать уже сейчас. Остальное буду подкидывать по мере поступления материала. Полтора интервала. Двадцать экземпляров».

«*Mon Dieu*¹, двадцать экземпляров, куда вам столько? А вы мне все-таки Спасскую башню... того... должны компенсировать».

Внизу слышались стук когтей, подвывание, перешедшее в длинный монолог, пес жаловался на черствость хозяина, одиночество, неблагодарность друзей, скверное пищеварение, пес предрекал новые беды и конец времен, и деревянный карлик у входа на лестницу со шляпой в руках тщетно старался его урезонить.

¹ Господи (франц.).

IV. Визиты. Что говорит глухая полночь?

«Послушайте, мы договорились в восемь. Фи-и-и-у! Вы меня слышите?»

«Слышу. Алё».

«Мы договорились... а сейчас...»

«Алё...»

«Фи-и-и-и-у!»

Мистическое пространство телефонии можно сравнить с загробным царством, с четвертым измерением, с пространством коллективного сознания, с акустикой морской раковины. Вой ветра, шум океана, позывные терпящих кораблекрушение. Постепенно звуки стихают. Шелестит эфир. Вращается диск, палец набирает номер. Ухо улавливает далекое мелодичное позвякивание, словно постучали ложечкой о графин. «Это ты, сволочь?» – буркнул Рубин. Он вешает трубку. В это время гипотетическая «сволочь» сидит с огромными наушниками на голове в одном из этих зданий, похожих на колонии полипов. Держать вас в постоянной неизвестности, в неуверенности. Все слышать, присутствовать везде. Повсюду быть – и в то же время не быть. Главнейшее правило сыска. Если они подключились к линии, могут ли они определить местонахождение «объекта»?

Дождь стекает по стеклу, в мутной мгле светятся окна домов. Он разглядывает коробку аппарата, дует в трубку в смутной надежде отогнать демона. Техника совершенствуется, не исключено, что уличные телефоны снабжены особыми приспособлениями.

Он усмехается: допустим, что так оно и есть; но можно ли процедить тысячи километров записанных разговоров, всю эту словесную жижу, которая течет по каналам, – сыск захлебнется! Ему приходит в голову забавная мысль. Телефонная сеть с ее волокнами и ганглиями совершенствуется подобно естественной нервной системе. И однажды эта эволюция приведет к тому, что в искусственном нервном клубке проснется сознание. Чудовищный организм заживет собственной призрачной жизнью.

Спиритизм выгеснен в наше время общением с электромагнитными духами. Почему не допустить, что потусторонний мир нашел для себя удобным общаться с миром живых посредством электроакустических импульсов? Крутящийся диск телефона-автомата, не напоминает ли он столоверчение?

«Алё?»

«Фи-и-э. У».

Бесчисленные подстанции, дублирующие и аварийные линии, блоки-отстойники, электроакустические шлюзы, координатные соедините-

ли, миллион импульсов в секунду. Заблудившиеся токи, подключения и соединения, возникающие сами собой, голоса, блуждающие по проводам, голоса умерших, голоса не родившихся, голоса людей, которых нет и не было, несуществующие разговоры, галлюцинирующий мозг телефонии! Система сама начинает продуцировать фантастическую информацию. А эти ослы там сидят и все это слушают.

Дождь брызжет в будку, вертится шаткий диск. Он набирает номер, вешает трубку, вынимает монету, снова сует ее в щель, набирает, слышит шелест, гудки и позывные подслушивания. Существуют ли все эти службы – палец вращает диск, трубка, как теплая ладошка, греет ухо, – существуют ли эти службы на самом деле или все это только призрак телефонии, блуждающие токи, измышление гигантского, разбросанного по городу искусственного мозга?

«Послушайте, нельзя же так, мы договорились в восемь. А сейчас...»

«Буду у вас через десять минут», – прошептал Илья Рубин и выскочил в потоп дождя, потерявшего всякую совесть.

Филология давно уже произвела инвентаризацию сюжетов, свела их к буквенным формулам, так что, к примеру, «Мёртвые души», по сути, мало чем отличаются от Гомера: *А* путешествует и посещает *Б, В, Г*. Чего филология не учла, так это того, до какой степени жизнь находится в рабской зависимости от литературы: в конце концов мы все – ходячие буквы. Но погода, сволочь... Как приятно нырнуть в подъезд!

Скиталец сбрасывает с промокших ног некогда щегольские мокасины и греет пятки у тепловой батареи центрального отопления. Наверху хлопнула железная дверь, в шахте лифта дернулись канаты. В полутьме, крадась вдоль стены, он влачит по лестнице свой набитый крамолой портфель и встречает тускло освещенную кабину между пятым и шестым этажом с человеком, который мечтательно провожает его глазами. Выше, выше... Он поглядывает на канаты лифта, они неподвижны. Пятый этаж, шестой этаж. Динь, дилинь! Часовых дел мастер стоит в дверях.

Некоторое время гость, перегнувшись через перила, вглядывается в лестничный пролет.

«Не хотелось бы...»

Из квартиры:

«Дзинь, дзвонн!»

«В чем дело?»

«Не хотелось бы подвергать вас неприятностям...»

«Дилинь, дилинь, дилинь. Цик, цак».

«А мне наплевать».

«Там кто-то застрял в лифте».

«Это бывает».

«Цик-цак. Тик-так. Цик-цак».

«Как вы думаете, они могут узнать, из какого автомата я звонил?»

«Они все могут. Послушайте, я вас ждал к восьми. Точность!» – сказал хозяин квартиры, закрывая дверь за вошедшим. Вопреки впечатлению, которое производил по телефону его голос, он не казался стариком, скорее выглядел человеком без возраста. Время не имело власти над тем, кто сам заведовал временем.

«Точность, деточка, – это вежливость королей. Что было бы, если бы Цезарь опоздал на заседание сената, если бы Наполеон не явился вовремя к месту сражения? История пошла бы под откос. Страны, где люди не привыкли смотреть на часы, хиреют на обочине цивилизации. Что же мы стоим, прошу».

И он открыл дверь из прихожей в комнату, служившую спальней, мастерской, кабинетом для размышлений и лабораторией для опытов.

Мы должны описать ее хотя бы в общих чертах, так как это было что-то необыкновенное. На стене была прикреплена фотография Бюраканского телескопа. Висели таблицы и номограммы, висело еще что-то, но главным образом комната была увешана часами различных фасонов. Отовсюду – со стен, с полок и с потолка – позванивало, постукивало, пощелкивало. В углу помещались похожие на стоячий гроб столовые часы, круглый циферблат без стрелок напоминал лицо покойника; на стеллажах тикали будильники, подрагивали стрелками приборы сложного назначения: часы-сейсмограф, часы-вольтметр, часы – вечный двигатель, к сожалению, остановившийся, отчего и пришлось отдать его в починку, часы, состоящие из одного маятника, без циферблата, и даже часы, где вообще ничего не было: ни маятника, ни стрелок, ни механизма; так сказать, платоновская идея часов. И, наконец, посреди мастерской, на рабочем столе, находилось сооружение, которое можно было принять за алхимический перегонный аппарат. Следовало бы остановиться на нем подробнее. Но Августин Иванович, едва только гость сделал шаг к столу, потушил электричество в комнате. Остался виден слабый фиолетовый свет, струющийся в трубках.

«После, всему свой черед, – пробормотал часовой мастер. – Всему свое время, как сказано в Библии. Сперва перекусим... Я ждал вас целый вечер. – Оба сидели на пластмассовых табуретках в крошечной кухне. – Скажу только, чтобы вас не мучить, что время... Да, это слово следовало бы писать с большой буквы! Время – это абсолютно замкнутая система. Ничто не добавляется, ничто не выливается. Опять же, как в Библии говорится: все реки текут в море, а море не переполняется, к тому месту, откуда они текут, они же и возвращаются, чтобы снова течь. Голубое свечение, разумеется, чисто искусственный эффект...»

Из комнаты: цик-цик, так-так! Цирлидзинь. Цирлидзинь!

Он продолжал:

«К стеклу добавлен люминофор. Само по себе время бесцветно... Так вот. То, что вы видели, вот эта самая жидкость, которая перетекает из одной трубки в другую, поднимается по градуированной колбе, сливается в сосуд, оттуда снова по трубкам и опять в колбу и так далее... – Его палец описывал плавные круги в воздухе. – Так вот, это не просто переливание из одного сосуда в другой. Это даже совсем не переливание. Я бы мог вам доказать, что то, что там течет, тотчас же исчезает. Непрерывно уничтожается и непрерывно возникает. То, что там течет, – это, детка моя, не просто жидкость. Это жидкость невесомая... Возможно, вы заметили там на градуированной колбе цифры – жидкость поднимается, отсчитывает часы, минуты, но это не то, что вы думаете, то есть это не просто жидкие часы, которые показывают время. Это часы, которые вырабатывают время!»

«Я думал, это запрещено», – заметил Рубин.

Часовщик свирепо расхохотался.

«Время не запретишь! Время никому не подчиняется!»

«Я не об этом».

«А о чем же?»

«Я думал, – сказал Илья, – заниматься ремонтом часов на дому запрещено».

«Почему же это запрещено? У меня есть справка. Как инвалид я имею право работать на дому. К тому же, если есть знакомства, все разрешается. Мажьте масло. Чайку? Может, водочки?»

«Отличная идея».

Хозяин Августин Иванович добыл из холодильника белую от инея бутылку. Выпили и закусили бородинским хлебом с крахмальной колбасой.

«Мажьте масло, у меня масло настоящее... В нашем роду все были часовыми мастерами: и отец, и дед. У дедушки был завод. Мой дедушка, если хотите знать, лично руководил ремонтом спасских курантов, в каком году, дай Бог памяти... Существует предание, что будто бы когда эти часы были построены немцами, то на торжественном молебне куранты вместо «Боже, царя» заиграли «Ах, мой милый Августин». Я думаю, сами немцы эту сплетню и сочинили... Слушайте: а может, это было предсказанием? А? Короче говоря, я, можно сказать, вырос среди часов. Ну и, конечно, моя квалификация ценится. Некоторые мои заказчики, знаете ли, оч-чень влиятельные люди... Я вам могу не только любые часы починить, старинные, с секретом, какие угодно. Я могу соорудить любые часы, могу из старых деталей собрать – не поверите, будут, как новые. Послушайте, – сказал он с укором, – я тут перед вами бисер мечу, а вы? У меня такое впечатление, что вас как будто даже ничего не удивляет!»

«Нет, отчего же? – сказал Рубин. – Просто я не успел рассмотреть».

«Рассматривать необязательно. Я говорю об идее. По-моему, вы не отдаёте себе отчета, что все это означает!»

«Нет, отчего же, очень интересно...»

«Интересно, х-ха! – сардонически воскликнул хозяин. – Вы так считаете, дорогуша... Вы даже не представляете себе, какие невероятные перспективы открываются!»

«Например?»

«Например? Режьте колбасу, тогда все станет ясно. Ваше здоровье...»

«И ваше».

«Ах, хороша!.. Послушайте, не в службу, а в дружбу, мне трудно из этого угла вылезать. По-моему, здесь сквозит. Еще схватишь воспаление легких, в моем возрасте... Сделайте милость, прикройте дверь».

«Августин Иванович, простите за любопытство: сколько вам лет?»

«Сколько мне лет, хе-хе. Сколько хотите, столько и будет! Сколько есть, все мои... Так вот: какие перспективы. Да хотя бы аккумуляция времени. Нравится вам это или нет. Конечно, технически очень сложная задача, ведь время возникает только при условии непрерывного самоуничтожения. Но ничто не говорит о том, что это в принципе невозможно. Часы-аккумулятор – можете вы себе представить, что это такое?»

«Гхм».

«Вот именно. Вы правы, над этим надо еще поработать. Ваше здоровье. Ах, хороша! Погодите, то ли еще будет. Это не поддается воображению. Деточка, я вам скажу вот что. Не знаю, правда, интересно ли это для вас... Проголодался я, черт бы меня побрал!» – воскликнул Августин Иванович, жуя хлеб, лук, все подряд, что было на столе, и усердно подливая себе и гостю.

«Я тоже где-то слышал...»

«Что? Что вы слышали?»

«Что время – это особое вещество. Есть такой астроном Козырев, он тоже доказывал, что...»

«Не смейте при мне упоминать это имя! Это шарлатан. В лучшем случае душевнобольной. Такие люди способны только скомпрометрировать идею».

Гость выбрался из-за шаткого стола и воротился из прихожей с портфелем.

«Августин Иванович, я вам хочу показать, чтобы вы имели представление... Здесь материалы для первого номера. Если хотите, можем придумать вам псевдоним».

«Зачем?» – спросил часовщик.

«На всякий случай... для безопасности».

«Чтобы потом говорили, что это не я? Чтобы кто-нибудь присвоил мое открытие? Милый мой, вы не знаете, что за люди нас окружают».

«Хотите взглянуть?»

«В другой раз. Видите ли... – Он вздохнул, поскреб на затылке траченные молью волосы. – Все никак не соберусь. Опять же надо выбрать время, чтобы изложить мои результаты систематически, а времени свободного нет, смешно, не правда ли? Сапожник сидит без сапог. Так и я: не хватает времени! Дело, как вы понимаете, упирается не в технику – тут вопрос философский. Мой знаменитый тезка считал, что время – это протяжение духа, что-то в этом роде, где-то у него что-то такое написано. Туманное определение. Я подозреваю, что он так считал, чтобы не вносить лишнюю путаницу в картину мира, которая сложилась к тому времени... Но если время – это субстанция – вас не пугает этот философский язык? – или, скажем так, неведественная материя, или, еще лучше, первооснова мира, так что все вокруг нас и мы сами не что иное, как объективация времени, так сказать, сгустки времени, вы сгусток, я сгусток, так вот если это так – а это именно так! – то ведь тогда все меняется, вся картина мира. И, конечно, вся философия: тут и Кант летит кувырком, и... и Марс, и...»

«Вот я и говорю. Устройство прибора, все эти технические детали – это вы можете опубликовать в каком-нибудь специальном журнале...»

«Да в том-то и дело, что не могу! Время – это материя... Да за одно это слово, попробуй я только заикнуться, эти материалисты меня повесят! Эх, дорогой мой! Такова судьба всех новых идей. Выпьем. И я вам вот что скажу, – зашептал он, – только это пока сугубо, сугубо между нами! Если весь этот балаган – вы понимаете, что я имею в виду? – вся эта империя, наше с вами отечество, черт бы его побрал! – если все это в самом деле идет ко дну, то ведь я могу спасти Россию. Все эти чучмечки, казахи, вся эта шобла пусть катится к едрене фене, на хера они нам нужны! А вот Россия! Эти часы тикали тысячу лет... Я могу завести их заново! Я могу продлить жизнь этому государству, могу ему одолжить время, раз уж собственного времени больше не остается. А? Как вы на это посмотрите? Или вам это безразлично?»

«О, нет!»

«Только это сугубо между нами...»

«Потрясающе! И такие мысли вы хотите скрыть от...»

«От кого?»

«Гм, от кого. От тех, кто вас поймет. Кто оценит ваше изобретение. От читателей!»

«Каких это таких читателей?» – прищурился Августин.

«Вы не волнуйтесь, – сказал Илья Рубин. – Пишите, а я подредактирую. О стиле не беспокойтесь, главное – изложить вашу идею.»

«Да, но это же чрезвычайно сложный философский вопрос. Вы, вероятно, не отдаете себе отчета...»

«Если хотите, – сказал редактор, – можно под псевдонимом.»

«Псевдоним? Ни в коем случае!» – закричал часовщик.

«Так я могу рассчитывать?»⁹

«Гм. Вы хотите сказать?..»

«Вот именно».

«Чем черт не шутит?»

«Совершенно верно».

«Но это же чрезвычайно сложный философский вопрос!»

«Тем лучше», – отвечал Рубин.

Из лаборатории: цик-цак. Донн, донн.

Складывается впечатление, что царя Итаки все время преследовали неблагоприятные навигационные условия. То и дело буря заносит его к неведомым островитянам. Между тем дождь перестал, выйдя, как на палубу, на крыльцо панельного дома, где находилась мастерская часовщика, странник увидел звездное небо. Поодаль, наискосок от подъезда, стоял автомобиль, невозможно было понять, сидит ли там кто-нибудь, это могли быть «они», это мог быть местный житель, техник-строитель, которому посчастливилось заработать деньги на машину в братском Йемене, это мог быть поздний любовник, прикативший на левой машине, это мог быть халиф Гарун аль-Рашид, переодетый славянином, в брезентовом макинтоше вместо бурнуса. А на другой день настало бабье лето.

Тусклое солнце озарило кварталы новых районов. Дом-хибара выдающегося мыслителя, молва о котором гремела в те годы в интеллектуальных кругах, находился на окраине окраины. В отличие от окраинных жителей, ненавидевших природу, ибо они сами были ее детьми, философ придавал принципиальное значение жизни на лоне природы. Все было предусмотрено планом градостроительства: роши, луга, газоны, – однако человек предполагает, а Бог располагает, или, лучше сказать, Бог предполагает, а человек обращает его благие предназначения черт знает во что: лужайки превратились в выставку строительных материалов, куртины – в свалки мусора; от деревни остались полусгнившие срубы; трясина, по которой ныряли грузовики, некогда была улицей, здесь и обитал в возвышенном уединении, в единственной уцелевшей избе вдвоем с женой Петр Максимович Нежин-Старковский.

За домом находился огород, где он возделывал помидоры и табак-самосад, стояла огромная береза, употребляемая для особых целей, стоял сарай, куда нам еще предстоит наведаться. В ту самую минуту, когда гость, ступив с опаской на шаткое крыльцо, готовился грохнуть кулаком в дверь, хозяин в валенках, галифе и майке появился из-за угла избы. «Милости прошу, – промолвил он, – *entrez*¹, как говорили наши предки! Давно наслышан, почту за честь познакомиться».

¹ входите (франц.)

Петр Максимович изъяснялся на языке девятнадцатого столетия, который он обогатил собственными нововведениями. Он числился старшим научным сотрудником института истории революционного движения, где руководил сектором стран, освободившихся от колониального ига. Это значило, что в его ведении находился наиболее перспективный район, куда в настоящее время переместился очаг мирового революционного процесса. Это также означало, что не было никакой спешной необходимости ходить на работу. Два раза в месяц, первого и пятнадцатого числа, он снимал валенки, облачался в цивильную одежду и ехал в институт за скромной зарплатой, где, кроме того, платил членские взносы, посещал собрания и голосовал за резолюции. Все это составляло то, что можно было назвать его общественными обязанностями. Что же касается личной жизни, то жить означало для Петра Максимовича мыслить; в этом пункте он был согласен с Декартом, с которым расходился во всех остальных пунктах. С Шопенгауэром он был согласен в том, что творческий и мыслящий ум обращается не к современникам, а к потомкам; во всем остальном он не был с ним согласен. С Гегелем он сходил на том, что мировой дух, соскучившись в своем абстрактном одиночестве, пускается в авантюры, превращаясь по ходу дела в природу и в историю; в остальном он с Гегелем расходился. Аристотель, по его мнению, был прав, когда сказал: Платон мне друг, но истина дороже; в остальном Аристотель был не прав. С Бердяевым он соглашался во всем, за исключением того, с чем нельзя было согласиться. Что же до Маркса, то к нему Петр Максимович относился непримиримо за вычетом того, с чем волей-неволей приходилось мириться. Из сеней прошли в горницу, где посетителя ждал накрытый стол.

За столом сидела жена, из открытой двери виднелась спальня – кровать с подзором и горой подушек.

«Что ж? Приступим...» – промолвил хозяин, озирая скудную закуску. Гость галантно вознес бокал за здоровье хозяйки.

«Утром проснулся, выхожу – на ум пришло “Письмо матери” Есенина. Ты жива еще, моя старушка? – И Петр Максимович нежно погладил руку жены. – Жив и я, привет тебе, привет. Что может быть проще, чище и божественней?..»

Вздыхнув, он разлил по второму разу желтоватый напиток, настоящий на березовых вениках, и капнул себе валидол. Занес графинчик над рюмкой жены. Высокая грудь Капитолины Федоровны была прикрыта кружевами. Она взглянула на него широко раскрытыми васильковыми, точно эмалированными, глазами.

«Ничего, – пробормотал он, – хотя бы для виду. За компанию. Оно не вредно...»

Застенчивое лимонное солнышко заглядывало в окно, ни единого звука не доносилось снаружи, гость и чета хозяев погрузились в благо-

говейное молчание, наступил блаженный миг насыщения и согласия с миром.

«Знаю, – проговорил Петр Максимович, – догадался о цели вашего визита и готов всемерно соответствовать. Делаю отсюда вывод, что вы хотя бы отчасти знакомы с моими трудами... Постоянным источником вдохновения служит для меня поэзия моей жены. Капитолинушка... ты бы нам почитала».

Держа перед собой самодельную тетрадку, Капитолина Федоровна долго смотрела в окно, губы ее шевельнулись, она произнесла низким голосом:

«Это из последнего... Последний луч, блеснувший над Вселенной, последний взглас: о, спаси меня! Твой вечный дух, твой взор нетленный...»

«Живу на природе-воле. Ум свой держу в позитиве, а не в критиканстве упражняю. Полагаю, с государством надо жить в обнимку, мы подпираем державу, держава осеняет нас. Начальство, какое ни есть, воплощает Начала, – говорил, балансируя между грядками, Петр Максимович. – Сказано: покорствуйте властям... Я человек свободный, пишу-мыслю, того, что имею, мне хватает. За чужим не гоняюсь, чужеземному не завидую. И никуда я не хочу ехать, никуда! Зачем? Чего я там не видел? Русская душа чурается сухого рассудка. Русскому человеку не страшна смерть, была бы только Русь, природа-родина, а она есть: была, есть и никуда не денется. Другие проявили себя кто в чем: греки – это искусство, евреи – это их Бог. А Россия соединила-связала все в один узел, все сварила в своем котле – и татар, и немцев, – и не надо нам ни у кого просить, не надо ихнему благополучию завидовать. Вот она, наша земля, – сказал Петр Максимович. – Благодать-то какая, а?.. Но! Пустует земля, засыпается обломками, эрозируется почва, стонет баба-земля, губят ее города».

Вошли в сарай.

В луже света, сочащегося сквозь ветхую крышу, возвышался треножник с цинковым баком. В углу, забытая, может быть, еще со времен коллективизации, стояла ржавая сеялка. Вдоль задней стены сарая, за саmogонным аппаратом, на полках из неоструганных досок стояли и лежали переплетенные в картон, ситец и дерматин рукописные труды.

«Мои думы... Слово “дума” – емкое слово, исконное наше слово, ни на какие языки не переводимое. Западному уму оно невнятно. Западный философ – это рассудок, логик-математик, он тебе систему выстроит, все по полочкам разложит, а Россия ни в какие системы-философемы не влазит, никаким классификациям не податлива. Оттого и дума в русском смысле – дума всецелая, всеединая, образная. Дума-думушка... Тут тебе и философия, тут тебе и поэзия, и задушевный разговор, и забота, и древнее наше государственное собрание, соборное думание. Вот-с, выбирайте...»

Рубин углубился в чтение. Он сидел с рукодельным фолиантом на каком-то ящике, а хозяин заглядывал к нему через плечо.

Рубин прочел:

«И они тоже явились по воле Рока к большому русскому столу. Наша гордость – Суворов – взял Прагу, вошел в Варшаву, и заполучила Россия целых три миллиона, а с ними – и революцию, и казнь царя, и социализм. Так что грех великий произошел. Нет у них ни почвы, ни родины, и вместо космоса один только логос...»

«Это так, теория, – застыдился Петр Максимович. – Не принимайте на свой счет. Может, что-нибудь другое?»

«Отчего же, очень интересно», – отозвался Рубин.

«Я там дальше пишу, что не надо никого гнать, раз уж они тут живут. Русский человек терпелив. Я считаю, что для свободной мысли не может быть предрассудков и неприкасаемых наций тоже нет. Вы как полагаете?»

«Совершенно с вами согласен».

«Раз уж так случилось, что они все лучшие места заняли, пока наш брат русак в затылке почесывал».

Рубин развел руками.

Петр Максимович добавил:

«Да только за свободу надо расплачиваться».

«В каком смысле?»

«Да в самом обыкновенном, житейском».

«Вы хотите сказать...»

«Нет, нет! Я уже вам сказал. Критиканством не занимаюсь. Критиканство не одобряю! И на державу не посягаю, наоборот. Держава всех нас держит. Что без нее?.. Но, знаете ли, живу нелегко... Зарплата моя ничтожная. Пенсия будет кот наплакал. А ведь надо и что-то жевать, пишу добывать себе телесную, хлеб насущный. И жена у меня хвора – сами видели... Уж каких я только докторов не приглашал, частным порядком, разумеется. А где взять денег? Тружусь от зари до зари, а ведь ни копейки за это не получаю. – Наступила пауза. – Понимаю, конечно, – проговорил хозяин упавшим голосом, – что моя просьба покажется неуместной. Уж вы не взыщите. Может, какой-никакой гонорарчик подкинете?»

Поднимаясь по лестнице, Илья Рубин слышал дальние взрывы. Мощные руки брали аккорды. Он вошел в комнату, где все дрожало и дребезжало, дрожали оконные рамы, черный облупленный инструмент, за которым сидел музыкант, сотрясаясь, люстра раскачивалась под потолком, на столе подпрыгивала тарелка с неоконченным завтраком. Музыкант работал: нога без устали нажимала на педаль, над челом, лоснящимся от пота, взлетали остатки волос, плечи вздымались и опускались, руки с растопыренными пальцами молотили по желтой, похожей на старые зу-

бы клавиатуре. Последний громоподобный аккорд расколол потолок, хозяин схватил карандаш, что-то исправил в помятой и засаленной нотной тетради на пюпитре. Отшвырнул карандаш, взял с пианино и поставил себе на колени огромную пепельницу и принялся ворошить содержимое. Рубин подал ему другую пепельницу с подоконника.

«Вот что может сделать самая обыкновенная восходящая кварта! Три-ри-ри...»

Музыкант нашел подходящий окуроч, гость подскочил с зажигалкой. Музыкант перхал и кашлял.

«Как вы понимаете, клавир дает слабое представление о замысле. Я расширил группу духовых, – кашлял он, – до десяти тромбонов, кланг-резонаторы, я вам как-нибудь объясню, что это такое, плюс ансамбль ударных, причем литавры расставлены в разных местах... И, кроме того, ввожу в заключительную часть два четырехголосных хора... Колоссальный замысел, поверьте мне... А как вам нравится вот эта реплика? Это, кстати, тоже политональный аккорд». Повернувшись к желтой пасти инструмента, он вперил взор в тетрадь и ударил нечто неслыханное.

«Тут есть маленькая хитрость... Помните? У Моцарта в соль-минорной симфонии... три-ри-ри, – его пальцы прыжками неслись по клавиатуре, – и так далее... пирим-пам-пам! На-а, ра-а-ра... Казалось бы, все так просто, так мило. И вдруг... и вдруг!»

Он приподнялся над круглым кожаным стулом и, примерившись, грохнул из последних сил. Тетрадь свалилась с пюпитра. Композитор, тяжело дыша, с измочаленным видом и дотлевающей папиросой во рту смотрел на Рубина с выражением величавой тоски, отчаяния и восторга.

Гость пролепетал:

«К сожалению, я... Но я много слышал о вас... Моя мать – преподаватель музыки, так что я с детства... Но, понимаете... Как медведь на ухо наступил!»

«Вам можно посочувствовать», – сказал хозяин надменно.

«Но это не значит, что я не в состоянии...»

«Будем надеяться!»

«Может быть, в двух словах?...»

«В двух словах, ха! Вы думаете, это так просто?»

Маэстро обвел глазами убогую комнату. Нетерпеливо пошевелил пальцами, гость поднес пепельницу.

«Я всегда недокуриваю. Начну, брошу, потом приходится искать...» – бормотал хозяин.

Он откопал почти целую папиросу, задумчиво поглядел на нее, бросил. Взял в руки тетрадь, полистал, швырнул на пианино.

«Конечно, это можно только условно назвать симфонией. Но как ее еще назвать: симфоническая поэма? Очень уж все это затрепано, да и что это значит – поэма? Вообще я не могу отнести ее ни к какому традицион-

ному жанру. Первая часть еще выдержана в сонатной форме, а дальше начинается черт знает что».

«Может быть, кантата?»

«Ха-ха-ха! Вы меня насмешили. Нет уж, друг мой, хватит с нас этих кантат».

«Оратория».

«Я подумаю... Остановимся пока на старом обозначении. Малеровские симфонии – это ведь тоже, знаете ли... все что угодно, только не традиционная симфония!»

Он запел:

«O Mensch, gib acht! Was spricht die tiefe Mitternacht?¹ Нет, это совсем не то... Так вот. В чем состоит, э-э?...»

«В чем состоит замысел».

«Вот именно. В чем?»

Илья Рубин пожал плечами.

«O Mensch...» – мурлыкал композитор.

«Мм... да», – промолвил гость.

«Что вы хотите этим сказать?»

Рубин поднял глаза к потолку, развел руками.

«Нет, уж вы договаривайте, договаривайте! Что вы хотели сказать этим вашим “да”?»

«Собственно, ничего...»

«А ничего, так молчите и слушайте. Слушайте! – сказал вдохновенно хозяин. – Моя симфония – это грандиозное видение грядущего воскресения. Я смотрю поверх времен, поверх наций, речь идет обо всем человечестве».

«Гм».

«Я просил меня не перебивать!»

«Пардон».

«Мы приблизились к такому моменту в истории, когда человек должен ответить на главный вопрос. Больше увливать невозможно. Зачем все это? Войны, революции, неслыханные жертвы, надежды, разочарования, какой все это имеет смысл? Чтобы лучше жить? Или чтобы разрушить окончательно всю землю? Но согласитесь, ведь это не ответ. Великий вопрос: зачем? Может быть, вся история – чья-то чудовищная шутка, может быть, миром правит большое божество? Великие сомнения – вот содержание первых двух частей».

Маэстро курил, сосал что-то почти уже нематериальное.

«В прежних моих сочинениях я уже пытался ответить. Любовь, природа... Но это – как вам объяснить? – только предварительное ре-

¹ «О человек, внемли: что говорит глухая полночь?» (2-я симфония Г. Малера, слова Ф. Ницше) (нем.).

шение. И вот тучи сгущаются. Мелькнул и пропал последний луч. Великое отчаяние охватывает душу. Это пока еще чисто субъективная музыка, несчастное, не знающее выхода сознание... Знаете ли вы, что одна из труднейших задач музыки – это преодоление субъективности, преодоление того, что со времен романтиков стало чем-то само собой разумеющимся? Вся дальнейшая история музыки – это не что иное, как эволюция человеческого сознания, его усилия разломать клетку, выйти на простор, приблизиться к вселенскому, универсальному – называйте как хотите, – к божественному сознанию... И еще одно важное замечание... Моя музыка чудовищна, но, заметьте, это все еще тональная музыка. Вы, может быть, слышали... – хотя где уж вам? – что в начале века произошел отказ от тональности, это считается неизбежным, и это, конечно, следствие тотального одиночества человека, крушение всякой веры. Вот почему я хочу доказать, что радикальный ответ на вопрос о смысле истории может быть дан только средствами тональной музыки. Но все это произойдет в будущем, в заключительной части симфонии, а пока... пока безысходная печаль, разъедающая горечь разочарования, убийственный скепсис. Скрежещущие звуки, корчи оркестра... Так что же? По-вашему, на этом все и кончается?»

Он отшвырнул окурок. Рубин сделал неопределенный жест.

«Вы хотите что-то спросить?»

«То, что вы пели. Это тоже из вашей симфонии?»

«Да нет же! Это Малер, это совсем другое... Вот видите, – сморщился композитор, как будто нюхнул что-то гадкое, – вы опять меня перебили».

Наступила неловкая пауза.

«Да, так вот. В глубоком сумраке, откуда-то издалека звучит мрачный зов. Он возвещает конец всему живущему на Земле. Близится Страшный суд. Дрожит земля. Рушатся города... Пробуждаются хтонические чудовища. Тщетно просит человек о пощаде, все человечество стонет, молит о милосердии. Эхо разносится в пустых небесах... И вдруг мы слышим чистые, хрустальные голоса. Это хор святых и небожителей. То, что должно произойти, и есть, собственно, не что иное, как воскресение, всеобщее воскресение, но, – композитор глубоко вздохнул, – это пока еще не написано. Это то, над чем я бьюсь, и не знаю, сумею ли найти решение. Будьте добры... вон там на окне... Может быть, – продолжал он, – даже к лучшему, что моя музыка не исполняется. Она и не будет никогда исполнена. Я просто не знаю такого коллектива, который мог бы с ней справиться...»

Рубин сказал:

«Но ведь совсем необязательно излагать программу».

«Моя музыка запрещена. Независимо от всяких программ. Знаете, что сказал председатель этого собачьего комитета? По делам музыкаль-

ной пропаганды, культуры, или, уже не знаю, как он там у них теперь называется... Он сказал: до тех пор, пока я здесь, ни одной ноты этого бумагомарателя, вредителя, этого отравителя нашей молодежи, ни одной ноты! Вот так! – сказал композитор и радостно раскашлялся... – Впрочем, знаете ли... В конце концов вся современная музыка существует гораздо больше на бумаге, чем в концертном зале. Важно, что она существует. Музыка существует сама по себе, понятно? В некотором сверхчувственном пространстве. А исполнение – дело второстепенное».

«Пожалуй, – пробормотал Рубин. – Тем более что соседи...»

«Что соседи?»

«Возражают, наверно».

«Было дело. Ничего. Не умрут. Привыкнут».

Гость покинул квартиру, откуда снова раздавались пушечные удары пианино.

V. ЛИЦО БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

Из всего сказанного как будто следует, что имеются все основания отнести Илью Рубина к этой обширной социальной категории.

Обычно, говоря о людях без определенных занятий, подразумевают, что парень, возможно, чем-то и занимается, но неизвестно чем; что-то делает, но незаконно, а главное – нигде не числится. Но последнее к нашему другу Рубину как раз и не относилось, ибо у него все же был официальный статус, было то, что можно считать статусом, правда, с некоторыми оговорками. В табельной ведомости должность Рубина носила загадочное обозначение «младший лаборант». Никто не знал, что это значит, и еще труднее было понять, что он делал в своем институте. В те времена все порядочные люди работали в институтах. Вообще надо заметить, что в наш век все может стать предметом научных изысканий и темой для диссертации, так что, например, вполне можно себе представить научно-исследовательский институт бань и прачечных, академию самогоноварения или экспериментальный центр игры в преферанс. В институте, где подвизался Илья Рубин, экспериментировали с бумагами.

Коллеги находили, что он ни хрена не делал; с этим можно было бы согласиться, если бы удалось выяснить, чем именно занимались коллеги. Так как за всякую работу полагается получать зарплату, то регулярное получение зарплаты само по себе есть доказательство работы. Порядочный человек, занимающий сколько-нибудь приличное место, занимал его скорее символически. «Работа дураков любит», – гласит народная мудрость (из чего не следует, что дураки любят работу). Работали пиджаки. Порядочный человек с утра вешал пиджак на спинку стула, выкладывал на рабочий стол очки и до конца рабочего дня не появлялся. Порядочный

человек дорожил временем. Он смотрел на часы, говоря озабоченно: опаздываю на симпозиум, спешу на заседание комиссии, ждут на бюро, — и больше его не видели. Так оно и шло.

Но по крайней мере в одном отношении коллеги были правы: в эпоху трудового энтузиазма, ставшего государственной религией, Рубин не давал себе труда соблюдать ее главнейший ритуал — делать вид, что что-то делается. В рабочее время Рубин слонялся по коридорам. Часами, не обращая внимания на косые взгляды начальства, травил анекдоты в курилке. Мог вообще не прийти на работу, хотя опять-таки что значит работа?

Некогда поразившая Гулливера Великая академия Лагадо по сравнению с институтом Ильи оказалась бы в выигрыше: там по крайней мере занимались чем-то вещественным. И все же мы погрешили бы против истины, если бы попросту, что называется, одним росчерком пера, объявили коллектив научных работников скопищем дармоедов. Возможно, отдельные лица и заслуживали такой характеристики, быть может, даже целые отделы, но в целом институт занимался отнюдь не очковтирательством. Институт выполнял ответственную государственную задачу. И даже считался секретным.

Ничего необычного в этом обозначении не было: мало ли существовало секретных лабораторий, заводов, институтов и даже целых целых секретных городов, а также строжайше засекреченных наук. Удивляться надо тому, как это человек с непатриотической фамилией, с сомнительной анкетой мог находиться, хотя бы и на смехотворнейшей должности, в таком институте, каким образом он мог получить, как тогда выражались, допуск. Было ли тут особое везение, сыграла ли роль коробка шоколадных конфет, преподнесенная барышне в отделе кадров, или чье-то заступничество, или просто халатность? Как он мог удостоиться? Факт, который мы не решаемся обобщать, но, во всяком случае, свидетельствующий об утрате бдительности.

Дело в том, что коллектив выполнял оборонное задание. Пусть не говорят, что секретность чаще всего царила там, где никаких секретов не было. Институт — об этом теперь можно сказать вслух — работал над секретным оружием. Подробное объяснение, что это было за оружие, здесь было бы излишним, да и потребовало бы специальных знаний. Известно (в общих чертах), что это было наступательное оружие, соединявшее преимущества артиллерии, авиации, танков и боевых отравляющих веществ. Известно, что новое оружие предназначалось для операций в тылу врага, известно, что оно на сто процентов гарантировало победу. К несчастью, дело не дошло до решающей схватки, но при испытаниях в условиях, максимально приближенных к боевым, на полигонах Ближнего Востока, оно доказало свою неслыханную мощь. Оказалось, что устоять против него невозможно. Враг располагал обычными видами вооружений, а это было оружие необычное, так как оно было нематериальным.

Это было сверхоружие. Короче говоря – теперь об этом тоже можно сказать вслух, – институт, где числился Рубин, работал над созданием секретного идеологического оружия.

Тут требовалось соединение эрудиции и фантазии. Речь шла о новой и непроверяемой системе доказательств, о совершенно необычном подборе цитат. Неисчерпаемость источников, которые никто не был в состоянии прочесть от начала до конца, предоставляла возможность отыскивать еще не использованные изречения. Ядром же, настоящей боеголовкой нового оружия был высший и доселе еще неизвестный Аргумент, способный сразить врага наповал. Аргумент был известен только руководству. Как уже сказано, его эффективность была испытана на специальных полигонах. Новая комбинация цитат обещала решение любых задач, политических, теоретических, экономических и моральных, и результат был всегда один и тот же. Каждый, кого настигало это оружие, должен был убедиться в безусловном превосходстве нашего государственного строя над всеми строями, где-либо существовавшими или существующими в мире.

В качестве лаборанта Рубин в письменном столе не нуждался, он не торопился на симпозиум, не мог быть членом комиссии, у него не было пиджака, и он не носил очков. Во все времена года он был одет в один и тот же побелевший от стирок джинсовый костюм. Черные кудри и черная борода оттеняли его блестящие и желтоватые, как ядро ореха, конские зубы. Его смех напоминал молодое ржание. Илья был летучий человек. Окруженный женщинами, он не знал забот. Как всякий холостяк, он возбуждал инстинкт опеки и сострадания. Ему покупали цветы, вызывались дежурить вместо него в больнице. Само собой, сообщалось кому надо, что Рубин отсутствует по уважительным причинам. В крайнем случае на вопрос: а где такой-то? – отвечали: где-то тут, пошел в бухгалтерию, в секретариат, в директорат. Институт был велик. Тем временем Илюша Рубин, нагруженный кулками, с букетом садовых ромашек отправлялся проведать маму на другой конец города.

Два слова – раз уж об этом зашла речь – о матери и отце, о детстве Ильи Рубина. Он был, насколько известно, единственным сыном; его родители происходили из маленького городка в Могилевской губернии, там они познакомились и в начале двадцатых годов, подхваченные волной, оказались в обезлюдившей столице; мать Рубина, Берта Владимировна, проживала в коммунальной квартире в старом центре города, в доме с высокими потолками, сумрачными лестницами, с черным ходом во дворе и парадным подъездом на улице, с эркерами, пилястрами, и как там они еще назывались в те времена, когда все это существовало; откуда и была выдворена, впрочем, законным порядком, вместе с другими жильцами. Когда это было? Где был их дом?

Одному философу принадлежит остроумная теория памяти: он утверждал, что мы ничего не забываем. Все увиденное и услышанное, когда-либо пережитое хранится в закромах памяти, в ее темных подвалах; надо только спуститься туда по замшелым ступеням с ночным фонарем. Так можно объяснить удивительный факт: спящему снятся иной раз люди, о которых он никогда не вспоминал, места, казалось, безвозвратно забытые.

Детство – это огромный, нескончаемый сон, который мы видим как бы для того, чтобы убедиться, что память есть в самом деле род несгораемого шкафа, откуда ничто не может быть похищено временем. Как многие из нас, Илья Рубин был человек без роду и племени, говоря языком газетных передовиц – «без корней», и не потому, что он был потомок скитальцев, а потому, что корни отсохли. И все же у него было отечество, это было чрево столицы, задворки и переулки, не имевшие ничего общего с Вавилоном окраин, где теперь проживал Рубин. Старый город детства, который он никогда не посещал, ибо теперь этот город существовал лишь во сне, а то, что осталось на самом деле, было неузнаваемо, сморщилось, раскрошилось, было запущено и заброшено, перерыто траншеями строек, тоже заброшенных, – Старый город, а точнее сказать, старый район, был реликтом ушедшей эпохи, когда существовали отеческие очаги, эпохи, откуда доносились беззвучные голоса.

Район назывался «Дворы». Во дворах стояли снеготаялки. Из подворотен мимо мусорных ящиков текли ручьи. Гирлянды хрустальных сосулек висели под скатами крыш, и сверкающие россыпи со звоном и грохотом валились из раструбов водосточных труб. Веревки для белья – остались лишь вбитые в стену крюки, – женщины с тазами залубневших рубах, простынь, подштанников, звон стекла, футбольный мяч, влетевший в сумрачную коммунальную кухню, призраки запахов, эхо криков, звуков. Толстым мальчикам кричали: «Жир-трест! Мясосбыт!» Тощим кричали: «Кошей Бессмертный!» Татарам кричали: «Свиное ухо, эй!» Евреям кричали: «Жид, на ниточке бежит!» Очкарикам кричали: «Самурай!»

На бульжном перекрестке стоял краснощекый милиционер в шапке-ушанке, в перетянутой ремнем шинели с воротником из собачьего меха, в черных валенках с галошами. Вечером под тусклой лампочкой, освещавшей похожий на домик номерной знак дома над дворовой аркой, по обледенелому снегу можно было кататься на коньках, которые привязывались веревкой к ботам, особого рода обуви, исчезнувшей вместе с примусами, корытами, чердаками, черными лестницами, с гнутыми деревянными перилами, с изоляторами из фаянса и проводами под потолком, с множеством вещей, со словами, которые их обозначали, и людьми, которые ими пользовались.

Итак, она была выселена, точнее, переселена: получила комнатку в блочном доме на окраине, как уже сказано, в законном порядке, ввиду то-

го, что дом подлежал ремонту и усовершенствованию для вселения важных лиц. В мерах подобного рода следует видеть не только акт исторической необходимости, но и акт исторической правоты. История всегда права. Рассказывают, что однажды председатель Центрального Исполнительного Комитета выступал, по обычаю первых лет, на митинге в селе и чей-то бабий голос крикнул из толпы: «Вот ты небось в сапогах разгуливаешь, а мы?...» На что оратор ответил: «Ты что же, тетка, хочешь, чтобы правительство тоже в лаптях ходило?» – и был награжден громом аплодисментов.

Смысл этого справедливого возражения состоит, во-первых, в том, что сапоги лишились бы престижа, если бы не существовало лаптей; другими словами, лапти – такое же необходимое условие государственного порядка, как и хромы сапоги. Во-вторых, число желающих носить сапоги во все времена многократно превосходило количество сапог. Следовательно, необходимо раз и навсегда определить, кому положено месить грязь лаптями, а кому разгуливать в сапогах. Очевидно, что квартира в доме с эркерами, и пилястрами, и потолками нормальной высоты, равно как и престижная обувь, импортное белье, настоящая колбаса и все остальные условия для исполнения ответственных государственных обязанностей, была бы неоправданной роскошью для граждан, не обремененных такой ответственностью. Но мы отвлеклись.

Большую часть времени комната пустовала. Илья, прописанный где-то, воспользовался ею для своих, как позднее выяснилось, неблагоприятных дел, между тем как пожилая женщина кочевала по лечебным учреждениям. Соседи – молодуха с ребенком, родом из очень дальних мест, и сморщенная старуха с хворым мужем, тоже выселенная из центра, – были немало раздосадованы появлением Ильи Рубина в их квартире, так как имели свои виды на пустующую каморку: старуха надеялась присоединить ее к своим владениям на основании справки о болезни мужа, мать-одиночка – к своим, ссылаясь на то, что она мать-одиночка. Обе написали совместный донос; обе слышали стрекотание пишущей машинки за тонкими стенками своих комнат. Прибавил ли что-нибудь их навет к делу о Журнале, неизвестно, тут мы вступаем в область туманных домыслов.

Едва ли соседи были осведомлены об отце, тем более что история была давнишней, темной и в некотором смысле осталась там, в старом доме. Придется, однако, и об отце сказать несколько слов.

Он вел мистическое существование не потому, что исчез при малоизвестных обстоятельствах – исчезли многие, – но оттого, что присутствовал вопреки всему, постоянно и незримо. С другой стороны, Илья своего отца почти не помнил. Нельзя сказать, что в истории с отцом многое было неясным, потому что в ней все было неясно. Он окончил технологический институт; это были годы индустриализации, бурное и восторженное время, как-то незаметно сменившееся временем страха, и с этих пор

жизнь отца заволоклась туманом. В довоенные времена официально считалось, что он находится в длительной командировке на Севере, где руководит секретным строительством. После войны было получено извещение: отбыв срок, работает счетоводом в совхозе, в Кемеровской области, удалось даже после изнурительных хлопот узнать адрес. В эту краткую пору биография Рубина-старшего начала как будто вырисовываться из потемок. Письмо вернулось спустя несколько месяцев с пометкой, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Было не так-то просто попасть к заместителю начальника главной канцелярии, и даже узнать, к кому именно надо обращаться, было непростым делом, тем не менее мать добилась приема, отстояла во всех очередях, замначальника неожиданно оказался милым, внимательным человеком: он выслушал ее, мягко объяснил, что остаток ссылки отцу предписано провести в другом месте. Теперь он работал в столовой на приисках. Намекалось даже, что у него там новая семья. Где – там? В ответ пожималось плечами, разводилось руками; дескать, страна наша большая. Можно ли к нему поехать, разрешена ли переписка? В те времена пользовалась признанием теория, согласно которой писание заявлений во всевозможные инстанции – чем больше инстанций, тем лучше – обладает кумулятивным действием: рано или поздно терпение начальства должно истощиться. И оно в самом деле иссякло. Прибыло, сравнительно недавно, накануне описанных нами событий, накануне истории с птицами и всего этого безобразия, постановление об отмене приговора и прекращении дела ввиду отсутствия оснований. Получалось, что вся биография полетела кувырком. Тайна местопребывания отца разъяснилась, она состояла в том, что никакого местопребывания давным-давно уже не было.

Но даже теперь, когда сын вырос, и времена изменились, и можно было назвать вещи своими именами, даже теперь таинственность не рассеялась; логически рассуждая, эта последняя версия тоже могла быть не больше, чем версией. Подобно тому как умерший сорок лет считался живым, так ныне, объявленный мертвым, он вполне мог продолжать свое существование. С одной стороны, что и говорить, не оставалось никаких надежд, раз уж «они сами» признались. Где-то там, неизвестно где, может быть, даже совсем близко, в десяти минутах ходьбы, в знаменитом доме бывшей страховой компании «Россия» – какое, однако, зловещее название, – в подвальной камере, через три или четыре недели после ареста, или сколько там требуется для оформления дела, все это совершилось согласно инструкции, гласившей: «Выстрел производится в затылочную ямку на расстоянии 8–12 сантиметров, без предупреждения, непосредственно после команды «стой»; и, должно быть, день был самый обыкновенный, дом, казавшийся в те времена очень большим, потому что рядом не было еще пристроено другое громадное здание, мирно поблескивал

своими окнами, и в синеве над часами плескался флаг; площадь, тогда еще на ней не было памятника, в разных направлениях пересекали машины, новенькие, только что выпущенные марки, «ЗиС» и «М-1», их было еще не так много; милиционер в летнем белом шлеме с шишаком и в белой форме дирижировал, стоя на тумбе; люди шагали по тротуарам, постукивали низкими каблучками женщины в полупрозрачных блузках, в юбках ниже колен; стояли продавцы газированной воды с сиропом, и сидел нищий перед двумя полукружиями только что построенного метрополитена; с юго-запада над керамикой Политехнического музея ползли тучи, вспыхнули фонари, посыпались искры под дугой трамвая, который выворачивал с Мясницкой, два или три года назад переименованной в улицу Кирова, и никто ничего не знал, никто не догадывался, как не догадываются о смерти, разве только некоторым приходило в голову, что в доме-крепости, где теперь на всех этажах горел свет, происходит огромная, тайная, важная, непрерывная и необходимая работа, героическая и опасная работа, так что трудно было связать ее с представлением о чернильницах, папках, справках, ведомостях и определениях, с утомительным многочасовым бумагописанием; никто не знал, а те, кто знал, все равно не знали, потому что не полагалось знать, что в подвалах люди в фуражках и гимнастерках всаживают пули в затылки, сегодня, и завтра, и ночь за ночью, день за днем, никто не узнал и не узнает, как они там, остриженные наголо, сидели и ждали, а те, другие, сверялись со списками, выдергивали смертников из камер, вели вниз, по лестницам, по коридорам, налево, направо, стоп, лицом к стене, руки назад и по очереди, одному, другому, вдоль всей шеренги, ничего не поделаешь, такая работа, в затылочную ямку, потом следующая партия, и снова одному, другому, ничего не поделаешь; или на специальной дорожке, в звуконепроницаемом коридоре, или во дворе, при свете фар, с заведенным мотором, чтобы заглушить выстрелы; да, никаких сомнений теперь, через сорок лет, не могло быть. Это — с одной стороны. А с другой...

Тайный голос, инстинкт, подсознание, называйте как угодно, твердили, что все бывает. Все может быть! И похорошки с фронта приходили, а потом, глядишь, возвращается, спутали с кем-то, ошибка. И кто знает, может быть, по сей день он где-то живет, где-то скитается. Человек не человек, призрак не призрак. И даже нашлись люди, которым будто бы приходилось разговаривать с теми, кто его видел. Странник кочевал по стране. Нищий шел по дороге.

Тайный голос предлагал свои версии. Если они так долго ошибались или так долго поддерживали ложь, то почему не может оказаться ложью обратное? Почему им надо верить, ведь это те же самые люди, ведь они лгут непрерывно, потому что это такое учреждение и такова их природа. Потому что такая работа и ничего не поделаешь. Ведь в конце

концов прошло столько лет, люди сменились, одних расстреляли, других уволили, третьи сами отдали концы. Одни говорили одно, другие – другое; ложь на ложь – получается правда. В этой казуистике обмана, как в густых тучах, неожиданно мелькнул просвет. В день расстрела пришло распоряжение свыше: наверху узнали о произволе, почему бы и нет. Допустим, расстрел отменен, а по бумагам все еще числится высшая мера. И так и пошло – из одной канцелярии в другую. Допустим, приговор отменен, но просто так выпустить на свободу тоже нельзя. Отменили, но с запрещением возвращаться и с запрещением переписываться. Этапирован в ссылку, на край света, куда Макар телят не гонял, но, Боже мой, ведь это не смерть. И ведь находились люди, которые его видели. Прав был этот полковник: страна-то колоссальная.

Сколько людей в этой стране кажутся живыми, а на самом деле мертвы. И сколько людей исчезает, а на самом деле где-то живут. Числятся мертвыми, списаны, похоронены, а сами живут: в полувымерших деревнях, в каких-нибудь таежных поселках, на приисках, у бывших старообрядцев, под другим именем, с новым паспортом. Где-то существуют, где-то бродят.

Надо верить – она это твердо знала. И тогда сбудется. Если (как утверждал один писатель) у каждого народа есть свой любимый образ, свой исторический универсальный символ, как, например, у англичан палуба корабля, у немцев лес, у голландцев дамба, у евреев шествие по пустыне, то символом и образом этой страны будет, конечно, дорога. Туранские журавли видели под собой не только тайгу и великие реки, они видели змеящуюся дорогу. Бесконечный тракт, по которому ныряет в разливах луж кибитка с фельдъегерем, по которому бренчит колокольчик почты, по которому ползет цыганский обоз. Шагают в снегу французы, вязнут в колдобинах немецкие бронетранспортеры, плетутся по обочине бабы и нищие. Разбитая грузовиками, разлившаяся, как река, дорога с шаткими бревнышками мостов, с белыми столбиками по краю оврагов, сосущая душу, тускло поблескивающая и манящая вдаль: бросить все, махнуть на все рукой, подтянуть заплечный мешок – и поминай, как звали.

VI. ШУРА, или ВОЖДЕЛЕНИЕ

Судьба играет человеком, как поется в песне, а вернее сказать, судьба выстраивает нашу жизнь, как романист – свое повествование: исподволь завязывается интрига, копящая подробности, на первый взгляд малозначительные, рассказываются вещи, единственное назначение которых – отвлечь внимание, главное предложение несущественно, истинный ключ к дальнейшему скрыт в придаточном. Правила жанра запрещают автору прямо сказать, куда он клонит. Так и судьба зарывает свои намерения в

ворохе обстоятельств, вроде бы не имеющих отношения к делу. Жизнью правит канон криминального романа; лишь добравшись до последней страницы, начинаешь понимать, что все было подстроено.

Судьба... Пожалуй, слишком громкое слово. Случай? Тоже не объяснение; случайности – это маски, которые надевает судьба. С ромашками и кульками Илья Рубин вошел в отделение; палата находилась в конце коридора; он приоткрыл дверь, едва не столкнувшись с дежурной сестрой. Она выносила никелированный штатив с пустой капельницей. В палате было восемь коек, по четыре с каждой стороны, и еще две раскладушки с прибывшими ночью стояли в проходе. Женщины лежали или сидели, одна больная мыла посуду в умывальнике. Раскладушка матери находилась ближе к окну. То, что ее поместили в общую палату, было хорошим признаком, но он привык к тому, что хорошие признаки чередовались с плохими, привык обманывать сторожей-гардеробщиков, являясь в неположенное время, и очкастых старух в окошках регистратуры, привык к лестницам и названиям отделений – первая хирургия, вторая хирургия, неврология, терапия, – к стуку тазов, скрипу каталок, к ковыляющим по коридору пациентам в больничных тапочках и халатах из застиранной байки, к запаху дезинфекции, старости, скуки и нищеты. Посидев возле матери положенное время, он вышел переговорить с врачом, заранее зная, что ему скажут. Темноглазая сестричка, дитя Золотой Орды, снова попала ему; с лотком, прикрытым марлей, она спешила по коридору, в лотке катались шприцы. Перед уходом он услышал в комнатке рядом с кухней голос старшей сестры и голос, пытавшийся возражать, ее голос, и присел на минутку рядом с ее столиком в коридоре. Она вышла, утирая слезы. Он спросил, что случилось. «Так, ничего», – сказала Шурочка и засмеялась.

Невысокие женщины выглядят еще моложе, пока они молоды. Несомненно, она была старше, чем казалась, ее имя выражало запоздалую, затянувшуюся юность, лоб прикрывала смоляная челка, высокий накрахмаленный шлем имел целью увеличить ее рост, глаза подведены, грудь подчеркнута тесно запахнутым белым халатом, в ней было какое-то раздражающее очарование. Как будто при ее появлении вам надавливали на некую тайную железу. Прошло несколько недель. Однажды они столкнулись внизу в вестибюле. На ней было пальто в талию с круглым беличьим воротничком, модным в те годы, и меховая шапочка. Вместе ехали в лифте. В другой раз он пришел поздно, после ужина, за столиком на мужской половине сидела другая сестра. Он побыл с матерью, покурил на лестничной площадке, было тихо, пусто; он вернулся, в коридоре горели матовые шары, слышался шелест лифта, стукнула железная дверь на верхнем этаже. Случайно или повинувшись смутной надежде, он толкнулся в дверь без таблички, рядом с кухней, это была узкая комната без окна, где стояли

шкафчики для одежды, у стены напротив двери помещался хозяйственный столик и висело зеркало. Он увидел ее со спины и увидел ее лицо в зеркале, она стояла перед столиком, подняв локти, ее пальцы на затылке заправляли колечки темных волос под белый колпак; она смотрела на себя и на входящего.

Она привсталала на цыпочки, слегка повернув голову, держа руки на затылке, отчего короткий халат приподнялся, обрисовал талию и небольшой круглый зад; эта подробность – девушка в босоножках, с напрягшимися икрами – отпечаталась в памяти, в это мгновение, собственно, он и вошел в комнату, неслышно прикрыл за собою дверь; и, глядя в зеркало, опустив руки, она произнесла:

«Сюда заходить не положено».

Илья Рубин смотрел на ту, смотревшую из зеркала, и на эту, которая стояла к нему спиной и поправляла волосы на затылке, и ему казалось, что комната и ее отражение поменялись местами: настоящий мир находился в провале стекла, а здесь было нечто мнимое; здесь надо было что-то говорить, произнести какую-нибудь чушь, необходимую для сближения, а там существовал язык взглядов, полный глубокого смысла, там они были рядом, она стояла, поправляя что-то на затылке, отчего обнажились ее руки и поднялась грудь, и смотрела прямо перед собой, он – за ее спиной, нечто лохматое и чернобородое; она опустила руки, одернула белый халат, Илья Рубин перевел взор на ту, что стояла к нему спиной, и в зеркале ее глаза, темный мед, в котором была подмешана капля татарской крови, следили за его блуждающим взором, она оглядывала себя сзади его глазами и, вернувшись в зеркало, видела себя спереди, свою прелесть, и задумчивость, и темную печаль, и погрузилась в нее. Она вздохнула. Ее ладони медленно прошлись вдоль груди и талии. Чувство, ею владевшее, было возможно только в присутствии мужчины, ничего подобного не могло бы происходить, если бы она прихорашивалась дома одна, но это чувство совсем не было желанием заполучить его, он был ей не нужен, а скорее возвращалось, как немое признание двойника в стекле, к ней самой; необъяснимое вожеление к собственному телу охватило ее, и, уронив руки, легко вздохнув, она переступила с ноги на ногу и сказала, глядя в зеркало:

«Нечего вам тут делать. Посторонним входить не положено».

Что-то в этом роде произнесли ее губы.

Он молчал.

«Посетительский час окончен».

«У меня пропуск», – возразил Илья.

«Какой такой пропуск, больные уже спят».

«Мне зав отделением дала, круглосуточный».

«Ну и нечего тут торчать! – сказала Шурочка, поворачиваясь к нему. – Здесь служебное помещение».

Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы выйти, а чтобы плотней прикрыть дверь.

«Вы что, не слышите? Сюда посторонним вход воспрещен».

Что-то было потеряно, оба вышли из Зазеркалья, где они были вместе. Что-то рисковало уйти в песок, и мотор знакомства работал на холостых оборотах. То, что она говорила, предназначалось лишь для того, чтобы мотор не заглох. Оба почувствовали это; самовлюбленность женщины исчезла, и с ней ушла ее независимость; исчезла магия, оба поняли, чего они хотят, и все, что они делали, строгий тон барышни, игривая небрежность кавалера, – все это должно было заглушить легкое разочарование, помочь освоиться и вернуть счастливую инерцию сближения, когда ничего от тебя не требуется и все происходит само собой. Но зачарованного мира по ту сторону зеркала уже не вернуть.

«Некогда мне с вами лясы точить», – проговорила Шурочка и попыталась выйти из комнаты. Вернее, выпроводить его. Наступило замешательство, несколько наигранное, оба стояли перед дверью.

«Шу-у-ра», – проворковал он.

«Какая я тебе Шура? – сказала она грубо. – Я на работе. Пустите; некогда. Привыкли рукам волю давать...»

Свет в больничном коридоре был потушен, горели только настольные лампы под черными колпаками на двух постах дежурных сестер, на мужской и женской половине. Было, вероятно, не позже десяти часов вечера, но казалось, что уже глубокая ночь. Изредка звонил телефон, слышалось глухое погромыхивание лифта, шаркали шаги, кто-то плелся в уборную, ангел смерти курил на лестничной площадке, и дежурный врач дремал в ординаторской за своим столом, перед папками с историями болезни. Шурочка поднялась со своего места, неслышной поступью прошла по коридору, мимоходом отперла ключом кабинет заведующей отделением, но не вошла, ключ остался в скважине, она заспешила дальше, в конце коридора над дверью палаты мигала лампочка: вызывали сестру.

Инстинкт обладает свойством воплощаться в предметы, он больше уже не в нас, он принес себя в жертву; он прячется в потемках вещей, как насекомое, в складках портьеры; он прикинулся книжкой, ключом, ароматом духов, часовой стрелкой, забытым носовым платком, принял правила, навязанные нам нашей гордостью, стыдом, традицией, воспитанием, но на самом деле это его собственные правила, он их установил; он удалился, чтобы управлять нами на расстоянии. Прошло двадцать, сорок минут, прошел час, нужно было набраться терпения, наконец дверь приоткрылась: она. «Кто это вам разрешил сюда заходить?» – спросила она надменно. Он ответил: «Дежурный врач». Это была ложь, но ложь по правилам. «Это кабинет заведующей, – сказала Шурочка, – что вам здесь надо?»

Илья Рубин сидел в служебном вращающемся кресле, спиной к зашторенному окну, перед ним горела настольная лампа и лежали бумаги, словно он был начальником, а она подчиненной. Это избавляло ее от необходимости немедленно уйти. Ключ от кабинета лежал на столе, она потянулась за ключом. Рубин поймал ее руку. Шурочка попыталась вырваться, он держал ее запястье и потянул к себе, она неохотно придвинулась. Она стояла, упираясь низом живота в край стекла, которым был покрыт стол. Рубин разглядывал ее ладонь, и она тоже смотрела на свою ладонь. «Сейчас узнаем всю твою жизнь». Она вырвала руку. «Испугалась?» – сказал он. Она отступила на два шага. Илья взглянул на нее иронически-вопросительно, забарабанил пальцами по стеклу. Она медлила, очевидно, ждала, что он встанет из-за стола. Он барабанил пальцами. Она вздохнула, пожалала плечами и повернулась к двери, возможно, рассчитывая, что он подкрадется сзади. Илья сидел за столом.

«Ладно, – сказала она, – поиграли, и хватит».

Она приблизилась, чтобы взять ключ. В эту минуту шаги прошеле-тели в коридоре, кто-то медленно прошел мимо кабинета. Илья Рубин смотрел на Шурочку, прижав палец к губам. Она озабоченно взглянула на него, он кивнул еле заметно. Вещи были их союзниками. Ключ проник в скважину. Из коридора не доносилось ни звука. Неслышно повернув ключ, Шурочка заперла дверь, и вдруг раздался звонок, на столе дребезжал телефон.

Шура бросилась к столу, но он сам поднял трубку, подержал и положил на рычажок. Оба смотрели на черный аппарат. Телефон снова зазвонил. Илья взял трубку, произнес басом:

«Але. Нет. Вы ошиблись».

Он сделал знак Шурочке, она приблизилась; там продолжали говорить, он поманил ее еще ближе, как будто хотел передать ей трубку, она обошла стол кругом. Вещи были посвящены в их заговор, но сами они как будто не знали о нем и все происходило ненароком; получилось даже, что телефон зазвонил весьма кстати; Илья прижимал к уху трубку, другой рукой обнимал Шуру за талию, она старалась сбросить его руку.

«Вам дали старый номер, – сказал он. – Номер сменился. Нет. Не знаю».

Он положил трубку и указал ей пальцем на провод. Она усмехнулась, присела на корточки в узком пространстве между стеной и креслом, вырвала вилку из розетки. Оба засмеялись, теперь ей некуда было деться, путь отступления был отрезан. Илья тянул ее к себе, кресло крутилось под ним то вправо, то влево, волей-неволей пришлось сесть к нему на колени. Он протянул руку, нашарил выключатель и потушил лампу.

Поцелуи и необходимая борьба отвлекли ее внимание, рука мужчины проникла под халат, пальцы отколупывали пуговицы между лопатками. Она повела плечами, оттого ли, что не давалась или чтобы помочь ему,

руки соскользнули вниз, он держал ее за мягкие прохладные бедра, больше ничего на ней не было, и он обрадовался этой предусмотрительности. В темноте они сидели лицом друг к другу, словно индийские божества, кресло медленно поворачивалось, он увидел лунный блеск ее глаз, и его охватило счастье, глупая радость мужчины от того, что на ней ничего нет, что там вообще ничего нет, прохладная кожа, шелковистый тайник, нежная раковина и больше ничего.

Невзоров (о родителях которого известно немного, о предках вовсе ничего, разве что можно предположить, что шесть или семь столетий тому назад заезжему ордынцу пришлось на ум потребовать от мужика, чтобы тот уступил ему место возле бабы на лежанке), Невзоров, одиннадцати лет от роду, был раскулачен, ехал несколько суток в товарном вагоне с отцом, матерью, бабкой, братьями, грудной сестренкой, с соседями, кумовьями, с неизвестными лихими людьми, с уймой всякого народа, в дороге потерялся, был снят с другого поезда, скрыл происхождение, сбежал из детдома, добрался до Тулы, где проживала дальняя родня. В Туле учился в ремесленном училище, потом служил в армии, вернулся, работал, пил понемногу, родил сына и дочку. Город Тула, как знает всякий, издавна славился оружейным и самоварным производством; и сам Невзоров, когда его спрашивали, мастер ли он, отвечал с достоинством: «Около мастеров». «Что там Москва, – говорил он, – вот у нас...» Для него Тула всю жизнь оставалась большим городом. Для Шурочки же, с тринадцати лет мечтавшей попасть в столицу, Заречье да и весь город были дырой, наводившей тоску и скуку; то ли дело шагать легким шагом, в воздушном платье, на каблучках по чистым, широким, солнечным улицам и встретиться невзначай глазами где-нибудь на перекрестке с элегантной дамой в шляпе, с седеющими висками, в заграничном каком-нибудь макинтоше и пройти мимо; или с капитаном дальнего плавания. Дальше ее фантазия не загадывала, прелесть этих видений состояла именно в их незавершенности. Все должно было совершиться по ее желаниям и мимо ее воли, само собой. Шурочка верила в уличную легенду, согласно которой мать ее, беременная, загляделась на прохожего цыгана; несколько раз она испытала свой взгляд на мужчинах, на ребятах в фельдшерско-акушерском училище и убедилась, что он обладает магической губительной силой.

В пятнадцать лет Шурочка считала всех двадцатилетних перезрелыми девами, в двадцать лет считала старухами всех двадцатипятилетних. Она страдала из-за своего невысокого роста, но успокоилась, увидев в одном фильме актрису, которая на две головы была ниже своего кавалера, отчего выглядела даже еще соблазнительней. Она дала себе слово, что выйдет только за москвича, жадно слушала рассказы о фиктивных браках, дело верное, говорили ей, и не надо даже знакомиться – просто сходить с ним в загс, потом прописаться, а остальное уладят опытные люди; одна

подруга так и сделала, теперь живет в Москве. А развестись нетрудно. Шурочка даже начала копить деньги. Но тут выяснилось, что существует лимит для медсестер в новые больницы на окраинах.

Она была способной и прилежной девочкой, мечты о капитане дальнего плавания давно уже казались ей смешными, вопрос был в том, как устроить жизнь; учеба доставляла ей удовольствие; она окончила училище лучше всех и могла бы по пятипроцентной норме поступить в медицинский институт, как и советовал ей один преподаватель, но поступить можно было только в Туле. Этот преподаватель пришел провожать ее на вокзал, стоял в сторонке, пока она прощалась с родными, а потом вошел в вагон и стал умолять ее остаться. Поезд тронулся, а он все еще обнимал ее, плакал и говорил, что оставит жену.

В вагоне, сидя у окна (на полке лежали ее чемоданы), Шура взглянула на свое сумрачное отражение среди полей и перелесков, увидела свои блестящие заплаканные глаза и низкую челку; так, моргая неумело накрашенными ресницами, всхлипывая и сморкаясь, она ехала навстречу своему будущему, оставив другое будущее в Туле; ей было жалко Заречья, жалко преподавателя и жалко саму себя. «И куда потащилась?» – думала она. Поезд остановился на первой станции, там ожидала, готовясь к штурму, толпа на перроне, люди ворвались в вагон, но уже и так все места были заняты, и на каждой следующей станции повторялось то же, никто не вылезал, а входили, напирали и втискивались все новые пассажиры. Великий город, еще невидимый за горизонтом, всасывал в себя потоки машин, к нему тянулись товарные составы, телефонные провода и чернильные тучи; все несло к Москве, и уже мелькали пригородные платформы. И когда наконец она вышла с толпой, неся в обеих руках багаж, на залитую дождем платформу Курского вокзала, она уже не испытывала сожаления, а только голод, усталость и возбуждение.

Первые дни она ночевала у подруги, той самой, которая вступила в фиктивный брак, после развода подруга разменялась и жила теперь в комнатке на окраине, где-то работала, постарела; хотя у Шурочки было направление на работу, оказалось, что на места в общежитии очередь; ее прописали условно, ей приходилось ночевать то у подруги, то в больничном отделении, после дежурства она отправлялась на поиски жилья, улаживалась с какими-то хозяйками, снова искала, отбивалась от сомнительных приглашений, одно время снимала угол за городом. Постепенно все устроилось. Была ли она довольна?

Она говорила себе, что «не видит Москвы». Та столица, о которой она мечтала, оказалась чем-то неуловимым; счастливая, легкая жизнь была рядом – и оставалась недостижимой. Между тем она чувствовала, что достигла своей лучшей поры. Или теперь, или больше уже никогда, «поезд уйдет», через несколько лет она состарится.

Шура Невзорова обладала тем, что по справедливости следует признать преимуществом многих женщин. Раздвоение духа и плоти – достояние так называемого сильного пола, его проклятие и его спасение, ибо цельный мужчина, право же, чаще всего идиот. Тогда как женщина способна приблизиться – без риска остаться примитивным существом – к идеалу цельного человека. Но если мы дышим легкими, двигаемся при помощи сухожилий и мышц, фантазируем оттого, что у нас есть мозг, то что нам мешает предположить, что дело обстоит как раз наоборот: что мозг – орудие мысли, тело – инструмент души; что, наконец, продолжение рода не функция органов продолжения рода, но сами эти органы вместе с проводящими путями спинного мозга и высшими нервными центрами подведомственны некой стоящей над ними воле. И что в конце концов речь идет даже не о том, что чему подчинено, но речь идет о чем-то едином, о двух проявлениях одного и того же. Эта теория как нельзя лучше подходила к Шурочке: ее тело было ее душой. Душа жила во всех уголках ее тела, а не только в мозгу, была, так сказать, представлена всей ее плотью, душа – это и была плоть, и чувство стеснения и стыда за свое естество, чувство, что ты заключен в свое тело, как в клетку, что некуда деть руки и ноги, мучительное чувство неловкости, так часто преследующее молодых людей, было Шуре попросту незнакомо; когда она шла по улице, то каждой клеточкой кожи, от кончиков пальцев до сосков, ощущала себя единым существом, каждым мускулом и каждым изгибом откликалась на провожавшие ее взгляды; отовсюду глядела и отзывалась ее душа. Можно сказать, не рискуя впасть в преувеличение, что она в такой же мере думала своим телом, как и мозгом, рассуждала с помощью стана и бедер, как мужчина рассуждает головой. Поистине она была существом одухотворенным с головы до ног, и если она пришла к убеждению, что тело было ее единственным капиталом, если она это чувствовала, строила на этом все свои надежды, кто посмел бы ее упрекнуть?

Из сказанного, однако, не следует, что ее поступками всегда и безусловно руководил расчет. Так же как нельзя заключить, что она всегда и во всем была рабой своего «низа». Что такое «низ»? Опыт научил Шуру быть осмотрительной, но то, чего ей хотелось, было всем сразу и ничем в отдельности. И любовь, и деньги, и хороший человек, если попадется. И чтобы можно было развлечься, и чтобы оставался запасный выход.

Не в том дело, что влечение, как судьба, ведет желающего и тащит упрямого; что оно командует разумом и нашептывает разуму его софизмы, топчет совесть, извиняет порок, обесценивает добродетель, что влечение рождается вместе с нами, просыпается вместе с пробуждением души, и если душа бессмертна, то она останется, должна остаться такою же и в потустороннем мире, и там ею тоже будет владеть влечение, и там придется вожделеть – кого? Не в этом дело. А в том, чтобы спросить се-

бя, что все это значит. Где кончаются сумерки, начинается день, что такое подвал души, где он, собственно, расположен; что такое инстинкт, что такое разум. Мы находимся во власти грубой предметности, нами владеет анатомия, мы сравниваем ее с домом, мысленно совершаем восхождение по его лестницам и в конечном счете находимся в царстве метафор; мы толкуем о пространстве и архитектуре, рассуждаем об этажах души, об уровнях психики, между тем как то, о чем идет речь, едино, и разум становится разумом, лишь когда сознает себя, лишь когда он спохватывается, что он разум, и влечение перестает быть инстинктом, как только вспоминает, что оно инстинкт. Мы находимся во власти языка. Можно было бы утешаться мыслью, что литература смеется над этой властью и обманывает язык, переводя, так сказать, все пункты вероучения в конъюнктив; литература говорит: допустим, что это так; возможно, что это совсем не так; и не исключено, что это и так, и не так. Да, можно было бы воспользоваться этой лазейкой и, оставаясь внутри языка – куда же нам деться? – ускользнуть из-под его ига. Но мы пишем хронику, а не роман.

Шура (возвратимся к ней) не помнила, когда они познакомились, это произошло само собой. Во всяком случае, это было уже после того, как она окончательно рассталась со своим непутевым мужем. Она заметила, что бородатый и чернокудрый, с зубами, как у коня, не внушавший ей ни малейшей симпатии, стал часто попадаться ей на глаза. Иногда можно безошибочно почувствовать, выпив рюмку, как тонкая иголочка алкоголя вонзается в мозг, но это совсем еще не опьянение. Можно почувствовать, как что-то на одно мгновение чуть-чуть сжалось где-то внизу, но это еще не желание. Так было, когда он вошел в комнатку для персонала.

Она стояла перед зеркалом, краем глаза видела в глубине его джинсовую куртку, он прикрыл за собой дверь, она что-то сказала, дескать, нечего здесь торчать, могут войти и сделать ей замечание, зачем она пускает в комнату посторонних. В это время она прикалывала накрахмаленный медицинский колпак двумя заколками на висках и вправляла колечки волос на затылке. Между тем его лицо росло в зеркале, она слегка встревожилась, покосилась на гостя через плечо, он стоял на прежнем месте. Шура почувствовала разочарование, он ее совершенно не интересовал, и, если бы он повернулся и вышел, она забыла бы о нем в ту же минуту; тут ей пришло в голову, что с ним можно было бы поиграть – так, от скуки. И она сделала мимолетное движение, как бы подала знак, привстала на цыпочки, держа по-прежнему руки на затылке, и слегка покрутилась перед зеркалом. Она любовалась собой и, поглядывая на него в зеркало, чувствовала себя погруженной в его взгляд, и ей было приятно думать, что она все еще молода, и одинока, и совершенно ни от кого не зависит; все это продолжалось несколько мгновений, он смотрел сзади на ее ноги, и, собственно, ничего больше не произошло; она бы и не вспомнила об этом эпизоде, если бы он исчез.

Шура хотела выйти из комнаты, тут он почему-то решил, что надо действовать, и она решительно поставила его на место, но вечером, увидев, что бородатый все еще околачивается в опустевшем отделении, как-то вдруг решила его ободрить, разумеется, в шутку, мельком взглянула на него, на минутку задержалась перед кабинетом заведующей. Она опустила ключ от кабинета в карман и побежала дальше по коридору в палату, над которой моргала сигнальная лампочка. Немного позже она решила сходить в хирургию за перевязочным материалом. Идти туда было необязательно, хватило бы до завтра, и вообще это было обязанностью старшей сестры, тем не менее она вышла на лестничную площадку, у окна стоял полупрозрачный юноша в сандалиях, с белыми крыльями за спиной, это был ангел смерти, она зажмурилась и сбегала вниз по лестнице; через несколько минут она вернулась в отделение.

Шура не забыла, что она отперла кабинет и, поджав губы и качая головой, направилась в комнату для переодевания, где произвела некоторые перемены в своем туалете; все это делалось как бы нехотя. На всякий случай. И все это было совершенно не нужно, а, с другой стороны, почему бы и нет. Она чувствовала, что скользит туда, где все заканчивается одним и тем же, но ей приятно было думать, что она остается хозяйкой положения и в любой момент может остановиться. Поэтому она продолжала скользить. Сколько-то времени она просидела за столиком в коридоре, медлила, перелистывала журнал назначений, вынула из ящика роман о шпионах, сунула назад, наконец, поднялась и подошла к кабинету заведующей. Где-то наверху хлопнула дверь лифта, кабина с шорохом проехала вниз. Послышался шелест сандалий, она оглянулась. Прозрачный юноша вошел в отделение, и ей показалось, что он поднял руку, как бы подал знак, чтобы она не беспокоилась, и медленно приложил палец к губам. Но остановился, очевидно, передумав, и повернул назад. Она смотрела ему вслед. Стекланные половинки дверей на лестницу все еще покачивались. Шура стояла, задумавшись, перед кабинетом; висела мертвая тишина; тут она заметила, что в скважине нет ключа, сунула руку в карман халата, и там тоже не было ключа. Она взялась за ручку двери, ручка опустилась сама собой, дверь была открыта. Шура вошла в кабинет и увидела, что он сидит в кресле заведующей и на столе лежит ключ.

На самом деле, конечно, она хитрила сама с собой, говоря себе, что оставила по забывчивости ключ в скважине; и, когда она бежала вниз по лестнице в хирургическое отделение в своих босоножках, легким, пружинистым шагом, точно ей было восемнадцать лет, когда она прыгала по ступенькам, она знала, что ключ в скважине был знаком, который она ему подала, и что он ждет ее в кабинете, и думала, почему бы и нет, и думала, что она прелестна, и эта мысль наполняла ее восхитительным томлением. Минут через десять она вернулась, прижимая к груди никелированный

бикс, поднялась по лестничному маршу, не обращая внимания на белого юношу, который стоял спиной к окну и смотрел на нее, его крылья загородили стекло; она даже не взглянула на него. Толкнула стеклянную дверь и вошла в свое отделение; тот, кто сидел в кабинете, все еще маячил на горизонте ее мыслей, но музыка вожделения стихла, и авантюрный восторг прошел. «Ничего, – думала она, – подождет, куда торопиться». С этой мыслью она зашла в комнатку для персонала и сняла с себя кое-что лишнее – на всякий случай, – но твердо знала, что лишь заглянет к нему в кабинет и больше ничего. Она отнесла бикс в перевязочную и улеглась на свой пост за столиком в коридоре, она думала о своих делах, о завтрашнем дне, о покупках и очередях, мысли ее разбрелись. «Подождет», – подумала она и вынула из ящика шпионский роман. Время шло, тишина и сон обьяли отделение, изредка погромыхивал лифт, вдруг ей пришло в голову, что никого в кабинете заведующей нет, он давно ушел, а она Бог знает что себе насочиняла. «И прекрасно», – сказала она вслух. Ей было досадно. Она совершенно не думала о Рубине, а думала: сколько упущено возможностей, а молодость между тем проходит.

Ей вспомнилось, как однажды, это было в самое первое время, ей сказали, что отец приехал и ждет ее внизу; она решила, что дома что-то случилось, но там сидел (на деревянной скамье, согнувшись, упирався локтями в колени, опустив голову, так что она видела только его шляпу) не отец, а преподаватель училища, и ей стало стыдно, что она живет в грязном общежитии; было утро, он приехал с ранним поездом, Шура только что вернулась с дежурства, была усталой и некрасивой; остановилась перед ним, не зная, что ему сказать; они поднялись к ней в комнату, где стояло шесть коек с тумбочками, посторонних впускать не разрешалось, но можно было считать, что он ее отец; потом вышли из общежития, дождались автобуса, долго ехали и после весь день бродили по неизвестным улицам, катались на метро, ели мороженое и сидели в каком-то сквере. Шура ждала, что он скажет ей что-то окончательное, то, ради чего он приехал, но он говорил только о том, что у него никого не осталось в жизни, кроме нее, с семьей полный разлад и что он только о ней и думает. Почему же ты не уйдешь от них, хотелось ей спросить, но она ждала, что он сам скажет. Здесь уже было не так, как в Туле; здесь они были на равных, и даже бросилось в глаза, что он приехал из провинции, а она столичная штучка: в модном пальто, с лакированной сумочкой и в чулках телесного цвета со стрелками; она даже стала говорить ему «ты». Ноги устали; когда оба они сидели в сквере на скамейке, Шура выпростала ноги из туфель, он отодвинулся, она положила ноги на скамейку; она смотрела на человека, сидевшего по ту сторону клумбы в тени, это был старик в меховой шапке и в пальто с поднятым воротником, несмотря на то, что уже установились теплые дни; кое-где, правда, остались островки грязного снега. Преподаватель училища грел в ладонях ее

ступни в блестящих чулках, гладил ее ноги, сначала икры, потом колени. Наконец он сказал:

«Мы должны выяснить отношения». «Какие отношения?» – спросила она. Он сказал, что остановился у дочери, оказалось, что дочь тоже работает в Москве; предложил зайти к ней. Шура отказалась, ей было неприятно, что он заговорил о дочери, которая была старше Шуры. «Там сейчас никого нет, – возразил он, – оба уехали и оставили мне ключи». Она ответила: «Тем более не пойду». «Почему?» – спросил он. «Не пойду, и все». И сейчас ей казалось, что она упустила возможность, казалось странным, что она предпочла солидному преподавателю своего беспутного мужа, который тогда только начал подбираться к ней и только и сумел что сделать ей ребенка; а главное, ей казалось странным и нелепым, почему она колебалась и разыгрывала недотрогу, ведь все это так просто.

С этой мыслью она встала и, вздохнув, направилась в кабинет заведующей.

Мать Ильи, Берта Владимировна, лежала в проходе между койками, в последней палате женского коридора, и слушала фантазию до мажор Шумана, которую играла ученица. Вещь была девушке совершенно не по силам, она не только неспособна была понять смысл этой музыки, изумительное соединение страсти и мужественной мысли, но попросту перевирала целые пассажи, пропускала такты, не играла, а барабанила и при этом лежала на койке, ногами к раскладушке учительницы, и даже похрапывала время от времени. Как-то так получалось, что все происходило одновременно: ученица лежала в палате наискосок от нее и играла на старом инструменте, занимавшем чуть ли не всю комнату, сама же Берта сидела рядом, переворачивала ноты, морщилась и терпеливо выносила ужасное исполнение, чтобы уж потом сразу высказать все свои замечания. Другие женщины в палате, очевидно, были тоже ее ученицами, но она не спрашивала, почему они явились раньше времени, почему очутились здесь, надо было дожидаться, когда закончится отвратительная, неумелая, до ужаса бездарная игра. Вдобавок оказалось, что рояль был расстроен, вероятно, оттого, что его перевозили и втаскивали на шестой этаж, поэтому она приняла сразу два решения: во-первых, она не будет ничего объяснять, просто скажет, что прекращает уроки. Скажет, что с такими данными продолжать занятия бессмысленно. Во-вторых, она вообще прекращает преподавание, так как теперь, когда приходится больше времени проводить в больнице, чем дома, все лишилось смысла. Ученица встала с постели, это была старая женщина с седой косичкой, протиснулась между спинкой кровати и раскладушкой, почти задевая лицо Берты Владимировны подолом рубашки, и потянула за шнурок, чтобы закрыть фрамугу. «Позовите сестру», – сказала Берта. Больная ничего не ответила, улеглась и натянула на себя одеяло. «Разве

это так трудно? – продолжала Берта Владимировна. – У вас над головой кнопка вызова. Достаточно только протянуть руку. Хорошо, – сказала она, – я потерплю. Только, пожалуйста, не храпите». «Все спят, – проворчала больная, – тебе одной не спится». «А знаете почему?» – спросила Берта. «Не знаю и знать не хочу». «Я умираю, – сказала Берта, – попросите, чтобы вызвали сына». «Небось не помрешь. Старое дерево век скрипит». «Вы так думаете? И почему вы так грубо со мной говорите?» В полутьме послышался скрежет кровати, ворчливый голос ответил: «Чего это грубо? Нормально разговариваю, как все». «Я... Мне...» – сказала Берта Владимировна и забыла, что хотела сказать. «Сама не спишь и людям мешаешь», – сказала больная. Берта хотела сказать, что надо немного потерпеть, музыка кончится, и она умрет, но промолчала. После этого прошло сколько-то времени, и голос соседки спросил из темноты: «Ты чего? Ты куда? Ты, может, пописать хочешь?» Берта молчала. «Да ты куда собралась, куда собралась?..» Берта Владимировна стояла посреди палаты, держась за спинку чьей-то кровати. Вторую раскладушку убрали накануне вечером, образовался свободный проход.

«Давай-давай, ложись, а то простудишься», – приговаривала больная, держа Берту под мышки. Берта Владимировна уцепилась за спинку кровати и не спускала глаз с двери. «Ложись, спи, – сказала соседка. – Ишь, разгулялась. Мне, бывает, тоже разное снится. Потом думаю: “Господи, кто ж это был?” Нет там никого, ложись. Может, я и сама тебе тоже привиделась». Дверь в палату была раскрыта настежь, и там стоял мужчина в белом, вероятно, дежурный врач.

В эту минуту (она снова лежала на раскладушке, в палате горел свет, стоял штатив с капельницей, сестричка искала вену, похлопывала пальцами по локтевому сгибу) Берта Владимировна почувствовала, что никогда ее мысли не были так отчетливы, никогда она не оценивала так ясно и трезво свою ситуацию. Она вздрогнула, когда сестра вколола ей иглу в тыльную часть руки, но кровь не шла из иглы, пришлось вынуть иглу, сестра хлопала ее по руке, снова протерла кожу холодным спиртом, снова вколола, это были бесполезные хлопоты. Берта Владимировна перестала обращать на них внимание, ее мысли были ясны, как никогда, Берта была спокойна, как может быть спокоен человек, освободившийся от всех надежд и иллюзий, и сказала:

«Ты не представляешь себе, сколько я написала заявлений».

Дежурный врач наклонился над ней, видимо, не расслышал.

«Сколько порогов пришлось обить, – продолжала она, – ты даже не представляешь. Чтобы наконец-то получить ответ».

«Что же это за ответ?» – спросил он.

Она усмехнулась. «Нельзя сказать, что я так уж сразу и поверила. Одного я не понимаю, зачем они меня водили за нос столько лет...»

«Значит, все-таки поверила».

«Как тебе сказать. Все же, как ни говори, авторитетная инстанция».

«Тут какое-то недоразумение», – сказал врач, у которого под расстегнутым халатом была полувоенная форма: темно-синяя гимнастерка, широкий ремень, галифе. Он был в сапогах.

«Сделайте еще раз кордиамин», – сказал он сестре.

«Нет необходимости, – сказала Берта презрительно. – Извини, я перебила. Какое недоразумение?»

«А такое, что они тебя снова обманули».

«Я тоже сначала так думала».

Он стал ей объяснять, что, с одной стороны, это верно, он действительно был приговорен к высшей мере, за что – это сейчас уже не имеет значения, и приговор приведен в исполнение, тут уж, добавил он, ничего не поделаешь. Но это было давно, теперь законность восстановлена. Он улыбнулся.

«Как видишь, все в порядке, я жив и здоров. И даже вот...» Он запахнул халат, у него оказался орден над карманом гимнастерки.

«Жаль, – сказала Берта, – очень жаль, что ты так поздно о нас вспомнил».

Врач пожал плечами.

«Мне дали телеграмму, и я приехал. К сожалению, всего лишь на один день».

«Дела?» – улыбнулась она.

Он снова пожал плечами.

«И так еле отпустили. Так что, – проговорил он, – придется ему взять на себя все заботы. Я уже кое-что заказал, цветы, место с великими трудами удалось выхлопотать, вот это, – он постукал пальцем по ордену, – мне помогло! Надо будет только проследить, чтобы все было сделано, как положено. – Она снова вздрогнула. На этот раз сестра попала в вину. – Прекрасно, – сказал врач, – вколите кордиамин прямо в трубку и, пожалуйста, преднизолон».

«Если ты имеешь в виду его, то он от меня очень отдалился, и вообще это другое поколение. Особенно теперь, когда меня выселили...»

«Странно, что тебя не выселили раньше».

Берта хотела спросить: а как у тебя с личной жизнью? Он махнул рукой: дескать, не стоит об этом. Давай попрощаемся. Да, еще одно дело... Он наклонился и прошептал: я хочу тебе сказать одну вещь, очень серьезную, но только чтоб никто не слышал, это секрет. Между нами... Он продолжал шептать ей на ухо, но она не могла понять. Что такое, сказала она, говори громче. Какие еще секреты, теперь уже и так все ясно. Отойдите прочь! – крикнула она. Дайте мне наконец побыть наедине с моим мужем. Мой муж приехал, неужели вам надо объяснять? Тут вот какое дело, шептал он и дышал ей в лицо, я думаю, тебе пора об

этом узнать... Я ничего не слышу, говори громче. Невозможно было понять, что он там бормочет. Она собрала все силы и стала подниматься. Ну вот, сказал он, теперь ты все знаешь. Что, что? – спросила она, говори громче, а вы все уйдете из палаты! Откройте окно, дышать нечем. И уходите, все уходите. Все послушались и ушли. Повтори, что ты сказал, я не могу в это поверить. Этого не может быть. Повтори. Что ты сказал? Но его уже тоже не было.

VII. ПРИБЫТИЕ

В памяти нашей оживает зрелище правительственного прибытия, или, лучше сказать, некое видение встает перед нашим взором. Внезапно пустеет шоссе. Ни одно должностное лицо не знает, кто прибывает, акцент не на подлежащем, а на сказуемом. Здесь годилось бы немецкое неопределенное местоимение, но в нашем языке его нет; словом, некто прибывает. Летит невидимая молва из-за лесов, где прячется аэродром; летит прямая, как игла, дорога; горит серебряный небосвод, день еще не совсем угас, и как будто даже светает: наступил таинственный, оловянный, слюдяной час. Длинный луч шарит по небу, вспыхивают лиловые молнии, переговариваются мегафоны, и вдруг утробный голос где-то рядом из-под земли обдаёт начальственным матом водителя, который замешкался со своим автобусом. Мигают молнии, приближаются фары, с оглушительным шорохом проносится отряд машин. Блестит лезвие шоссе. Все смолкло, все ждет.

И вот является новое светило, зреет ослепительная звезда. Первым в ее луче катит автомобиль с самым главным и грозным распорядителем; возможно, это начальник милиции всей столицы или всей страны; а далее – мы уже не решаемся строить догадки о том, что или кто выбирается из-за полога туч, стоит, шевеля усами огней, на горизонте, ползет, катится, приближается с плавным свистом: низко летят над шоссе длинные, лакированные, крылатые, как черные жуки, лимузины, в которых полулежит на заднем сиденье Некто – или их несколько? – тот или те, кто четверть часа тому назад приземлился на аэродроме. Но на самом деле – заметьте, что в этом и состоит вся таинственность прибытия, – на самом деле никто не приземлился и никого нет в черных машинах с темными стеклами, а есть только бдительность, секретность, оперативность, утробная брань начальств, ртутно-лиловые молнии, милицейские мотоциклы на пустых перекрестках и мистическая сигнализация в воротах Кремля. Все есть, приняты все меры, и оловянный блеск замер на небе, как некогда солнце остановилось по воле Иисуса Навина, а в машинах, кто же сидит в машинах? В машинах нет никого. Некто – это никто. Поблескивают глаза окаменелого шофера, еле заметно колышется в руках штурвал, свистит дорога, летят посты, летят заросли, чахлые рощи, поля, надвигаются

грязно-белые корпуса окраин, а позади шофера, в недрах длинного, как вагон, лимузина, на мягком диванном сиденье никого нет.

Полчаса тому назад совершил посадку правительственный самолет, прибыл в глубоком секрете один-единственный человек, на другой день газеты поместят фотографию торжественной встречи. Но была ли встреча, и кого встречали? Этого никто не знает, ни одно ответственное за порядок должностное лицо и ни одно начальственное лицо, курирующее газеты. То, что им известно, есть лишь то, что должно быть. Это и есть главный секрет: то, что в самолете никого не было, или, что будет вернее, в самолете прибыл Никто. Никто не втиснул свое обрюзгшее тело в бронированный лимузин, вернее, втиснулся Никто. Никто промчался в жужжащей веренице черных жуков над тусклым, как лезвие меча, шоссе, вдоль Ленинского проспекта, въехал в башенные ворота и подкатил к подъезду. Никто поднялся, коснувшись пальцами полей шляпы, по двум широким ступеням и вступил в мягко освещенный вестибюль. Вошел в кабинет и плюхнулся, словно живой человек, в кресло. И молвил, смежив тяжелые веки: уф! Я прибыл. Я здесь. Я здесь, но меня нет. Никто не приехал, вернее, приехал я. Я Есмь Тот, Кого Нет. Кого встречали, кому махали флажками на улицах, кого видели все и ни один человек не видел. Я есмь сущий. Кто смеет усомниться в том, что я был? Лишь тот, кто усомнится в том, что меня не было. Я тот, для которого существование и не существование – одно и то же, бытие все равно что небытие, ибо небытие – это и есть мой способ быть.

Олово дня почернело, скорей назад – мы должны успеть вернуться в аэропорт, где нас ждет еще одно и, может быть, более важное событие: другого гостя доставил в столицу мира еще один, только что приземлившийся воздушный корабль. Отъехала в сторону эмалевая заслонка, высунилось бледное личико стюардессы, и следом за ней на площадку подъездного трапа ступил один, затем другой сапог, лоснящийся, как круп вороного коня. Заметим, что на диалекте известных социальных кругов слово «кони» (а также прохоря, лопаря и так далее) как раз и означает «сапоги». Ноги в просторнейших темно-синих галифе спустились по ступенькам на столичный асфальт и, бодро шурша дорогой тканью, зашагали навстречу полярному сиянию аэровокзала. Тучный загорелый человек в тюрбанообразном кепи на бритой сиреневой голове, в пиджаке иноземного покроя и крылатых штанах, с единственным знаком отличия на отвороте – золотой звездочкой на крохотной алой колодке – промаршировал, слегка помахивая маленькими руками, в сопровождении двух, черт знает, как их назвать, соратников, царедворцев, телохранителей, чья незаметность, если можно так выразиться, бросалась в глаза. Оба сопровождающих были в габардиновых одеяниях и башмаках, в которых можно было угадать те же упрятанные в брюки вороньи сапоги. Оба в отличие от хана в фетровых шляпах. Шофер подскочил, помог

влезть в машину; минуту спустя дородный гость и сопровождающие лица покачивались на упругих подушках; экипаж летел по шоссе.

Сразу скажем, чтобы не заставлять читателя теряться в догадках, что в столицу пожаловал Председатель Верховного Совета Половецкой АССР, депутат Верховного Совета и носитель других званий. Газеты не сообщили о его визите, прибытие не было обставлено чрезвычайными мерами, что лишь подчеркивало, как это бывает в дипломатическом обиходе, реальное, а не символическое значение его прибытия. Никто был никто, даже если в обычной жизни он был Кто-то, – тогда как хан степного и предгорного края воплощал наиреальнейшую действительность. Общество, в котором Никто функционировал главным образом в качестве портрета, не было ни чиновно-начальственным, ни сословным, ни классовым, ни бесклассовым, ибо оно было всем сразу. Века смешались: феодализм, социализм – кто мог во всем этом разобраться? В некотором роде это были синонимы. В этом обществе были и сословия, и классы, и лестницы чинов, и уходящие ввысь уступы ведомств; точно так же в нем перепуталась география: Запад выглядел Востоком, а Восток напялил на себя одеяние Запада; в этом обществе существовали жреческая коллегия, верховный синклит, существовало что-то вроде шахиншаха; и подобно тому как органы управления дополняли и повторяли друг друга, политический аппарат, административный аппарат, хозяйственный аппарат, идеологический аппарат соперничали, но каким-то образом уживались друг с другом, – так и социальный организм многократно дублировал себя и отражался в самом себе. Можно было говорить о параллельных иерархиях и об иерархии иерархий; можно представить это общество как галерею зеркал.

В четырех иерархиях своего родного края половецкий хан был номер один: в партийной – это уж само собой, в феодально-национальной, в коммерческой и в уголовной. Он притяжал и на место в пятой, особо престижной иерархии, о чем будет сказано в свое время. Ироническая игра судьбы, ирония истории состояла в том, что народом, который покорил все соседние земли, управляли плебеи; Никто – если вернуться к тому, кто прибыл первым, – был именно никто, человек без роду и племени. Тогда как хан являл собой славную древность в блеске клинков и дыме пожаров. Он жил в XII столетии, восседал в шатре, на алазанских коврах, и «вкруг рой абхазянок прекрасных», и все такое, и одновременно он жил в наши дни. Он утверждал, что происходит от брачного ложа ханской дочери и грозного Святополка, от внука его, тринадцатого хана, чье войско погибло на Калке, но, что самое замечательное, он так же уверенно чувствовал себя и в нашем все на свете перепутавшем веке.

Ему принадлежали государственные магазины вместе с директорами, склады с их заведующими, ларьки газированной воды, торговые ряды на колхозном рынке и орденоносный ансамбль национальной песни и пляски со всеми его певицами и танцовщицами. Ему подчинялось многое,

его уважали весьма уважаемые люди, крупные осетры и негласные авторитеты заочно оказывали ему знаки внимания, и еще больше начальственных лиц низшего ранга охотно или неохотно считалось с его присутствием. И хотя явление половецкого хана не было обставлено такой тайной и мистикой, как прилет несуществующего правителя, – а вернее, именно потому, что оно не было овеяно мистикой, – оно было неожиданностью для всех, включая и тех, кому положено было ждать, трепетать, быть готовым в любую минуту предстать для расправы, поощрения, стратегических переговоров, увеселений и услуг.

VIII. ИНТЕРВЬЮ. ГЛАВА, КОТОРУЮ ХОЧЕТСЯ ПРОПУСТИТЬ

Хотя во всем городе о знаменитом редакторе едва ли знало полтора десятка человек – не считая, само собой, женщин и работников тайного ведомства, – он был тем не менее знаменит и оставил по себе живую память. Живую, то есть зыбкую, неверную, ненадежную, как сама жизнь; на нее, эту память, по необходимости опираются наши попытки восстановить историю Журнала или хотя бы понять, что такое представлял собой пресловутый Журнал: ведь ясно же, что никакого Журнала не было. То есть что-то было. Но что? Если многое остается непонятым, непроясненным, отчасти даже не вполне достоверным, если смысл и облик Журнала оказываются далеко не такими, как их до сих пор было принято представлять, а фигура редактора – не свободной от легендарных черт, то потому, что разные люди уснащали эту историю подробностями, которые трудно согласовать.

Так, например, существует несколько версий смерти Ильи Рубина. Говорили, что он сгорел во время пожара, во сне, в комнате покойной Берты Владимировны, вместе со всеми «материалами». Известно, однако, что он не курил. Ползли слухи, что пожар случился не без ведома тайного ведомства, но чего только не приписывали этому ведомству. Вряд ли оно было заинтересовано в исчезновении вещественных доказательств, за которыми так усердно охотилось.

Не менее романтическая версия ходила одно время среди оставшихся: арест и водворение в психушку. Там он якобы и отдал концы.

Наконец, приходилось слышать, что редактор уехал: по одним сведениям, в Америку, по другим – на Ближний Восток. И будто бы скончался от сосудистого криза в объятиях новой и чрезвычайно пылкой подруги, на каких-то коврах, среди восточных курений, под бубны и завывания библейского рок-ансамбля. Завидный конец, но как же тогда надгробье, да еще бок о бок с ханом?

Ни одна из этих легенд не может быть опровергнута. Ни чье свидетельство не заслуживает доверия (почему мы и не настаиваем на том,

чтобы эта глава была прочитана), за исключением, пожалуй, единственного документа. Историки Древнего Рима находятся в куда менее выгодном положении, своей находкой мы обязаны информационному прогрессу. Следует заметить, что уже в те годы техника записи достигла больших успехов. Лента из поливинилхлорида, покрытая ферромагнитным носителем, сочетает значительную информационную емкость с удобством хранения. Катушку легко спрятать, при обыске незаметно выбросить в окошко и т. п. Что и предоставляет нам счастливую возможность услышать живой голос Рубина: редактор отвечает на вопросы, которые, за отсутствием интервьюера, задает сам себе.

Спрашивается, почему он избрал такой странный способ саморекламы. Было ли это рекламой? Для кого, собственно, предназначалось «интервью», собирался ли он опубликовать его, причем опять же, что значит опубликовать? Мы задаем себе вопрос, суть которого в том, что письменная культура есть не что иное, как продукт внутренней потребности некоторых людей, и если это так, то не обречена ли она задохнуться? Призрачная, выдуманная жизнь, которой жили в то время люди, почитавшие себя духовной элитой, не нашла ли она свое выражение в этом нарциссизме, в этой духовной разновидности самоудовлетворения, в ржавой катушке, похожей на улитку-отшельницу, свернувшуюся в своей раковине? Читателю остается вообразить ленивый час после позднего пробуждения в башне слоновой кости. Воскресенье и, должно быть, мутный облачный день, не утро, не полдень, не сумерки; в комнате-берлоге, запущенной, как может быть запущено жилище холостяка достаточно молодого, чтобы не страдать от грязи и нищеты, и уже настолько закоренелого, чтобы ни за что не менять свои привычки, буквально нигде повернуться: все место загромождает рояль. Это старинный, славный, приобретенный в тридцатых годах «Бех-штейн». Время от времени хозяин барабанит одним пальцем по клавишам, но главным образом рояль служит письменным, кухонным и обеденным столом. Между резными ножками на полу помещается техника, весьма громоздкая, на наш взгляд, напротив рояля – продавленное кресло. Бывают вещи, непонятным образом уцелевшие после войн, пожаров, погромов, революций и набегов одичалых крестьян. Быть может, в этом кресле сто лет назад восседал его ученый прадед.

Удивительная вещь родословная; у каждого человека – два родителя, два деда, две бабки, восемь прадедушек и прабабушек; сто пятьдесят лет тому назад у каждого из нас было полтораста предков; тысячу лет назад – целый народ, а во времена Ноя над тем, чтобы мы когда-нибудь появились на свет, трудилось все человечество. Сколько женихов и невест, сколько забот и волнений, сколько семени брошено в плодоносную тьму – ради чего? Однако происхождение принято представлять себе так, как

растут деревья – ветвями кверху, и генеалогию нашего друга Рубина пришлось бы начать с Авраама, сына его Исаака и внука Иакова, уже овладевшего, по некоторым сведениям, грамотой, что и дало ему преимущество перед косматым Исавом; и далее разраставшееся потомство вступило бы в древние, поздние, последующие и средние века и дало бы начало мудрецам, которые досиделись над своими истлевшими книгами до того, что вообразили, будто из этих букв с заусеницами сотворен весь мир и от них пошла ветвь, которая закончилась нашим другом; все утеряно, кроме фанатической веры в слово. Вера в Слово! Не здесь ли кроется загадка Журнала?

Сколько-то времени проходит в мечтаниях, в созерцании мутных небес за окном, в выслушивании магнитофона, после чего босая ступня протягивается из кресла и нажимает большим пальцем на клавишу. Нажимает другую клавишу. Катушки завертелись с удвоенной скоростью, голос кастрата выдал монолог на языке, напоминающем диалект жителей древнего Юкатана.

«Моренцесса воды ресничной изницла. Танцуль звероз утанцонна! Царе-древич-склоо, упитьель изгубама, зуфра цаядь еды зублюдама. Винанец ли-ниць из уме рец»¹.

М-да, подумал редактор.

«Чирли, рли, рли, начнем, пожалуй!» – сказал магнитофон.

Начнем, буркнул Рубин.

«Мы находимся на квартире, вернее, в редакции, впрочем, какая к черту редакция, мы находимся неважно где».

Совершенно с вами согласен.

«Итак: в какой стадии подготовки находится первый номер?»

В заключительной.

«А точнее?»

А точнее, если нам не помешают, Журнал скоро выйдет в свет.

«Но когда именно?»

Скоро. Вот-вот.

«Значит, все материалы собраны?»

М-м... почти.

«Вы как будто не уверены в сроке».

Это потому, что портфель непрерывно пополняется.

«А если помешают?»

Журнал все равно выйдет.

«Каков, если можно так выразиться, объем номера?»

Значительный. Точно сказать невозможно.

«Тираж?»

¹ Стихотворение С. Сигея.

Странный вопрос. Журнал выпускает редакция, а дальше он размножается сам собой!

«Вы хотите сказать, тиражируется самими читателями?»

Если можно так выразиться.

«Скажите... А вы не боитесь?»

Рубин пожал плечами.

«Ведь должны же быть в вашей среде... Как сказал древний автор: у кого не было врагов, того погубили друзья!»

Хватит с нас врагов, Впрочем, такое предположение не исключено. Вполне возможно, что именно там находятся наши постоянные читатели.

«Где это – там?» – спросил магнитофон.

Редактор ограничился тем, что указал перстом на потолок.

«И вас это не пугает?»

Редактор поерзал в кресле. Видите ли, пробормотал он.

«Не валяйте дурака. Вы хотите сказать, что не занимаетесь политикой... Но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Разве сам по себе факт нелегального распространения, если угодно, самый феномен нелегального существования, не является правонарушением?»

Воевать с государством – не наше дело, сказал Рубин презрительно. Пусть оно идет в ж...

«Чш-ш-ш, чрлир, чрлир. Проверка записи».

Катушки вертятся в обратную сторону.

Стоп. Теперь вперед. «Чир, лир, ли». Стоп.

Воевать с государством – не наше... Пусть оно... Мы...

«Так когда же?..»

Скоро: вот-вот... А дальше он размножается сам собой. Не то чтобы очень пугает, но, конечно... А что мы такое делаем?.. Учреждение, о котором вы...

«Не мы, а вы. Мы о нем не упоминали. Мы ничего не знаем. Мы всего лишь техническое устройство. Наше дело – трли, рли, чш-ш-ш...» – Катушки завертели, далее послышалось что-то невразумительное, после чего совсем другой, грубый голос произнес:

«Красивая баба, ничего не скажешь».

Кто?

«Будто ты не знаешь! Твоя любовница».

Которая?

«Нынешняя».

Бывшая, буркнул Илья.

«Ну и дурак».

Подумаешь, сказал Рубин.

«Она тебя любит».

Чего ж она тогда?..

«А что ей еще остается? Чш-ш-рлир. А теперь главный вопрос. Не могли бы вы дать приблизительное представление об авторском коллективе? Если его можно так назвать».

У нас много авторов.

«О, как интересно! Кто же это?»

Это выдающиеся умы нашего времени. Писатели, мыслители, поэты.

«Не хотите ли вы сказать, что в Журнале сотрудничают люди, ведущие двойную жизнь?»

Есть и такие.

«Значит, есть и другие».

Угу.

«Кто же они?»

Я бы не хотел называть имена. Скажу кратко: это последние чрлир-лир-лир.

«Как вы сказали?» Чрлир-лир.

«Еще раз, пожалуйста». Могикане духа.

«Что такое дух?»

Редактор, шевеля пальцами босых ног, устремил мечтательный взор в потолок, катушки вертелись, махая оборванным хвостиком пленки; вопрос повис в воздухе, как некогда вопрос, заданный Пилатом бродячему пророку. Мы знаем, что на этом беседа окончилась, но на вопрос, что есть истина, галилеянин мог бы ответить: истина – это Я. Примерно так же мог бы возразить редактор мнимому интервьюеру: Журнал – это и есть дух.

Первое впечатление при знакомстве с делом о Журнале – а мы теперь дожили до времен, когда можно заглянуть в секретные папки, если, конечно, нас снова не водят за нос, ибо, право же, легче добраться до дна Филиппинской впадины, чем измерить глубины подвалов, где хранятся дела, – итак, первое впечатление, когда листаешь следственное дело, – это необычайная разветвленность заговора. Разумеется, и сегодня далеко не все рассекречено, но даже то, что вам выдали для ознакомления, поражает объемом проделанной работы. Добрая дюжина скоросшивателей, тысячи листов, десятки подследственных: виновных, подозреваемых, косвенно замешанных, никак не замешанных, так называемых свидетелей и так называемых понятых. Здесь вообще все – так называемое.

Необъяснимый парадокс: с одной стороны, о Журнале знали немногие, вероятно, каких-нибудь полтора десятка человек во всем городе. С другой стороны, к нему оказалась причастной уйма всякого народа.

Как известно, дух веет, где хочет; другими словами, в определение духа входит его неуловимость. Бросается в глаза, что в головах у следователей царил невообразимая путаница; как-никак они руководствовались определенными инструкциями, и, казалось, криминал был налицо. Тут,

можно сказать, был готовый сюжет: вся история просто просилась в протоколы допросов, следственные трактаты и оперативные доклады; но чем дальше протягивались нити, тем они становились прозрачней, неприметней, путались и рвались при первом прикосновении; все дело выглядело каким-то нереальным, и, хотя само по себе это не могло быть препятствием, хотя органы сыска привыкли иметь дело с призраками, строго говоря, только и работали с фантомными объектами, – на сей раз превратить эту полуреальность в нечто зримое и осязаемое, видимо, так и не удалось.

Мы сказали: заговор. Можно, конечно, называть его и так. Можно было квалифицировать Журнал как угодно: идеологическая диверсия, антиправительственная пропаганда, подпольная типография с использованием множительных аппаратов (так именовалась ветхая пишущая машинка Ильи Рубина); не составило бы труда приписать «авторам» передачу порочащих сведений за границу. В этом духе и работала когорта следователей. Но наиболее пронизательные умы на верхних уровнях дознания понимали или, вернее, чувствовали, что тут что-то не то; руководство, которому время от времени докладывались результаты, брезгливо отбрасывало бумаги (о чем свидетельствует раздраженный тон резолюций, вопросительные знаки синим карандашом на полях, подчас даже перечеркнутые крест-накрест страницы) и возвращало дело для доследования и дооформления.

Закон есть закон, даже когда под законностью подразумевается свод правил, предписывающих, как творить беззаконие. Дело именовалось уголовным (как все дела) и в данном случае даже не зря: как мы увидим ниже, история в самом деле переплелась с уголовщиной весьма дрянного сорта; когда уголовщина всплыла, следователи воспрянули духом – увы, ненадолго. Дело от этого лишь затемнилось. Уголовщину оставим пока в стороне, а вот что касается Журнала, то тут по-прежнему главное ускользало из рук, невозможно было сформулировать, в чем оно, собственно, заключалось. Что такое Журнал, с чем его едят? Никакого Журнала не оказалось, а вместе с тем он существовал. Ясно было, что тут что-то есть, но что именно? Взрослые люди играли в какую-то недозволенную игру, и следственные инстанции поневоле втягивались в ту же игру. С одной стороны, чушь, ерунда собачья, из которой ничего не высосешь, а с другой?.. Что же еще оставалось, как не поставить вопрос о психиатрической изоляции хотя бы главного зачинщика.

Как уже сказано, задача сыска состоит в том, чтобы превратить нечто фиктивное в действительное, здесь же, напротив, действительность превращалась в фикцию и увлекала за собой в какую-то мистическую яму все следствие; чем больше оперативные чины старались убедить себя и начальство, что перед ними истинное осиное гнездо, вместилище крамолы, тайная организация и агентура иностранных разведок, тем сильнее было ощущение чего-то издевательски-ирреального. В конце концов след-

стве, затянувшееся на много лет, предприняло совершенно необычное для него умственное усилие – прибегло к символическому мышлению. Следствие попыталось превратить Журнал в некий устрашающий знак. И надо признать, что оно было не совсем не право. Резонность такого поворота очевидна. Но в нем сказалась и определенная усталость. Спрашивается: не была ли эта усталость, недостойный паралич, в который впали высшие чины, не был ли он – подобно многому, о чем здесь уже говорилось, – предчувствием близкого финала времен? Дело осложнилось другими обстоятельствами, о них речь впереди. Были достигнуты определенные успехи, главных участников удалось, выражаясь официальным языком, «изъять». Но это были последние, так сказать, арьергардные бои. Крушение державы окончательно спутало карты и лишило смысла дальнейшее дознание; дело было наспех закрыто.

...Могикане духа, как весьма выпренне выразился Илья Рубин. Но ведь речь идет о весьма прозаических предметах: например, о копирке. И вот целые дни уходят на добывание этого дефицитного материала. Речь идет о папиросной бумаге, на ней можно в один прием отстукать десять копий. О сборе материалов, о поиске участников, о встречах с чудаками и чайниками, о странствиях Одиссея. А Журнала нет – во всяком случае, от него не осталось никаких следов. Речь идет воистину о чем-то сверхматериальном.

Призрачное существование объекта столь напряженных розысков объясняет тот поразительный факт, что его так и не удалось разгромить. Не исключено, что Журнал продолжается по сей день, но это уже выходит за рамки избранной темы. Как бы то ни было, нам придется разочаровать тех, кто хотел бы видеть в Журнале карточный домик крамолы. Придется признать, что условия его существования – окраина и подполье – лишь отчасти объясняются политическими условиями. Вот что поистине выбило почву из-под ног у следственных органов! Они напоминали собаку, которая охотится за мухами. Разинув пасть и щелкая зубами, они неизменно хватали воздух. Возникло подозрение, что Журнал существовал бы, даже если бы государство было в тысячу раз либеральнее.

Призрачное существование Журнала сделало его неуязвимым не только для тайной полиции, но и для гласности, независимым не только от политики, но и от рынка, недостижимым не только для стукачей, но и для камер телевидения. Оттого-то оно и было призрачным. Генеалогия Журнала, как мы теперь догадываемся, теряется в отдаленном прошлом. Журнал сравнивали с островами блаженных, с Касталией, с башней слоновой кости, с монастырем, с Великим магистерием, уподобляли тайному культу, ордену или секте; никто никогда не знал, каково на самом деле было число его адептов, вероятно, их было до смешного мало; кое-кто,

разумеется, известен, и, предполагая в читателе образованного человека, мы не станем перечислять их имена. Метафора катакомб напрашивается сама собой, кроме того, в Журнале усматривали сходство с улиткой, рыцарем, черепахой, с пловцом в океане, с капсулой времени, с космическим кораблем в безмерной пустоте мира. Его уподобляли алфавиту исчезнувшего народа, манускрипту на неизвестном языке, письму в бутылке, брошенной за борт; наконец, в нем хотели видеть лабораторию сверхязыка, для которого весь мир, все общество, вся история будут лишь материалом для описания, отстраненного препарирования и превращения. Но для этого надо было исключить себя из общества и захлопнуть ворота в мир. Журнал был неуязвим для смерти, но также и для жизни. Может быть, его следовало считать просто синонимом культуры, той культуры, которая все еще отстаивает свою аристократическую честь, все еще размахивает картонным мечом, все еще отбивается от всех, кто хочет ее изнасиловать или купить, и уходит в катакомбы, и захлопывает над собой крышку подполья, и эмигрирует внутрь себя? Журнал был бесконечно выше всех своих участников. В отличие от них, он был вечен. Призрачное существование было залогом его бессмертия, но это бессмертие было именно тем, о чем идет речь, — капсулой, — каким только и может быть бессмертие духа; как Эвфорион, он оставил тленную одежду, и удержать его на земле было так же невозможно, как невозможно осязать божество.

IX. Западно-восточный диван

Ничему не предавались с таким упоением люди того времени, как беседам по телефону. Очереди стояли перед уличными автоматами, ожидавшие нетерпеливо стучали монетой в стекло. Счастливы, владевшие личными телефонами, с утра усаживались перед аппаратом. Все номера были всегда заняты. Потоки новостей, ручки сенсаций, крики, вздохи неслись и струились по проводам. Те, кто не сумел пробиться, потеряв терпение, обозленно вешали трубку:

«Разговаривают...»

На другом конце в отчаянии швыряли трубку:

«Разговаривают, в р-рот их всех!» — «А-лиу...»

Ведомство, установившее низкий тариф на разговоры по телефону, совершило акт, равнозначный перевороту в истории культуры: оно уничтожило переписку. Вот отчего исчез роман в письмах.

Это было новое и удивительное времяпрепровождение в абстрактном пространстве. Это было пространство без измерений. Голоса без лиц и без глаз. Разговоры, напоминавшие световую дуэль кораблей. Разговоры

бестелесных существ, подчиненные сложному этикету. Голоса кружили друг возле друга, как в ритуальном танце. Слова выполняли загадочные функции. Паузы были нагружены глубоким значением. Разговоры, которые были не чем иным, как чистой коммуникацией, лишенной содержания, словно партнеры без конца похлопывали друг друга по плечу, и разговоры, которые представляли собой алгебру человеческих отношений, отсылали к другим, «нетелефонным», что, собственно, и должно было подчеркнуть их символический смысл.

«Это кто?– спросила трубка. – Это ты?» «Вам кого надо?» «Нам надо, чтоб это был ты». «Я у телефона. В чем дело?» «С тобой будет шеф говорить».

«Здравствуй, кунак», – сказала трубка голосом половецкого хана. «Кто это?.. А-а-а-а! Юсуф, дорогой!– закричал Олег Эрастович. – Я уж думал: куда пропал мой Юсуф?» «Хо, хо, хо». «Я уж думал...» «Хо-хо! Как здоровье?»

«Более или менее, Юсуф, более или менее! Надолго ли в наши края?» «А это смотря по обстоятельствам». «Юсуф, мой друг, ты же знаешь, я всегда тебе рад». «Знаю, знаю...»

«А ты как поживаешь? Жена, дети? Все здоровы?» «Живем. Не жалеемся». «Надолго ли к нам, Юсуф?» «А это, между прочим, от тебя зависит».

«Разумеется, Юсуф, что за вопрос...»

«Хо-хо-хо! Тебе, я вижу, объяснять не надо».

«Хе, хе... зачем же объяснять».

«Ладно. Какие новости?»

«Новости? Я для тебя кое-что приготовил».

«Если бы не приготовил, я бы тебе голову свернул, хо, хо!»

«Сюрприз для тебя, хе, хе...»

«Если бы не приготовил, я бы яйца тебе отрезал!»

«Хи, хи...»

«Хо-хо-хо!»

«Марципан, – сказал Олег Эрастович и поцеловал воздух. – Конфетка. Совсем свеженькая, знаешь ли».

«Поглядим».

«Ты где?»

«Где всегда. Ладно, некогда! Жди звонка».

«Когда? Юсуф, когда? Я должен организовать».

«Земляк позвонит, – сказал хан. – Некогда... Постой. Еще одно дело к тебе. Но это при встрече. Это не телефонный разговор».

«Алё, – сказал переводчик. – А, это ты?»

«Привет. Как бы нам повидаться».

«К сожалению, я в ближайшие дни занят».

«Угу. На следующей неделе?»

«Не знаю точно; надо созвониться. А что, срочное дело?»

«Это не телефонный разговор».

«Все понял. Но ведь я тебе уже сказал...»

«Да, да...»

«Я профессионал, я не могу позволить себе играть в эти игры».

«Конечно, конечно».

«Не говоря уже о том, что у меня семья».

«Господи, – сказал Рубин, – я же тебя не насилую. Ты сам просил тебе позвонить».

«Да, но я хочу, чтоб ты понял».

«Перезвоню тебе через десять минут». Он вышел из телефонной будки – конспирация не помешает – и несколько времени спустя вошел в другую будку.

«Алё... Это ты?»

«Я. Так как же?»

«Как, как...»

«Ты же поэт».

«Ну и что?– грустно сказал переводчик. – Пойми. Я человек дела. Как бы ты ни относился к моей работе, это работа, это профессия. Это, наконец, заработок. Я профессиональный литератор, я работаю в литературе».

«Какая это литература...»

«Это ты так считаешь».

«А ты нет?»

Переводчик вздохнул.

«Ты же поэт, – сказал Рубин. – Настоящий поэт».

«Ты хочешь меня втянуть в эту авантюру. В эти игры... А у меня семья. Даже две».

«Слушай... тут какие-то хмыри стоят на углу. Ты будешь дома? Я перезвоню попозже».

Спустя полчаса он вылез из автобуса, спустился в метро, проехал две остановки и вышел на людной площади.

«Это я, – сказал он, – алё... Я тебя не насилую, не хочешь, как хочешь. Я просто хочу сказать, что ты поэт Божьей милостью. А тратишь свой талант, свой мозг на...»

«Отложим эту тему. Давай лучше поедem к ней, она замечательная баба. Посидим, выпьем. Завтра часиков в восемь, а?»

«Может быть. А кто она такая?»

«Увидишь. Алё».

«Алё... Так какая же из двух настоящая?»

«Обе настоящие».

«Так не бывает».

«Все бывает».

«И с литературой тоже так?»

«И с литературой. Одна – жена, а другая – любовница».

«Любовница – это поэзия?»

«Конечно».

«И тебе не надоело, не хочется плюнуть на все и уйти к любимой женщине?»

«Хочется».

«Жена не пускает?»

«Как тебе сказать».

«Так и будешь всю жизнь писать в себя».

«Не в себя, а для себя».

«Разве тебе не хочется, чтобы у тебя были читатели?»

«Не смеши народ, – сказал переводчик. – Какие читатели?»

«Найдутся, не беспокойся. Алё...»

Автомат пожирает монеты.

«Алё, нас прервали. Ты меня слышишь?»

«Слышу... Как тебе сказать. И хочется, и не хочется. Понимаешь, чем стихи серьезней, тем меньше желания их публиковать. Даже если бы это было возможно. Но это все равно невозможно».

«Так вот считай, что возможно».

«Я уже сказал: я не могу позволить себе роскошь играть в эти игры».

«Другие позволяют».

«Кто это, другие?»

«Секрет фирмы. Где встретимся?»

«Я за тобой заеду».

«А они друг о друге знают?»

«Кто – они?»

«Твои жены».

«Ты имеешь в виду литературу или женщин?»

«И то, и другое».

«Жена знает».

«А другая?»

«А другая нет. Для нее я холостяк».

Едва он положил трубку, как аппарат снова задребезжал.

«Да».

Грубый голос спросил:

«Это кто? Это ты?»

«Что вам надо?»

«С тобой будет шеф говорить».

После этого раздались длинные гудки, переводчик пожал плечами и положил трубку. Переводчик национальных литератур, в восточном халате и феске с кисточкой, сидел в своем кабинете за письменным столом, который можно было сравнить с военным лагерем. Он обозревал свой стол, словно полководец, вышедший на восходе солнца из походной палатки. Папки с поэмами громоздились, как склады провианта; словари рифм были похожи на цейхгаузы; словно сторожевые посты, высились чернильницы декоративного письменного прибора. Рядом с прибором стоял воин в монгольской шапке, с луком и колчаном. Из стакана для карандашей торчало огромное бутафорское перо. Оно могло бы принадлежать легендарной птице Симуург. Звонok повторился.

«Да», – брезгливо сказал переводчик.

Радостно-повелительный голос:

«Здравствуй, кунак!»

«Здравствуйте...»

«Старых друзей не узнаешь? Тебе большой привет».

«От кого?»

«От нашего общего друга. Разве он тебе не говорил? Друзей забывать не надо».

Переводчик вертел в пальцах перо-сувенир.

«Буду иметь в виду», – сказал он холодно.

После некоторого молчания хан спросил, в трубке слышалось его сопение:

«Ты в курсе?»

«Более или менее...»

«Ну, так за чем дело стало; жду тебя».

«Сейчас?»

«А когда же! Зачем время терять? Приезжай. Гостем дорогим будешь. Земляк за тобой заедет».

Переводчик хотел возразить, но трубка умолкла, а через десять минут с таинственной пунктуальностью позвонили в парадную дверь. На площадке стоял черноусый и огненноглазый вестник, один из тех, кто бесшумно появляется и мгновенно исчезает, чьи имена неизвестны, о ком не следует распространяться, как в пьесе незачем давать характеристику статистам. Переводчик одевался в соседней комнате; гонец ждал в прихожей без всякого выражения на тонком смуглом лице; так могла бы стоять и ждать вешалка.

Одетый по-домашнему в рубаху с расшитым воротом и обширные штаны-галифе, грузный, загорелый, кареглазый, с крепким продубленным лицом и свежесбранным черепом, председатель степного и предгорного края принимал в своем номере на пятнадцатом этаже, откуда открывался вид на пустынное небо. Внизу в кольце туманов лежал ве-

ликий, все еще прекрасный город. Хан встретил гостя со всевозможным радушием. Последовали расспросы о здоровье, доме, семье, ближних и дальних родственниках. Черноусый телохранитель появлялся и исчезал, подливал в бокалы и накладывал на тарелки.

«Приходи ко мне, ешь, пей. Хочешь жить у меня, пожалста. Отдельный номер тебе сниму для работы, для отдыха, для развлечения. Все пожалста, – говорил хан, обводя широким жестом свои покои. – На родину ко мне приедешь, самым дорогим гостем будешь. Никого бояться не будешь. Твое здоровье».

Движением бровей он отослал слугу. В молчании поднимали кубки, пили, жевали. Хан утирал губы белоснежной салфеткой.

«Хочу говорить с тобой начистоту. И надеюсь услышать от тебя тоже прямой ответ. Ты согласен?»

Гость кивнул.

«Мой дед был великим поэтом. До сих пор его помнят. Кровь есть кровь. И у меня тоже в сердце звучит музыка. И я тоже джигит на крылатом коне. Я хочу слагать поэмы и песни, чтобы их пели и повторяли из рода в род и чтобы все читали мои стихи, по всей нашей великой стране, а не только у меня на родине. Дай Бог нам всем здоровья...»

Он ждал встречного тоста, но переводчик не поднимал глаз от тарелки.

«Я вижу, – сказал хан, – ты человек серьезный, не спешишь с ответом».

«Как с подстрочниками?» – спросил переводчик.

«Чего?»

«Сначала делается подстрочный перевод, – пояснил гость. – Впрочем, неважно».

«Молодец! – воскликнул хан. – Тебе объяснять не надо... Давай, чтобы у нас все было хорошо, чтобы дети росли, чтобы внуки росли... Э-э, нет, так не пойдет, разве так пьют коньяк? Коньяк надо вдыхать, впивать!»

Переводчик пригубил пузатую коротконогую рюмку.

«Вот у меня где подстрочник, – сказал хан степей и положил ладонь себе на грудь. – Вот где золотые россыпи. У меня в сердце поэзия. Закуси сыром. Это из молока джейрана... А теперь запей вот этим».

Переводчик национальных литератур, имевший опыт знакомства с юго-восточным гостеприимством, был вынужден признать, что этот напиток он еще не пробовал.

Хан степей продолжал:

«Я даю тебе полную свободу. Наш общий друг мне о тебе рассказывал. Мне тебя рекомендовали. Босняка с улицы не беру. Мне сказали: хороший человек, неглупый человек, талантливый человек. С именем, со связями».

«Один вопрос», – сказал переводчик.

«Пожалста».

«Вы член Союза?»

«В моей республике есть все. Есть Союз писателей, есть Союз композиторов, Союз фокусников, факиров – все есть. А нет, так будет. Нужно, чтобы я был председателем? Буду председателем».

«Вы хотите сказать: секретарем», – холодно заметил переводчик.

«Вот этим запей, – сказал хан, указывая на короткогорлую пузатую бутылку цвета глины. – Всем рекомендую. Вытяжка из джейраньих яиц. Кто этот бальзам пьет, у того до восьмидесяти лет стоять будет, хо-хо. Ты как насчет прекрасного пола?»

Хан щелкнул пальцами и издал горловой звук, похожий на орлиный клетот. Тотчас из воздуха возник телохранитель, хозяин показал бровями на пустой бокал гостя.

«Друг, – промолвил хан и склонил голову на плечо, – что ты строишь из себя целку? Или как будто к начальству пришел. Давай как близкие люди. Говори мне: ты. Все мои друзья говорят мне «ты»... Ты говоришь, Союз. Что за вопрос? Все есть, а нет, так будет. Я председатель, я секретарь».

Переводчик кивал, отдувался и глядел на хана каким-то страдальческим взором. Наконец, не выдержав и не говоря ни слова, стал выбираться из-за стола. Кареглазый хан следил за ним с выражением, которое представляло собой смесь любопытства и озабоченности. Потом издал короткий птичий звук.

Подскочил телохранитель, повел гостя в мраморный чертог, где переводчик национальной поэзии некоторое время провел в раздумье, тяжело вздыхая и схватившись руками за край умывальника. Из серебряного овала на него смотрел субъект с серым лицом. Вода струилась из крана. Переводчик открыл рот, и судорога сотрясла его тело. Он покрылся потом, пустил воду полной струей, судорога повторилась, и еще, и еще. Проклятый бальзам, думал он или, вернее, кто-то думал за него, – джейраньи яйца... Отражение в зеркале следило за ним, а в дверях за его спиной виднелся похожий на уголь телохранитель. Гость перевел дух, криво усмехнулся, но его собственное отражение в зеркале не пожелало последовать его примеру. Он подумал, что не он управляет человеком в зеркале, а тускло-блестящее, с совиным взором отражение, от которого он не мог оторваться, заставляет его повторять свои движения и гримасы. Человек в зеркале, с перекинутым через плечо мохнатым полотенцем хана, намочил конец в струе воды и поднес к лицу. Но вместо того, чтобы утереться, шлепнул полотенцем по стеклу. Еле слышно затворилась дверь в ванную. В зеркале приблизился смуглолицый страж. Переводчик пришел в себя и вышел следом за слугой из ванной. Хан степей сидел на кушетке.

«Что с тобой? – спросил он участливо. – Ты освежился?»

«Да, – сказал гость, – освежился». –

«Ты нехорошо себя чувствуешь? Может, тебе доктора вызвать?»

Переводчик поспешил заверить хана, что он чувствует себя превосходно.

«Ты здоров?»

Гость подтвердил, что он в полном порядке.

«В таком случае, – сказал хан, – продолжим... Ты ведешь нездоровый образ жизни, – заметил он, наполняя кубки. – Вы все тут ведете нездоровый образ жизни. Разве так можно жить? Говорят, эти птицы своим дерьмом все отравили. Приезжай ко мне, у нас совсем другой воздух. Кумыс будешь пить. Ванны будешь принимать. Мои врачи тебя поставят на ноги. Выпей-ка лучше... И заешь».

Гость умоляющим жестом прижал руки к груди.

«Почему нет?»

Гость клялся, что он сыт.

«Настроение будет лучше, силы прибавятся», – наставительно сказал хан степей. И пир продолжался.

«Я читал твои переводы. Ты очень хорошо переводишь. Умеешь передать национальный колорит, душу национального поэта».

Переводчик взирал на хана размягченно-осоловелым взглядом, скромно разводил руками. Оба уже не сидели, а полулежали друг перед другом. За широким окном сияло серебряно-алое небо. На столе стоял зеленый фарфоровый чайник, похожий на глобус. В молчании прихлебывали чай из широких чаш, волоокий хан утирал бритую голову огромной, как простыня, салфеткой.

Гость пролепетал:

«Извини, Юсуф, у меня вопрос».

«Слушаю тебя».

«Это, конечно, между нами... Половецкий язык... Что это значит? Ведь такого языка даже нет!»

«Как ты сказал?»

«Я не хочу тебя обижать, мне просто любопытно. Ты же знаешь, я не новичок на Востоке... Я понимаю, ну там, князь Игорь, половецкие пляски...»

«По-твоему, – сопя, сказал хан, – князь Игорь – это выдумки?»

«Но такого языка нет».

«Как это нет? Республика есть, а языка нет? Народ есть, а языка нет?»

«Насколько мне известно, – сказал переводчик, – половцы и печенеги – это далекое прошлое. Они давно исчезли. Не обижайся, это я говорю не в упрек».

«Я не обижаю, – сопел хан, – я удивляюсь!»

Теперь небеса над городом горели оловянным огнем, как будто угасший день собрал последние силы. В покоях хана стало темно, густеть. Из воздуха образовался телохранитель.

«Зажги свет... – сказал шеф. – Что такое?»

Телохранитель ответил вполголоса на непонятном наречии.

«Слыхал? – спросил хан. – На каком языке мы, по-твоему, разговариваем? А?.. Скажи, я занят, – отнесся он к телохранителю. – У меня важный разговор. Пусть позвонит завтра».

Слуга возразил что-то.

«Ничего, подождет. Я его тоже ждал! А теперь пускай он ждет. На счет этого дела скажи: “Шеф будет думать”. Скажи: “Шеф занят, у него ответственное совещание...” И еще скажи: “Шеф велел, пускай поцелует меня в зад!” А потом пусть позвонит. Тогда будет видно... Так и скажи». Он сделал движение ладонью, и посланца не стало.

Вспыхнули лимонные светочи на стенах, зажглась и погасла хрустальная люстра под потолком, какие-то огоньки мигали в углах. Телохранитель экспериментировал с освещением.

«Что такое?» – заревел шеф.

Все погасло, над столом и кушеткой мягко сиял оранжевый торшер.

«Значит, так, – промолвил хан степей, удобней устраиваясь на кушетке и сложив пальцы на животе, – ты считаешь, что половецкого национального языка не существует, правильно я тебя понял или я ослышался?»

«Не то чтобы... но, с другой стороны...»

«Значит, я не ослышался».

«То есть я хочу сказать...»

«Все ясно, и можешь не продолжать. Я тебе вот что скажу. А ты слушай и соображай... Наши предки, – он поднял палец, – ты за моей мыслью следишь? Так вот: наши предки все равно что ваши предки. Ваши князья женились на наших дочерях и оставались в степи, и становились кипчаками. А наши ханы братались с вашими и за столом сидели всегда с ними рядом. Наши предки воевали на Калке... Я тебе, между прочим, тему подсказываю, ты наматывай на ус, да? Слушай меня. Я тебе сейчас расскажу, кто я такой...»

Гость изобразил на лице усиленное внимание.

«Зимой всадник, когда застревал в снегах, слезал с коня и резал ему жилу, и пил горячую конскую кровь. А потом перевязывал коня и ехал дальше... Ты следишь за моей мыслью Так вот эта кровь течет в моих жилах. Кровь степных лошадей, на которых скакали мои предки и, между прочим, твои предки тоже... Ты историю учил? Про князя Святополка слышал? Так вот, чтоб ты знал, я его прапрапраправнук. Дружба наших

народов скреплена кровью в совместной борьбе против татаро-монгольских поработителей. Дмитрий Донской был по крови печенегом».

Речь хана произвела впечатление на обоих. Отхлебнули из пиал. Хан степей насупил усообразные брови.

«Советская власть, запомни это, предоставила половецкому народу неограниченные возможности для культурного развития. Говоришь, языка такого нет... Есть! Все есть. А нет, так будет. Мой дед был сказителем, а где его песни? Ветер разнес по степи. Потому что была поэзия, были люди, а литературы не было. Я буду основоположником половецкой литературы. Твое дело – переводить, печатать...»

Несколько времени спустя в полуосвещенной горнице раздался звук, похожий на завывание ветра. Переводчик вознес из кресла тусклый взор к темному окну, в стекле отражались пиршественный стол и торшер. В дверях стоял безмолвный страж. Повелитель уснул и издавал во сне свист ветра. Переводчик осторожно начал выбираться из удобного кресла, как вдруг оказалось, что хан степей и предгорий следит за ним блестящими ореховыми глазами.

«А теперь, – вскричал хан, – к девушкам!»

Х. Власть – музыка эпохи

Последние века Рима были отмечены опасным расцветом окраин. В природе империй лежит способность пробуждать к жизни сонные провинции. Постепенно и неуклонно покоренные земли, колонии, военно-административные округа начинают осознавать себя как малые нации. Слепые и бескультурные, они всем обязаны римскому миру. Тем сильнее их уверенность в том, что их беды вызваны римским игом. Тем упорнее их желание отпочковаться. Так империя пестует собственную погибель.

Некоторые полагали, что причиной или условием возвышения провинций был упадок центра. Высказывалось мнение, что закат империи – итог планомерного истребления лучших. Тирания была нацелена против тех, в ком правители видели главную угрозу; первой заботой стал поиск внутреннего врага. Этим врагом были талант и благородство. Для их истребления был учрежден могучий аппарат, укомплектованный худшими, который и погубил в конце концов римскую державу. В живых остались трусливые верноподданные, бездарные и безынициативные, они-то и стали задавать тон. Произошло роковое перерождение нации. Возможно, в этой гипотезе есть резон.

Предлагались другие объяснения, например, ссылались на шаткость валюты и неудержимый рост цен. Это привело к упадку хозяйства или, напротив, было вызвано им, и деревня восстала против города. Деревня

вознамерилась доказать городу, что она может без него обойтись. Деревня бойкотировала город, сократив свое производство, и город стал чахнуть. Пахарям надоело пахать, пастухам наскучило пасти стада. Наконец, некоторые указывают на упадок религии, будто бы повлекший за собою упадок нравов, а другие считают причиной краха растущее безволие императоров, террор генералов, бесчинства банд и набеги варваров.

Чем больше дряхлел Рим, тем грознее становилась его армия. Чем больше крепла его военная мощь, тем быстрее он дряхлел. В этом состояла, возможно, самая поразительная черта эпохи от Диоклетиана до Феодосия. Между тем как внутри все было отмечено разложением, между тем как вельможи становились все расточительней, чиновники – корыстолюбивей, рабы – ленивей, между тем как хирело сельское хозяйство, дорожали продукты, размножались мошенники и дешевели продажные женщины, громоздился мусор в храмах, паутина затягивала алтари, боги отвратили свой лик, и музы состарились, и льстивые песнопения августу и державе стали главным литературным жанром, между тем как копился заряд возмездия, – снаружи империя, под сенью державной волчицы, выглядела неприступной крепостью. Страх, в котором никто не смел открыто признаться, побудил превратить в цитадель и столицу; после многих лет с трудом была завершена последняя великая стройка. Вечный город окружил себя стенами высотой в двадцать пять футов. Твердыню мира оберегали триста пятьдесят сторожевых башен. Военная машина уже не была наступательной. Государство было похоже на ископаемых чудищ, потерявших способность передвигаться, так как они были слишком большими.

По-прежнему, хотя бессмысленность этого времяпрепровождения была очевидной, лысые и обрюзгшие сенаторы заседали на Капитолии. Сам Бог научил народы склонять голову перед законами Римской империи, вещал Пруденций Клеменс. Ораторы все еще повторяли строки Вергилия о том, что другим народам позволительно развлекаться искусствами, римлянин же обязан помнить: ему надлежит управлять племенами. На самом деле племена уже не считали себя племенами и не верили в то, что первое и последнее слово принадлежит Риму.

На исходе IV века римляне почувствовали принудительность истории. Никто не хотел перемен; ничто так не пугало, как новшества. Не нужно было больше ни побед, ни завоеваний, восторжествовали апатия и фатализм, распространилось желание дожить в покое и холе свой век, а там хоть трава не расти. Сто тридцать два легиона стояли на Западе и Востоке, полтора миллиона солдат несли службу на границах и в диоцезах. Этой рати, превосходившей все, чем когда-либо располагало государство за двенадцать веков, противостояли на рубежах всего десять тысяч плохо вооруженных варваров. Три с половиной тысячи блистающих

доспехами воинов охраняли кесаря. Но и в легионах служили выходцы из лесов, вспомогательные войска состояли из одних германцев, дворцовая гвардия была на три четверти укомплектована ратниками, говорившими на исковерканной латыни, и на Палатинском холме восседал император-варвар.

Многие утешались надеждой, что усталая раса освежит себя варварской кровью. В Африке, в Косматой Галлии, на Востоке расцвели поздние цветы римской словесности. Сириец Ямвлих, испанец Пруденций, африканцы Арнобий и Августин, галлы – безмятежный Авзоний и Намациан, рыдающий у ворот Рима, – вот кому надлежало стать новой надеждой латинского языка. Были ли это худшие времена? Нет, конечно. Просто это были последние времена.

Дивные дела, удивительные зигзаги... Тот, кому приходилось видеть в цирке вальсирующую лошадь, возможно, замечал, что дирижер, стоя на оркестровой площадке, следит не за музыкантами, а за лошадью. Потому что на самом деле не лошадь двигается в такт музыке, а музыка подстраивается под ее пируэты. Литературная карьера половецкого хана могла напомнить эти танцы, сколь ни рискованно такое сопоставление. Меньше всего, однако, составителю этой хроники хотелось бы прослыть за юмориста. Цирк упомянут здесь разве лишь в качестве некоторой наглядной модели.

Введение письменности там, где ее никогда не было, влечет за собой не менее радикальные последствия, чем разрушение природы. Коль скоро есть письменность, должна существовать и словесность. Другими словами, расцвет культуры окраин – что бы под ним ни подразумевалось – поставил вопрос о национальной литературе.

Эту литературу надлежало создать из ничего, то есть из того же материала, из которого была создана национальная история, мифология, национальные шаровары, тюрбаны, ансамбли народной песни и пляски и все остальное. «Все есть, а нет, так будет», – по выражению хана степей. Можно спросить, на кой черт сдалась этим республикам еще и литература, но этот вопрос по меньшей мере неуместен, по существу же оскорбителен. Ибо он подвергает сомнению и достоинство нации, и компетентность начальства. Ибо национальная литература предстает в двух ипостасях: как доказательство первородства и как престижная должность. Любое начальство могло позавидовать ореолу народного стихотворца. Вывод напрашивался сам собой: что мешало совместить обе прерогативы? Председатель Верховного Совета автономной республики естественным образом должен был занять вакантный пост национального поэта.

Вот почему идея, осенившая хана, вовсе не была ни его капризом, ни его изобретением. То, что именуется национальным самосознанием, при ближайшем рассмотрении есть не что иное, как самосознание местного начальства. Хан степей и предгорий по праву понимал свое призвание как обязанность должностного лица и патриотическую миссию правителя. Лавровый венок поэта должен был увенчать его чело так же естественно, как естественно было видеть хана в национально-административном наряде – тюрбанообразном кепи, синих крылатых штанах и сверкающих сапогах. Лишь безвременная кончина помешала хану осуществить свой проект.

Итак, если вернуться к вопросу о культурном расцвете окраин, насущной необходимостью для всякой национальной вотчины – поскольку сочинение стихов и прозы есть особого рода декоративное занятие – будет завести у себя собственную домотканую словесность. Тут амбиции местной власти шли навстречу пожеланиям центра, ибо что может быть более убедительным доказательством заботы о процветании окраин, о поощрении местных талантов, чем национальная литература. Не отдавая себе отчета, куда это приведет, центр весьма неосторожно подыгрывал окраинам. Вопрос был только в том, откуда взять эту национальную литературу. Создать, как мы сказали, из ничего. То есть как это из ничего? Для этого и существовал испытанный практикой институт перевода. Доказательством того, что национальная литература существует, и делает первые многообещающие шаги, и распускается подобно цветам, и обзаводится новыми жанрами, служит появление ее образцов в переводе на язык метрополии. Если есть перевод, значит, где-то там существует оригинал, если есть перелагатель, значит, есть и поэт. Если лошадь танцует, значит, должна быть и музыка.

Означало ли все это, что хан степей и предгорий лишь выполнял свой начальственно-национальный долг, что пир в номере на пятнадцатом этаже был, так сказать, деловым обедом, и ничего больше? О нет. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. *Et ego in Arcadia...*¹ Хан был поэтом. Мы должны это подчеркнуть. Он не лицемерил, показывая на грудь и говоря, что здесь его «подстрочник». Хан был поэтом в душе – за неимением другой возможности реализовать свой дар.

И уж, во всяком случае, сказанное не означает, что он попросту переложил задачу на чужие плечи, причислив переводчика мнимых национальных литератур к многолюдному штату своих придворных и подручных. Думать так было бы все равно что считать, будто весь труд берет на себя лошадь (то есть переводчик), а оркестр только делает вид, что играет. Всякая метафора имеет свои границы. И если во время пира в гостинице

¹ И я в Аркадии (лат.).

переводчик национальных литератур задал вопрос о подстрочнике, то, конечно, не для того, чтобы убедиться (он знал это заранее), что оригинала не существует. Но, следуя испытанному рецепту, он хотел напомнить хану, что необходимо озаботиться «музыкой». Нужно, чтобы на основании его перевода поэту-аборигену состряпали *post factum* некое подобие оригинала на родном языке. Правда, опять-таки спрашивается: на каком языке? Но это дело темное, это Восток; тут все окутано покрывалом неизвестности и тайны.

К нашему краткому отчету о переговорах в гостинице хочется прибавить несколько замечаний общего и, так сказать, теоретического характера. Принято думать, что перевод – это перевод. Считается, что переложение следует оригиналу, как тень шагает за идущим или как зеркало повторяет черты лица. Между тем издавна живущая в человеческой душе вера в то, что отраженный образ не так следует прообразу, как повелевает им, не столь уж абсурдна. Мы помним, что испытал переводчик под действием таинственного питья в мраморной уборной хана, перед зеркалом, отдававшим ему свои немые приказы. Практика перевода есть именно тот случай, когда роли меняются, когда тень ведет за собой хозяина и зеркало рождает образ того, кто на самом деле представляет собой отражение отражения. Еще один миг, один шаг, и стекло отразит пустоту. Логическое завершение переводческого искусства, его триумф и вершина, есть переложение несуществующего оригинала.

XI. Рубин, или Любознательность

Перед бесконечным, как путь пилигрима, панельным домом, на площадке тринадцатого подъезда, под тусклой лампочкой сидела на табуретке борода в валенках; был поздний вечер.

«Привет...»

«Чего?»

«Привет, говорю, дедушка. Воздухом дышишь?»

«Чего надо?»

«Да так, ничего».

«А ничего, так и ступай своей дорогой».

Это можно было понять как приглашение к разговору. Сумрачно глядя вдаль, старик добавил:

«Это ты, может, воздухом дышишь...»

«А ты?»

«Чего я?»

«А ты что тут делаешь?»

«Я? Сторожу».

«Кого?»

«А вот все это».

«Весь район?»

«А хоть бы и весь район».

«Большой у тебя участок, – сказал Илья. – Сколько ж тебе за это платят?»

«Ничего мне не платят».

«Какого же ты хрена тут торчишь?»

«Какого хрена? – сказали валенки. – А вот такого! Я тебе не ответчик! Сказано: сторожу. Вот заступил на дежурство».

«Задаром?»

«А порядок? – спросил старик, выглядывая из-под бровей, как волк из зарослей. – Кому за порядком следить? Некому! Мало ли кто шатается? Вот как ты. Чего тебе тут надо? В гостях, что ль, был? Ну и вали отсюда, нечего тут околачиваться!»

«Я тебя видел, – сказал Илья Рубин, присаживаясь на ступеньку. – Ты лежал в больнице».

«Будешь мне тут зубы заговаривать. Ты вот лучше предъяви документы».

«Что?»

«Документы, говорю, предъяви».

«Какие документы, дедушка, мы тут все свои».

«Свои... Знаем мы вас. Ночью шлендрать. По бабам, что ль?»

И разговор иссяк.

«А ты, значит, так до утра и сидишь?»

Громадные, расширяющиеся книзу валенки неподвижно стояли друг подле друга, холщовые просторные порты прочно сидели на табуретке. Человек, похожий на памятник, проскрежетал:

«Так и сажу».

Подумав, он вдруг широко зевнул, перекрестил рот и добавил:

«А чего? Все одно не сплю».

Черное небо смутно отсвечивало в слюдяных окнах, белело белье на балконах. Теплый, гнилостный ветер шевельнул косматую бороду старца, сонный мир объял бодрствующих. Лиловым светом тлели трубки фонарей, и в вышине между темными облаками проступили созвездия.

«Я, уа-ах... – зевая, говорил старик, – сколько себя помню, никогда не спал... Так, днем подремлешь, уах-ха, и все. Днем все одно делать нечего».

«Не скучно?»

«Мне скучать некогда. Тут всякого отребья, эвон, – он обвел рукой спящую окрестность, – знаешь сколько?»

«Люди работают», – заметил Илья.

«Работают... Хрен они тебе работают. Работа – это когда польза от работы получается. Для общества польза, ясно? Вот как крестьянин землю пашет.

Небось он не зря пашет. Что-то да вырастет. А энти? Моя бы воля, разогнал всех бы к едрене фене. Не хочешь работать – катись».

«Куда ж ты их денешь?»

«Как куда – в деревню! В колхоз, пушай делом занимаются, крестьянствуют али там ремеслом. Вот, к примеру, возьмем эту табуретку: ведь ее кто-то сделал. Кто-то обтесал, ножки выпилил, склеил. А тут что? А тут ничего, жрут батоны с колбасой – и все. А пользы ни хрена! Я бы энту колбасу по талонам выдавал: заработал – получай талон. А не заработал – катись. Для чего они, по-твоему, в город-то все набежали? Чтобы жрать! В городе сеять не надо, магазины кругом. И курей не надо кормить, они вон все на прилавке лежат».

«Так уж и лежат?»

«Не знаешь, так молчи. Ты думаешь, за что они зарплату получают? За то, что числятся. Все эти конторы только для виду».

«Ну а ты, дедушка?»

«Чего я?»

«Ты ведь тоже для виду сидишь».

«Ах ты, едрена вошь! Еще будет мне указывать! Я сижу не для виду, а для порядка. Чтоб не шлялись тут разные. Предъяви документы».

«Брось, дед! Заладил. Ну нет у меня документов. Потерял. Дома забыл».

«Вот то-то, знаем мы вас. Ночью шлендрать. А зачем портфель таскаешь?»

«Дела, работа».

«Ха! Дела. Какие у тебя дела? Ты небось никогда и не работал. Эвон ряшку какую наел».

«А ты, дед, работал?»

«Чего? Я, брат, столько за свою жизнь вкалывал, что тебе и во сне не снилось».

«Из деревни приехал, дедуля?»

«Это ты, может, из деревни, а я коренной, здешний, в Москве родился. Не здесь, конечно, какая это Москва! Это так, ни то ни се, ни город, ни деревня. А все почему? Потому что народу больше, чем надо. Я вот что тебе скажу, – проговорил старик, кряхтя и переминаясь половинками зада на табуретке. – Слишком много у нас народу. Говоришь, скучно тут. Мне скучать некогда! Я думаю. Ночью самое время думать, разбираться, что к чему. Я тебе скажу, в чем корень. Вся беда в том, что слишком у нас большое государство. Оттого и не уследишь за всеми, оттого и порядка нет, дармоедов больше, чем работников. Один с сошкой, а семеро с лож-

кой. Один везет, семеро погоняют. Земли много, народу невпроворот, а все было мало! Каждому царю было мало, что он имел. Вот он и пер все дальше, вот он и пер. Вместо того чтоб устроиться, свою землю обжечь... Все мало. Эва куда залезли... Весь мир хотели завоевать... Ты, прежде чем новые земли завоевывать, на своей земле наведи порядок! Не завоевывай, а оглянись вокруг себя. А он все пер да пер... Набрали всяких чучмеков, а они отродясь не работали... Теперь и вовсе никто работать не хочет. Только жрать... моя бы воля... Э, что говорить! Добро бы еще на Запад наступали, а то все на Восток, к туркам разным, киргизам... Опять же эти птицы... страусы или как их там».

«Страусы не летают», – сказал Илья.

«Чего там говорить! Не в ту степь пошла история».

«Тебе, дедуля, не на дежурстве надо сидеть. Тебе бы лекции надо читать. Народ бы валом валил».

«А чего ж, ты думаешь, я днем делаю? Я днем не сплю, я вобще никогда не сплю. Некогда мне спать. Я свои предложения записываю. У меня по всем вопросам есть предложения. У меня полный сундук записок, я пятьдесят тетрадей исписал и еще на пятьдесят хватит», – сказал старик и, стащив с головы старую зимнюю шапку, стал отряхивать ее о голенища.

Ибо ни с того ни с сего пошел снег.

Ночной сторож сидел на площадке под навесом, но снег валил косым фронтом и в одну минуту засыпал ступени крыльца. Снег покрыл косматую бороду старика, висел на дремучих бровях, снег сыпался из фонарей и плясал в завесах призрачного света.

Таков был неожиданный конец глубокомысленной беседы, таковы капризы нашего взбалмошного климата, и не зря, должно быть, отечественная погода, а точнее, география вкупе с метеорологией вдохновляла умы на историософские упражнения. Только было повеяло тепловатой гнильцой, запахом луж и отбросов – и показалось, зимы вовсе не будет. Только было проклюнулась надежда, как в считанные минуты снег завалил округу, сровнял тротуары и мостовые, засыпал помойные контейнеры, снег покрыл крыши, похерил великие стройки, похоронил грандиозные начинания. Значит, все было напрасно? В чем высший закон истории? В чем ее тайный смысл? Есть ли у нее какой-нибудь смысл? Что означает это коловращение веры, надежды и отчаянья, – что есть время: стрела или круг, идем ли мы навстречу концу, к великой цели, или кружимся в смене эпох, подобной круговращенью погоды? Русь, дай ответ. Не дает ответа.

Снег валил все гуще, начался настоящий буран, в облаках показалась фигура, закутанная в платок. «Батюшки, да ты совсем ооченел, – сказала она, взбираясь на крыльцо. – Отец! Жив?»

Вдвоем кое-как счистили снег с бороды и телогрейки. Старик был маленького роста и с трудом, поддерживаемый с обеих сторон, переставлял валенки. Табуретку оставили в снегу на крыльце. Табуретка была чужая. Старик жил на соседней улице, если можно было считать улицей проезд между двумя домами с их несчетными подъездами. Как он оказался здесь? Пыхтя, ввалились в лифт, грохнула, отозвавшись эхом на всех этажах, железная дверь, кабина, скрипя и раскачиваясь, поехала наверх. Дед закатил глаза и сполз на пол. Выбрались, втащили старца в квартиру, в вонючем тепле коммунального коридора усадили на сундук. Илья Рубин держал деда за плечи, тетка стащила с него огромные сырые валенки; слышно было, как она колотила валенками друг о друга на лестничной площадке.

Ей можно было дать лет сорок девять. Не пятьдесят, потому что круглое число наделяет зловещей необъяснимой властью того, кто его ненароком произнесет; сорок девять – это еще женщина, это еще куда ни шло; стоит, однако, сказать: пятьдесят, – и перед вами сжеванное жизнью существо в темной юбке вокруг высохших бедер, с выбившимися из-под платка бесцветными косами, на которых мерцают капли воды. Но когда она развязала платок, стало казаться, что ей сорок. Над столом горела лампа под матерчатым абажуром, и комната, погруженная в фиолетовый сумрак, была похожа на каюту, и приятно было думать о том, что снаружи беснуется ураган.

У стены на высоких ножках стояла железная кровать с толстым матрасом под белым пикейным покрывалом, с высокими подушками, отчего потолок казался еще ниже. Над кроватью висели фотографии и картинки из журнала «Огонек», из угла слабо отсвечивал темный сургучный лик в жестяном чепчике. Хозяин, полуодетый, в подштанниках лежал на кровати поверх покрывала.

«Чайку горячего выпьешь али как?»

Она натягивала толстые вязаные носки на тощие ступни старика с когтями, похожими на комки затвердевшей смолы. «Ну-ксь...» – проговорила она, приподняла бессильную голову старика и влила в рот рюмку с желтым напитком. Дед чмокнул губами, жидкость потекла мимо рта. Она утерла ему губы и бороду.

«Спи, отдыхай».

«Вы его жена?»

«Жена... Уж не знаю, которая».

На столе стоял чайник с пузатым фаянсовым чайничком для заварки. Она водрузила на него кукольную бабу в платочке и пестрых юбках.

«Гулять повадился. Я и туда, я и сюда. Весь микрорайон обегала, в милицию хотела звонить».

«Сколько ему лет?»

«А Бог его знает».

«Как это?»

«А вот так! Он и сам не помнит. Метрики все во время войны пропали. Нам бы тоже не помешало... не возражаешь? Продрогла я вся. – Она подлила в чай из желтой бутылки себе и гостю, это был напиток, условно именуемый ромом. – Бог его знает, может, восемьдесят, может, и сто. Я когда замуж за него выходила, уж сколько мы живем, дет десять, так он был все такой же. Ничего, оклемается. Только вот бродить стал. Говорят, плохой признак... Ах, благо-. дать-то какая! А вы кто такой будете?»

Илья пожал плечами.

Старик на кровати отчетливо произнес: «Колбаса».

«Ничего, это он во сне».

Пили чай, согревались.

«Колбаса!» – строго сказал старик. Она встала и подошла к кровати.

«Тебе чего? Может, тебе чего дать?» – В ответ послышалось невнятное бурчанье. Она склонилась над темной кроватью. – Может, тебе попысать надо? Ну, спи... Давай я тебя покрою. Спи».

Дед спросил:

«А я разве не сплю?» – Он тяжело вздохнул. – Ладно, – сказал он, – сейчас поедем. Сейчас...»

«Куда это?»

«Сказано тебе: подожди минутку. Посиди, говорю. Чего спешить-то? Небось подождут».

«Да ты куда собрался?» .

«В Москву», – сказал дед.

Она вернулась к столу.

«Ваши часы стоят, – сказал Илья, – не может быть, чтобы было полдесятого».

Хозяйка подтянула гирьки ходиков и дважды прокрутила пальцем минутную стрелку. Отяжелевшее время нуждалось в посторонней помощи. Чай остыл. В комнате, как струйка дыма, витал тихий храп старика. На столе стояли узкие граненые рюмки из толстого стекла. Рубин поблагодарил хозяйку, поднял с пола портфель.

Пока до метро доберешься, заметила она. Он возразил, что попробует найти такси. Какое тут у нас такси, сказала хозяйка. Может, сказал он, по телефону вызвать. Какие у нас тут телефоны; будка есть, да трубку оторвали. Она вздохнула. Давай, что ли, за знакомство. Оба подняли рюмки и чокнулись.

«Утром будешь уходить, смотри, чтоб соседи не услышали, а то еще пойдут разговоры».

«Может, я поеду?» – сказал он на всякий случай.

«Оставайся. Я тебе на полу постелю. Только я тебе сразу скажу...» – проговорила хозяйка, разливая по рюмкам остатки жгучего напитка.

«Это что?» – спросил он.

«Румынский какой-то, говорят. В универсаме брала. Все брали, и я взяла. А чего, пить можно. Вот что. – Она переставляла рюмки, разглаживала скатерть на столе. – Я тебе сразу скажу, чтоб никаких не было промеж нас недомолвок... Ты парень молодой. Я пьяная. Я тебя оставляю не для того, чтобы с тобой спать. Не такие мои годы, чтобы первому попавшему на шею бросаться».

Рубин разглядывал этикетку.

«Не знаю, – пробормотала она, – все брали, я тоже взяла... Давай уж подьем, что ли! Вот так. Что я сказала, слышал?»

Он пожал плечами.

«Я и ему не позволяю».

Он взглянул на хозяйку.

«Бывает, – сказала она. – Но редко. А раньше, знаешь, какой он был орел? Боюсь я, еще помрет».

Портфель, подумал Рубин. Он вспомнил, что собирался уйти, искать телефонную будку, поднял с пола портфель, стоявший у двери, но все это, как теперь оказалось, ему привиделось во сне, а на самом деле, портфель с материалами остался на крыльце. Из метельных облаков вынырнула блепленная снегом фигура, втроем брели мимо нескончаемых подъездов, втащили окованного деда в лифт. Ему представилось, как визжит лебедка, подрагивают канаты, медленно опускается в пазах противовеса, как, вихляясь, ползет вверх утлая кабина. А портфель остался. И лежит на табуретке в снегу. Немедленно встать и пойти за портфелем, пока его никто не унес. Если они следили за ним, то, конечно, портфеля уже нет. Он слышит сонный голос женщины: «Тебе чего?» Крадется к двери. «Там... – бормочет она. – Возле кухни...» В коридоре не видно ни зги, он ощупывает стены, натывается на вещи, находит дверь, цепочку и английский замок.

Но едва только он вышел на лестничную площадку и ступил босыми ногами на ледяной каменный пол, как дверь в квартиру захлопнулась; в ту же минуту Рубин сообразил, какого он сваял дурака. Ведь портфель в комнате. Он сам его поставил рядом с дверью, прислонил к стене. Он ищет выключатель, но электричество не горит на лестнице, кто-то вывернул лампочку или перегорела. Он пытается разглядеть картонку с фамилиями жильцов, чтобы узнать, сколько звонков к старику и хозяйке, но спохватывается, что не знает ее фамилии. Не знает даже, как ее зовут, а между тем вечер, комната в фиолетовом полумраке, абажур, румынский ром сблизили их; интересно, сколько ей лет; «отец» – так она называла деда, может, он на самом деле ее отец; поэтому она и сказала, что она ему не позволяет; так

стар, что забыл о том, что она его дочь; как дочери Лота; оттого и часы стоят; она перевела стрелки, утром снова придется переводить; дряхлое время может двигаться лишь с посторонней помощью. Тут он вспомнил, что думал о чем-то важном, но не мог догадаться, о чем; он думал, что если она ему дочь, то не должна быть старой, хоть и казалась усохшей, пока не размотала платок. И, услышав хрипенье, он открыл глаза.

Постепенно в крошечной тьме проступило окно, обозначились вещи. Хозяйка сидела на высокой кровати, спустив босые ноги, за спиной у ней всхлипывал, всхрапывал, причмокивал спящий старик. Она увидела, что гость тоже не спит, и сказала: «Что-то мне на душе нехорошо. Чего-то мы с тобой нехорошего выпили». Он спросил, который час. «Выбросить их давно надо. Сто раз чинила, опять остановились. Ну-кась, давай, Иван Гаврилыч. Вань! А Вань... Милый, давай на бочок. А то совсем задохнешься. Ну, давай, давай». Старик заворчал, громко чмокнул губами, она повернула его лицом к стене.

«Вот так-то будет получше», – пробормотала она, слезла с кровати и пробралась мимо лежащего на полу Рубина в угол. – Мать святая великая, – громко шептала она, – помоги, Богородица, что делать-то, жизнь-то какая пошла...»

«Чего?» – сказала она в страхе. Сургучный образ в темном углу моргал, мерцал жезью, силился что-то произнести. «Ты чего?..» – спросила она. «Сотвори диавол человека, – проскрежетала Богородица. – А Бог душу вонь вложи. Аще умереть человек, идти в землю тело, а душа к Богу». «Не пойму, чего говоришь-то», – сказала женщина. «Сотвори... диавол...», – одними губами повторила Богородица. «Да ладно тебе», – сказала женщина. Она снова оказалась между кроватью и лежащим на полу и опустилась на колени. «Подвинься, что ль, – пробормотала она и обернулась к деду. – Вань, а Вань, ты спишь?.. – Ответа не было. Она улеглась на пол спиной к гостю и свернулась калачиком. – Ко мне ближе подвинься... – Ее рука сзади искала Илью, подтягивала ветхое одеяло. – Нет, лучше наоборот. – Оба перевернулись, как по команде. – Ох, тоска-то какая... Не надо было его пить, не надо было пить. Говорила же я тебе!» – Хотя на самом деле она ничего не говорила, сама же его и потчевала. Немного погодя оба, не сговариваясь, поднялись с пола и, одетые, бесшумно покинули квартиру. Серебряное сияние проникало под своды сквозь лестничное окно. И, выглянув из дома, они отпрянули от изумления и восторга, когда увидели над крышами сверкающий лунный диск, снег лежал на ступенях подъезда, покрыл тротуары и проезжую часть, снег мерцал и переливался разноцветными искрами, и вдали, перед фасадами спящих домов, стояли, обнявшись, неподвижные темные пары. Они миновали двух влюбленных, которые не заметили их, но, когда Илья обер-

нулся, он увидел, что мужчина смотрит на него, постукивая пальцем по циферблату. Девушка тщетно старалась дотянуться до его губ. Человек смотрел то на часы у себя на руке, то на Илью. Дорога свернула в другой переулок. Это было как в кино: облитые луной одинаковые белые дома с мертвыми отсвечивающими окнами, с запертыми, заснеженными подъездами тянулись по обе стороны, и на тротуарах стояли пары. И ничего другого не оставалось, не было другого выхода, как остановиться по их примеру перед подъездом и обнять друг друга, стоя на снегу, потому что у них не было комнаты.

Мы никогда не узнаем, где это происходило и даже когда это происходило, потому что всякое происшествие по законам физики и криминологии может состояться только в одном определенном месте и в определенное время, между тем как Илья Рубин был и там, и не там, и, потеряв из виду приютившую его на ночь хозяйку и даже забыв о ней, забыв о старике, брел со своим портфелем, озираясь, вдоль пустой, блестящей и мерцающей в лунном свете улицы; все происходило если и не совсем в разных местностях, то как бы в разных системах координат. Он прочел надпись, намалеванную краской на бетонном торце: цифры означали дом и корпус, и стояло название улицы, одно для всего квартала; название было древнее, унаследованное от других эпох. Так имена городов и стран хранят отзвуки умерших языков и погребенных цивилизаций.

Еще метров сто, еще один поворот, и он приблизился к знакомому дому, довольно высокому для своих трех этажей, с карнизами и остатками лепных украшений. Ржавые консоли торчали на месте балконов. Парадная дверь была заколочена. Судя по всему, это был последний памятник былых времен, какого-нибудь уездного городка, стертого бульдозерами с лица земли, и даже выцветшие полустертые буквы виднелись на боковой глухой кирпичной стене: «Торговля скобяными товарами». Бог знает, что это были за товары, слово исчезло из языка. В окнах, как в бельмах слепого, блеснул оловянный рассвет.

Дом был обитаем. Рубин зашел сзади с черного хода, поднялся по грязной лестнице на третий этаж. Оттуда надо было пройти коридором и подняться по другой, шаткой и скрипучей лестнице еще выше; дом странным образом состоял внутри не из трех, а из четырех этажей. Илья Рубин позвонил, как уславливались, три раза; звонок не отзывался; стукнул в дверь три раза. Зашлепали домашние туфли. «Открывай, – сказал он, предполагая, что его ждут. – Это я». Там молчали, но и не уходили. «Ну, не хочешь, твое дело, – сказал Илья, – я только хотел узнать, как ты там». Шаги зашлепали обратно. «Не хочешь, не надо!» – крикнул Илья, сходя по лестнице, но тут заскрежетал ключ в замке, дверь открылась.

В квартире уже проснулись, пахло едой и помоями, чье-то картофельное лицо выглянуло из каморки в конце коммунального коридора, кто-то плелся, не оборачиваясь, на кухню в майке, серо-зеленых галифе и тапках на босу ногу, мяукал кот, урчала вода в уборной.

«А ты все таскаешься с этим... – промолвил хозяин, косясь на Илюшин портфель, когда они вошли в комнату. – Напрасный труд. Ты же знаешь, что я не играю в эти игры».

«Как знать», – отвечал Рубин.

«Присаживайся... – В комнате был обычный беспорядок. – Я полагаю, ты не завтракал? Почему ты у нее не остался?»

Рубин смотрел ему вслед. Хозяин вернулся из кухни, неся сковороду с яичницей. Он поставил еду на стол. Рубин потер лоб и спросил, который час. На что хозяин комнаты несколько загадочно отвечал: смотря по какому часам.

«Я думал, – пробормотал гость, – мне все это приснилось...»

«Ешь. Накладывай сам... В известном смысле это так. Но только в известном смысле».

Хозяин был сутулый длинноносый человек в очках. Хозяин встал и подошел к стоявшей на письменном столе машине для сочинения книг: сооружение из неизвестного материала – не то картон, выкрашенный в металлический цвет, не то металл, похожий на картон.

«Существуют разные градации сна, – объяснил он. – Одна из них – действительность».

«Да где ж это видано?– сказал бабий голос за дверью. – Сел и не выходит».

В квартире что-то происходило, кто-то носился по коридору туда-сюда. То и дело спускали воду в уборной. Сапоги несли что-то тяжелое. Очевидно, была раскрыта дверь на лестницу, оттуда слышались голоса и топот. Доносились реплики: «Разворачивай... Да не туда, левым боком разворачивай... Да не проходит, подай назад... Пройдет, никуда не денется... Кто-то цельное утро дрищет... Подай назад».

Сутулый хозяин вперил взор в равномерно жужжащий и мерцающий нездешним светом аппарат.

«Переселяются. Меняют шило на мыло, – бормотал он, не сводя глаз с экрана. – Доедай, я уже перекусил».

Бабий голос сказал:

«Ишь, чего надумали».

С другого конца коридора кто-то ответил:

«Это он после пьянки».

«Давно ломаю себе голову, – пробормотал гость, – как будет третье лицо единственного числа от глагола «дристать»? Дрищет или дристает?»

«Дрищет», – сказал писатель.

«Это что, телевизор?»

«Не совсем».

«А что же это?»

«Компьютер. Появится лет через десять. А может, через сто».

По экрану неслись строчки, вспыхивали и гасли надписи, хозяин брал аккорды на клавиатуре, но, очевидно, не мог совладать со строптишной машиной.

«Что случилось?» – спросил Рубин.

«Ничего не случилось. Это он демонстрирует поток сознания... Долго объяснять, все равно не поймешь. Короче говоря... Весь твой портфель и ты сам в придачу. Все здесь, в этой коробке». Ударил в последний раз, все потухло.

«Ничего себе», – буркнул Рубин. Он покончил с едой и блаженно развалился на стуле.

Солнце сверкало в стеклах соседних домов, и от ночного снегопада не осталось ни следа.

Писатель смотрел в окно.

«Надо спешить. Все это скоро кончится».

«Что – все?»

Хозяин сделал неопределенно-широкий жест.

«Мы тут ни при чем, – возразил Рубин. – Какое нам до всего этого дело?»

«Вы тоже умрете».

«То, что мы делаем, останется».

«Ты так думаешь?»

«Сделай так, чтобы мы остались в живых, – сказал Рубин. – Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет».

«Что будет... В общем-то ничего не будет. С одной стороны, ничего не изменится. Этот дом как стоял, так и будет стоять. Город как был, так и останется».

«А с другой стороны?» .

«Мои дни тоже сочтены, – сказал хозяин, не отвечая на вопрос. – Успеть бы закончить эту работу».

«Откуда ты знаешь?»

«Я тоже – чья-то мысль», – загадочно ответил хозяин.

«По-моему... – пробормотал Илья Рубин. – Что за черт!» – сказал он и потер лоб. Ему казалось, будто он разговаривает сам с собой.

Писатель улыбнулся.

«А может, это я говорю сам с собой? Видишь ли, – сказал он, – как только мы начинаем беседовать, я сам превращаюсь в действующее лицо. Я уже не автор! Автор – где-то там...»

«Где там?» – спросил Илья, плохо понимая, о чем идет речь.

Какое-то время оба молча прислушивались к голосам в квартире.

«Значит, вот так ты и живешь», – прошептал гость, и тот, кто находился в комнате, повторил, как эхо:

«Так и живу».

Он снова заговорил:

«У тебя ложное представление. Ты исходишь из презумпции всезнания. То есть ты полагаешь, что автор знает все обо всех, что он всеведущ и всемогущ и, словно Бог, смотрит сверху на этот мир, который он сотворил. Ты веришь в эту игру».

Посетитель заерзал на стуле.

«Может, я пойду?» – сказал он.

«Сиди... По правилам этой игры вы все обо мне ничего не знаете. Шахматные фигуры не догадываются об игроке. Или думают о нем как о Боге, который подарил им ответственность и свободу воли. Им кажется, что они действуют по собственному усмотрению. Шахматные фигуры верят в свободу воли. Вот что тебя сбивает с толку! Как если бы игрок сам стал ходить вместе с тобой по доске».

Рубин сказал надменно:

«В том, что я живу, я не сомневаюсь. Я мыслю, следовательно...»

Хозяин развел руками, возвел очи к потолку.

«Кстати, – заметил посетитель, – из того, что мы тут сидим и разговариваем, и есть что пожрать, и крыша над головой... Из всего этого следует, что ничего не погибло! И Бог не истребил человек, и потоп не залил землю».

«Зачем же ему заливать землю? Ах, все эти разговоры, рассуждения! – сказал хозяин, морщась и хватаясь за щеку, точно застигнутый невралгией тройничного нерва. – Не в этом дело...»

«А в чем?»

Писатель ходил по комнате, от окна к двери, как заключенный в камере.

«В чем дело? Да в том, что впереди – черная дыра! Все ближе с каждым днем и все быстрее... Каждый вечер одно и то же: вместо того, чтобы лечь и уснуть, наоборот – как будто просыпаешься. Вдруг вспоминаешь... Вдруг как будто протираешь глаза. Днем еще куда ни шло, днем как-то живешь и ни о чем не думаешь. А к вечеру вспоминаешь».

«О чем?»

«О том, что шансов больше не осталось. Черный туннель, и никуда не свернешь. Не знаю, – сказал он, – что бы я делал, если бы не литература. Околел бы, наверное, от тоски и ужаса. Повесился бы, не дожидаясь. Ты еще молод, ты этого не можешь понять».

«Да, но в таком случае...» – проговорил Рубин.

Он взглянул на сочинителя, который яростно протирал очки. Очки были перевязаны ниткой. Сочинитель внушал жалость.

«Вымой стекла под краном. Дай-ка мне».

«Не ходи туда. Начнутся разговоры: кто да что...»

«Они меня не увидят, я из другого времени...»

Он вышел на кухню и вымыл стекла водой под краном.

«Пусть просохнут, – сказал Илья, входя в комнату. – Мне самому рекомендовали. От протирания стекла портятся».

«Ты разве носишь очки?» – моргая, спросил писатель.

«Надо бы, но не ношу».

«Почему?»

Посетитель ухмыльнулся.

«Чтобы нравиться женщинам!»

Он собрался уходить.

«Посиди. Кстати, тебя касается... Не обижайся. Я не могу понять твоей функции. Вот хотя бы это место... – Он вперился в экран. – Кто это говорит? Ты или автор? Кто такой этот автор? Во всяком случае, это не моя речь».

«И не моя».

«В таком случае непонятно, с какой стати ты...»

«Что за чертовщина, – сказал Рубин, – сплошные игры! Сначала игра в писателя и героев. Потом герой является к автору собственной персоной. Оказывается, это тоже игра. Когда же мы, наконец, возьмемся за дело всерьез?»

«В самом деле, когда?» – уныло спросил писатель.

«Ну вот что, – сказал Рубин. – Всякому терпению приходит конец. Если уж на то пошло, не ты нас сотворил, а мы тебя. Автор – это всего лишь тот, кого уполномочили его герои. Можем взять и кого-нибудь другого...»

«Сделай одолжение, – отвечал хозяин холодно. – Но что от этого изменится? С остальными еще куда ни шло. Худо-бедно, но они действуют: зарабатывают деньги, едят, пьют и все прочее. Живут реальными интересами. А ты?»

«Я тоже пью, ем и все прочее».

«Призрачная фигура. Это интервью с магнитофоном мне совсем не нравится».

«Что же делать, – сказал Рубин, – если так оно и было?»

Хозяин покачал головой.

«Герой-резонер».

«Уж какой есть».

Писатель приободрился. Он вошел во вкус беседы. Ему хотелось спорить, привести новые аргументы, как вдруг задребезжал телефонный звонок. Оказалось, телефон стоит на столе. Илья Рубин снял трубку.

После этого он открыл рот и вперил растерянный взгляд в пространство. Глаза его отыскивали хозяина. Писатель пожал плечами. Голос сказал из трубки:

«Я не могу долго разговаривать, звоню из автомата. Немедленно приезжай домой».

«Домой?» – спросил Рубин.

«Да. Дело в том, что отец не может долго задерживаться в городе. Он вернулся... Ты понимаешь, о чем я говорю. Но он вернулся».

«Отец?.. А ты?..» – лепетал Рубин.

Голос Берты Владимировны сказал торопливо:

«Только не в эту конуру. Приезжай на нашу старую квартиру, мы там теперь снова живем. Ты меня слышишь? Я не могу долго разговаривать».

Рубин держал в руках трубку.

«Прервали... Что это значит?»

Хозяин усмехнулся, пожал плечами.

«Литература, – сказал он. – Dichtung. Сбой компьютера. Не волнуйся, я погашу эту страницу...»

Тут в комнату постучались; не дожидаясь ответа, сосед открыл дверь.

«Можно? А, у тебя гости!»

Тот самый человек в протертых галифе.

«Это что, – проворчал Илья, – это тоже такая игра?»

«А чего, – сказал сосед, – нам как раз четвертого не хватает».

«В чем дело?» – спросил писатель тусклым голосом.

«В чем дело, в чем дело! Только по делу и можно? Ну, раз ты занят...» – сказал сосед обиженно.

«Заходи. Знакомься...»

Сосед протянул Илье каменную ручищу.

«У тебя что, выходной?» – спросил хозяин.

Сосед возразил: «Сколько можно работать? – Он пояснил, что у него отгул. – Погода уж больно хорошая, может, козла забьем?»

Летописец последних времен, кряхтя и поправляя очки на длинном носу, поднялся из-за стола. Вышли из квартиры, спустились по лестнице. Стоял теплый солнечный день.

Позади дома помещался вбитый в землю деревянный стол на одной ноге, за столом в драной телогрейке сидел вчерашний старец.

«Вот, – сказал сосед в галифе, показывая на Рубина, – нашел четвертого».

«Привет, дедуля».

«Не хочу я с ним играть, – проворчал старик. – Пушай супротив тебя садиться».

Сосед сел напротив Рубина, сочинитель – напротив деда.

Сосед смешал корявой ладонью костяшки на столе. Каждый придвинул к себе свою долю.

«Ну-с...» – грозно промолвил сосед, заноса над столом костяшку; наступило молчание.

«Й-йэх!» Это был дуплет пять-пять.

«Утить-твою...»

«Ить-твою».

«За ногу».

Рубин, крикнув, грохнул об стол: пусто-пусто.

«Убить-твою!..»

Бородатый старик пододвинул пальцем свою костяшку.

«Рыба! И надо же...»

«В рот тебя соленым огурцом!» – вскричал сосед.

Он смешал костяшки. Каждый подгрел к себе свою долю.

«Язык, – промолвил сочинитель, – каков язык! Йэх!» – костяшкой об стол. Игра продолжалась.

ХII. ЛЮБОВЬ ХАНА

Между тем как перелазатель национальных литератур в самом бесшарном состоянии, опираясь на плечи неизвестных черноусых людей, переставляя ноги и бормоча рифмованные строчки, был введен в свою квартиру, сдан с рук на руки заспанной жене, раздет, уложен и на другой день самоотверженно сидел за рабочим столом и мрачно взирал на монгольского витязя, а витязь на него; между тем как Илья Рубин бил костяшками о дощатый стол, не задумываясь о том, как это может быть, чтобы автор резался в домино с призраками собственного мозга; да ине мог допустить, что он – всего лишь призрак; между тем как часовых дел мастер Августин Иванович вперялся в светящееся время, которое медленно наполняло реторту, время, безжалостное и равнодушное ко всем, время-расплата, время-возмездие, равно карающее безвинных и виноватых, время, которого осталось так мало, которое, в сущности, было уже израсходовано; между тем как Москва окраин, ни о чем не подозревая, гонимая голодом, скукой и вожделением, предвкушая ужин и телевизор, втискивалась в подземные вагоны, осаждала автобусы, валила домой, и навстречу ей расступались кварталы, и вдали вечный город весь потел, и дымился, и метал молнии из бесчисленных окон, и мерцал

малиновыми пятиконечными звездами в дымно-розовом и зеленом небе, – между тем как все это происходило, суетилось и мельтешило, доживало свой век и утешалось несбыточными надеждами, – на пересечении двух самых больших проспектов у въезда в столицу, в восьмом часу вечера по западному времяисчислению и на восходе сто тринадцатой луны восточного календаря, неохотно, подозрительно приоткрылась массивная стеклянная дверь высотной гостиницы и смазливый подросток вступил в мраморный холл.

Наперерез ему уже спешил швейцар в серо-серебряной униформе, похожий на распорядителя в цирке.

«Не положено, – внятно сказал привратник. – Ну-ка назад!»

Посетитель, одетый в черный бархатный костюмчик, черные чулки и модные мокасины на каблуках, ничего не слышал, никого не замечал и, не торопясь, но и не теряя времени, несколько развинченной походочкой, пожалуй, все же выдававшей его смущение, направлялся к лифту, минуя регистратуру, откуда с египетским спокойствием за ним наблюдала пожилая золотокудрая барышня, увешанная фальшивыми украшениями.

Холл был обставлен кожаными креслами и диванами вокруг стеклянных столиков, устлан ковром, полуосвещен, таинствен, безлюден, лишь за прилавком киоска с газетами братских компартий маячила фигура продавца.

«Гражданин!» – повторил швейцар, он был новый человек и твердо знал свои обязанности.

Хорошенький подросток бросил через плечо:

«Отвяжись!»

«Чего? Ну-ка!»

Тут произошло нечто непредвиденное, почти неслыханное: посетитель остановился, стряхнул схватившую его руку и, стрельнув по сторонам сузившимися татарскими глазами, прошипел:

«Если ты сейчас от меня не отлипнешь...»

Швейцар обратил остолбенелый взгляд к барышне-бабусе за стойкой. Регистраторша величественно кивнула. Швейцар развел руками: дескать, откуда мне было знать? Так бы и сказали. Выскочил малый в картонной шапчонке и форменных брюках, почтительно распахнул дверь лифта. Черный юноша поехал наверх среди ламп и зеркал.

Время от времени женское очарование с непостижимой отвагой отбрасывает свои уловки, совершает головокружительный вираж, жертвует всем достигнутым; можно сказать, что в этот момент оно отказывается от себя, чтобы с триумфом вернуться к себе окольным путем. Каждые двадцать или тридцать лет мода изобретает этот фокус, и, нужно признать, каждый раз он производит ошеломительный эффект. Вместо того

чтобы привлечь внимание к главному, вам хотят внушить, что его нет. Вместо того чтобы всемерно подчеркивать пол, мода его отвергает. Тем неожиданней открытие, что «она» – все та же, ибо смысл этого *qui pro quo* состоит в том, что чем усердней «она» маскируется под «него», тем больше она остается самою собой. Мужчина, переодетый женщиной, смешон, девушка в мужском наряде прелестна вдвойне. В то время как женское платье приближает ее к зрелости, мужское – возвращает к возрасту андрогина, и тут выясняется, что главное – не пол, а возраст, не женственность, а юность, не настоящее, а будущее. Преодолеть тривиальность женственности – вот в чем суть; обрядить женщину в плащ эфеба – значит поистине вернуть ей вечную юность; девственность в мужском облачении возвещает о мифологической весне мира, когда не было ни мужчин, ни женщин. Юный андрогин навестил нашу юдоль, вошел в стеклянную дверь, вознесся на пятнадцатый этаж, откуда, говорят, можно разглядеть будущее; выбрался из коробки лифта и очутился в мертвом, сияющем огнями коридоре. Мельком взглянув на четырехзначный шифр, Шурочка постучалась в номер.

Одиночество придает мужчине ни с чем не сравнимую привлекательность. Председатель степного и предгорного края сидел, погруженный в глубокую думу, в полуосвещенном чертоге, за накрытым столом. Из-за полураздвинутых занавесей не видно было ничего, кроме необъятных меркнущих небес. На нем были синий, стоящий колом коверкотовый костюм со звездочкой Героя и значком депутата, галстук жизнеутверждающей расцветки, зеркальные штiblеты. Хан предстал в облачении государственного мужа, или, как тогда выражались, ответственного работника; хан выглядел устрашающе-импозантно, это был Марс, забывший снять свои доспехи. Быть может, не без умысла.

Между тем как...

Между тем...

Выпив полфужера и едва притронувшись к блюдам, сунув в рот шоколадную конфету, устроившись с ногами на кушетке, – хоть и не впервые здесь, но мы все еще не вполне освоились, недостаточно уверены в себе, не нащупали линию поведения, хотя какая там линия поведения, глупое слово, речь совсем не о том, речь идет о судьбе, – полулежа, она слушает и не слушает, отвечает и не отвечает; гаснет небо за окном, на столе горят свечи, в номере происходит диалог, в котором больше пауз, чем слов.

«Слушай сюда...»

Молчание. Она разглядывает ножичек для разрезания фруктов.

«Подойди ко мне. Подойти сейчас же ко мне».

«Можно и так разговаривать...»

«Не хочешь – не надо. Тогда пойдя туда и встань на стул. Встань на стул».

«Зачем?»

«Не надо спрашивать, становись, я тебя подержу. И постучи. Рукой постучи».

Странное зрелище, если бы кто-нибудь вошел: в углу просторной комнаты Шура в шелковых чулках, в черных коротких штанишках на цыпочках тянется к потолку, хан сжимает ее бедра – так держат вазу.

«Постучи по стенке... Слышишь звук? Как будто в пустом бочонке. Еще раз... Это они подслушивают. Это у них аппаратура. Они всех подслушивают! Они и сейчас подслушивают, вот то, что я тебе сейчас говорю, они там сидят и слушают, но мне наплевать. Я все знаю, меня не обманешь».

Хан обнимает Шурочку, его ладони скользят по бархату, проникают под курточку, поднимаются мимо груди к подмышкам, все это продолжается несколько мгновений, она хочет прыгнуть, хан держит ее под мышками и ставит на пол, она одергивает костюмчик, развязывает на шее батистовый бант, уф-ф. Ей жарко.

Потомок мурз, отпрыск князей Услава и Святослава расхаживает по комнате, заложив руки за спину, могучий торс хана выпирает из расстегнутого пиджака, и на лацкане сияет Звезда Героя Социалистического Труда.

«Мне пора уезжать, я получил известие... Что я этим хочу сказать, тебе понятно?»

«За тобой следят?»

«А! – Хан презрительно отмахнулся. – Тьфу! Пускай следят, пускай слушают, пускай пишут свои доклады. Сегодня я здесь, завтра меня нет... Сегодня они там пишут, а завтра от них и пыли не останется! Мне на них наплевать, и тебе тоже должно быть на них наплевать. Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать, не притворяйся, что ты не понимаешь».

Молчание вместо ответа. Ей жарко, черная курточка лежит на кушетке. На Шуре светлая кофточка с развязанным бантом, с просвечивающим лифчиком. Хан степеней жует, барабанит пальцами по столу.

«Почему ты мне не скажешь? У тебя была кровь или не была?»

Она молчит.

«Ты не бойся мне сказать. Если крови не было, я этому даже рад...»

На ее лице появляется что-то вроде усмешки.

«Да, я буду рад. Потому что если да, то тем более. Да, я хочу, чтобы у меня был сын... Но не здесь. Там! – И он показал пальцем в окно, в огромную даль неба. – Так вот. Спрашиваю в последний раз».

«Не знаю...»

«Чего ты не знаешь?»

«Боюсь».

«Чего ты боишься? Кого? Скажи!»

«Я там буду совсем одна».

«Зачем одна? Подруги будут. Моя мать будет тебе как мать. Моя семья будет твоя семья».

«У тебя там, – сказала Шурочка, – небось и без меня жен хватает».

«Какие жены?– вскричал хан. – Какие жены, нет у меня никаких жен! Посмотри на меня, разве я мальчишка! Ты будешь моя жена, единственная».

«Так я тебе и поверила...»

«Ты моему слову не веришь? Ты – мне – не веришь? Слушай. Я даром слов на ветер не бросаю. Ты это запомни».

«Мне надо сделать еще кое-какие дела, – сказал он после продолжительной паузы. – Два дня, три дня. После едем в аэропорт».

Шура, в курточке, накинутой на плечи, забросила ногу на ногу, смотрела в пространство.

«Ты прекрасна в этом костюме, – заметил хан. – Но у нас серьезный разговор. Ты видишь, я не играю в любовь. Иди туда, – сказал он, – в ту комнату. Там для тебя домашнее платье приготовлено. Сними свои штаны... Будет удобней».

Когда она вошла, пиджак и галстук хана висели на спинке кресла, он был в фисташковой импортной рубашке с запонками и в шелковых подтяжках.

Когда она вошла...

Нет, подростка больше не было. Андрогин обернулся женщиной, но, право же, ничего не потерял!

Хан оглядел ее медленным темным взором.

«Еще два или три дня, есть кое-какие дела... Мелочи... Больше тут делать нечего. И тебе тут нечего делать. Ты мне можешь поверить, я знаю, что говорю... Еще три дня. Потом с тобою – фьюить!»

И он взмахнул рукой, словно вознес невидимую саблю.

Шура пробормотала: «Я работаю...»

«Не твоя забота. Все будет оформлено, сделано, и квартиру твою сдадут, тебе пальцем не надо пошевелить. Московскую прописку сохранишь. Если хочешь взять что с собой, скажи».

Слабая музыка, доносившаяся откуда-то издалека, словно в другом крыле здания играл национальный ансамбль, коснулась ее слуха.

«Слушай, – промолвил хан. – Я ни о чем не спрашиваю. Может быть, у тебя есть жених. Может быть, есть любовник, я не спрашиваю. И я даже не хочу спросить, любишь ли ты меня. Я только одно скажу, и ты мне можешь поверить, я слов на ветер не бросаю. Клянусь тебе всем дорогим,

жизнью моей матери клянусь, памятью предков... Я ни одной женщине не говорил того, что я тебе скажу».

Пение дудочек, жужжание струн и глухие удары барабана слышались все сильнее, карие глаза хана расширились.

«Что это?» – спросила она.

«Это радио. Слушай... Когда я тебя увидел... Я не мальчишка. Я повидал женщин. Ха! – Он взмахнул рукой. – Женщин сколько угодно, только помани! Но когда я тебя увидел, я сразу понял. То, чего никогда не понимал. Ты не веришь. Но это бывает! Я увидел тебя всю сразу... И твои глаза, и твою походку, и твою душу, и твоё тело. Я увидел твою шею, твои груди, теплые, полные... белые, как молоко... Я увидел, как во сне, как в саду, я все увидел. Как ты идешь, и как ты опускаешь голову, и как ты садишься, и как твои брови сходятся на лбу, и как ты смотришь из-под бровей, сквозь ресницы, и как ты поднимаешь руки, чтобы поправить волосы, и как дышит при этом твоя грудь. Слушай... этого не может быть. Но это бывает! Я тебе все отдам, слушай. Все, что у меня есть, все! Ты молодая, ты еще настоящей жизни не видела... Я устрою твою жизнь. У тебя будут самые лучшие платья. У тебя будет все самое лучшее. Хочешь выйти замуж за меня, пожалста. Хочешь просто так жить, а? Пожалста! Работать хочешь, быть самостоятельным человеком, найдем тебе работу. Как меня все уважают, так тебя все будут уважать. Тебе ни в чем не будет отказа. Хочешь, сиди дома. Хочешь, едем на курорт. На самый лучший курорт, у меня всюду есть друзья. Они для меня все сделают, да еще с какой охотой. Я все устрою! В путешествие поедем, в горы поедем, хочешь, в Крым, хочешь, на Кавказ, на Северный полюс, куда хочешь! Я не мальчишка. Я слов на ветер не бросаю. Я...»

Хан раскинул руки, не находя слов, глаза его стали почти черными, он отвернулся и подошел к окну.

Шура сидела на кушетке, опустив голову.

Хан тяжело вздохнул, щелкнул пальцами, и из воздуха явилась, и даже не явилась, а как будто так и стояла в сторонке на круглом столике, короткогорлая глиняная бутылка.

«Вот, бальзам из джейрана, – пробормотал он, – помогает для здоровья. Выпей, лучше себя почувствовать будешь...» Он наполнил две рюмки, протянул Шурочке и опрокинул в рот свою.

И прошло еще сколько-то времени. И угасли остатки зари, и как будто пронеслось какое-то дуновение. Дрогнули и увяли лепестки свечей на столе, в блистающих сумерках московского дня комната превратилась в шатер. И какие-то полуголые люди в просторных пестрых шароварах внесли с поклонами чеканные узкошейные сосуды, и в светильниках взвился огонь, и зурначи поднесли к губам свои инструменты. Посреди ковра си-

дел на подушках, положив руки на раздвинутые колени, в похожей на полотенце чалме с серебряною луной волоокий, ясноликий половецкий хан. «Слушай», – сказал он. И умолк, и оба, падишах и рабыня, мужчина и женщина, смотрели друг другу в зрачки и видели там друг друга.

Приходится согласиться, что опаснейший враг любви – не другая любовь, а свобода. Вечный вопрос: что я такое сделала, чем не угодила? – предполагает, что кто-то из двух должен быть виноват; но на самом деле никто не виноват. Предполагается, что тут замешана чья-то юбка; ничего подобного. Тут не измена, не новая женщина, не месть, не обида и не уязвленное самолюбие. Тут сознание своей независимости и свободы, Назовите его иначе: чувство пустоты.

Ну и прекрасно, думал Илья Рубин, и дай тебе Бог. В этой мысли не было ни малейшей горечи. Ни тени ревности. Облегчение? Пожалуй, и облегчения не было. Ничего не было. Собственно говоря, давно уже ничего не было, так что впору было задать вопрос: а было ли вообще?

Он спросил: знает ли Педерастович?

Ответом была молния ее глаз, голос, полный злости и ненависти:

«Какой Педерастович?»

«Ну... этот».

После чего воцарилось молчание, похожее на молчание зеркальных вод: швырнуть камень? броситься вплавать?

Разумеется, было бестактностью упомянуть об Олеге Эрастовиче, о котором вообще забыли – или почти забыли. Просто нахальством, наглостью было упомянуть его имя, – кто привел ее к этому карлику с потным мясистым носом, кто ее продал этому специалисту по пупкам и ягодицам? А главное, это значило обесценить все объяснение. Это значило: ты поступила в «заведение» Олега Эрастовича, он обещал тебе красивую жизнь, так и вышло, ты добилась, чего хотела, подцепила богатого фраера, он подарил тебе всякого барахла, даже хочет жениться. За чем же дело стало?..

Примечательно, что и сам Эрастович как-то мало-помалу стусевался. Отчитывалась ли она перед ним? Можно предположить, что, познакомившись с ханом, она не принимала больше никаких заказов, не отвечала на телефонные звонки, вообще прекратила знакомство с Олегом Эрастовичем. Быть может, Олег Эрастович, поняв, куда дело зашло, предпочел выйти из игры. Получил от степного хана отступные или что-нибудь в этом роде. Так или иначе, это был ее единственный «заказ», первый и последний. Нам хотелось бы, чтобы это было так. И если это действительно так, ее возмущение было оправданно.

Но было бы ошибкой думать, будто Рубин упомянул об Эрастовиче, чтобы ее уколоть. Такая подлость, как ни странно, могла бы утешить Шу-

рочку. Увы, ничего подобного в мыслях у него не было. Просто брякнул без всякой задней мысли. Потому что ему было все равно. Шура стояла перед зеркалом в крошечной своей квартирке, и, как когда-то в комнате для больничного персонала, он видел ее волосы, плечи и облежавшее спину платье, под которым угадывались пуговицы бюстгальтера, видел ее ноги, видел в зеркале ее глаза, с острым блеском, со злой обидой смотревшие в его глаза. Он взглянул на ее стан и подумал, что всегда остается способ уладить любое недоразумение, это тело могло бы принадлежать ему в любое время дня и ночи, хоть сейчас, – и эта мысль не пробудила в нем ни малейшего энтузиазма.

«Хочешь, – сказала она, – я буду к тебе приезжать?»

Трюмо было ее убежищем, она одергивала платье, ее короткие ножки в чулках с модными стрелками поворачивались на каблуках – вправо, влево, она словно собиралась в гости, задумалась, подошла к балкону. Она повернулась лицом к нему, спиной к балконному окну, белый пасмурный свет окружил ее волосы тусклым нимбом, и лицо было погружено в тень.

«А может, вовсе не ехать?»

Рубин смотрел на нее, в голове ни с того ни с сего, без всякой связи зазвенели строчки:

Не пойдем, услышим звуки отдаленных бурь. Молча свяжем вместе руки, отлетим в лазурь.

«Думаешь, я так уж гонюсь за богатством?»

Он усмехнулся, ему хотелось возразить: а что я могу тебе дать взамен?

Но что-то опять потянуло его за язык. Он сказал:

«А Педерастович?»

Она молчала.

«Он тебя просто так не отпустит».

Она не удостоила его возражением. За окном накрапывал дождик.

«Ладно, – сказала она, – чего тут, думать, надо решать. Скажешь, поезжай – я поеду, оставайся – останусь. – Она засмеялась. – Вот сейчас позвоню и скажу: нет, и до свидания! Хочешь, позвоню?»

«Решай сама...»

Молча свяжем вместе руки... Эх!

«Дура набитая, – бормотала она. – Таких дур поискать».

Пожатие плеч, он смотрит впереди себя в пол, в коврик, привезенный еще из Тулы, вперяется в пустоту, где сгущалось его упрямство, где клубились его независимость, его нежелание связывать себя чем бы то ни было, наконец, его «дело».

И все же он не смеет вслух сказать «не звони», или «дай тебе Бог», или «скатертью дорога», нет, он этого не произнес. И Шура ждала, что она опомнится, поднимет голову, скажет: плюнь ты на этого чучмека, ведь нам было так хорошо вдвоем! Она ждала этого, чтобы потом говорить себе: у меня было все, но я на все махнула рукой; у меня был фантастический поклонник, но я отвергла его. Да, она готова была от него отказаться, чтобы потом всю жизнь тешиться и наслаждаться сознанием своей жертвы.

Поразительно, как ей до сих пор не везло. Ее замужество, какой это был ужас. Родился сын, и показалось, что все наладится; со смертью малыша и этот эпизод был вычеркнут из ее жизни. Преподаватель училища... Да, вот, пожалуй, был единственный человек, кто любил ее почти так, как ей хотелось, чтобы ее любили: нежно, преданно, бескорыстно; но уж слишком бескорыстно. А главное, был до того робок, до того нерешителен, что, когда наконец в один из его приездов, уже начинавших ей надоедать, они оказались вдвоем, ничего толком не получилось. Пренебречь такими любовниками не было бы заслугой.

Зато Юсуф! Он обещал ей то, чего никто никогда не мог обещать. Он жил в мире, где все делалось даже не по его приказу, а как будто само собой, где все доставалось даром, где не надо было рано вставать, спешить, давиться в очередях, где не было этой вечной, всегдашней, неодолимой тесноты, грязной ругани и нехватки всего. В мире хана обо всем этом не имели представления. Хан был велик и всесилен. И, наконец, в чем она не могла не сознаться самой себе, ибо с самого начала, с первой встречи это обволокло и околдовало ее, – хан обладал особой и непостижимой чувственной властью.

Была ли эта власть так сильна оттого, что он был богат? Или богатство было обрамлением его власти? Хан был мужчиной; мужчина должен быть неукротим. А ее окружали слизняки.

Ничто в отдельности не могло бы победить в Шуре привычный, почти бессознательный расизм обитателей столицы, хан казался ей наглядным подтверждением всего, что она слышала об этих «черных»: его щедрость была подозрительной, чины и почести – словно ненастоящими; бритая голова, хитро-безумный взгляд, маленькие нетерпеливые руки пробуждали в Шуре инстинкт самозащиты; ненасытность хана мешала ей вполне отдаться самозабвению, и мощь его чресел поначалу внушала ей скорее страх, чем ответное желание. Но в самом этом страхе было нечто гипнотическое: вокруг хана дрожало магнитное поле.

Опомнившись, она говорила себе: беги, пока не поздно. Но она начала уже привыкать к его повадкам. Быть может, впоследствии, если бы она рассталась с ним, минуты близости растянулись бы в ее воспоминаниях

в долгие дни и недели неземного счастья, и кареглазый, безрассудно-горячий красавец хан превратился бы в миф об идеальном любовнике.

Но если все-таки, несмотря на то, что Рубин, вечно где-то шатающийся, неизвестно чем занятый, ненадежный и нищий, был, скажем мягко, не подарок, – о, это вечное, проклятое ни то ни се всех нынешних мужчин, которые сами не знают, чего хотят, – если, несмотря ни на что, она хотела его сохранить, хотела остаться с ним, а там будь что будет, если все-таки он один (как она убеждала себя) оставался «единственным и настоящим», так что все его недостатки превращались в преимущества, неприкаянность лишь усиливала очарование и пробуждала в ней материнский инстинкт, если никакие посулы, никакие деньги и тряпки, никакое ориентальное сладострастие не могли поколебать это первенство, – то разрыв с Ильёй страшил ее вдвойне: получалось, что она не только променяла на деньги, на легкую жизнь, и золотую клетку что-то настоящее, заветное, неподкупное, бескорыстное, но лишилась того, что, быть может, составляет высшую усладу женщины, – лишилась возможности упрекать его за разбитую жизнь!

Получалось, что не она, а он приносит себя в жертву. Не он, а она бросает его на произвол судьбы – бедствовать, мыкаться, кое-как есть, кое-как спать, ходить вечно в одном и том же застиранном и заношенном джинсовом костюме. И Шуре казалось, что он молчит из гордости.

Она вертела что-то в руках, прижимала к губам сплетенные пальцы.

«У тебя кто-нибудь есть? Скажи прямо».

«Нет у меня никого»

Он поглядывал на нее, ей казалось, что он колеблется, а на самом деле у него в голове вертелись откуда-то взявшиеся ни с того ни с сего стихи.

«Сколько сейчас времени?»

Рубин перевел взгляд на часы, которые никогда не показывали точное время.

«Может, чайку выпьем? Водочки?»

В конце концов существует два метода решения всех вопросов: один – это лечь в постель. Нырнуть на дно, на мгновение раствориться друг в друге, уснуть, умереть – и восстать на другой день в спокойном сознании, что решать-то было нечего. Второй способ – сесть за стол.

И вот они сидят друг против друга, молча, погрузившись в тупую задумчивость, так лежат в окопах солдаты двух армий, и командир силится разгадать замыслы неприятеля. Военное преимущество женщины, как всегда, в том, что она догадывается, о чем думает он, или воображает, что догадывается. Он же уловить зигзаги ее мысли неспособен, да и не старается угадать.

«Ты остаешься?» – спросила Шурочка.

Слепое зрение, которым она видит то, чего он не видит своими зрячими глазами, – вот в чем ее преимущество. Илье Рубину приходит в голову, что, если бы роли переменились, если бы она равнодушно указала ему на дверь, он понял бы, что теряет свой последний шанс: понял, что, быть может, сейчас, в эти минуты, вместе с ней от него уходит самое важное, единственно важное в жизни.

Я в дольний мир вошла, как в ложу. Театр взволнованный погас...

А Журнал, а «последние могикане»? Ах, все труха, призраки. Ему приходит на ум простая, яснее быть не может, мысль. В Шуре, в этой провинциальной дурочке, живет нечто подлинное, исстари человеческое, замены которому нет. Пока еще она здесь. Завтра она исчезнет. Ему бы надо держаться за нее обеими руками.

Человек с гроздьё разноцветных воздушных шаров за спиной, человек, подбитый воздухом! Рано или поздно газ улетучится, и летун шмякнется о землю.

Все мы кем-то придуманы.

Она спросила: ты остаешься? Это означало: ты остаешься на ночь, за окнами дождь, и мы больше не будем говорить об этом, утро вечера мудренее.

И еще одна мысль пришла ему в голову вместе со стихами, мысль, для которой в мозгу есть особый апартамент, где она пребывает в роскошной пассивности, как тайная возлюбленная. Время от времени ее посещают и ласкают ее, и играют с ней, как играют с вожделием, не доводя его до конца. Это мысль о самоубийстве.

Спрашивается, какая тут связь, но связь была самая прямая. Тут, возможно, скрывалась разгадка той неясности, неизвестности, о которой мы говорили, перечисляя ходячие версии смерти Ильи Рубина. Мало кому эта последняя версия казалась убедительной, люди вспоминали черные кудри Ильи, белозубый смех и веселую беззаботность, люди не могли поверить, а между тем – кто знает? Все шло к концу, и Журнал, корабль Одиссея, убежище духа, оплот свободы, называйте как хотите, и вместе с ним вся вымороченная, подпольная жизнь – все было только отсрочкой. И никогда еще эта свобода не выглядела такой мнимостью, как сейчас, когда Шура объявила о своем отъезде.

Незачем искать доводы в пользу самоубийства, скорее нужны доводы против него. Решительно нет ничего странного в идее убить себя, эта идея вложена в нас, как забота о хлебе насущном, как мысль о женщине. Самоистребление, универсальный ответ. Выход, когда некуда деваться; самоубийство от сознания бессмыслицы всего, в чем хотели найти смысл, пытались забыться, самоубийство от засухи, от удушья, от скуки! Самоубийство, которому впору приписать значение символа, банкротство ду-

ха, крах интеллигенции – словом, что-нибудь этакое, но тут мы влезаем уже в совершенно абстрактные дебри.

Итак, они сидят на кухне, в той самой квартире, куда немного спустя вломятся незваные посетители; на Шурочке бледно-розовый байковый халат, одна из ее обновок, на тарелках закуски, перед каждым стоит рюмка. И ее взор, блестящий от слез.

Бремя решения свалилось, странное облегчение оттого, что совершается неизбежное и никто не виноват, охватило их, и, как подтверждение тому, что ничего уже не поделаешь, в ту самую минуту, когда, глядя влюбленно друг на друга, они подняли стопки, в комнате с зеркалом зазвенел телефонный звонок. Шурочка поставила полную до краев стопку на стол. Телефон звонил и звонил.

«Подойти?»

Телефон умолк, они ждали, и через минуту он зазвонил снова.

Наконец, она поднялась, медленно, лениво, в туго подпоясанном розово-белом халате, который делал ее пышнобедрой, круглой и маленькой. Дверь осталась открытой, он услышал, как она произнесла: «Да». Больше ничего не было сказано. Посидев, он встал и вышел вслед за ней.

Она стоит с трубкой перед диваном, смотрит на него и слушает другого.

«Почему?» – спросила она.

Трубка продолжала говорить, Шура смотрела в трюмо, где появился Илья, он спросил глазами: это он?

«Не понимаю, – сказала она. – Ну и что?»

В зеркале что-то происходило, день утонул в темноватой влажной мгле, в светлом серебряном стекле блестели глаза на темных лицах.

«Когда?»

Трубка квакала у нее под ухом – человек на другом конце города сердился, – она пожала плечами, ее рука в зеркале медленно отвела руку мужчины, все, происходившее в зазеркалье совершалось помимо их воли; как будто там они жили в другой жизни.

«Не знаю...» – проговорила она.

Трубка заволновалась. Шура смотревшая на себя из зеркала – поясок свисал до пола, лунная кожа мерцала в просвете халата, – медленно покачала головой, это движение относилось к голосу в телефонной трубке или к тому, кто сидел рядом с ней на диване; тут-то и обнаружилось, что стекло смеялось над ними, в черно-серебристом провале происходило другое, там она стояла в светлом распахнутом одеянии, и рука мужчины медленно гладила ее кожу, трубка выпала из ее руки; но здесь – халат был плотно запахнут, Шура проворно наклонилась и подняла хрипящую трубку.

«Да... – сказала она, – То есть нет... Посмотрим. Нет. Ну, как хочешь. Ладно. Да нет же. Не знаю. Хорошо. Когда? Нет. Да».

Последние слова были произнесены, когда полная, белая нога Шуры перешагнула столик. Она задела высокий флакон с мутно-белой притертой пробкой, флакон повалился, кремовый халат свесился на пол с туалетного столика, она была уже внутри рамы, в комнате, которая в точности повторяла ее комнату, но по другую сторону от всех и всего, и, повернувшись к нему, мерцая молочной чешуей, смеясь, она манила за собой Рубина.

ХIII. Рубин. (Продолжение.)

«Але... товарищ такой-то?»

«Да».

«С вами говорят оттуда-то».

«Угу».

«Вы меня слышите?»

«Угу. А в чем дело?»

«Хотелось бы побеседовать».

«О чем?»

«Есть о чем поговорить».

«О чем же?»

«По телефону долго объяснять. Хотелось бы с вами побеседовать».

«Может, вы все-таки объясните?»

«При встрече».

«Угм».

«Завтра часиков в одиннадцать?»

«А в чем дело?»

«Тогда все и узнаете».

«Не могу. Работаю».

«А вы отпроситесь».

«Пришлите повестку».

«Ну, вот. Так уж сразу и повестку. Зачем эти формальности?»

«Без повестки не приду».

«Ну уж. Раз уж. Если вы настаиваете...»

Утверждают, что на закате века в связи с небывалым ростом окраин территория столицы достигла невероятных размеров; если наш расчет правилен, расстояние от центральной резиденции до Ильи Рубина должно было составить не менее тридцати километров. Никто, однако, не передвигается в городе по прямой линии, и на любом виде транспорта добраться можно было не раньше, чем через час. Курьер, невзрачная личность,

явился через пятнадцать минут. Скучным голосом, не заходя в квартиру, спросил фамилию и вручил листок. Хозяин взглянул, поднял голову – посыльного уже не было. Мы, современные люди, называет это явление аннигиляцией.

«Такой-то?» – осведомился приятный лысый человек в штатском, называя нашего друга по имени и отчеству. Встреча произошла в приемной, после чего Рубин был препровожден в соседнюю комнату, где висел портрет, стояли стол и два стула.

«Давно мечтал с вами познакомиться, много о вас слышал. Даже хотел в институт навеститься. Вы ведь, кажется, работаете в институте? Да вот, говорят, вас трудно застать... Очевидно, не каждый день бываете на работе, много других дел?»

Рубин пожал плечами.

«Ну, вот видите. Мне ужасно неудобно, что я вас побеспокоил... Курите?»

«Спасибо».

«А я, если не возражаете, закурю. Я слышал, – сказал человек, – вас постигла тяжелая потеря».

«Какая потеря?»

«Я хочу сказать, тяжелая утрата. Говорят, ваша матушка умерла».

«А-а. Угм».

«Позвольте выразить соболезнование... Значит, вы теперь один. Отчего не женитесь? Самое время. Небось скучно одному. Да, впрочем, что я говорю: у вас, кажется, есть подруга?»

Рубин сделал неопределенный жест.

«Как это она так... плохо за вами смотрит? Костюм давно пора купить новый. А то даже не в чем в гости пойти. Говорят, вы любите ходить по гостям. Ну ладно, это так... Не сердитесь, что я задаю бесцеремонные вопросы, мне, собственно, хотелось с вами поближе познакомиться. Так что не считайте это официальным разговором... Для официальных разговоров, уважаемый Илья такоевич, у нас пока еще не дошло... Н-да. Время-то идет, – воскликнул он, – что же я хотел у вас спросить, вот память! Представляете, забыл».

Человек подошел к окну, за которым не было никакого города: ни домов, ни людей.

«Слушайте, – сказал он, – сможет, выпьем чайку?»

Буфетчица в бумажной диадеме вокруг жидких волос, отворив дверь голым локтем, внесла поднос.

Лысый человек спросил:

«Это что такое?»

«Чай велели...»

«Вижу, что чай. А с чем пить-то будем? Ну-ка живо. И бутерброд!» – крикнул он ей вдогонку. Явилась сахарница, явились соевые конфеты в вазочке мутного стекла, на тарелке два ломтика хлеба с сыром подозрительной свежести.

Человек схватил бутерброд, жестом пригласил Рубина.

«Врачи говорят, много сладостей ем. Да как же тут иначе, когда и пообедать толком не дадут! Не получается! Вот так целый день чаем и перебиваемся. Все думают, у нас тут разлюли малина. А на самом деле, сами видите. Чай небось холодный... Так вот, о чем бишь... Я, знаете, сам люблю литературу. Даже собирался когда-то поступать в Литературный институт. Мечты, мечты, где ваша сладость?.. Тут как-то недавно перечитывал «Преступление и наказание» – гениальная вещь. Помните, как там Порфирий говорит: вы и убили, батюшка Родион Романович! Психология следствия, внутренняя логика следствия – вот главное, вот на чем все держалось, и, заметьте, никакой техники, никаких там особенных лабораторий, отпечатков пальцев, все чисто логическим путем! И преступник припёрт к стенке. У нас, надо сказать, долгое время недооценивали Достоевского... Считали его реакционным, даже чуть ли не запрещали. Все это давно прошло... Времена, знаете ли, переменялись, и то ли еще будет. Вот я хочу у вас спросить. Зачем вам все это понадобилось?»

«Что?»

«Ну как что? Неужели неясно?»

«Неясно».

«Ну вот, – рассмеялся человек, – будем теперь в прятки играть. В незнанку. Милый мой, да ведь я ничего у вас не выпытываю, мне ведь и так все известно. Думаете, так уж трудно было бы вас навестить? С понятиями, само собой, с ордером – все честь честью. И весь ваш журнал тю-тю!»

«Не понимаю, о чем вы говорите».

«А вы вон бутербродик съешьте. Пока я его сам не умолот. Так как же?»

«Что – как?»

«Я спрашиваю: что делать будем? Вы поставьте себя на мое место. Пейте, чай остывает. Я говорю: представьте, что вы на моем месте. Подпольная организация, изготовление и хранение нелегальной литературы, сто девяностая статья, все как на ладони. Что прикажете делать?»

«По-моему, – сказал Рубин, – вы меня с кем-то путаете».

«Те-те-те, знаем мы эти фокусы. Вы только меня, очень вас прошу, за идиота не считайте. Но я повторяю, у нас с вами сейчас разговор неофициальный. Никаких протоколов, никаких свидетелей. Хоть вы тут всю душу вывернете наизнанку, что я с вами сделаю? Ничего не сделаю. Или, может, вы думаете, тут в стене что-нибудь спрятано? Не волнуйтесь, ни-

кто не подслушивает. Поговорили и забыли. Меня другое интересует. Может, объясните мне...»

«Что?»

«Ну вот это другое дело, это разговор между взрослыми людьми. А все эти увертки, наивные глаза, дескать, я не я и телега не моя, откуда вы, дескать, взяли, да мы ничего не знаем, да вы нас с кем-то путаете! Это все, дорогуша, надо оставить. Это я на своем веку, знаете, сколько раз слышал? Еще чайку?»

«Спасибо».

«Спасибо “да” или спасибо “нет”?»

«Спасибо. Нет».

«Ну нет, так нет. – Человек вздохнул. – Допустим, что никто вам не давал никакого задания, что вы, так сказать, затеяли все это ради собственного удовольствия, что ли, от нечего делать...»

«Что затеял?»

«Минуточку. Я говорю: допустим. Далее, предположим, что вам удалось этой вашей идеей, ну, что ли, этим журналом – все-таки звучит солидно – заинтересовать определенную группу людей, каких-нибудь графоманов, непризнанных гениев. Годами, понимаешь, обивали пороги редакций, никто их не признает, никто не хочет читать их сочинений, а тут пожалуйста. Да и самому приятно, все-таки редактор. Так я говорю или нет?»

«Мне непонятно, о ком...»

«Нет, вы уж отвечайте на вопрос. Я говорю, кому из нас не хочется славы? Я, знаете, тоже мечтал в Литературный институт попасть, да, слава Богу, вовремя опомнился... Нет, я, конечно, представляю себе: когда такому доморощенному гению, который уже Бог знает что о себе возомнил, в редакциях, где, понимаешь, корзины ломятся от всякой графоманской писанины, когда такому, с позволения сказать, писателю в редакциях отвечают: нет, друг мой, ты сначала поучись русскому языку, почитай классиков, а еще лучше займись чем-нибудь полезным... Когда он получает такой ответ, что он начинает думать? Цензура, дают свободу творчества! А тут подворачивается такая возможность, есть такой Рубин. Пиши, что хочешь. Зеленая улица! »

«Можете не изображать из себя оскорбленную невинность, – сказал лысый человек, поглядывая в окно. – Обижаться-то пока не на что, я ведь все представил в самом невинном свете. На самом деле все можно повернуть и по-другому. Откровенно говоря, глядя на вас, трудно поверить, что вы такой уж, простите за выражение, несмышлениш! Опять-таки вы мне скажете: подумаешь, кто там об этом журнале знает? Весь тираж – полтора десятка экземпляров, да и те читать невозможно, слепая печать, глаза

болят после первой страницы – и где вы только таких машинисток берете? Небось еще двойную цену дерут. Плата за страх, хе-хе! Может, помните, фильм был такой с Ив Монтаном».

«Что я хотел сказать? Дескать, все это пустяки, подумаешь – взрослые дети играют в литературу. Можно, конечно, и так посмотреть. Но только, дорогуля, как-то все же мне не верится, чтобы вы были так уж наивны. Чтобы не понимали, что скрывается за всеми этими криками о цензуре... Игры играми, а кто-то на этом политический капиталец себе сколачивает, таким мучеником выглядит, глядишь, и по радио о нем сообщат, вот он и прославился. И не замечает, что он всего-навсего засаленная игральная карта... Я вам больше скажу... Мы на многое смотрим сквозь пальцы. Цензура цензурой, в других странах, между прочим, тоже есть цензура. И если что-нибудь начальству не понравится, то там с такими гавриками тоже не церемонятся. Вы только нас за идиотов не считайте, не считайте нас за идиотов! Мы понимаем, что настоящий писатель, умный писатель, талантливый писатель всегда может сказать правду. И никакая цензура ему не помеха. Потому что он рассчитывает на такого же зрелого, такого же понимающего читателя. Я вам приведу пример. Допустим, вам нужно описать интимный акт между мужчиной и женщиной. Правда жизни, никуда не денешься! Вот вы мне и ответьте: что сильнее подействует на читателя, какой художественный эффект будет достигнут – или вы грубо и прямо напишете все, как есть, как они там совокупляются, или с помощью художественных образов, метафор, косвенно, полупрозрачно, так, чтобы читатель сам догадывался, чтобы он дорисовал своей фантазией? Понимаете, не впрямую! Это, милый мой, не я придумал, это закон литературы. Или вы не согласны?»

«Согласен, почему же».

«Ага! Наконец-то. Наконец, вы соизволили признать, что я прав, Илья такоевич. Давайте-ка уж все начистоту».

«Что?»

«Вам непонятно?»

«Что вы имеете в виду?»

«Да все то же, дорогуша. Все то же... Я вам свои соображения изложил. Теперь очередь за вами».

«Что я должен сказать?»

«Честно и прямо. И покончим на этом. Больше вас задерживать не буду! Поговорили – забыли».

«Не понимаю, – удивился Рубин, – это какое-то недоразумение. Вы что, думаете, что это я?»

«Ну, конечно. Вы и есть».

«Не понимаю».

«Ну вот, опять двадцать пять. Этак мы с вами каши не сварим! Да ведь, дорогой товарищ, все лежит как на ладони: кто ж еще-то, как не вы!»

«Не знаю».

«Н-да. Так-таки и не знаете. Может, домой к вам съездим? Вызовем машину, дело двух минут. И поглядим, что там у вас хранится».

«Пожалуйста...»

«Вот сейчас вызовем машину. Чего проще? А?»

Илья пожал плечами.

«Н-да, – сказал майор. – А я, между прочим, считал вас умным человеком».

Услышав звонок, Олег Эрстович устремил вопросительный взгляд на пуделя и деревянного карлика, оба выразили недоумение и озабоченность.

«Кто?» – спросил Олег Эрстович.

За дверью ответили:

«Свои».

«Кто – свои?»

«По делу, Олег Эрстович, откройте...»

Подумав, Олег Эрстович сказал:

«Меня нет дома».

«Однако же вы дома, – сказал, вступая в квартиру, прилично одетый господин неопределенных лет, – позвольте представиться...»

«Я, собственно, принимаю по предварительной договоренности, – величественно возразил Олег Эрстович. – Вас кто-нибудь рекомендовал?»

«Меня? – спросил посетитель. – Конечно, конечно... Позвольте, не могу вспомнить: кто же меня рекомендовал?... Кто-то, наверное, рекомендовал. Ну да не в этом суть. Надеюсь, мы одни?»

Он повесил шляпу на крюк и погладил лысое темя. После чего вынул и показал удостоверение.

«Я ничего не понимаю, в чем дело?...» – лепетал хозяин, следуя за гостем, который направлялся к деревянной лестнице. Поднялись наверх.

«Прекрасная квартира», – промолвил лысый человек.

«Да, но... Может быть, вы объясните?»

«Всему свой черед, уважаемый Олег Эрстович... Нет, знаете, просто хоромы! Завидую вам, честное слово».

«Ну вам-то уж завидовать...»

Человек усмехнулся. «Все думают, что мы как сыр в масле катаемся. Да мы такое же учреждение, как и все, уверяю вас, такой же, по правде сказать, бардак... Получить хорошую квартиру, ого... Пока тебя на очередь поставят, да пока строительство начнется, а там еще, сами знаете, разные блатные, знакомые...»

«Вы, кажется, сказали, – заметил хозяин, – бардак!»

«Именно. Именно, уважаемый Олег Эратович».

«А вам не кажется, – осторожно сказал Олег Эратович, – что вы, э, того, как бы это выразиться, клеветаете на славные органы!»

«Я? Ха-ха-ха! С вами надо держать ухо востро. Вижу, вижу: имею дело с бывалым человеком. А знаете, вы правы. Теперь я, можно сказать, в ваших руках. Изобличен с поличным! Может, у вас и магнитофончик где-нибудь спрятан?»

Человек вертел головой, оглядывал книжные полки, портрет на стене.

«Это кто же такой? Ваш предок?»

Олег Эратович важно кивнул.

«Иностранец, если я не ошибаюсь... Небось какой-нибудь француз?»

«Остался в России после 1812 года».

«Слышал, как же, слышал... Виконт де Бражелон, в детстве читали. Значит, это он и есть?»

«Он самый».

«Представьте, какое совпадение: мой пра-пра... хрен его знает, прадедушка или прабабушка... Одним словом, воевал под Бородиным. Конечно, я не могу похвастаться таким происхождением, как вы. Крепостные мужики, черная кость, а какой патриотизм, какая самоотверженность! Понимали ведь, что речь идет о судьбах отечества!»

«Мы должны учиться у народа. Любви к родине, сознанию своего долга», – сказал Олег Эратович.

«Верно, верно... Приятно с вами беседовать, но, к сожалению, времени маловато... А там у вас что, спальня? О, – сказал лысый человек, – я вижу, вы занимаетесь фотографией!»

«Так, немного балуюсь».

«Великолепно. У вас настоящая студия. А где же ваши работы?»

«Какие работы?»

«Я имею в виду фотографические. Эпюды или что там, портреты...»

«Ах, пустяки! Чистое любительство».

«А все-таки. Я тоже, знаете, в юности увлекался. Мечтал стать, – голос его донесся из-за ширмы, – фотокорреспондентом».

Человек вышел из-за ширмы. Можно было подивиться его нюху. Виконт Олег Эратович бессильно опустился на кушетку. Стащил с головы берет, тяжело дышал, приглаживал лиловые кудри.

«Жарко? Топят, черти собачьи, вовсю... Ну в чем дело, я вижу, вы чем-то расстроены. Что тут такого – хорошенькая девочка... – говорил майор, разглядывая фотографию Шурочки. – Иди сюда, мой милый...» Пудель подбежал, стуча лапами по полу, гость трепал его грязную шерсть. «У, ты, какой умница...»

Оба сидели снова за низким столиком перед книжными полками.

«У меня к вам вот какой вопрос, уважаемый... Считайте, что наш разговор вас ни к чему не обязывает, как видите, я не стал вас вызывать, сам навязался в гости... Вам такой Рубин известен?»

Ага, подумал Олег Эрастович, теперь все понятно.

«Рубин?» – спросил он, пожимая плечами.

«Ну, ну, – ласково сказал гость, – я же знаю, что вы знакомы».

Ну, это еще ничего не значит.

«Ах да, в самом деле! – прошамкал старческим голосом Олег Эрастович. – Но очень поверхностно...»

«Вы, кажется, рекомендовали ему машинистку?»

«Машинистку? Ах да, кажется...»

«Но взялись сами передать ей материалы».

«Материалы, какие материалы?»

«Олег Эрастович...» – мягко сказал гость.

«Впервые слышу!»

«А вы напрягите свою память. У, ты, умница...»

«Нет, я просто удивлен. У меня с этим Рубиным нет ничего общего... я...»

«А, кстати, я забыл спросить. Кто эта барышня?»

«О! Случайная знакомая».

«Случайные знакомые в таком виде не фотографируются».

«Знаете, современная молодежь... Мне, право же, стыдно».

«А где остальные?»

«Пardon?»

«Я говорю: где остальные фотографии?»

«Остальные? Но у меня нет никаких фотографий!»

«Гм, вот как. Студия, камера – все есть, а фотографий нет?»

«Надо бы поискать, я давно уже не занимаюсь... Какие-то семейные фотографии, наверное, сохранились».

«Вы правы, надо поискать. Может, сейчас и поищем? Ну ладно, как-нибудь в другой раз... Как же насчет материалов Рубина?»

«Слово дворянина! – торжественно сказал Олег Эрастович. – Если там что и было... Абсолютно не помню. Не имею к этому ни малейшего отношения».

«Так, так, никакого отношения...»

Лысый человек задумался, кивал, поглядывал на Эрастовича.

«Насчет современной молодежи тоже верно, – бормотал он. – А вы мне все-таки подарите на память эту красотку...» После чего произошло нечто необъяснимое.

Пудель вскочил на кресло, где осталась вмятина. Спрыгнул, понесся вниз. Виконт Олег Эрастович, озираясь, крался по лестнице. Внизу в при-

хожей витал легкий запах дыма. Человек исчез, испарился. Олег Эрастович обследовал вешалку. Обернулся. Деревянный мажордом, со шляпой в руке, кланялся, приглашал войти.

XIV. АКАДЕМИК Т.М. ПОГОРЕЛЬСКИЙ

Вперед, как говорит поэт, вперед, моя история... Лицо нас новое зовет, лицо, знакомство с которым может быть лишь попутным, мимолетным; к таким персонам подступиться непросто, тут мы дерзаем подняться на весьма высокую ступень государственной пирамиды. Этот архитектурный образ употреблен, как сейчас станет ясно, не зря.

Прошлое – не загадка для того, кто знает, что было потом; ретроспективный взгляд находит в событиях то, чего не замечал взгляд современника: нечто закономерное, бесспорное, почти принудительное. Лишь современник тешит себя иллюзией, будто завтрашний день – бездонный кладезь возможностей.. Если бы он очутился на месте историка, то понял бы, что на самом деле он влекся под бичом закона, в оглоблях необходимости. Если бы ему позволили заглянуть в книгу судьбы, он убедился бы, что у него нет выбора. Но он об этом не знает, и слава Богу.

И все-таки даже тогда, в суматохе последних недель и этих странных, грозно-нелепых и прискорбных событий, которыми мы намерены заключить нашу по необходимости фрагментарную летопись, – даже тогда нельзя было не почувствовать в них дыхание злого промысла. Да, тут дало себя знать нечто такое, что в художественной словесности именуется замыслом беллетриста, а в жизни – перстом судьбы. Заметим, однако, что все имеет свою причину, всему есть объяснение; другими словами, рок избирает банальные сюжеты и предпочитает естественные решения. Все эти недели, как только что сказано, прошли в суете и волнениях. Последние приготовления к отчету о проделанной работе по выполнению правительственного задания потребовали от руководителя проекта академика Погорельского предельного напряжения всех сил; телефонные звонки, доклады наверх, распекание подчиненных, улаживание и согласование, суматоха и нервотрепка, ночи напролет, проведенные в рабочем кабинете, не вылезая из кресла, довели Тициана Марковича до последней степени изнурения.

Теперь, когда проект рассекречен, можно сказать о нем подробнее, а заодно коснуться его предыстории. Разумеется, в самом кратком виде. По общему мнению, величественный архитектурный замысел, который в описываемое время, после длительной паузы, вновь предстояло извлечь на свет, был способен затмить все прежние достижения строительного искусства. Затмить Египет, затмить Вавилон – подобно тому как новая эра,

чьим символом стал этот замысел, должна была превзойти величие всех цивилизаций и царств.

В своем первоначальном виде проект родился в двадцатые годы, в эпоху головокружительных идей. Правда, уже тогда возникли сомнения, не повлияет ли столь высокое сооружение на вращение Земли, не грозит ли это, в свою очередь, смещением орбиты, сокращением расстояния от Земли до Луны, возмущениями соседних планет или чем-нибудь подобным. Вспыхнула дискуссия, в которой приняли участие зарубежные астрономы. А если бы даже и грозило, возражали энтузиасты, что с того? Тут припомнилось, кстати, пророчество некоего философа, который еще в прошлом веке мечтал, что человечество научится управлять движением Земли и, сбросив путы солнечного притяжения, ринется в космические дали.

Как бы там ни было, в начале следующего десятилетия споры были прекращены, возражения, умолкли и больше никто о них не вспоминал. Не могло быть больше сомнений в необходимости немедленно приступить к стройке. По утверждению проекта на расчищенной территории начато было рытье котлована. Количество вынутого грунта было таково, что, как подсчитали в газетах, этой землей можно было засыпать пустыню Гоби и развести там сады. Предлагали также рассыпать землю по городским крышам с целью устройства солнечных оранжерей. По разным причинам о дальнейших работах ничего не сообщалось. Ходили фантастические рассказы; по слухам, там была найдена нефть. Кто-то видел на дне котлована нефтяные вышки. Кто-то намекал на строительство гигантского подземного завода, для которого наружные работы служили якобы только ширмой. Между тем грузовики свозили к воротам огромные тесаные блоки, было преступлено к укладке фундамента, как вдруг разразилась война. Работы были прекращены ввиду того, что огромная строительная площадка в центре города, по заключению специалистов, представляла ориентир для вражеских самолетов.

Победа уже витала в воздухе, из репродукторов гремел бессмертный голос: «...двадцатью артиллерийскими залпами!...» – и ночи столицы озарялись праздничными салютами, когда Погорельский, лицо в то время абсолютно неизвестное, еще без живота, без складчатого подбородка, с волнистой шевелюрой и орденом Отечественной войны на гимнастерке, мечтавший из фронтового фоторепортера стать художником, вернулся в город. И одно время ходил каждый день на какую-то скучную службу мимо длинного глухого забора, за которым царили тишина и неизвестность. Мальчишки разглядывали сквозь щели гигантский кратер, откуда поднимался молодой лес. Было очевидно, что в ближайшие годы не предвидится возобновление стройки, и в самом деле прошли годы.

Тогда-то, в те чудные, безвозвратные времена, молодого художника осенила идея – одно из тех гениальных озарений, что приходят единственный раз в жизни и переворачивают всю жизнь. Не следует пренебрегать утопическими мечтами, всякому действию предшествует мечта, и мечтой вдохновляются самые значительные деяния. Проект сделал Тициана Погорельского главой и гордостью отечественного изобразительного искусства, превратил его в вице-президента Академии художеств, депутата и лауреата.

Чем сомнительней представлялось возвращение к первоначальному плану, тем насущнее было его символическое перевоплощение. Чем дальше, тем все больше без конца ремонтируемый, подпираемый жердями, залатанный толем забор в центре города мозолил глаза и портил настроение. Гнусный забор был особенно заметен оттуда, где он менее всего должен был привлекать внимание, со стороны реки в районе крупных гостиниц. Его могли видеть иностранцы. В него упиралось Бульварное кольцо. Необходимо было рубить гордиев узел. Новый проект предлагал идеальное – в обоих смыслах этого слова – решение.

Коллектив, руководимый Тицианом Погорельским, трудился не покладая рук. Трижды приемная комиссия рассматривала готовое произведение, прежде чем представить его на утверждение наивысшей инстанции. Решающий день приблизился. Гигантское панно было транспортировано на автоплатформах и установлено в зале главного здания Академии. Вокруг полукругом стояли юпитеры, с потолка свисали гирлянды софитов.

Пронеслись по опустевшим улицам и подъехали длинные бронированные автомобили. Толпа телохранителей, советников, ответственных работников и референтов взойшла следом за тяжело дышащими, медленно переставляющими ноги товарищами по мраморной лестнице, прошествовала через холл, приблизилась к дубовым дверям. Нечто грандиозное, покоряющее ум и воображение ожидало их в зале. Медленно, как в театре, померк свет многоярусных конусовидных люстр, и вспыхнули прожектора. Зажглась боковая подсветка. Тициан Маркович с трехметровой указкой стоял сбоку. Группа товарищей в одинаковых пиджаках и брюках из негнущейся ткани разместились на возвышении у стены.

Никто не подумал бы, что это фанера, правда, – особо прочная, устойчивая против непогоды; никто никогда не догадался бы, что это всего лишь фанера, настолько искусно она была превращена в голубое небо, и в бесконечных даях, над горизонтом серебрился и розовел восход, это было утро мира. На щите, перегородившем зал, был представлен – нет, не представлен, а стоял, как живой, высился и возносился в небесную твердь изумительный храм будущего, циклопический дворец, каким его мог бы созерцать маленький человек, спешащий по своим делам, скромный тру-

женик, прохожий-насекомое, рядовой египтянин, пораженный видом гробницы фараона. Воистину ничего подобного никогда не бывало.

Хотелось вскричать вслед за классиком: не так ли и ты, Русь?.. Нарисованный дворец являл собой в некотором смысле стержень мира. Зритель – и в этом состоял секрет фанерной картины, а точнее сказать, секрет искусства, – находился у подножия и одновременно витал за облаками; зритель видел волшебный дворец снизу доверху во всех его подробностях: живопись сделала дворец более обозримым, чем этого могло бы достигнуть самое совершенное строительство; живопись превзошла зодчество. Вместе с тем она производила необходимое педагогическое, вдохновляющее и одновременно умиротворяющее воздействие: зритель, мысленно восходя по уступам все выше и выше, все ближе и ближе к цели, чувствовал себя все мельче и мельче – и там, в космической пустоте, его ждал, но не замечал его, обращался ко всему миру и стоял над миром в ореоле еще скрытого для земных обитателей солнца, в башмаках из нержавеющей стали, с простертой рукой гигантский крошечный Некто, о котором можно было только догадываться, кто он такой, которого следовало скорее назвать Никто, подобно Богу, к коему неприменимы никакие «кто» и никакие «что». Панно радикально решало поставленную задачу. Оно должно было заменить дощатый забор вокруг котлована или неизвестно вокруг чего, ибо никто уже не мог к тому времени уверенно сказать, что находится за забором. Отныне фанерная панорама раз навсегда сняла этот вопрос с повестки дня, сделала его несущественным. Но в том-то и дело, что это была уже не фанера. Это было торжество искусства над действительностью или, лучше сказать, действительность, отменившая сама себя.

Товарищи в негнущихся пиджаках были не то чтобы потрясены, но все же находились под впечатлением от увиденного, хотя нелегко было догадаться об этом по их неподвижным лицам. Из практики вращения в высших сферах было известно, что отсутствие выражения на лицах руководящих товарищей не обязательно означает осуждение, но не является и безусловным знаком одобрения, точно так же как не указывает ни на отсутствие мысли, ни на ее присутствие. Имея немалый опыт, Тициан Маркович приготовился к тому, что с его творением обойдутся строго, похозяйски, по-государственному. Были сделаны следующие деловые замечания:

«Угу. М-да».

«М-гм. Думается, в общих чертах...»

«В общих чертах, думается, можно...»

«Одобрить. Товарищи, безусловно, отнеслись к своей задаче...» – сказал первый.

«Безусловно, осознали», – сказал второй.

«Ответственность перед народом, перед нашей родиной», – произнес третий.

«Однако», – заметил первый.

«Идейно-художественный замысел раскрыт недостаточно».

«Товарищам надо еще поработать».

«Полнее раскрыть».

В ответном слове Т. М., стоя с указкой, как витязь с копьем, сказал, что коллектив горячо благодарит за ценную помощь и критику. При своей чрезвычайной занятости руководители нашли возможным уделить время заботе об искусстве. Коллектив глубоко тронут этим вниманием. Все сделанные замечания будут учтены, сказал Т. М. Панно предполагается устанавить ко дню великой годовщины.

«Не так уж много времени осталось», – заметил первый, насунив брови, и следом за ним нахмурились остальные.

«Товарищам надо как следует поработать».

«Оправдать доверие. Вся страна на вас смотрит».

Осмелев, Тициан Маркович Погорельский заверил, что коллектив приложит все усилия. Недостатки будут устранены. Хотелось бы знать, есть ли конкретные пожелания. Проектора издавали легкое равномерное гудение. В зале стало жарко.

«Угм... Замысел...»

«Думается, главный недостаток – это...»

«Недостаточно отражена идея неуклонного стремления ввысь».

«Магистральное направление проекта».

«Движение не просто вперед, а вперед и ввысь!»

«Не простое, а поступательное».

«Качественно новый скачок».

Под вечер вконец измочаленный, но счастливый Тициан молча принял поцелуй и поздравления жены и, сменив официальный костюм на просторную домашнюю мантию с кистями, прошлепал в свой кабинет, где черт дернул его снять трубку и набрать некий номер.

По здравому рассуждению приходится заключить, что это и было не что иное, как рок. Рок шепнул, что не худо бы после праведных трудов поразвлечься. На чем в конечном итоге Тициан Маркович Погорельский – скажем это сразу, чтобы уж больше к данной теме не возвращаться, – неприятнейшим образом и погорел.

Да, черт дернул академика позвонить Олегу Эрастовичу, и встреча состоялась, если наши сведения правильны, на другой же день; было ли это до или после того, как Олега Эрастовича почтил своим посещением уже известный нам лысый господин в штатском, сказать сейчас трудно, – впрочем, неожиданно оборвавшийся разговор сделал это посещение как

бы не состоявшимся. И впоследствии Олег Эрастович спрашивал себя: а не было ли оно каким-то наваждением. Каждый знает, что в жизни бывают события, о которых потом невозможно сказать, были ли они на самом деле.

Как бы то ни было, лицо, которое в столь деликатных обстоятельствах не следовало называть по имени, пренебрегло персональной машиной и прибыло на такси (в девятнадцатом веке сказали бы – в наемной карете). Вице-президент был в наклеенных усах и низко надвинутой шляпе, из-под которой виднелись на затылке тронутые сединой кудряшки. Встречен чрезвычайно почтительно.

«Угм!»

«Сюда. Покорнейше прошу...»

«Прелестная резьба».

«Это из особняка Кулебякиных. Представляете себе, они хотели выбросить его на свалку...»

«Варварство».

«Еще какое!»

«Возмутительное отношение к нашему национальному наследию».

«Что поделаешь! Когда вокруг одни инородцы».

«Вот именно».

«Прошу. Старый арманьяк...»

«О! Превосходен. А что это у вас там... э?»

«М-м?»

«Что это там за вазочка?»

«А, эта! Приобрел по случаю. Приятель уезжает».

«Гм... все уезжают. Позвольте взглянуть? О, настоящий Мейсен».

«У вас безошибочный глаз: Мейсен. Пятидесятые годы».

«Прошлого века?»

«Что вы! Восемнадцатого!»

«Позвольте, разве?»

«Уверяю вас. Мне ли не знать?»

«Какая прелесть! Вот что значит! Все-таки немцам надо отдать должное.

Гм. Я, собственно, к вам на минутку. Времени совершенно нет».

«Понимаю, понимаю. Чем могу служить?»

«Ах, уважаемый Олег, э-э... э?»

«Эрастович».

«Дорогой Олег Эрастович. Жизнь – вещь нелегкая!»

«О, как я вас понимаю!»

«Особенно в наше время».

«Кому вы говорите...»

«И, заметьте: чем выше положение, тем труднее».

«Вы правы. Государственные обязанности требуют разрядки, требуют отдыха».

Оба скорбно вздохнули. Академик Погорельский углубился в рассмотрение альбома.

«Угм. Тирим-пам-па. Вот эта ничего себе. Полновата, пожалуй».

«Цыц!» – крикнул Олег Эрастович. Как легко догадаться, это относилось к пуделю.

«О, а вот это штучка! Глаза, глаза... Небось темперамент – о-го... Будь я помоложе!»

«Цыц! Я т-тебя».

«Трим-па-па... Не то. Не то, батюшка Олег Эрастович...» – сказал, вздохнув, академик и захлопнул альбом.

«Может быть, эта?..»

«Новенькая?» – спросил Тициан Маркович, принимая от хозяина портрет Шуры.

«К сожалению, занята. Но я попытаюсь для вас устроить. Если не ошибаюсь, – проговорил Олег Эрастович, – она будет на днях в...»

XV. ТЕРМЫ КАРАКАЛЛЫ

Даже на тогдашних картах, намеренно вводящих в заблуждение чужой и недобрый глаз, – ибо все могло стать поживой для иностранных разведок, – даже на этих романтических, далеких от пошлой действительности картах нашего города нетрудно было бы отыскать территорию, на которой вознесся возрожденный властью искусства пирамидоподобный дворец. Найдите излучину реки. Здесь, у подножия холма, где легендарный основатель города сидел за бревенчатым тыном, поджидая родича и соседа, чтобы вместе отпраздновать разбойничий набег, у левого излома подковы раскинулось то, что и после установления живописного панно хранило свою тайну. А теперь совершим экскурсию по другим памятным местам: вниз по Волхонке, мимо колбасного магазина, где благоухает чеснок, мимо памятника Героям, где пахнет порохом, мимо статуи Ивана Грозного, от которой тянет серой. Минуя Знаменку, через площадь Победы, сквозь арку ворот, так удивительно похожих на врата Вечного города, у которых рыдал последний римский поэт. Дальше, дальше, по Моховой, сквозь мглу воспоминаний...

Здесь придется, однако, за отсутствием подробного плана сверяться по допотопным путеводителям конца двадцатых годов и вспоминать исчезнувшие названия: какой-то Лоскутный переулок, тут же, впрочем, и акционерное общество «Тряпье – лоскут». Что такое акционерное общество? Это уже никто не помнит. След простыл и от дома, где оно помеща-

лось. Где мы? Налево – Петровские линии, Рахмановский, направо – Первый Неглинный, Третий Неглинный... Стоп: мраморная доска. Сандуновские бани. Какой столичный житель, коренной, наследственный римлянин, какой настоящий москвич не встрепенется, увидев эти слова?

Сандуновские бани, да ведь это все равно что термы Каракаллы, все равно что Форум и Эсквилин. Это все равно что Арбат, Донской монастырь или Художественный театр. Сандуновские бани, сколько великих мужей побывало здесь! По справедливости следует присвоить им наименование мемориальных, или академических бань, или Всероссийских, принимая во внимание исключительную роль Сандунов в анналах отечественной цивилизации, в становлении национального самосознания.

Утверждают, будто они существуют до сих пор. Поверить трудно, существуют, может быть, но не здесь, ибо здесь теперь уже что-то другое. Федот, да не тот; имитация старины, которая вряд ли кого обманет.

Говорят, апостол Андрей в бытность свою в Новгороде дивился тому, что люди секут себя в пару прутьями. Баня в нашем отечестве есть институт особого рода. Баня вообще примечательна тем, что это единственное общественное место, где человеческий род сызнова воскресает в своей первородной невинности, где люди являются друг перед другом, какими их изготовил творец: тучными, тощими, гладкими, костлявыми, стройными, кривобокими, с мышцами и ключицами, с плоской, продавленной или бочкообразной грудью, с торчащими лопатками, похожими на плавники или остатки крыльев, с позвонками оживших ископаемых, с волосатыми плечами приматов, с оплывшей грудью, с утонувшим в складках пупком и органами размножения, спящими на пухлых бедрах под периной живота.

Баня – это воспоминание об Эдеме, это само первобытное человечество, нагое, как племенное еврейство, шумное, как орда, это гулкие возгласы, плеск и хохот, тусклые лампы в облачных керамических чертогах, баня – преисподняя голых тел, предвестье и предвкушение потустороннего будущего, баня – это, увы, прообраз газовых камер.

Liberté! Egalité! Fraternité!¹ Вот слова, которые следует начертать над ее порталом. Но если верно, что бани возвращают нас к досоциальному братству, плотскому равенству и анатомической свободе, если вместе с одеждой, с габардиновыми доспехами, папахами из барашка, вместе с членскими билетами и мандатами с важного лица спадает все внешнее, официальное и условное, и человек братается с ближним в ничем не прикрытом естестве, и – *seid umschlungen, Millionen*², иначе не скажешь, – если все это так, то все же в Сандунах дело обстояло не совсем так и даже

¹ Свобода! Равенство! Братство! (*франц.*)

² Обнимитесь, миллионы. Ф. Шиллер (*нем.*)

скорее наоборот, ибо они служили местом для совершенно особых конфиденциальных встреч.

В бане «отмокают». В бане сбрасывают бремя забот, отскребавают коросту лет. В бане постигается мудрость неспешного существования и вкушается сладость ничем не омраченного времени – сладость жизни. Все это так. Но наш скромный дискурс был бы неполон, если бы мы умолчали о том, что баня, по крайней мере та, о которой идет речь, есть обиталище избранных. Баня – лучшее место для ведения дипломатических переговоров, завязывания коротких отношений, заключения сделок, обмозговывания проектов и обговаривания щекотливых дел. Не будет преувеличением сказать, что в Сандунах решались судьбы многих и многого, если не всей державы.

Чтобы туда попасть, надо было знать топографию Сандунов, не то чтобы абсолютно секретную, но и не подлежащую широкому оглашению.

Дело в том, что вывеска и парадное крыльцо, и кассовый зал с преискурантом, соцобязательствами и что там еще полагалось вывешивать, – все это были еще не настоящие Сандуны. Не то, что подразумевалось под гордым словом Сандуны и произносилось так, как в иные века говорили: салон мадам Рекамье. Или: Соколовский хор у Яра. Или: великая ложа Востока. Незачем было входить в кассовый зал, чтобы попасть в настоящие Сандуны, незачем было читать соцобязательства и покупать билет: тем самым вы показали бы, что вы не лицо, не настоящий клиент; не осетр, а мелкая рыбешка. Осетры проплывали мимо.

Вынырнув из потока машин со стороны Трубной площади, лакированный экипаж прошуршал, не останавливаясь, мимо псевдосандунов, пронесся вдоль шеренги домов и мягко свернул в каменное ущелье, где за мглистыми окнами громоздились друг на друге конторы и навеки присохли к своим стульям служащие, а по узкому тротуару пробирались редкие и робкие пешеходы. Закон отрицательной показухи, важнейший закон эпохи – своего рода диалектическое отрицание декоративного величия, – закон этот гласит, что все, по-настоящему важное, не должно бросаться в глаза. Автомобиль подкатил к невзрачному входу: три ступеньки вниз, и, само собой, никаких вывесок.

Выскочил лейб-шофер в черных соплевидных усах, с глазами, как антрацит, отворил дверцу. Выбрался тучный поэт в огромном дорогостоящем кепи. Вылезла Шурочка, прелестная, как весна.

Спустившись несколько боком с одной ступеньки на другую, высокий гость приблизился к тесным воротам, о которых можно сказать словами псалмопевца: праведные внидут в них. Тусклое помещение, облупленные стены и квартиры каких-то жалких людей, технико-эксплуатацион-

ная контора и рядом с ней еще одна дверь, не то чтобы военная тайна, но не всякому положено знать. Проще говоря, служебный вход, дверь для своих людей, наподобие заднего входа в магазин или в театр. Шофер надавил на кнопку звонка, выглянула смазливая мордочка, горничная или секретарша, в тесной юбочке, в кофточке из батиста, с острым носиком, с бюстом, как морская пена... Коридор, графики дежурств и портреты победителей в соцсоревновании. Стенгазета «За отличное обслуживание». Здесь присутствует Государство; скажем так: все еще присутствует. Мимо, мимо... Явление знатных гостей вызывает счастливую панику. И уже чувствуется издали парной дух, ароматное тепло. Горничная – туда-сюда, с полотенцами, губками, мочалками, с мазями и бальзамами, с обширнейшей, как пустыня Гоби, мохнатой и мягчайшей простыней, а там уже встречает заслуженный пространщик, «сам» Аркадий Лукич. Хрипловатым баском, в котором опытное ухо различило бы и ноты вышколенного дворецкого, и обертоны старого блатаря на почетной синекуре, негромко, несуетливо, не без фамильярности, не без некоторого почтительного презрения, дескать, мы и сами с усами:

«Ба-а! Гость-то у нас какой. Ваше ханское сиятельство! Вот уж не ждали».

Хотя, что говорить, ждали.

«Дорогой, – возразил гость, – зачем обижаешь? Почему не звонишь?»

«Ваше сиятельство, так ведь кто ж знал, что вы тут».

«Все знают, ты один не знаешь. Как живешь? Как дети? Как мать, как отец?»

«Слава Богу, – отвечал пространщик, у которого отродясь не было ни отца, ни матери, что же касается жен и детей, то тут вопрос сложный. – Живем, хлеб жуем, вы-то как?»

«Ах-х! – взмахнул рукой гость. – Печенка барахлит. Почки никуда не годятся. Спина замучила. Всех профессоров обошел. Никто не помог. Ты моя последняя надежда!»

«Так точно. Что можем, то сможем».

Черноусый возникший исчез, выбрался из катакомб и, отрулив в сторону, дремлет в машине. Тем временем хан с наложницей шествует в предбанник, шелестя гигантскими шлепанцами из кожи саблезубого тигра.

Конечно (повторим это), никакой чрезвычайной тайны топография знаменитых бань не представляла. Однако и не афишировалась. Существовали, как во всякой бане, первый и второй разряд, но был и особый разряд. Бани были коммунальными, общедоступными, всенародными, но это лишь означало, что подразумевались не те бани. Жизнь вообще была устроена так, что говорилось одно, а подразумевалось другое, ценилось лишь то, что было настоящим, настоящее же, как все, чего не хватает, чего

нет, но что все-таки есть, не могло не быть лишь наполовину реальным. Коридор, графики дежурств, стенгазета, все правильно, ничего особенного, но дальше начинается мифология, античная Греция и Левант, царский предбанник, душ сидячий, лежачий, стоячий, парильня для богов, мраморные чертоги, комнаты массажа, комнаты отдыха и хрен знает что.

XVI. Пир

Семь часов вечера, первая стража, по римскому счислению, а по восточному – час пробуждения луны. Для дальнейшего изложения, как и для последующего расследования, важно уточнить время. Итак, в семь часов или около того отворяется дверь и показывается розовый и помолодевший после прохладного душа, с блестящим, как бильярдный шар, черепом, с влажными, подернутыми поволокой карими глазами под густым, как усы, смолистым двубровьем, в роскошном ассирийском одеянии, подпоясанный толстым витым поясом с кистями, которые кольшутся между выглядывающими из халата крепкими мохнатыми ногами в тигровых шлепанцах, – показывается хан. Следом плывет утомленная спутница. Кто такая? Никто не спрашивает, никому она не представлена; она медицинский персонал, или кому там положено обслуживать важного ответственного работника, пациента с застарелым радикулитом, аристократической подагрой, артрозо-артритом, ибо какой же государственный деятель бывает без артрозо-артрита; доверенная наперсница, секретарша, первая жена гарема, романтическая незнакомка – подцепили на улице, остановили машину и поманили толстым пальцем – или, чего доброго, подосланная сучка из органов? Все может быть, и никто ни о чем не спрашивает. Под кремовым халатиком дышит и волнуется ее нежная грудь.

Большой человек – пожалуй, такое наименование будет самым уместным. Большой человек оглядел стол, издал одобрительно-утробный звук. Пространщик Аркадий Лукич Лыков, при полном параде – свежайший накрахмаленный халат, манишка с черной бабочкой, нарукавники, – осведомляется, можно ли впустить другого гостя: просится и сочтет за честь. «Кто такой?» – спросил хан безразлично.

Овладев по-хозяйски бутылью, он разлил желтое, сверкающее, словно расплавленный янтарь, вино – себе, Шурочке – и первую чашу, по обычаю, осушил молча. Пространщик вопросительно стоял в дверях. Хан степей кивнул.

«Как же, как же, слышали», – промолвил хан, когда академик Тициан Погорельский, лысый и среброкудрый, в кимоно с драконами, благоухая лосьоном, вступил в пиршественную светелку.

«Слыхали о твоём таланте. И до нас докатилась твоя слава. Садись, гостем будешь...»

«Присаживайтесь», – кутаясь в халатик, нежно сказала Шурочка.

«Ты что же, один?»

«Увы», – развел руками Погорельский.

«Нехорошо», – сказал хан.

Несколько времени продолжались приготовления, нюханье цветов, ревизия закусок.

«Н-да-с...»

«Ну-с...»

Хозяин занес бутылку над бокалом академика.

«Нет, я, пожалуй, водочки, – потирая ладони, говорил Тициан Маркович. – Нашему брату славянину, знаете ли, после баньки необходимо... кх, кх...»

«Знаем, знаем... А вот вина моего не хочешь попробовать?»

«С удовольствием, и премного благодарен. Но я, пожалуй, водочки!»

Шура, молча и как будто не замечая бокала, который ей пододвинул хан, протянула Тициану свою рюмку, тот поспешил налить из заиндевшей бутылки. Хан, с чашей прозрачного янтаря, насупил усоподобные брови.

«Мне кажется, – проворковал Тициан Маркович, подняв рюмку и чокаясь с дамой, – мы с вами где-то встречались!»

Шурочка лукаво улыбнулась. Хан сказал:

«Это тебе приснилось. За твое здоровье».

«Будем здоровы... О-о, хорошо пошла!»

«Эй! – позвал хан и хлопнул в ладоши. – Принеси ему стакан. Пускай пьет свою водку... Граненый!» – крикнул он вслед Аркадию. Пространщик принес толстый граненый стакан и молча поставил перед Тицианом. Хан небрежным движением отослал Аркадия Лукича.

«Вот, – сказал он, – если будет мало, принесут больше».

И широко развел руками, указал на стол. Сам он обильно угощался. Тициан Маркович что-то клевал вилкой, соблюдал диету. Выпив водки, Шурочка погрузилась в томное молчание, губы ее приоткрылись, грудь мерно дышала под халатом.

«Как, ты сказал, тебя зовут? Ва! Так это тот самый, который Венеру голую нарисовал? А ты мне вот что скажи. Ты как считаешь? Рисовать без всего – ведь это нехорошо. На нее мужики смотрят, дети смотрят».

«Видишь ли, Усуф...» – возразил Тициан.

«Какой я тебе Усуф? Мы пока еще с тобой не знакомы».

«Зато теперь будем знакомы», – сказал Тициан, не желая портить настроение.

«Я пошутил. Знаю, что ты не Тициан».

Он налил себе золотого вина.

«То есть Тициан, но не такой».

«Федот, да не тот», – улыбнулся гость.

«Не тот».

«А теперь я предлагаю, – торжественно сказал академик, — выпить за нашу прекрасную... гм... За хозяйку нашего стола!»

«Хо-хо! – громыхнул хан степей. – Ты, я вижу, мастер говорить тосты».

«Где же это мы с вами виделись?» – мечтательно произнес Тициан Маркович и, уже не скрываясь, взглядом художника оценил ее шею, ямку между ключицами и складку груди в просвете халата. Шурочка, как бы застыдившись, одарила художника обещающим, как ему показалось, взглядом. Тициан Маркович мысленно сравнил оригинал с фотографией из альбома. Он высвободил под столом босую ногу из туфли. Немного погодя нога поехала по полу и приблизилась к Шурочкиным ногам.

Бес овладел ею. Ее колени плотно сжимали ступню академика. Между тем хан степей равномерно осушал кубок за кубком и против обыкновения мрачнел с каждой минутой. Были ли наглые авансы, делаемые академиком живописи разнеженной Шурочке, причиной скверного расположения духа или тучи приплыли издалека, объяснялась ли недобрая складка между бровями хана таинственными, все еще не доделанными делами в столице или флюидами луны? Сопя, он ударил в ладоши, и, казалось, облака рассеются, впорхнут гурии, войдет ансамбль зурначей, и на душе станет легче, и грозный хан степей, как был, в развевающемся халате, с волочащимися по полу кистями плетеного пояса, в туфлях из шкуры махайродуса, врежет лезгинку. Но вместо этого в комнату вошел Аркадий Лыков, и председатель, хлопнув себя по колену, сузив глаза, спросил угрюмо:

«Ты где там? Садись, ешь-пей с нами».

На одну короткую минуту наступило молчание, пространщик смотрел на красные лица мужчин, и как-то вдруг почувствовались загадочная многозначительность этого пиршества, дразнящее присутствие женщины и каменное могущество хана.

«Благодарствуйте, ваше сиятельство, – сказал небрежно Лыков, – только я на работе...»

«Не уйдет твоя работа. Тут, понимаешь, за здоровье хозяйки пьют, хочу, чтоб и ты выпил».

«Благодарим покорно».

«Эй, кто там!» – позвал хан.

Лыков оглянулся на дверь, никто не отозвался; поколебавшись, он вышел и вернулся с белой, какие бывают в банях и поликлиниках, табуреткой.

Он сидел, выпрямившись, в крахмальной манишке с черным галстуком-бабочкой, без служебного халата, что означало как бы полуофициальный характер его присутствия. Под манишкой была сорочка с короткими рукавами, обнажившими худые, жилистые руки со следами татуировки. Пространщик пригладил беспалой рукой редкие свои волосы, в правую руку взял бутылку с водкой и налил себе полный стакан. Бесстрастным взглядом обвел хана и академика, презрительно-внимательно скользнул глазами по Шурочке. «Будем», – пробормотал он. Половецкий хан приветствовал его ободряющим жестом. Лыков поднес стакан ко рту и медленно выпил до дна, не отрывая от губ.

«Ценю», – сказал хан.

Шурочка придвинула тарелку с закуской. Лыков не притронулся к еде и сидел все так же прямо, глядя перед собой.

«А теперь, – это был уверенно-вкрадчивый, с какими-то старорежимными обертонами голос Тициана Марковича Погорельского, – прошу присутствующих поднять бокалы за здоровье нашего уважаемого восточного гостя, нашего... Мы, москвичи, люди искусства, придаем особое значение симметрии, и потому...»

Непонятно было, что он имел в виду, видимо, он готовился произнести длинный тост.

«Дружба наших народов...» – Но его не дослушали.

«Отчего не ешь?» – медленно сказал хан, не сводя глаз с Лыкова.

«Спасибо. По первой не закусываем».

«Ай-яй, – сказал хан, – этак и спиться можно».

«Уметь надо», – сказал пространщик.

«А ты умеешь?»

Пространщик ничего не ответил.

«Я хочу поднять этот тост, – лепетал Тициан, – за здоровье...»

«Тост не поднимают. Тост провозглашают. Вино с водкой мешать не надо... Та-ак, – молвил задумчиво половецкий хан, крутя пальцами чашу. – Скажи-ка, Лыков. А ведь ты меня не любишь».

Пространщик обратил на него тусклый взор.

«Налей ему, – буркнул хан. – Полный налей... Он умеет».

Шура приподнялась, придерживая халат, и это движение, тонкая женская рука, протянутая к бутылке, шевельнувшиеся под байкой нагие наливающиеся груди что-то прибавили к ожиданию, повисшему в воздухе. Пространщик спокойно следил, как льется водка в стакан. Хан степей вознес свою чашу.

«Твое здоровье... Не отрекайся. Не увливай. Я люблю правду. Я всем говорю правду. И от моих людей всегда требую, чтобы говорили правду. Вот я и хочу тебя спросить, скажи: за что ты меня не любишь?»

Пространщик возразил, что он уважает хана.

«Уважаешь, да. Еще бы тебе меня не уважать. Боишься? Конечно, еще бы не бояться. Но не любишь, О-ох, – он прищурился и покачал головой, – не любишь...»

Пространщик молчал и смотрел на хана все тем же тускло-оловянным, ничего не выражающим взглядом. Тициан, заметно нетрезвый, ловил вилкой в тарелке зеленый горошек. Шурочка, поджав губы, покойно сидела на своем месте. Ей казалось, что мужчины ждут, когда она снова поднимется, наклонится над пиршественным столом и ее полушария нальются в просвете халата. Хан протянул руку к водке, но не смог подняться. Тогда она привстала и взялась за бутылку, то ли готовясь налить Аркадию следующий стакан, то ли желая сказать: «Хватит». То ли с другим намерением.

Председатель вырвал у нее бутылку.

«Благодарю, ваше ханское сиятельство», – снова раздался голос Аркадия Лыкова, как будто прошелся ножом по стеклу. Тициан уронил вилку. Лыков взглянул на свой стакан.

«Отчего не пьешь?» – спокойно спросил хан.

«Благодарю», – проскрежетал пространщик.

«Так! – сказал хан. – Значит, не хочешь».

Он тяжело вздохнул и опустил руку на колено женщине. По-прежнему не сводя глаз с Лыкова, отшвырнул короткую полу ее халата и впечатал пальцы в белое Шурочкино бедро. Шура сбросила его руку.

«Значит, так, – медленно накаляясь, дыша с присвистом, продолжал хан, – вот так, значит... Я уезжаю завтра, мне тут больше делать нечего... Может, когда еще приеду... А ты, Лыков, запомни. Я тебя везде достану. Ты у меня вот где!»

И с ненавистью сжал маленькую короткопалую руку в кулак.

«Вы все у меня вот где. Вот вы на меня смотрите, и ты, и ты, и все вы... И думаете: черножопый приехал. У, черножопый... А вы у меня вот где! Мне только стоит захотеть. И вы все, все, как один, вот сейчас передо мной будете плясать. Потому что вы все продажная сволочь. Каждого можно купить с потрохами. Ты забыл, Лыков, кто тебя из грязи вытащил? Кто тебя на твое место устроил? Тебе мало? Еще дам... Сколько надо, столько и дам. А будешь себя плохо вести, прогоню ко всякой матери!»

«Юсуф, – сказала Шура вполголоса, – успокойся, Юсуф... Давай поедем. Тебе надо отдохнуть».

«Пошла вон! – закричал хан. – Шлюха! Все пошли вон!»

Пространщик Аркадий Лыков, казалось, никак не реагировал на речь хана, лишь задумчиво кривил и покусывал губы. Мертвые глаза его скользнули по столу, мимо Тициана, сидевшего на своем месте с выражением чрезвычайного достоинства, оглядели Шурочку, ее круглый подбородок и нежную шею. После чего, по некоторым сведениям, Лыков опустил

голову, обхватил пальцами свой стакан и мгновенным движением выплеснул водку в лицо половецкому хану. Хан выпучил глаза, схватился за стол, смял скатерть и начал медленно подниматься. Пространщик стоял по другую сторону пиршественного стола, табуретка лежала на полу. Хан засунул руку за отворот халата и вынул нож. «Грязная сука!» – сказал хан и добавил что-то на родном языке. По некоторым данным, пространщик ничего не ответил. Хан выбрался из-за стола и шагнул навстречу врагу, но покачнулся и сел на пол.

С первой минуты, едва только вошли в служебный коридор и навстречу показался пространщик Лыков, с первой же минуты он вызвал у Шуры неприятное и неприязненное чувство, нечто затаенно-недоброе показалось ей во взгляде Лыкова, в том, как он мгновенно и грубо раздел ее глазами и словно навесил на нее этикетку с ценой. Нечто неуловимо наглое было в голосе Лыкова, в его лакейском гостеприимстве. Впервые очутившись в волшебных чертогах, о существовании которых, как и огромное множество граждан, она не подозревала, наедине с ханом, превзошедшим самого себя и которому в этот раз она принадлежала целиком, безоглядно и до конца, она отряхнулась от первого потрясения, освежилась в бассейне, отдохнула после массажа; но, когда Лыков, провожая гостей в кабинет, где неслышные и невидимые руки уже приготовили для них стол, снова бросил на Шуру свой оловянный, мертвый, ничего не выражающий взгляд, ей стало не по себе, ее охватил страх.

Явился художник, или кто он там был, важная шишка, судя по всему – неважных сюда не пускали, – кудрявый, лысый, медоточивый; когда он начал под столом искать ее ногу, она испытала легкое отвращение, его присутствие забавляло ее, забавляла его идиотская уверенность, будто он уже близок к цели. С приходом Тициана Марковича установилось нечто лестное и щекотавшее Шуру, то, о чем впрямую не говорится, что напоминало дрожание воздуха в жару, то, что она ощущала все сильнее, но описать могла бы лишь грубо-приблизительно; в конце концов она оттолкнула его ногу и сидела, запахнувшись в бледно-розовый байковый халатик, ласкавший ее кожу, остро и отчетливо ощущая всю свою наготу, чувствуя, что и мужчины ни на минуту не забывают о том, что под халатом на ней ничего нет. Жестокая музыка женского тела, выпивка, острые яства распалили их, и, когда она вспоминала потом, чем это все кончилось, гнала от себя жуткое видение и снова вспоминала, то доходила даже до того, что думала: уж лучше было бы сделать как-нибудь так, чтобы уединиться со страшным пространщиком на одну коротенькую минуту и как-нибудь перетерпеть. Для нее было очевидно, из-за чего разгорелся сыр-бор, она как будто слышала те подлинные слова, которые прятались за словами, произносимыми вслух. В Лыкове, под его невоз-

мутимым видом, под ледяным спокойствием, бушевали зависть и ненависть, и эта ненависть была не чем иным, как вожделением, утолить ненависть, собственно, и значило утолить похоть.

Так по крайней мере представлялось ей, когда она думала о случившемся, склонная, как всякая женщина, сводить все необозримое множество мелочей и нюансов к простому знаменателю. Была ли она права? Чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать истоки самого загадочного чувства, основополагающего чувства, универсального чувства, которое стало (заметим в скобках) в те времена чем-то уже почти равнозначным мировоззрению; и оно стало верой, и оно сделалось идеологией; нужно исследовать происхождение ненависти. Нужно решить, была ли эта ненависть возбуждена присутствием женщины, живой, и дышащей, и теплой, и казавшейся доступной, или музыка ее наготы была только поводом, так сказать, искрой, воспламенившей ненависть. Надо проследить, как копится, и нагнетается, и гонит стрелку вправо, к красной черте, потенциал ненависти – ненависти к чему? К кому? Ненависть стала самодовлеющей. Ко «всему»...

«Эй, кто там!»

Хан щелкает пальцами, хлопает в ладоши.

Но никого нет в соседних помещениях, персонал деликатно удалился, и в переулке, в призрачном сиянии фонарей за рулем спит телохранитель. Пространщик вышел и воротился с табуреткой.

«Будем...»

«Будем».

«По первой не закусываю».

«Хм».

«А теперь я предлагаю поднять бокал за здоровье нашей очаровательной...»

«Давай за здоровье нашей очаровательной. Будем!»

«Будем».

«А ты, Лыков, запомни...»

«А мы, ваше сиятельство, все помним».

«Вот как?»

«Да-с».

Вилка выпала из рук Тициана Марковича.

«Кто-то к нам жалуется. Особа женского пола, хи-хи...»

Он ищет вилку под столом, находит плотно сжатые колени Шурочки.

«Очаровательная, алмаз моей души. Хочу к тебе в постельку...»

«Разбежался! А вот этого-того не хочешь?»

«Я завтра уезжаю...»

«Скатертью дорога, ваше ханское сиятельство».

«Ты что-то много стал разговаривать, Лыков. Твое здоровье...»

«Предлагаю выпить за здоровье нашей... Мы, люди искусства...»

«Мне тут делать больше нечего. Может, снова когда приеду».

«Умение ценить красоту, будь то красота нашей жизни, красота подвига, женская красота... предлагаю... Усуп...»

«Какой я тебе Усуп?»

«Усуп...»

«Ты сам усуп. Скажи, Лыков, давно хотел тебя спросить. За что ты меня не любишь, Лыков?»

«Есть за что...»

«Как ты сказал, повтори?»

«Что слышали, то и сказал».

Тут – или немного позже, это не имеет значения – оказалось, что академик смылся. Не стало вдруг академика. Под шумок, так что они даже не заметили.

Хан:

«Значит, я не ослышался. Ясно. Люблю правду. Почему не пьешь?»

«Благодарим».

«Так. Значит, не хочешь». Он опускает тяжелую маленькую руку на ее бедро, Шура отводит руку, рука проникает между лапами халата, гладит кожу. Шура сбрасывает его руку.

«А ты знаешь, Лыков, что я с тобой могу сделать?»

Пространщик спокойно:

«А ты, начальник, меня не запугивай. Я пуганый».

«Значит, мало тебя пугали. Я тебя, суку грязную, бесхвостую...»

«Юсуф, – пролепетала она, – успокойся...»

«Молчать! – крикнул хан. – Я вас всех вижу насквозь! Я всех могу купить, с вашими гнилыми потрохами! Вы на меня смотрите и думаете: черножопый. У-у! А вот я сейчас хлопну в ладоши, и вы все вокруг меня будете танцевать».

Так ей вспоминалось. И вот тогда, кажется, это и произошло.

Скатерть свесилась на пол, валялись объедки, осколки посуды. С ножом в руках, раскинув ноги в домашних туфлях, хан сидел на полу и, очевидно, приходил в себя. Карие выпуклые глаза его пробудились. Он нашел взглядом пространщика, подобрал ноги и начал медленно подниматься. Пространщик ждал. Хан двинулся на Лыкова, тот вышиб нож из его руки и профессиональным приемом повалил его на пол. Блестящий череп хана степен брякнул о половицы. Лыков, сидя на нем верхом, обеими руками впился в его короткую мощную шею, готовый задушить хана, но в этом не было надобности: хан умер.

«Так, – пробормотал Лыков. – Окочурился?»

Она не отвечала, сидела на полу, в ужасе глядя на хана, на его могучий торс, раскинутые волосатые ноги, шлепанцы из кожи саблезубого тигра, свалившиеся с голых ступней, на его маленькие руки – знак родovitости.

«Ты кто такая будешь?»

«Медсестра», – сказала Шура.

«Вот что: ты успокойся».

Она сидела рядом с ханом, закрыв лицо руками, задыхаясь от рыданий.

«Слушай меня внимательно... Никто его не убивал, он сам помер. Хотел пойти в уборную, вышел из-за стола – и все. Никакой драки не было, ясно? Главное – не паниковать. Ты вставай, – сказал он и положил руку на ее плечо. – Вставай... Сходи за шофером. А я вызову “Скору””. Это мы уберем, – он поднял нож с пола, – это тут ни к чему...»

XVII. Лыков, или Свобода

Этимология слова «пространщик» темна, не исключено, что оно восточного происхождения; либо это контаминация двух слов: простыня и пространство. Служебным пространством Аркадия Лукича Лыкова были номера, издавна называемые семейными, позднее перестроенные и усовершенствованные, но служба как таковая мало о чем говорит, куда важнее было то, что Сандуны представляли собой его социальное и символическое пространство, своего рода ленное владение. Пространщик – лицо невидное, нена начальственное; начальства, любил говорить Аркадий Лукич, и без нас хватает. Ни выгод, ни привилегий, ни приличной зарплаты; разве что собирать чаевые да поплавать в бассейне после рабочего дня; словом, должность, которую может занимать всякий. И, однако, не всякий.

Сведений о происхождении Лыкова нет, если не придавать значения слухам, возводившим род Лыковых-Передреевых к легендарному основателю бань; однако все эти громкие слова, с некоторых пор вошедшие в моду, – кровь, происхождение, все это, может быть, годилось для какого-нибудь Олега Эрастовича, к Лыкову они не подходили. Прошлое Лыкова состояло из вопросительных знаков. Прошлое представляло собой дальнейшее темное поле, над которым стлался туман; возраст – сорок с гаком, близко к полтиннику, а может, и все шестьдесят. Был он, как можно предположить, выходцем из далеких мест, откуда-нибудь с Алтая или из-под Архангельска и, в сущности говоря, был человек без роду и племени, как девяносто девять процентов людей, толкающихся по тротуарам, хотя, с другой стороны, что-то выдавало в нем старого москвича. Лет шестьдесят – семьдесят тому назад он мог быть половым в трактире, пожа-

луй, мог бы и сам быть хозяином. Лет триста назад он был бы шишом или стрельцом. Аркадий Лукич Лыков был человек немногословный, малоприветливый, сдержанно-значительный и при этом совершенно незаметный; худой, сутуловатый, несколько постного вида; носил, как уже говорилось, кроме должностного халата, на шее потертую “бабочку” и сам казался каким-то стертым, словно жизнь прошла по нему наждаком; на левой руке не хватало двух пальцев, на безымянном пальце железный перстень, крашенные волосы прикрывали лысину.

Словом, человек простой – и непростой; и так же непросто было определить местоположение Лыкова в иерархиях нищеты, благоденствия или власти. Его бедность была малоправдоподобной, а его благополучие – сомнительным. О его связях можно было строить столь же смелые, сколь и малодоказательные догадки. Бесспорно, его влияние простиралось далеко за пределы его служебной компетенции – пример того, что в философии именуется *extasis*, – но как далеко оно простиралось? Было ясно, что так просто его не раскусишь, но кто вообще был простым человеком в нашей столице? Лыков был одним из тех людей, у которых в глазах ничего не возможно прочесть, одним из тех, о ком говорят: «С него станется»; Лыков был чужая душа, о которой говорят: потемки. Он не верил ни во что, а людей оценивал по одному признаку: можно ли на них положиться? Положиться можно было, впрочем, мало на кого. Лыков презирал начальство, богачей, нищих, работяг, интеллигентов, женщин, презирал книги и ученость и за истину признавал лишь то, в чем убедился сам. Убеждался же он всю жизнь в том, что мир стоит на трусости, клевете, себялюбии, предательстве и подлоге.

Человек он был на свой лад могущественный, но главная сила его состояла, быть может, в том, что он хоть и держался за свое место, хоть и дорожил своим положением, но лишь до определенной черты. За этой чертой он уже ничем не дорожил и ни за что не хватался. За ней начиналось то, что никакими другими словами не выразишь, кроме как: «Е...сь все в доску! На х... мне». Начиналось упоение абсурдом. Тот, кто однажды испытал это упоение, знает, что он выше других. Ибо знает: у каждого есть слабинка, у каждого тайный якорь, заветная святыня, а он откажется от любой святыни, коль скоро перейдена черта, махнет рукой на все и сорвется с любого якоря. Ибо он знает: нет способа злей надсмеяться над миром, чем надсмеяться над самим собой. Никто не дойдет до последней точки, а он дойдет, никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб, ни в ком абсурд не победит окончательно. А он в крайности пойдет на все, сожжет себя, с чудовищным матом раздерет грудь в порыве безумного вдохновения – вот он я, стреляйте. И он эту черту в себе знает и в душе презирает всех, и он прав. Таков был Лыков. Но мы отвлеклись.

Он снимал комнату где-то на окраине, прописан был по другому адресу, числился там дворником, хотя дом уже несколько лет как был снесен. Имел в Крыму (как утверждали) дом-дворец и еще имел заколоченную полуразвалившуюся избу в вымершей деревне под Рязанью. Получал, как уже сказано, скудный оклад, но зарабатывал прилично. В трудовой книжке именовался инженером банно-прачечного хозяйства. В райсобесе числился инвалидом III группы, а в военкомате – ветераном Отечественной войны. Имел два паспорта, в одном значился холостым, в другом стоял штамп о разводе и заключении нового брака; одна семья находилась в Рязани, другая – в Кемеровской области: жена, дети, мать жены и незамужняя сестра-калека. Лыков помогал всем, слал посылки, переводил деньги, но никогда с ними не виделся.

Следствие, разбираясь в паутине служебных взаимоотношений, не могло, разумеется, не столкнуться с тем фактом, что, будучи, как он сам себя аттестовал, последней спицей в колесе, Аркадий Лукич на самом деле руководил руководителями и начальствовал над начальством. Никто к нему иначе как по имени-отчеству не обращался, не исключая таких лиц, как главный администратор орденоносных бань, заместитель директора по хозяйству, заместитель по оргчасти и даже сам директор. Ибо не директор и не заместитель решали, кому положено заезжать в Сандуны с перулка, а кому не положено, и уж, ясное дело, не директор встречал именитых гостей. Любопытно вдуматься, что, собственно, значит слово «положено».

В словарях его истинное значение не зафиксировано, да и не мог бы никакой словарь передать всю гамму его нюансов. Между тем старожилы свидетельствуют, что это было одно из тех слов-устоев, которые равнозначны целым параграфам и достойны поэм. Не усвоив это слово, невозможно понять то главное, что было важнее всяких законов, на чем держалось общество, всю тончайшую систему психологических градаций, социальных рангов, невидимых глазу границ, которые решительно отделяли того, кому положено, от тех, кому не положено.

Рискнем заметить – раз уж зашла об этом речь, – что вопреки всяческим учениям не производство, а потребление определяет место человека на общественных качелях, вверх взлетает все то, что напрямую подключено к снабжению, все те, кто потребляет дефицитные блага. Кому положено их потреблять. Внизу болтаются те, кому не положено. Почему – это вопрос настолько тонкий, что никаких общих правил тут не может быть: ни должность, ни заслуги не решают дела, а решают знакомства и связи, и «рука руку моет», и «сухая ложка рот дерет», и «всяк сверчок знай свой шесток», тут важно и умение себя подать, и умение подоль-

ститься, и умение повелевать. Отчего, к примеру, не только директору ГУМа и директору ЦУМа положено было купаться в Сандунах, но и никаких постов не занимавшему Олегу Эрастовичу, и даже какой-то совершенно занюханной, безымянной личности в крытой толем сторожке на Тишинском рынке?

Но, когда после утомительного рабочего дня Аркадий Лыков снимал халат, манишку и “бабочку” – все это аккуратно складывалось в отдельный шкафчик, – когда, выйдя, он окунался в многоголовую, серую, обездоленную, вечно куда-то опаздывающую, что-то промышляющую толпу, он терял всю свою власть, ведь толпа есть нечто противоположное обществу, толпа признает лишь иерархию спешки. Одни мчатся, точно в спину им дует ветер, и тротуар уносит их на себе, как река, другие тащатся из последних сил, матери цепко держат детей, маленькие невзрачные женщины пробираются с кошелками, косясь по сторонам, точно воровки.

Лыков шел к подземелью на площади Дзержинского. Он даже стал меньше ростом, из-под изжеванной кепки выглядывали волчьи глаза, калоши шлепали по мокрому тротуару. Путь неблизкий, метро с двумя пересадками и автобус. И было уже совсем поздно, когда он поднялся по темной лестнице, отпер дверь английским ключом и увидел свое жилище: мертвую коммунальную квартиру, четыре двери. Первая дверь направо принадлежала жильцу, который никогда не появлялся; во второй комнате жила мать-одиночка с двумя детьми, ей должны были дать другую жилплощадь, а на ту претендовал сосед напротив, но и его никогда не было; в комнате за четвертой дверью, возле кухни, помещался Аркадий Лыков.

Коридор с самой тусклой лампочкой под потолком, какую только можно было купить, был увешан счетчиками (каждый жилец хотел иметь собственный электрический счетчик), заставлен рухлядью; кто-то выезжал, барахло осталось, кто-то вселялся, но передумал; за людей представлялись вещи: деревенский сундук, картонные коробки, перевязанные шпагатом, одна на другой, и на самом верху детские санки; Лыков пробирался среди этих торосов.

«Опять в темноте сидишь», – проворчал он. Женщина, похожая на ребенка, или скорее ребенок в бабьем платке, услышав условный стук, впустила Аркадия Лукича в комнату. Он зажег свет, это была довольно затейливая люстра, и вообще комната производила смешанное впечатление бедности и богатства: низкая импортная кровать, полированный шкаф для посуды. На телевизоре шествие фарфоровых слонов. На стене висела перевязанная лентой гитара. Лыков поставил на стол сумку с продуктами.

Он пригладил редкие крашенные волосы, в зеркале был виден покаты́й стол, девочка сидела, съезжившись, придерживая платок под подбородком. «Ты ужинала?» Он складывал продукты в холодильник. Вышел

на кухню, вернулся. Она сидела за столом. Она могла так сидеть целыми вечерами, годами.

Аркадий Лыков уселся напротив, наклонился и стал медленно выговаривать каждое слово, тщательно шевеля губами:

«Сними платок. Здесь не холодно. Сколько можно тебе говорить! Чего ты боишься, а? Тебя никто пальцем не тронет. Ты поняла? Я здесь, с тобой, поняла? – Она кивнула. – Я тебя в обиду не дам. Что мне с тобой делать? На работу брать с собой, что ли...»

Последние слова он произнес, говоря уже как бы сам с собой. Но она догадалась и помотала головой.

«Хочешь, сходим в театр. В театр, поняла? Где артисты играют, дерутся или там танцуют, тра-та-та-та!» Он жестикулировал, топал ногами. Она смотрела на него блестящими глазами, прыснула со смеху и покачала головой.

Он тускло взглянул на нее:

«Небось в деревню хочешь, в Кукуй».

Ее глаза округлились, она замотала головой.

«Ладно», – вздохнул Лыков. Некоторое время его не было в комнате, а когда он вернулся с чайником и сковородой, маленькая женщина была без платка, рыжеволосая и веснушчатая, в платье из сатина с воротничком и короткими рукавами, на столе разостлана белая скатерть, для Аркадия Лукича приготовлены тарелка, вилка, в хлебнице нарезан хлеб.

«Молодцом», – сказал он бодро.

Она смотрела на него: круглые настороженные глаза, как у мыши. Лыков, прикрыв глаза, важно кивнул. Она проворно достала из полированного буфета хрустальный филигранный бокальчик, присела на корточки перед холодильником. Лыков принял из ее рук запотевшую бутылку, налил стопку, тяжело вздохнул, выпил. И принялся за еду. Она сидела напротив, по народному обычаю глядя, как он жует.

Немного погодя он заговорил снова, а она смотрела, подперев кулачками щеки и не отрывая глаз от его губ.

«Хочешь, в деревню поедем? Плюнем на эту Москву. И махнем куда-нибудь. Да не в Кукуй, а куда-нибудь получше. Километров этак за пятьсот. Купим дом хороший, крепкий... И заживем. Хорошо в деревне. На воле... Где я только не жил! – сказал Лыков, глядя сквозь неё. – А вот в деревне, в настоящей, глухой деревне, пожить не пришлось. Будем с тобой печку топить, тепло будет... Гулять будем ходить. Я тебе шубу куплю. Шубу, поняла?.. Снег. Чисто, тихо. На сто верст кругом ни души... Хорошо, а? Чем черт не шутит, – он усмехнулся, – может, ребеночка мне родишь».

Она опустила глаза, тонкой рукой взяла бутылку за горлышко и налила Аркадию Лукичу еще стопку.

После него поужинала-поклевала сама. Собрала со стола, Лыков вынес посуду на кухню. После этого еще немного посидели за столом, он курил, смотрел в пространство. Наконец поднялся, достал из шкафа чисто выглаженное белье и начал перестилать постель, была суббота.

Рядом с коммунальным сортиром у входа на кухню находилась кладовка, Лыков вытащил цинковую ванночку, бак, таз и кувшин, зажег газ на кухне; когда вода закипела, он внес в комнату бак с горячей водой, сходил с кувшином за холодной водой; стол был отодвинут, Лыков, в желтом японском халате с короткими рукавами, с серебряными иероглифами на спине, пробовал воду в ванне жилистой рукой с остатками вытравленной татуировки, рядом на табуретке стояли туалетные принадлежности. В комнате сразу стало жарко. «Банный день, – сказал он. – Давай, Оля. А то вода остынет». Девочка, кричала и упиралась. «Ну-ка, держись, – пробормотал Лыков, – Бог терпел и нам велел...» «А-а!» – завопила она, когда Лыков, взяв, ее под мышки, заставил шагнуть, в ванну. Она стояла в воде, спиной к нему, судорожно перебирая ногами. Лыков плескал на нее воду ладонями.

«Бог терпел! И нам велел! Ух, ты! Хороша водичка. Все смоеет, все грехи! Боком ко мне повернись... Ну, кому говорю?– Она все ещё стояла к нему спиной, но он знал, что она его понимает. Он заставил ее сесть на корточки. Она схватилась руками за края ванны, открыв рот, смотрела на воду потемневшими птичьими глазами. – Ноги вытяни. Садись, жопой садись! Ах ты, етить твою...» Вода выплеснулась на пол.

Она сидела в короткой ванне, ее голова, покрытая пеной, моталась в руках у Лыкова. Он скреб, взбивал, полоскал рыжие блестящие волосы. Он подал ей руку. Она терла глаза кулаками, пошатываясь, встала. Лыков мылил губку беспалой рукой. Руки Аркадия Лукича держали девочку, ловко и размашисто терли спину и ягодицы, проехали по ключицам, вокруг крошечных грудей, по впалому животу, с грубой нежностью мазнули между ногами, лицо его было мрачно, брови сдвинуты, маленькая женщина болталась и поворачивалась в его руках, как кукла. Она перешагнула из ванны в таз. Лыков лил на нее воду из кувшина, и девочка, свежая и блестящая, смотрела как зачарованная на свой живот и ноги. Вода раздевала и одевала ее в текучий и поблескивающий наряд. Девочка восстала из воды, как будто только что родилась и еще не умела говорить, и только кричала, когда Лыков обтирал ее мохнатой простыней. Он перенес ее, завернутую в простыню, на кровать. Когда все принадлежности и следы мытья были убраны, он сидел боком к столу под люстрой, перебирал гитарные струны и пытался напевать фальцетом: «Шел я и в ночь, и средь белого дня...» Девочка спала. Кто-то из их деревни говорил ему, что до пяти лет она умела разговаривать, пела песни; когда он с ней встретился, она уже молчала. Он думал: и к лучшему.

Деревня – десяток почернелых изб – носила нелепое название Кукуй, и, чтобы до этого Кукуя добраться, нужно было прошагать километров пять по насыпи, оставшейся после разобранной одноколейки, – самая опасная часть дороги, здесь могли увидеть, – а потом уже прямоком завьюженными болотами, утонувшим в снегу мелкоколесьем, через поваленные куртины, где черт ногу сломит. К числу профессий и должностей, которые переменял за свою жизнь Аркадий Лыков, принадлежала должность заведующего лесоскладом. Социальный космос лагеря мог вознести заключенного выше иных начальников. Кварталы леса, окруженные деревянными вышками и столбами, обтянутые проволокой, прорезанные просеками и усами дорог, трещали и падали, срезанные заподлицо, под пулеметный стрекот электрических пил, обрубались, отскабливались от коры; трещали и дымили заваленные лапником костры; высокие, как дома, штабеля бревен, жердей, свеженарезанных шпал, горбыля, досок и длинные, словно торговые ряды, штабеля дров тянулись по обе стороны железнодорожной ветки; издалека, с делянок, откуда тянуло, как порохом, смоляным дымом костров, из белой мглы тащились по ледяным колеям все новые возы с рудстойкой, тарником, шпальником, резонансной елью, авиасосной; скрипели железные санки, сцепленные крестнакрест стальной цепочкой, и лошадь, усердно кивая, вбивала копыта в лед, и заиндевелый возчик шагал рядом, проваливаясь в снег; укатчики, орудуя вагами, вкатывали наверх желтые лоснящиеся баланы, росли штабеля. Звенела и пела пилорама, и впереди, где виднелся паровоз, бригады грузчиков, в рубахах, дымящихся на морозе, в тряпичных рукавицах, с матом и уханьем катили бревна наверх по скользким лагам, с грохотом сбрасывали на платформы, и паровоз разводил пары, и сотни и тысячи фэстметров заготовленного леса медленно уезжали в неведомые края. А в это время, да, в это время Лыков, носивший тогда другую фамилию, в шапке из настоящего меха, что говорило о его положении, сидел в избушке с железной трубой, конторе лесосклада, за дощатым столом перед кипами рапортчек, разнарядок и спецификаций, слуга-шестерка хлопотал возле раскаленной железной печки, на которой стояла сковорода со скворчащим салом, и кричал: «Дверь закрывай!» Так может покрикивать на вельмож наперсник потентата. Так может сидеть за столом, ни на кого не глядя, тот, от кого зависят сильные. В клубах пара в контору вваливались бригадиры, нормировщики и учетчики, кирпичнолицы, с сосульками на усах и бородах, рассаживались, кто на скамьях, кто у самого стола, смотря по рангу.

Это было общество рангов, но опять же сами по себе ступень и ранг еще не решали дело. Не зря было сказано: социализм – это учет. Что означает: не столь важно производство, сколько оформление. Лыков мог, с

шапкой в руках стоя в кабинете начальника лагпункта капитана Сивого, молча выслушивать капитанский рык, но при этом оба хорошо знали, кто от кого больше зависит. Мог называть технорука, как положено, «гражданин начальник», но оба знали, что начальником на складе был он, а не технорук. Высшей, хоть и неписанной обязанностью Лыкова было давать ежемесячное выполнение невыполнимого плана. Этим искусством он владел в совершенстве – искусством выкручиваться и выкручивать руки другим, рассчитывать, приписывать, недописывать, придерживать заприходованное, копить в заначку, натягивать шкурку, фабриковать туфту и выручать ленивое и слабоумное начальство. Со своим четвертным – а за что он его схватил, долго объяснять, проще назвать статью, что означает: измена Родине с оружием в руках, то есть, собственно, ничего не означает, кроме того, что в сорок первом под Вязмой юнцом попал в плен, – со своим двадцатипятилетним сроком Лыков, вообще говоря, не мог занимать административную должность и, однако, занимал, не мог быть расконвоирован, но имел в виде исключения пропуск за зону, в его формуляре значилось: «Использовать только на общих работах», – и тем не менее Лыков никогда не брал в руки лучковой пилы, не слышал лай бригадира, не стоял в утренней тьме в колонне перед воротами на разводе в слепящем свете прожекторов, не топал по шпалам, по четыре человека в ряду, в производственное оцепление, не вкалывал, не ишачил, не упирался рогами, не ел в вонючей столовой, не мылся в грязной общей бане, не спал на нарах, жил не в секции, а в кабинке вместе с помпобытом и завпекарней, носил летом настоящие сапоги, зимой настоящую меховую шапку и носил волосы на голове. Расстояние, отделявшее Лыкова от простого работяги, было не меньше, чем расстояние от капитана Сивого до Лыкова, не меньше, чем расстояние от какого-нибудь третьего секретаря райкома до рабочего, и приближалось к расстоянию от Земли до Луны. Он мог запросто, хоть и вполголоса, послать подальше надзирателя, мог оставаться на складе после съема, мог, соблюдая необходимую осторожность, прогуляться в Кукуй, где у него был кое-кто.

Подобно многим тысячам и, может быть, миллионам людей Лыков усвоил непреложную истину: она состояла в том, что жизнь устроена наподобие театра. Существует сцена, существуют зрители. На сцене происходит действие: там играют постановку. На сцене все ненастоящее. Все притворяются, одеты не в свою одежду, говорят не то, что думают, вещи, кулисы – всё поддельное. Настоящая жизнь, грязная и жестокая, происходит за сценой.

В театре надо притворяться, что принимаешь все всерьез; надо делать вид, будто во все это веришь, а главное, делать вид, что ничего не

знаешь. Будто это и есть настоящая жизнь и никакой другой нет. Но на самом деле это не жизнь, а сплошная игра, ложь и притворство. Настоящая жизнь – это лагерь. И никуда от него не денешься.

От лагеря никуда не денешься. Они тут все думают, что лагерь где-то там, очень далеко, а на самом деле он здесь, рядом. Не успеешь оглянуться, и ты уже в лагере. Все равно что проснулся. Все равно как будто актеры перестали молоть чепуху, вынули из карманов настоящее оружие, прыгнули со сцены и приказали зрителям строиться в колонну. Все, братцы. Пьеса окончена. Кто там не был, будет. Кто туда еще не попал, попадет. А кто уже побывал, попадет снова.

Дальнейшие известия о потусторонней карьере Аркадия Лукича Лыкова смутны, как вся его жизнь; с уверенностью можно сказать, что он не подпал под секретную амнистию изменникам Родины в пятьдесят шестом году, но не потому, что не был изменником – был или не был, это, как мы уже сказали, вопрос сложный, – а потому, что отдал концы. Приходится сделать этот неожиданный вывод, так как Лыков принадлежал к категории людей – кстати сказать, не такой уж редкой, – которые отдают концы несколько раз на протяжении своей жизни. Одни – бумажной смертью, другие – физической, но анализ этого феномена увел бы нас в теологические дебри. Как бы то ни было, дело обстояло именно так – умер: врезал дуба, откинул копыта, двинул ботами, накрылся, загнулся, надел деревянный бушлат... Удивительно богат наш язык, когда дело доходит до метафизических вопросов жизни и смерти. Можно ли существовать, не существуя? Можно ли купить новую жизнь ценою небытия? Тот, кто был, был уже не тот, кто стал. Собственно, после этого он и стал Аркадием Лыковым.

Обнаружилась колоссальная недостача. Заведующему она могла грозить вышкой, но это было еще не так важно. Главное – то, что всему руководству вплоть до начальника лагпункта фатальным образом ломался срок. Во всяком случае, такая опасность оставалась реальной до тех пор, пока Лыков был жив и мог дать показания. Такова в общих чертах имеющаяся версия.

И уже начало зловеще-неторопливо вариться дело, уже в воздухе потянуло паленым, пошел клубиться слушок, и оперуполномоченный, давно копавший против начальника лагпункта, вел подозрительные переговоры по телефону с оперчекотделом управления лагеря, о чем капитану Сивому доносил дневальный. О том, как реагировал на эти новости Сивый, дневальный докладывал уполномоченному. Начиная с этого пункта сведения размываются и отчасти противоречат друг другу. Одно из двух: или сам Лыков придумал и предложил выход, или, что менее вероятно, идея принадлежала начальству. Либо Лыков пошел, что называется, ва-банк и

предъявил Сивому ультиматум: дескать, мне терять нечего, я иду ко дну и вас всех потащу за собой; либо, если повезет, вся вина останется на мне, а вы сухими вылезете из воды. Отсюда следует, что начальство некоторым образом не оставалось в неведении относительно того, что готовится побег.

Либо, наконец (что уже совсем невероятно), Лыков, пользуясь все еще оставшейся у него властью и влиянием, действовал по собственному почину.

Короче говоря, был составлен акт о скоропостижной смерти и захоронении. Был ли этот акт заготовлен заранее или его сляпали на скорую руку, под влиянием внезапного наития, когда обнаружилось, что виновник исчез, неизвестно. Удалось ли убедить прибывшую из управления комиссию в том, что бывший завскладом был главным или даже единственным виновником, подкрепив эту версию дружеской выпивкой и приличной лапой, мы тоже не знаем. Но не все ли равно? В это время Лыков, умерший и сактированный, с плотно примотанным нательным кошельком, где у него хранилась изрядная сумма денег, подложив под голову мешок с гражданскими шмотками, ехал в тендере под рогожей, присыпанный мелким углем. На рассвете состав с лесом подошел к станции, близ которой находился комендантский лагпункт; здесь кончалась лагерная ветка. Кочегар спрыгнул на землю. Сцепщик отцепил паровоз и пошел следом за патрулем вдоль состава. Кочегар вскочил на буфер и стукнул железным ломиком о борт тендера. Разбросав уголь, Лыков, черный от угольной пыли и обмазанный с ног до головы мазутом, чтобы отбить запах, высунулся и увидел удаляющийся патруль с собакой, а немного спустя уже качался в грохочущем полувагоне, скорчившись на полу тормозной площадки, на свирепом ветру. Состав шел в Заполярье, в северный порт, где лес грузился на океанские пароходы. С законной гордостью начальник управления говорил на отчетном заседании в министерстве, что отечественный крепез стоит в английских, бельгийских, французских шахтах и еще где-то там. Но на Севере был другой лагерь, и вообще бегство за границу не входило в планы Лыкова.

Тот, кто занялся бы изучением лагерного фольклора, мог бы почувствовать в нем дыхание могучей традиции; центральным мотивом великого русского мифа о воле нужно считать побег с концами. Бегство из крепостной неволи на Дон, в Сибирь, к великим рекам, побег с каторги по славному морю, бегство глухой, неведомой порой, звериной тайною тропой, бегство из зоны, из оцепления, из таежного, заполярного, степного и пустынного края; бежать, рвать когти, смыться, оборваться! Величие каторжного государства измеряется бескрайностью его просторов и тем, сколь исчезающе мала вероятность уйти с концами; и все же она существ-

вует. Но среди бесчисленных слухов, рассказов, дивных повестей о беглецах – кто из нас их не слышал? – есть легенда о том, как снедаемый непонятной тоской беглец возвращается. Спустя сколько-то лет Аркадий Лыков вернулся в края, почти ставшие для него родными, добрался до деревни, где не существовало времени, и женщина, которую он некогда навещал, встретила его так, словно они расстались на прошлой неделе. Как и прежде, она жила с дочкой и ветхой, выжившей из ума свекровью. Он подарил ей шелковое платье, конфеты, два круга копченой колбасы, дал пятьсот рублей деньгами и, не утруждая себя объяснениями, не оставив адреса, увез глухонемую девочку с собой.

XVIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Итак, он поднялся по лестнице, открыл дверь английским ключом, пробрался между загромодившими коридор вещами, вошел в комнату. Оттого, что он устал, оттого, что позади был трудный рабочий день, оттого, что он вернулся домой, оттого, что он постарел, память превратилась во второе существование, жизнь в разных временах давно уже не была для него чем-то неестественным. Отряхнув снег с мокрых валенок, он вступил в темные сени. Нащупал косо приколоченную, хлябающую ручку двери, подумал: надо бы прибить. И, нагнув голову, перешагнул через высокий порог.

«Это я, – пробормотал он, – опять в темноте сидишь...»

За столом сидела глухонемая. Аркадий Лукич зажег свет, хрустальную люстру с подвесками, с разными финтифлюшками – мог ли кто подумать, что он доживет до такой роскоши? Он поставил на стол сумку с продуктами, взглянул на ту, что ждала его целый день, и в который раз поразился сходству.

На столе стояла керосиновая лампа. Лыков сидел на пороге, словно странник или солдат, протопавший долгий путь, и в самом деле он шел долго, шагал по насыпи, пробирался мимо куртин. Хозяйка стянула с него лагерные рыжие, расширяющиеся книзу валенки, он разматывал почернелые портянки. Она развесила их сушиться на лесенке, стоявшей перед лежанкой, уложила на табуретку валенки, прислонив к печи.

Был вечер. Кот прыгнул с печки и ходил вокруг, поднимая хвост. Хозяйка стояла перед котелками, старуха слабо крикнула с лежанки: «Дверь закрывай!» – он сел на скамейку под полками с утварью, на кухонной половине, и снова начал стаскивать валенки. Все это повторялось с разными вариантами, как будто шарниры времени в мозгу проворачивались вхолостую. «Избу выстудишь!» – крикнула старуха. Встав, он приоткрыл дверь

и захлопнул с силой. Хозяйка положила валенки на табуретку подошвами к печи.

Лыков остался в ватных штанах с завязками, в потной рубахе и босиком прошел по половикам на чистую половину, сел за стол, протиснулся к красному углу. На столе была разостлана чистая скатерть, на дощечке нарезан хлеб, тарелка, ложка, солонка, граненый стакан ожидали его. И сияла пузатая трехлинейная лампа, роскошь этих, мест. Лыков, которого звали тогда иначе, сам доставал для них керосин у бесконвойного стрелочника на железнодорожной станции.

Этот стрелочник назывался комендантом, и в его обязанности входило топить три печки – в диспетчерской, в коридоре и в зале ожидания для вольнонаемных, сгребать снег с крыльца, ходить с фонарем по путям, чистить и заправлять керосином стрелки. И Лыков вспомнил, как он слышал, лежа под углем в тендере, перед самой отправкой, его голос и хруст шагов. Паровоз дал гудок, и состав – длинная вереница полувагонов, груженных лесом, – тронулся.

Она внесла дымящиеся щи, вернулась с запотевшей четвертинкой, налила, как всегда, полстакана и уселась, строгая и чинная, напротив. Лыков покосился на икону, взглянул на женщину, обвел взглядом низкие, тускло поблескивающие, заиндевелые окна за белыми, занавесками, проворчал: «Ну-с...» – тяжело вздохнул, медленно выпил, понюхал хлеб, взялся за ложку. Лыков взглянул на женщину, похожую на ребенка (она сидела, придерживая на шее платок, под люстрой в затейливых стекляшках, он поставил продуктовую сумку на стол), и увидел, что она изменилась, странным образом стала моложе и шире. Она поднялась и подошла к часам, чтобы подтянуть гири. От щей и водки ему стало жарко. Старуха кашляла на печи. Он потянулся и слегка хлопнул хозяйку по животу. Она уселась напротив. Лыков ел щи.

«Небось не мое».

«А то чье?»

«Кто тебя знает».

«Не болтай», – сказала она строго.

«На подсочку ходишь?»

Она работала в химлесхозе, делала стрелообразные насечки на деревьях, прибывала колышки и прилаживала воронки для сбора живицы. И еще подрабатывала, как все женщины в деревне, продажей водки изпод полы: покупала в сельпо, за десять верст, и носила солдатам и вольнонаемным.

«Какая подсочка зимой», – сказала она.

«Кто тебя знает...»

Она внесла сковороду с жареной картошкой.

Лыков сказал: «Я знаю, к тебе тут один шастает...»

«Еще чего скажешь. Ну, чего болтать-то?»

«Солдатик один. Я его как-то встретил».

«Батюшки, – сказала она. – И как же?»

«Да никак. Прошли мимо друг друга, словно не заметили. Ему ведь тоже не поздоровится, если узнают».

«Он к Листратихе ходит. К ней все ходят».

«А к тебе?» .

«Ладно болтать-то».

«Скажи прямо».

«Ну чего привязался?»

«А вот мы сейчас маманю спросим, – сказал он, усмехаясь. Еда была окончена, он курил самокрутку. Помолчали, потом он спросил: – Сколько еще осталось?»

«К весне рожу. Да брось ты тут дымить! – Она убирала со стола. – Вот взяла манеру...»

Он набросил на рубаху ватный бушлат, нахлобучил шапку, сунул босые ноги в валенки, нагнувшись, вышел в сени. Затрещала дверь, Лыков выглянул на волю, была оттепель.

Он стоял на крыльце, и вокруг все было темно и глухо, смутно белел снег на углстых крышах, смутно светлела дорога, и тянуло свежей сыростью и обманчивой волей, и вдали под низким темно-белесым небом стоял, как застывшее войско, лес. Давно уже весь этот край с редкими, оставшимися от незапамятных времен деревушками принадлежал лагерю. Так пятьсот лет назад леса и деревни переходили от одного князя к другому, и люди не ведали, чьи они. Никто не знал, как далеко простирается лагерь. Где-то там всем распоряжалось начальство. Где-то что-то происходило, шли годы, и сменялись времена. А здесь всегда тянулся один-единственный год. И человек, продрогший на крыльце, досасывая сигарку, глядя на темное облачное небо, испытывал двойное чувство – бесприютности и укрова, точно это небо, как одеяло, укутало их всех.

Как все старые заключенные, Аркадий Лыков и через много лет испытывал необъяснимую ностальгию по лагерю. Стирались лица, и путались имена, забывались названия полустанков железной дороги, каждое было названием лагпункта, но тоска по лагерю, как тоска по прошедшей жизни, не убывала: вот отчего он жил в двух временах. Память об этой ночи, когда он стоял на крыльце в наброшенном на плечи бушлате, внезапно всплыла и потянула его за собой, как утопающий тянет на дно подплывшего к нему. Человеку, вернувшемуся с войны, мирная жизнь кажется ненастоящей, так и вышедшему из лагеря жизнь на воле предстает поддельной и смехотворной. Посмотрел бы я, думает он, как бы вы за-

плясали в лагере. И ему кажется, что люди играют в игру, смысл которой в том, чтобы притворяться, что лагеря нет; да они и в самом деле как будто забыли об этом. Лагерь, как лес на горизонте, окружал всех, другие не знали этого и не хотели знать, но Лыков знал; он всегда знал и помнил, что он бывший заключенный, и даже не бывший, а вечный – только как бы находящийся в отпуску; все равно что бывший граф, скрывающий свой титул; можно было числиться кем угодно, официантом, завхозом, «инженером банно-прачечного хозяйства», и ни на одну минуту не забывать о том, что ты граф; и он всегда знал, что тюрьма и лагерь дожидаются его, и всегда чувствовал точку между лопатками, куда целится стрелок. Лагерь, как кол, сидел у него в мозгу, совершенно так же, как вся страна, что бы там ни случилось, так и останется как колом пригвожденная к лагерю. Лыков швырнул в снег окурки и вернулся в избу.

Он вошел в комнату, неся бак с кипятком, вышел и вернулся с тазом и большим синим кувшином с холодной водой. «Давай, – сказал он, заворачивая повыше рукава дорогого японского халата, и попробовал воду в ванне, точно собирался купать ребенка, – давай, Оля, – и взял ее под мышки, – вот когда родишь ребеночка, сама будешь его мыть». Она сидела на корточках, он лил ей воду на голову, тер рыжие блестящие волосы, посадил ее на табуретку, сунул в руки гребень. «Уехать бы куда-нибудь верст за пятьсот, мало ли есть хороших мест, подальше от всего этого блядства, от этих гнид! этих, у-у, – он не находил слов, как их назвать, вынес мыльную воду, вернулся, налил свежую, – деньги есть, дом бы купили, где-нибудь на опушке леса, и жили бы да поживали, цветы бы развели. Никто нам не нужен, Оля, никто бы нас там не знал, и мы никого бы не знали. Становись в ванну, лицом, ну, кому говорят». Он мылил и тер ее мягкой vareжкой, а потом сидел у стола и перебирал струны.

Был такой случай: приснилась церковь. Он шел кружным путем, не по главной дороге, где могли увидеть, а стороной, сам запутался, тропинка окончательно затерялась, он выбрался из кустов, зашагал напрямик через заросшее поле, и наконец вдали показалась деревня. Он решил, что побудет первые дни в старом доме родителей, а там видно будет. И тут ему попала на глаза церковь, никто ее не разрушил, крест сиял на колокольне. Было тихо, безлюдно, издали было видно, как качается колокол, но звона не слышно. Каждый сиделец знает: церковь – значит, выйдешь на волю. И наоборот: если на воле приснилась церковь – посадят. На другой день, в воскресенье, в самом центре города, в метро, Лыков столкнулся нос к носу с лагерным оперуполномоченным.

Лыков стоял у дверей и смотрел на желтые отражения лиц, поезд неся среди мелькающих огней, и в темном стекле из толпы других лиц

на него в упор смотрел призрак, смотрело лицо человека, которого не могло быть и который – это было совершенно очевидно – был не кто иной, как тот, кто в далекие времена сидел в кабинете за двойной дверью, позади кабинета начальника лагпункта, в конце коридора, и от которого выходили через заднее крыльцо. Кум полысел и был в штатском.

Двери раздвинулись, Лыков бросился вперед, расталкивая людей, он знал, что при довольно высоком росте его легко увидеть в толпе. Он шагал, не оборачиваясь, и ждал, что сзади заверещит милицейский свисток. У выхода на эскалатор стояли трое, здоровые лбы в макинтошах, он шел им навстречу и думал, что они поджидают его. Уполномоченный успел вызвать наряд, наверху ждала машина – все это он мгновенно вычислил, вообразил себе; метнулся вбок, смешался с толпой, высыпавшей на перроне противоположной стороны, нырнул в поезд. Там он протолкался до конца вагона, перешел на следующей остановке в другой вагон и проехал еще две остановки. Он был совершенно спокоен. На станции «Парк культуры» выходило много народу, два каких-то типа медлили, может быть, рассчитывая оказаться с ним в пустом вагоне; он выскочил, почти уверенный, что ушел окончательно, и оглянулся. Уполномоченный, в габардиновом плаще с развевающимися полами, догонял его, не вынимая руки из кармана пиджака. Оба запыхались и несколько времени молча шли рядом.

«Ну что, такой-то, – сказал человек в штатском, называя Аркадия Лыкова по фамилии, которой больше не было, не могло быть. Теперь она всплыла, как утопленник со дна омута. – Как поживаем, такой-то?»

Лыков молчал и шагал, глядя прямо перед собой.

«Куда ж ты помчался, старых знакомых не признаешь?» – продолжал уполномоченный.

Лестница повезла их наверх, вышли и остановились, пережидая поток машин.

«Не вздумай глупить, – сказал уполномоченный, – пристрелю на месте».

Вдали, на другом берегу, были видны гуляющие люди, купы деревьев и чертово колесо. Под огромными, уходящими вверх стальными плечами моста, слишком большого для реки, которая глубоко внизу неподвижно текла между каменными набережными, их влекла за собой толпа. «Куда же это мы?» – думал Лыков.

Вслух он проговорил:

«Меня нет, я умер, сгнил, ясно?»

«Интересная история, – откликнулся кум. – Выходит, значит, из гроба восстал. Бывает, бывает, все бывает... Гора с горой не встречается, а человек с человеком... А куда это мы, между прочим, топаем? Нам ведь в другую сторону».

Лыков остановился. И уполномоченный остановился.

«Слушать мою команду, – держа руку в кармане, сказал уполномоченный вполголоса. – Шаг влево, шаг вправо считается попыткой к побегу. Второй раз не убежишь».

Некоторое время они стояли молча. Люди обходили их. Уполномоченный вздохнул.

«Ну что... Может, пивка для начала выпьем? Ради встречи».

«Можно выпить», – сказал Лыков.

«Вот это другой разговор. Когда еще придется пиво в Москве пить!»

Непонятно было, имеет ли он в виду себя или Лыкова.

Перешли мост и спустились с каменной лестницы.

«Только смотри у меня без глупостей, – предупредил оперуполномоченный, извлек удостоверение из внутреннего кармана, показал контролеру; оба прошли в ворота парка и остановились перед главной аллеей. – Ты как тут, ориентируешься?»

Лыков вспомнил, как они ходили в парк с Олей и катались на чертовом колесе.

«Вон у тетки поди спроси».

«Да нечего спрашивать, – сказал Лыков утрюмо, – я сам знаю...»

«Вали, – приказал опер, когда они отыскиали в пивном баре среди шума и гама местечко за столиком в углу. – И чего-нибудь пожрать».

«Еду заказывают», – возразил Лыков. Он отмахнулся от тридцатки, которую протягивал ему уполномоченный, без очереди протолкался к стойке и вернулся с двумя кружками. Подошла пышнотелая подавальщица в короткой юбке, в кукольном передничке и кружевной наkolке.

«Чем порадуете?» – спросил кум, оглядывая официантку.

«Есть биточки, шницель».

«Отбивной?»

«Рубленый».

«А чего-нибудь получше?»

«Получше есть де-воляй со сложным гарниром».

«Чего?»

«Котлета такая, – сказал Лыков. – Есть можно?» – осведомился он.

«Отчего же нельзя есть? – сказала она. – Шеф-повар готовит. Из настоящего мяса».

«Неси твой дьяволяй», – сказал уполномоченный.

«Салатик не желаете?»

«Давай салатик. Два салата».

Он взялся за кружку, отдул медленно оседающую пену.

«Ничего себе бабеч, — сказал он. – Ты как, подженился?.. Ну-с. Со свиданьцем, что ли!»

Подошел человек неопределенного возраста и вида.

«Ик... Дык».

Никто ему не ответил.

«Здорово», – сказал серый человек и протянул руку сначала Лыкову, потом уполномоченному.

«Пошел на х...» – буркнул уполномоченный и утер пену с губ.

«Все в порядке, – поспешно сказал человек, – я чего хочу сказать.

Вот я про себя скажу... Дык! Закурить не найдется?»

«Кому сказано!»

«Ну чего, ребята, все нормально. Человек к вам по-хорошему... Вон все люди сидят, выпивают. Жизнь такая пошла, я тебе скажу! Э!..»

Он махнул рукой и уселся на свободный стул.

«Я повторяю, – сказал ледяным голосом уполномоченный, – считаю до трех...»

«Все нормально. Все нормально!»

«Ну чего надо? – сказал Лыков. – Тебе говорят: вали отсюда. Пока по шее не надавали».

«По шее, по шее, – сказал обиженно человек, который сам себя называл человеком. – Ты-то кто такой? Каждая вошь будет командовать. С-суки поганые, – закричал он, – жида, бля, еще угрожают, к ним по-хорошему, бля, а они!..» Он разгуливал между столами, Лыков поглядывал ему вслед, а кум смотрел в кружку, некоторое время спустя человек вступил в разговор с официанткой. Уполномоченный ковырял вилок котлету де-воляй. Уполномоченный промолвил:

«Вот так. Гора с горой не сходится... Ты чего не ешь?»

«Как там Сивый?» – спросил Лыков.

«Капитан? Нет его. Давно в ящик сыграл. Спился».

Он добавил:

«У нас там большие перемены».

Официантка держала, как щит, перед животом пустой поднос. Компания за ближним столом повернула головы, кто-то встал, подошел к серому человеку и толкнул его в грудь. За него стали заступаться. В зал вошел милиционер.

«Думаешь, – медленно сказал, глядя мимо, уполномоченный, – я не знал?»

«О чем?»

Он взглянул на Лыкова.

«Да ладно дурочку-то играть... Что ты оторвался – думаешь, я не знал? Все знал... Да. Поторопился ты, такой-то... Потерпел бы еще лет пять и так бы вышел».

«Выйдешь у вас», – пробормотал Лыков.

«Эй!» – крикнул кум и щелкнул пальцами.

«Сколько с нас?» – спросил он.

Официантка писала карандашиком в блокноте, шевеля губами. Протянула листок.

«Ого! Ловко это у вас получается».

«Два де-воля, два салата, – отчеканила она, – два...»

«Разговорчики в строю! – сказал уполномоченный. – А как бы это с вами свидание назначить?»

«Чего?» – спросила она.

«Я ушел оттуда», – сказал уполномоченный.

Лыков спросил:

«Как это?»

«А так. Уволился из органов».

«Совсем?»

«Совсем. Тебе часом отлить не надо? Иди, отлей. – Он усмехнулся. – Когда еще придется...»

Аркадий Лыков встал и направился между столами к буфетной стойке. Он обогнул стойку, вступил в коридор и увидел заднюю дверь и крыльцо. Немного спустя он вышел, оглядываясь, из сарая, где помещался летний сортир, взглянул на небо, медлил, оперуполномоченный не появлялся. Лыков вернулся в зал. Но и там его не было.

XIX. СООБРАЖЕНИЯ ПО ДЕЛУ (1)

Скажут: все это сказки! Не бывает так, чтобы люди, которых случай или судьба столкнули в большом городе, волею другого случая оказались на одном погосте. Эрастович (умерший, кстати сказать, своей смертью примерно через год после описанных событий) рядом с ханом, хан возле Рубина и так далее; не бывает таких кладбищ. Не может быть, чтобы какие-то фантастические журавли загадили город. Если столица в самом деле приняла с годами несколько запущенный вид, то на это были свои причины. Топография знаменитых бань, как она здесь описана, может вызвать недоумение. Фанерный дворец хоть и существовал на самом деле, но не был так великолепен. Теория Третьего Рима, на которую намекает автор, давно выкинута на свалку и так далее.

Так не бывает, скажут нам, и в этом возражении, несомненно, есть резон, ибо того, что случилось со всеми нами, в самом деле не бывает; то, о чем здесь рассказано, неправдоподобно, как неправдоподобна сама истина. К ее причудам нелегко привыкнуть. Истина не рождается, как Афина из головы Зевса, – скорее так, как рождается ребенок, когда головка ходит взад и вперед и растягивает и разглаживает родовые пути. Пусть простят нам это натуралистическое сравнение.

Как известно, римский наместник не стал дожидаться ответа на свой вопрос (очевидным образом риторический), между тем ответ мог быть двояким. Истина есть то, что не имеет ценности. Истина есть то, что не служит власти. Первое выражается в том, что истина демонстрирует человеку бесплодность его усилий. Вот, говорит она, что ты об этом думал, и вот что было на самом деле, – сравни и постарайся утешиться. Другими словами, с истиной нечего делать. Гони ее прочь, если хочешь чего-нибудь добиться! Подлинным утешением, однако, нам послужит то, что абсолютно свободного языка не существует и самый добросовестный историк не может возвыситься над историей. Его язык служит власти и сам являет собой наглядный пример власти. Язык равно поработывает самонадеянного хрониста и доверчивого читателя, ибо говорит им: так – и никак иначе. И только литература никому ничего не навязывает. Ибо говорит: может быть, так, может быть, иначе. В этом, как ни странно, состоит ее истина, в этом ее утешение. Таков второй ответ.

Заключая этот короткий экскурс, мы не можем, однако, не упомянуть о том роде литературы, для которого вера в единую и единственную истину необходима, – мы говорим о криминальной литературе. Увы, она остается единственным прибежищем этой веры.

Осенью 197... года в поле зрения следственных органов оказалась группа людей, чья принадлежность к единому преступному сообществу была заподозрена с самого начала, но окончательно раскрылась лишь в ходе кропотливого расследования. Необычайно разросшееся, осложненное множеством побочных обстоятельств, это расследование, называемое условно «делом о Журнале» (хотя главный пункт, как уже говорилось, так и остался непроясненным, да и что там было прояснять: кучка людей пыталась спрыгнуть с тонущего корабля, захватив с собой глиняные таблички), было последним крупным делом тех лет, последним достижением оперативных инстанций и их последней неудачей. Знаки финала уже стояли в небе подобно светящимся письменам на стене Валтасарова дворца: их видели все, и стереть их было невозможно.

Следует указать на одно деликатное обстоятельство. Дознание, нацелившись было на подпольного предпринимателя, известного в узких кругах как «тот самый», вскоре изменило свой путь, так река огибает запруду. Дело в том, что некоторые из должностных лиц, под началом которых проводилось следствие, в разное время состояли – что тут удивительного – клиентами «того самого». Некоторые влиятельные чины были знакомы с ним лично. Попросту вычеркнуть Олега Эрастовича из материалов дознания было невозможно, он проходил по делу в качестве второстепенной фигуры, под кодовой кличкой «Виконт». Это дало возможность сосредоточиться в направлении главного удара. Выяснилась при-

частность Ильи Рубина (за которым давно уже велось наблюдение) через его любовницу к убийству в Сандуновских банях. Что же касается предприятия Олега Эрастовича, то позволим себе добавить – чтобы покончить с этой темой, – что тут замешаны были не одни только «чины».

Несколько известных и уважаемых лиц оказались жертвами собственного легкомыслия. (Кое-кто мелькнул и на этих страницах.) Среди них были: ответственные работники, директора, заслуженные артисты, даже, говорят, генеральный секретарь Союза писателей. Иные поплатились, кое-кому втихаря дали, как тогда было принято выражаться, «по шапке». Как всегда, нашлись люди, которым скандал был на руку. Но совершенно очевидно, что никто не был всерьез заинтересован в том, чтобы раздуть дело, тем паче раззвонить о нем. До нас дошли смутные слухи, сплетни, обрывки известий, полученных из вторых рук. Оставим их золотоискателям мнимых фактов – историкам.

Тут можно коснуться – теперь уже все можно – вопроса о том, в какой мере необходима и целесообразна нравственность с государственной точки зрения. С одной стороны, регламентация интимной жизни ответственных лиц, безусловно, необходима; тут не может быть двух мнений. Больше того, интимные потребности никоим образом не должны были выступать наружу, никаких таких потребностей не было. С другой стороны, то обстоятельство, что секретари, директора, государственные писатели, заслуженные артисты и *tutti quanti* были по большей части мужчины в соку, что под мундирами и пиджаками из негнущейся ткани, под колоннообразными, шуршащими дорогим материалом брюками, под трикотажными нижними панталонами у них скрывалось то же, что у простых смертных, – это обстоятельство, хоть и держалось в тайне, но не могло быть сброшено со счетов. Начальственный образ жизни, обильный стол, сидение в президиумах и в хорошо отапливаемых кабинетах способствовали приливу крови к детородным частям и вынуждали искать разнообразия. Наконец, о чем говорит опыт столетий, известная свобода правителей от прописной морали способствует моральному усовершенствованию подданных. В конечном счете она укрепляет государственный строй. И хотя государство рухнуло, оплакиваемое, как престарелый монарх, придворными, челядью и народом на площадях, но еще вопрос, протянуло бы оно так долго, если бы им руководили евнухи и аскеты.

Вернемся к делу. То, что оно должно из криминально-бытового перерасти в политическое, задумывалось с самого начала. Большое, разветвленное, обещающее богатый улов дело – наверху приободрились. Потирали руки: потянуло, что называется, свежатинкой. Оперативность органов, не зря называемых оперативными, проявилась в том, что они немедленно

взяли быка за рога, другими словами, изъяли дело из ведения милиции. Исходным пунктом, как уже сказано, было убийство председателя Верховного Совета автономной республики, совершенное в субботу в восьмом часу вечера в номерах орденосных бань.

Республика хоть и чепуховая, однако титул председателя особенно подчеркивать не рекомендовалось, в следственных материалах убитый чаще значился под кодовым псевдонимом Хан. В том, что он был убит, а не умер своей смертью, следствие не сомневалось. В любом случае номенклатурная должность сама по себе определяла характер дела как крайне серьезный, сугубо секретный и, значит, подлежащий компетенции секретных учреждений.

Находившийся в субботу в тех же номерах с целью помывки и привлеченный в качестве свидетеля народный художник, вице-президент Академии искусств Т. М. Погорельский в беседе с начальником Седьмого следственного отдела показал (хоть и не присутствовал при браке), что нож находился не в руках хана-председателя, а в руках у банщика Лыкова. Таким образом, выстроилась рабочая версия: убийство совершено с целью ограбления, банщик угрожал хану ножом (о чем свидетельствовали отпечатки пальцев на рукоятке), а затем, отбросив нож, задушил его (следы пальцев на шее убитого). Главный подозреваемый исчез, что подтверждало его виновность. Ускользнули и лица, охранявшие председателя во время его визита в столицу и, по всей вероятности, подкупленные Лыковым. В воскресенье был произведен обыск на квартире любовницы председателя, которая оказалась сообщницей убийцы. Найденные при обыске улики говорили о том, что она замышляла вместе с ним совершить побег за границу. Там она должна была передать сведения, порочащие наш общественный и государственный строй, полученные от бывшего любовника Рубина, заграничным спецслужбам.

Жильцы двенадцатизэтажного блочного дома, называемого «башней», потому ли, что архитекторы полагали, что башня – это любое сооружение, вертикальные размеры которого больше горизонтальных, или оттого, что хотели хоть как-нибудь скрасить безрадостное градостроительство, – жильцы дома, похожего на гигантскую картотеку, на спичечный коробок и на все соседние дома, могли бы служить представительной группой для той обширной категории окраинных жителей, которую, за неимением подходящего термина, приходится называть чужестранным словом «феллахи».

Тут возникают экзотические ассоциации, перед глазами встают пески и верблюды. Феллахи не могли войти в город и расположились лагерем под его стенами. Между шатрами сновали босоногие женщины, де-

ти копошились в грязи. Вдали в тучах пыли шагали все новые караваны, их подгоняли нужда, тоска пустынь, магнетизм города. Приблизительно так можно представить себе мифическую предысторию окраин.

Это было давно: десять или двадцать лет тому назад, срок, превосходящий историческую память феллахов. И они уже не помнили, откуда они вышли. Они говорили на диалекте, который представлял собой смесь родных наречий с жаргоном города. Они покорили город и пали жертвой его коварства. Их наивность обогатилась новыми свойствами: хитростью, жадностью, подозрительностью. От того, что они не были больше номадами, они не стали оседлыми жителями, ибо оседлость предполагает желание и необходимость благоустроить мир вокруг себя. Феллахи жили в своих квартирах, как в палатках. Мир, окружавший их, был таким, словно они собирались завтра его покинуть. Они взбирались к себе по грязным лестницам, ехали в шатких, гремучих коробках лифта; хмурые и нелюдимые, они выходили по утрам на свет Божий из разрушенных, пахнущих мочой подъездов. Нужда и беспамятство не оставили их и в новых, похожих на соты обиталищах.

Оттого что жилье этих жителей, собственно говоря, заканчивалось за порогом квартиры, никто, за исключением очень старых людей, не знал и не хотел ничего знать о соседях. Но старых людей было мало, потому что феллахи редко доживали до преклонных лет. Их враги, когда-то зримые и достигаемые, растворились в неразличимом космосе большого города; вот почему им не оставалось ничего другого, как подозревать друг друга. Можно было годами встречаться с соседом на лестнице и никогда с ним не здороваться. Ничто происходящее в доме никого из жильцов не интересовало. Никто не обратил внимания на служебный автомобиль, стоявший невдалеке от подъезда.

Выйдя гурьбой из лифта на последнем этаже, прибывшие увидели сложенную вдвое записку подруги, торчавшую между дверью и косяком. Значит, никого дома нет и не было. Участковый милиционер взломал дверь, как положено, в присутствии управдома, работника уголовного розыска и двух понятых. Квартира состояла из тесной прихожей, кухни, совмещенного санузла и жилой комнаты. Прозрачная штора колыхалась перед открытой дверью на балкон. После чего управдом, исполнив свой долг, удалился, а понятые уселись на диван-кровать, чтобы более не подниматься в продолжение всей операции.

Опытный глаз уловил следы бегства. В кухне на столе среди крошек хлеба стояла открытая банка с сельдью в винном соусе, очевидно, селедку брали пальцами прямо из банки. Посреди жилой комнаты на полу – пустой раскрытый чемодан. Всеобщий интерес возбудили вещи в шкафу. Находившаяся тут же подруга (вместе работали в терапевтиче-

ском отделении Краснопролетарской больницы) заявила, что хотя Невзорова всегда следила за собой, но таких платьев, переливающихся блестками кофточек, модных штанишек, сногшибательных итальянских туфель на шпильках у нее никогда не могло быть, не говоря уже об украшениях. По словам подруги, на одно такое кольцо не хватит никакой зарплаты. Есть ли у Невзоровой какой-нибудь муж, ухажер? Есть, вернее, был. Кто такой? Подруга махнула рукой: пьяница, куда-то сгинул. Насчет поклонников подруга высказалась в том смысле, что где уж там ожидать от теперешних мужчин, чтобы они дарили такие сокровища, сами норовят сесть на шею. Отвечая на вопросы, подруга поглядывала в трюмо и видела там себя, раздетую, как Шуручка, в пух и прах. Подруга подчеркнула, что она не подруга, а всего лишь знакомая. Она повторила, что Невзорова пропустила подряд три дежурства, на звонки не отвечала, почему и пришлось идти к ней домой и оставлять записку.

Прервав этот предварительный допрос, следователь позвонил начальству, через четверть часа явился майор, увидел шкаф, увидел заграничные тряпки и ювелирные изделия и позвонил в особую инстанцию. Явились двое в штатском, отличавшиеся друг от друга только ростом. В воздухе почувствовалось что-то напоминающее близость высоковольтных проводов. Молча, отодвинув в сторону следователя и оробевшую подругу, приступили к поискам. Спустя полтора часа все, что можно было перерыть, оторвать, развинтить было разворочено и развинчено. Были найдены дешевый картонный образок Тихвинской богородицы с неразборчивой надписью на обороте, два письма от мужчины без обратного адреса, со штампом города Тулы, школьный альбом со стихами неизвестных поэтов и растрепанная записная книжка с адресами и телефонами. Были найдены две фотографии молодой женщины во весь рост, на одной Шуручка была представлена совершенно голой, как бы застигнутая врасплох, с блестящим испуганным взглядом темных татарских глаз. И были найдены два чека на приобретение товаров за сертификаты.

Читатели криминальных романов знают, что ничтожная мелочь, окурок или пометка на газетном листе есть на самом деле ниточка, помогающая распутать клубок, и крючок, на который можно насадить, как большую рыбу на губу, все дело. Перелистывая записную книжку, представитель особого учреждения наткнулся на имя, которое он уже слышал. Знакомая исчезнувшей Невзоровой заявила, что она видела этого человека, он приходил в отделение.

Так история, казавшаяся не столь значительной, на глазах у присутствующих приняла таинственный, зловещий и знаменательный оборот. Тут же у подруги и ничего не понимающих понятых была взята подписка

о неразглашении. Все документы и бумажки, включая нарезанную квадратиками бумагу в кармашке сортира, были собраны и уложены в портфель. Старый детский велосипед, стоявший на балконе и тоже по каким-то причинам привлечший внимание, был замотан в тряпье, перевязан и опечатан мастичной печатью. Драгоценности, а также кружевное белье, туфли и прочее упрятаны в черный мешок. Добычу с помощью понятых вынесли и сложили в автомобиль, квартиру на двенадцатом этаже опечатали.

В тот же день, чтобы не дать опомниться заговорщикам, с приготовленным ордером на арест, с соблюдением всех мер предосторожности, с противогАЗами и наручниками нанесен был визит пространщику Аркадию Лыкову. Вооруженный отряд высадился в Капустном переулке возле Преображенской площади. Но тут прибывших постигла неудача. Управдома на месте не оказалось. Ни номера дома, ни списка квартир; сунулись в подъезд, оказалось не то; наугад вошли в подворотню, какая-то старушонка ползла по двору. «А здесь такие не проживают!» Как это не проживают? Всезнающее ведомство в лице приехавших было откровенно посрамлено. Хуже всего было то, что дома такого, как выяснилось, не существует. Преступник все предусмотрел! Поиски затянулись, и к тому времени, когда было установлено подлинное местожительство Лыкова, он успел скрыться.

Дальнейшая судьба Лыкова неизвестна. Удалось ли ему и на этот раз уйти с концами? Говорили, что он вернулся, успев куда-то съездить, с кем-то повидаться. И даже не просто вернулся, а, по некоторым сведениям, явился добровольно несколько недель спустя, обеспокоенный судьбой девочки. Быть может, он даже не предпринимал особых мер к тому, чтобы уйти под воду, зная по опыту, что разыскивают лишь того, кто прячется. Прятался же другой, умерший и похороненный.

Он мог уехать куда-нибудь далеко. Необъятность страны, представляя особые преимущества в смысле того, что самое печальное положение дел можно было скрыть и как бы сделать несуществующим, имела свои выгоды и для подданных – владея известным опытом, в этой стране всегда можно было спрятаться. Тем не менее по другой, еще менее правдоподобной версии, Аркадий Лукич не скрывался и не являлся, но, если можно так выразиться, довольствовался сознанием, что он может обвести вокруг пальца любую псарню. Все в конце концов может надоесть, все покажется суетой и призраком; как сказал один философ, для тех, кто сумел погасить в себе волю, весь наш мир со всеми его солнцами и млечными путями – ничто. Лыков пробыл недолгое время в деревне, вероятно, той самой, которая ему однажды приснилась. Ночевал в заколоченном, полусгнившем родительском доме, потом гостил в Рязани у первой жены.

Сидел и ждал, когда за ним явятся. Необъяснимая апатия сковала волю, точно он в самом деле умер при жизни. Так бывает.

Между тем, как уже было сказано, следствию удалось напасть на след, и отряд в том же составе взшел по лестнице хоть и старого, и невзрачного, но по крайней мере существующего дома. Звонили, стучали, приготовились вскрыть квартиру, наконец, услышали шаги.

Отворил облезлый человек в сатиновых штанах на резинке, не то пижамных, не то спортивных: сосед, жилец, никогда не бывающий дома. Коридор загроможден рухлядью. Молча показали ордер и бросились вперед, задев за коробки, сверху с грохотом что-то свалилось, санки или что там еще. Из-под двери бил дневной свет. Среди жуткого разора, в испарениях пота, на высокой кровати сидела рыхлая тетка, свесив ноги и прижимая съехавшее одеяло к груди, побелев от ужаса. Сосед лепетал что-то вроде того, что он здесь по большей части не проживает, нервно подтягивал штаны. Документы. Это кто? В гости приехала... родственница. Ньюша, где твой паспорт? Ньюша молчит, словно проглотила язык. Курская область, деревня Барсуки, тэк-с. Как же это так, здесь не живете, а гостей принимаете? Кто еще есть в квартире? Сосед оживился: сюда, пожалуйста. Давно говорил, надо их выселить.

На короточках сосед изучает замочную скважину, после чего откуда-то добывается ключ. Вваливаются: она сидит за столом, обняв деревянную куклу.

С этой куклой, которая на самом деле не кукла, а бог, и он все слышит и запоминает, и умеет насыпать порчу, и бережет от злых людей, ступа и беременности, – с куклой в руках девочка выходит на лестницу, облезлый сосед в штанах и майке, в тапочках на босу ногу, стоя в дверях, провожает их взглядом. Менее чем через полчаса машина, проделав сложный и вместе с тем на удивление короткий путь, подъезжает к подъезду, который никто никогда не видел, о котором можно спорить, существует ли он; и сейчас невозможно сказать, в каком именно здании, в главном ли доме, овеянном легендами, в его продолжении, уходящем в глубь клинообразного квартала, в старинном красивом особняке на западной стороне клина или еще где-нибудь, происходил допрос глухонемой сообщницы.

Дом этот, если вам угодно будет взглянуть на старую карту, помещался там, где сходились две радиальных улицы, но до сих пор в литературе и в памяти очевидцев присутствуют разные представления о его размерах. Подобно тому, как Эверест долгое время принимали за две разных вершины, так как видели его с разных сторон, сооружение, о котором идет речь, можно было принять за совершенно разные дома, разной вы-

соты, архитектуры и даже разного назначения, между тем как в действительности это был один и тот же дом.

Приходилось слышать такие объяснения: вот это «тот самый» дом, а вот это – министерство такой-то промышленности, а вот там – общество международной дружбы, клуб ветеранов, секретный научно-исследовательский институт или вообще хрен знает что. Между тем как это «хрен знает что» был все тот же дом.

Совершенно так же, как не было и нет единого мнения относительно географии этого здания, соединившего стили и жанры различных эпох – тут тебе и барокко, тут и модерн, и конструктивизм, и зрелый почерк империи, ее могучая неподвижная поступь, – и дворец, и крепость, и коралловый остров, – точно так же расходились и сведения о его третьем измерении: вопрос, сколько в нем было этажей, остается по сей день открытым. Отчасти это связано с тем, что самый термин «этаж» не вполне отвечал конструктивному принципу этого дома; принцип, говоря обобщенно, состоял в том, что там все было так и не так, казалось одно, на самом деле было другое, а задумано было и вовсе что-то третье. Этажи состояли из полуэтажей, полуэтажи переходили в этажи, лестницы вели наверх, но также и вглубь, отчего дом напоминал свое отражение, только отражался он не в воде, а в земле, так что самые далекие подвалы и переходы уже соседствовали с теллурическими залежами, с кладбищами богатырей, с археологией исчезнувших городищ, с ракушечником древних морей. Что касается крыши, то она была тоже своего рода этажом, но открытым сверху, с вышками, скрытыми за стеной, и прогулочными дворами для узников. Не в этих ли дворах, в бесконечном кружении парами, руки назад, в четырехугольнике стен, вызрела, так сказать, поэтическая концепция дома, возник совокупный образ, не доступный ничьей посторонней фантазии? Дом был, говоря языком специалистов, полифункциональным. Дом представлял собой гигантскую контору, тюрьму, лабораторию розыска, мозговой центр, делопроизводственный комбинат, там было все: камеры, карцеры, помещения для научной и творческой деятельности, места работы и отдыха, рестораны, бары, быть может, даже танцевальные залы, быть может, комнаты для утех, а также палаты начальств, кабинеты для развлечений, кабинеты для совещаний, залы для митингов и собраний; дом, короче говоря, представлял собой город внутри города, а вернее сказать, государство в сердце государства; дом был не что иное, как гранитный и глиняный миф, но мифом из подсобных материалов оказалась, не правда ли, и сама действительность.

«Следствию известно, – сказал следователь, глядя в протокол: метод его состоял в том, что сначала он записывал, а затем зачитывал свой вопрос, – что вы хранили у себя на квартире бриллиантовое кольцо стоимо-

стью ориентировочно в пять тысяч рублей, ювелирные изделия согласно приложенного списка, а также чеки на приобретение товаров за сертификаты на сумму восемьсот шестнадцать рублей сорок копеек... Подтверждаете ли вы факт хранения у себя вышеуказанных ценностей?»

«Как стало известно следствию...» – читал он.

Диктатура языка нигде не проявляет себя столь наглядно, как в диалоге допрашивающего и допрашиваемого, и не так просто решить, кто больше поработан языком: тот, кто обороняется, отступает, уходит от открытого боя, но в конце концов чувствует себя сломленным, понимает, что он все равно виноват, в любом случае виноват, независимо от того, будет ли доказана его вина, виноват уже тем, что находится под следствием, виноват, потому что его сделал виновным всевластный язык, – или тот, кого язык, так сказать, облакает в доспехи, чтобы сделать его крестником истины. Язык, непререкаемость его формул, злобная двусмысленность словосочетаний правила действующими лицами совершенно так же, как драматург и режиссер правят актерами, будь ты герой или злодей. Спустя две или три недели после происшествия в Сандунах Александра Невзорова предстала перед следователем предварительно в качестве свидетельницы, или, если воспользоваться научной формулировкой, свидетельницы, подозреваемой в том, что она была свидетельницей, а отсюда, как известно, недалеко и от подозрения в соучастии.

Беседа происходила в помещении районного отделения, куда Шура была доставлена нарядом милиции, в кабинете, убогое убранство которого: зарешеченное окно, портрет над плечью следователя, – как бы должны были подготовить попавшегося к его участи. Не подлежит сомнению, что с точки зрения методологии, как и со всяких других точек зрения, выковыривание истины из подследственного требует соответствующей обстановки. В детективных романах и фильмах комиссар задает подозреваемому коронный вопрос: «Где вы были в пятницу с десяти до двенадцати?» – остановив его на улице, прогуливаясь с преступником перед теннисным кортом или сидя вдвоем за столиком кафе; позволим себе усомниться в правдоподобии таких сцен.

«Согласно полученных данных...» – прочел сотрудник милиции, который никаким сотрудником милиции не был, точнее, был просто «сотрудником», ибо принадлежал к более обширному и многоэтажному учреждению. Он снова употребил родительный падеж вместо дательного, что сообщало его стилю особую суггестивность. *Ego sum Imperator Romanus et supra grammaticam*, – заметил некогда один властитель, – я римский император и стою выше грамматики. То же самое могли бы сказать о себе чины этого учреждения.

«Кстати, – спросил он, несколько отвлекаясь от вопроса, – где вы были?»

«В Туле у матери».

«Да, подтверждаю», – записал следователь в графе «Ответ». После этого он составил и прочел вслух второй вопрос:

«Следствию стало известно, что сразу вслед за посещением бань вы покинули город и скрывались у родственников, проживающих в Туле, подтверждаете ли вы это?»

«Я не скрывалась».

«Это не имеет значения, – мягко возразил следователь, – важен факт, что следственные органы не были поставлены в известность о вашем местонахождении. Вы укрывались от дознания».

«Как же я укрывалась, когда...»

«Не будем спорить».

Он записал: «Подтверждаю. Следствием установлено, – читал он, – что такого-то числа сего года, от 17 до 20 часов вы находились в семейных номерах государственных, орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Сандуновских бань совместно с гражданином...» Тут он остановился, так как не знал, следовало ли ему называть председателя Верховного Совета его полным титулом или как-нибудь иначе и вообще стоило ли его называть. «С гражданином...» – повторил он и, собравшись с силами, произнес длинное красивое имя председателя.

«Подтверждаю», – начертало его перо.

«Подтверждаете ли вы, что, вступив в преступный сговор с Лыковым Аркадием Лукичом, он же Передреев Матвей Михайлович, он же Куянов, разыскиваемый по всесоюзному розыску по подозрению как находящийся в бегах...»

Он остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели эти страшные слова.

«Вступив в преступный сговор, вы совершили совместно с вышеупомянутым Лыковым...»

«Да я его знать не знаю», – сказала Шурочка.

«Как же так: не знаете, а вместе выпивали...»

«Видела его, а знать не знаю. И как звать его, не знала».

«В том, что вступив...» – терпеливо сказал следователь.

«Не вступала».

«...в преступный сговор, совершили убийство находившегося совместно с вами...»

«Да что вы такое говорите! – воскликнула Шурочка в сильном волнении. – Никого я не убивала! Да и никто его не убивал, он сам...»

«Ну, хорошо, – сказал следователь миролюбиво, – напишем, что вы вступили в сговор с целью совершить убийство».

«Да говорю вам, никто его не убивал!»

«Заявляю, – написал сотрудник, – что, вступив в преступный сговор с целью убийства и ограбления...»

Он постучал папиросой о крышку портсигара, вдумчиво поглядел на сидящую перед ним женщину, перевел взгляд в окно, снова покосился на Шурочку.

«Курите? – спросил он, протягивая через стол портсигар. – Ну, хорошо, – проговорил он, – это все формалистика. Как говорится, бумага все терпит... Сегодня написали, завтра выкинули... Можешь подписывать, можешь не подписывать, твое дело. Я знаю, что никого ты не убивала, – сказал следователь, перейдя на ты». – Хотя, сама понимаешь, дело есть дело. Можно повернуть и так и сяк... Все, как говорится, зависит! Давай поговорим без протокола».

Он отодвинул в сторону папку с бумагами, вышел из-за стола, накиннул на плечи шинель, висевшую на вешалке, подошел к окну. Лил дождь.

«Ты мне вот что скажи... Ты с Рубиным давно знакома?»

Первая мысль Шуры была, действительно, уехать к матери, но, когда она вышла с толпой из московского поезда – люди, навьюченные продуктовыми сумками, с кошелками в обеих руках, поспешно вылезали из вагонов, люди, занимавшиеся тем, что из года в год производили все необходимое для столицы и везли оттуда к себе домой все необходимое, запрудили перрон и подземный переход, – когда она вышла из поезда, она присела на скамейку в зале ожидания и просидела в углу в сомнениях целый час. Наконец, по-видимому, – мы говорим: по-видимому, потому что она делала одно, а думала другое, – наконец, она решила, что разумней будет вернуться. Она изучала расписание поездов, посматривала на часы, прошло еще сколько-то времени, передумала. Начинало темнеть, когда она вылезла из трамвая на конечной остановке, в новом районе, где тот, кому она решила нанести визит, получил недавно квартиру. Дом был пятиэтажный, блочный, с узкими короткими лестницами, ей открыл усатый подросток лет пятнадцати, из кухни вышла жена преподавателя. Играло радио, пахло едой. Шура извинилась. Ее усадили в комнатке, где стоял письменный стол и еще что-то и висели полки с беспорядочно напиханными книжками. Преподаватель фельдшерско-акушерского училища был на работе.

Он отворил дверь, на лице его были ужас и растерянность. Шурочка что-то пролепетала. Жена позвала к столу. Шура отказывалась, ссылаясь на то, что она уже обедала. «Но вы же с дороги, – говорила жена преподавателя, – ну хотя бы ложку супа скушайте. Так вы, значит, ученица Михаила Ильича? Миша теперь замдиректора по учебной части. Работы все

прибавляется. Света белого не видит... Теперь еще это новое постановление – Вы, наверное, слышали?»

«Какое постановление?» – спросила Шура. Жена преподавателя что-то говорила, ее слова доносились до Шурочки, как сквозь вату.

«А это наш младший... Ну, как там у вас в Москве?»

«Куда же вы, рабочий день уже кончился», – сказала жена. Шура требовалась какая-то справка. Шура сказала, что ей нужно сегодня же возвращаться в Москву. Преподаватель бормотал: секретарша... подпишу сам... может, еще успеем. Наконец, вышли из дома. Шура озиралась. Ей казалось, что она находится в чужом, незнакомом городе. Он спросил: «Что случилось? Шура, что-нибудь случилось?» «Да, – сказала она, – случилось». «Что? Что?» «Случилось, – повторила она тупо. – А куда мы едем?»

Приехали в училище. Она увидела знакомый фасад, вывеску, плелась по знакомому коридору, мимо досок с расписанием занятий, мимо канцелярии и деканата, навстречу им шла, переваливаясь, как утка, пожилая уборщица с ведром и шваброй, почтительно поздоровалась с Михаилом Ильичом. Когда они дошли до конца коридора, Шурочка обернулась, уборщица стояла с толстой сторожихой, обе смотрели на них.

В кабинете замдиректора по учебной части она все рассказала, то есть, разумеется, не все.

«Какой Юсуф?» – спросил он.

Она попыталась объяснить.

«Да, но ты-то тут при чем?»

«Это все произошло при мне».

«Где произошло?»

«В бане...»

«В какой бане? Ты была в бане, с ними вместе?»

Она пожала плечами.

«Я ничего не понимаю, – волнуясь, сказал Михаил Ильич, он ходил по тесному кабинету, а Шура сидела, съежившись, перед столом, как провинившаяся студентка. – Какая баня, какой Юсуф?.. Кто он тебе? Объясни по-человечески».

«Долго объяснять, – сказала Шура. – Надо что-то делать, а что, сама не знаю».

«Тебя разыскивают?»

«Откуда я знаю?»

«Так... Если я правильно понял, ты с ним... – Он вдруг раскашлялся. Стоял у окна и кашлял. Ты с ним, – прохрипел он, – была в близких отношениях?»

Шура снова пожала плечами.

«Так. То есть, собственно, что тут такого...»

«Он очень важная шишка, – сказала Шура. – В общем, долго объяснять...»

Михаил Ильич сидел за столом, давясь от кашля, что-то искал в ящике, вынул металлическую коробочку с пастилками.

«Я думаю, что тебе не надо прятаться, – сказал он, все еще тяжело дыша. – Ты же не виновата».

«Не виновата...»

«Так что...»

«Так что надо ехать!»

«Ехать? – спросил он. – Куда?»

«Домой, куда же».

«А, ну да. Конечно».

«Есть поезд двадцать два ноль пять».

«Верно, – сказал Михаил Ильич, – есть такой поезд. Конечно, тебе надо ехать!»

«А что же еще остается».

«Правильно... Что же еще остается? Я тебя провожу. Послушай, Шура, а что ты скажешь, если я...»

«У тебя снова астма?»

«Погода такая... Послушай. – Он все еще тяжело дышал, глаза блестели. – Что ты скажешь, если?.. Короче говоря...»

Преподаватель взглянул на Шуру и сказал быстро:

«Давай на все плюнем».

«На что?»

«На все... Вот так: возьмем и плюнем на все».

«Да? – сказала она иронически. – И что же дальше?»

«Дальше? Дальше вот что!»

Михаил Ильич вытащил портмоне, перебрал содержимое, сунул портмоне в карман, встал, остановился перед Шурой.

«А ты совсем не изменилась».

«Нет, милый, изменилась...»

«Это верно, – бормотал он, – поезд такой есть... Только, кажется, не двадцать два ноль пять, а двадцать два ровно... Ровно в десять... А сколько у нас сейчас? Угу... Время еще есть. Послушай, Шура... Мы сейчас с тобой срочно едем на вокзал, там сберкасса работает до одиннадцати. Возьмем деньги. И покатим».

«Куда?»

«Куда-нибудь, не важно. Там решим... Послушай. Я сейчас кое-что понял, ты послушай... Я спокоен, Шура, я совершенно спокоен. Ты тоже спокойно меня выслушай. Ты меня не любишь, я знаю... Но преданней человека, это я тебе точно могу сказать, ты никогда не найдешь. Я...

я ничего не требую. Не захочешь со мной жить, не надо... Я на все согласен... Я о тебе часто думал, Шура... Поедем. Поедем, Шура! – сказал он, как в бреду. – Ведь это счастье, Шура, это бывает один раз в жизни. Одним ударом: раз, и все. И никто нас никогда не найдет. Хоть к черту на рога, хоть... Главное – принять решение».

Он что-то искал, вытягивал ящики стола, вынимал бумаги, схватил со стола статуэтку, сунул в портфель.

Он бормотал:

«Сейчас поедем. Я позвоню с дороги... а может, и не будут звонить. Ничего никому не скажем... Плюнем на всю эту проклятую жизнь... Ты едешь со мной, Шура, да? Ты едешь?»

Она сидела и думала: опять то же самое. И он о том же.

Следователь выразил недоумение, увидев в руках у вошедшей посторонний предмет. «Не дает», – объяснила сопровождающая баба-сержант. «Как это не дает?» «Не дает, хоть руки отрубай».

Старший лейтенант пожал плечами.

«Паспорт есть? Сколько ей лет?»

Баба-сержант покачала головой и пожала плечами.

«Где протокол обыска?»

Следователь сделал несколько добросовестных попыток завязать разговор, встал, прошелся по кабинету. Это была уже не та облезлая комната в тухлом милицейском отделении. Следователь подошел к сидящей, поднял пальцем за подбородок ее лицо и поглядел в моргающие, острые мышинные глаза. Вслед за тем надолго воцарились тишина и молчание. Слышался скрип пера.

«Как стало известно следствию... – писал старший лейтенант. – Подтверждаете ли вы...»

«Да, – начертала его рука, – подтверждаю».

Маленькая женщина, в целях предосторожности помещенная в противоположном углу кабинета, тупо смотрела в пространство, стрелка электрических часов на стене не спеша перепрыгивала с одного деления на другое, кто-то гремел сапогами в коридоре, следственный сотрудник скрипел пером. Так скрипят колеса, тащится телега, мотаясь в глубоких колеях, работает лоснящимся от дождя крупом усталая лошадь. Серый день лил за окном, за узорной решеткой, сыпал снегом, кто-то взошел на крыльцо, топтался в сених, со скрипом, с пением отворилась разбухшая дверь, вошел худой и высокий, она услышала: «Есть кто дома?» – голос звучал у нее в мозгу, ибо снаружи она уже ничего не слышала.

«Следствию известно...» – писал старший лейтенант. Рыжая девочка взглянула на него, тихая, как притаившаяся мышь, губы ее шевельнулись,

она медленно покачала головой. Хотела ли она сказать, что ничего неизвестно, или это надо было понимать так, что никакого лейтенанта не существует, и город-монстр, город-морок есть не более чем морок и наваждение, и за окном с чугунной решеткой нет ни домов, ни улиц, ни памятника посреди площади? Вместо города – ели, снега, сумрачно-белесое небо, угластые избы. Человек за столом писал, макал ручку в чернильницу. В этом учреждении пользовались особыми чернилами, никогда не бледнеющими. Стрелка прыгала над дверью. Со стены смотрел портрет. Теперь в окно летели крупные мокрые хлопья. Буран, подумала девочка.

Она не понимала, где она очутилась, зачем ее сюда привезли, и чувствовала, что происходит что-то плохое. Что-то грозившее Лыкову. Она так и не знала, как к нему относиться, как к отцу или к мужу, лучше сказать, он был не тем, не другим, но более значительным, таинственным и всемогущим. Сейчас положение изменилось, страх, в котором она жила, прошел, за себя она не боялась, чувствуя себя неуязвимой за глухой стеной своего слабоумия. Ведь это только казалось, что она сидит здесь в углу, в комнате с решетчатым окном.

Это сознание, погруженное в тишину, обладало способностью расширять пространство и суверенно распоряжаться временем; и покуда следователь ерзал на стуле и ничего не видел и ничего не знал, кроме своих бумаг, которые он медленно и с великим старанием исписывал скрипучим пером, девочка знала кое-что другое; она догадалась, что от нее хотели узнать, куда делся Лыков, и догадалась, куда он исчез. Он был там, под снежным одеялом, под шерстью лесов, миновал черные огни смерти, он был дома, вошел в избу, высокий, верный, немногословный, наклонив голову, переступил порог, и мать ворочала ухватом в черной, как пещера, печи, и бабка кашляла на лежанке. Она не понимала, что они тут затевают, кто это такие, ясно было, что они что-то затевают.

Как миллионы других и чуть ли не с молоком матери она впитала некое важное знание. Это было знание о том, где прячется враг, где скрывается опасность. Это было писание бумаг, особый злокачественный процесс, который состоял в том, что человек в мундире молча, сосредоточенно выводил закорючки, плел чернильные кружева, строчку за строчкой, перелистывал и снова – строчку за строчкой, и, казалось, ничего больше не делал, а только макал перо и царапал им по бумаге, но это маkanie и царапание приводило к порче и гибели. Тот, кто писал, был страшнее разбойника на большой дороге, от разбойника можно было уйти или откупиться. Человек в мундире писал, а там где-то рушилась чья-нибудь жизнь, и огонь плясал в окнах, и занималась крыша, он писал, и у бегущего отнимались ноги, и его рвали собаки. Руки девочки баюкали куклу, губы шевелились, сама того не замечая, она раскачивалась, словно кормящая мать, маленькая таежная богородица, и время от времени броса-

ла острый взгляд на лысого, испитого следователя в болотном мундире, низко склонившегося над папкой с делом... Бог с головой куклы напрягал свой деревянный слух, стараясь понять, чего она хочет.

Так прошло некоторое время, рука пишущего двигалась все медленней. Вздохнув, он снял трубку и велел принести себе чаю. Вошел человек, на лице у него было все то же выражение скуки и утомления. Старший лейтенант помешивал ложечкой в стакане, тусклым взором поглядывал в протокол, в окошко; на ту, что сидела в углу, он больше не смотрел, что возьмешь с полоумной? Вот только оформить бы протокол. Не помог и чай. Снег валил хлопьями за окном. Надо бы зажечь свет. Девочка укачивала свою куклу, грубого деревянного идола с раскрашенным лицом, и старшему лейтенанту казалось, что он сейчас уронит голову на стол и уснет вместе с куклой. «Следствию, – в мозгу у него ворочалась одна и та же фраза, – стало известно...» Он широко, сладко зевнул. Что стало известно? Снег стекал по стеклам, превратился в дождь. Надо бы, думал он, увести ее, жуткая какая-то погода...

Вступление в ночную квартиру происходит, как известно, по раз и навсегда установленным правилам, напоминающим шахматный дебют. Черные начинают и выигрывают. Первый ход: «Проверка паспортов». Второй ход: «Сдать оружие».

Если первое требование представляет собой ложный пароль, то второе имеет психологическое значение: разумеется, вошедшие не рассчитывают всерьез на вооруженный отпор; зато владелец несуществующего оружия догадывается, что в нем видят опасного врага. Следовательно, они что-то знают. Следовательно, он виновен, потому что зря они не приходят.

И все же оружие существовало – наган образца 1896/30 года – и даже существует по сей день. Наган с кобурой находился в письменном столе, в левом нижнем ящике, о чем Илья Рубин, конечно, не помнил, как не помнил и ночного визита; все, что он знал, было почерпнуто из рассказов матери, но рассказывалось все это неохотно и сбивчиво, рассказывалось через много лет, когда кое-что успело выветриться. Когда она получила, наконец, внятный ответ, что отца нет, и окончательно убедила себя, что он жив. Почему при аресте не нашли револьвер? На это Берта Владимировна не могла толком ответить. Очевидно, отец ждал, что за ним придут. Но не воспользовался. Многие ждали, и мало кто воспользовался. Эти времена превратились в какой-то обрывочный черный эпос. Квартиру перевернули вверх дном, распорол матрас, но не нашли. Она обнаружила его в таком месте, которое даже тайником не назовешь, но они его не заметили; так никогда не бывает, или, вернее, так бывает. Почему она его не выкинула, не отвезла куда-нибудь за город, не закопала в лесу, не утопила в колодце?

Потому что судьба вещей, подобно человеческой судьбе, темна и неисповедима, и «мало ли что»; потому что «вдруг пригодится» и потому что вещи мстят, вещи ждут своего часа, и вот он сидит в тесной комнатке, на дальней окраине, одной из тех окраин, которые, как опухоль, окружили умирающую сердцевину города. Из окна видны квадратные окна, балконы, веревки с бельем, другой такой же дом.

Илья Рубин выбирается из наследственного кресла, подходит к разверстой пасти рояля и стучит пальцем по клавишам. Без женщин жить нельзя на све-е-те, нет. Союз нерушимый республик свободных!.. Вещи обладают колоссальным терпением, и упомянутый предмет лежит как ни в чем не бывало на черной полированной крышке.

Он подталкивает пальцем вороненый ствол. Пистолет вертится, как волчок, на гладком рояле.

Илья Рубин принимает решение навести, наконец, хоть раз в жизни порядок в своей берлоге. Сгребает остатки еды и выкидывает в окно. Вздохнув, собирает ноты – старинные фолианты в тисненых твердых переплетах, напоминающих надгробья, все, что осталось от матери. Его собственные школьные тетрадки. Удостоверения, фотографии. Он поднимает крышку роскошного старого «Бехштейна» и складывает все в его чрево. И туда же, на молоточки и струны рояля, летят «материалы». Плоды беззаветных трудов, пресловутый Журнал: вороха папиросной бумаги, магнитофонные кассеты, стихи, романы, трактаты. Он листает странную рукопись, толстую линованную тетрадь, где нотные знаки перемешаны с никому не известными закорючками, пушечные аккорды, чудовищный бред композитора, который собирался переплюнуть Малера: музыка гнусной эпохи. Туда же!

Крышка не закрывается, но в этом и нет нужды: Без женщин жить нельзя на све-е-те, нет! В них солнце мая, в них весны расцвет. Та-рара-рара-ра. Он обозревает свое жилье. Под гробницей рояля, на полу, помещается техника, говорящий аппарат; хорошо бы и его за окошко.

Илья Рубин полулежит в кресле, все собрано, или, если угодно, приведено в порядок; по его лицу видно, что он взвешивает разные возможности; он все еще здесь, все еще герой нашего повествования. Палец накручивает диск.

«Привет», – говорит Илья Рубин.

О, ничто не доставляло такого наслаждения гражданам того времени, ничему не предавались они с таким упоением, как беседам по телефону.

«Привет...»

«Ну, как ты?»

«Да ничего. Ты откуда звонишь?»

«Из дому. Слушай, – сказал Рубин, – хотел с тобой попрощаться. Я уезжаю».

«Куда?» – спросил переводчик.

«Ну, куда люди уезжают. Далеко».

«А, ну да. То есть?»

«Именно».

«Понятно... Когда?»

«Да вот сейчас. Уже барахло собрал».

«Ты что, разрешение получил?»

«А я без разрешения», – сказал Рубин.

«Ну, я так и знал».

«А ты поверил?»

«Нет, конечно. Что там делать?»

«А что здесь делать?»

«Здесь наша родина», – сказал переводчик, уверенный, что разговор подслушивают.

Илья сказал:

«Поехали вместе. Бери жену и любовницу».

Переводчик национальных литератур помолчал и ответил:

«Им там тоже нечего делать. Алё?»

Короткие гудки.

Среди стука, звона, кукования и тиканья задрезжал звонок; часовых дел мастер прошлепал из лаборатории на кухню, приложил трубку к волосяному уху. «Как же, как же, – сказал он, – сколько зим».

«Августин Иванович, у вас мало времени», – сказала трубка.

«У всех у нас мало времени, уважаемый... Чем могу служить?»

«Я подумал, э... Собственно, надо бы поговорить, но, к сожалению...»

«Детка моя, ближе к делу».

«Я затрудняюсь точно сформулировать свою мысль, надеюсь, вы поймете: у меня как раз имеется свободное время, – сказал Рубин, – То есть не в таком смысле, а в смысле жизни. В общем... у меня есть еще, наверное, лет двадцать».

«Я слушаю», – насторожился часовщик.

«Так вот, я и подумал... Не хотите ли воспользоваться?»

«То есть как? А вы?»

«А мне больше не нужно».

«Позвольте: вы хотите...»

«Ну да. На хера мне. С меня достаточно».

«Вы уверены? Хм. Те-те-те, постоит-ка, постоит-ка... Очень интересно! Оч-чень даже инте-ре-сно. Полодотворная мысль! Как это вы додумались!»

«Вот так. Решил вам позвонить».

«Дорогой мой, только не спешите. Мы должны это обсудить. Приезжайте».

«К сожалению, невозможно, Августин Иванович, дело в том, что...»

«Никаких возражений, приезжайте немедленно! Алё?»

«Да», – сказал Рубин.

«Практически это будет довольно сложно... мне надо сообразить... да. Можно, конечно, подключить аккумулятор непосредственно к биологическому депо времени, у каждого из нас есть такое депо, так сказать, кладовая будущего. Но это, знаете... Для этого, я думаю, придется лечь в клинику. А вы же знаете, как ко мне все относятся... Одним словом, надо обмозговать. Но послушайте, как вы додумались?»

«Августин Иванович... может быть, заочно?»

«Что значит заочно, алё! Что вы хотите этим сказать?»

«Я говорю: может быть, это можно сделать без меня. Я вам оставлю доверенность, напишем, что я оставляю эти двадцать лет в пользу государства».

«Не понял».

«Чего ж тут не понимать: вы же сами говорили, что хотите продлить ему жизнь. Пусть поживет еще двадцать лет».

«Вы что, смеетесь? Доверенность. Милый мой, это вам не бюрократия. Это наука! Наука, знаете ли... алё? Алё!»

Покопавшись в карманах, человек в застиранном джинсовом костюме добыл карточку, на которой значились только имя, отчество и фамилия.

Голос из мистических недр отозвался:

«У аппарата».

«Товарищ майор?» – спросил Рубин.

«Кто это? Вам кого надо? А-а! – закричал майор. – Илья Такоевич! Рад вас слышать. Как дела, как жизнь?»

«Дела идут. Вот хотел с вами попрощаться. Пожелать успехов...»

«Позвольте, – сказал майор, – что это значит?»

«То, что слышите».

«Да, но... Вам известно, что вы не имеете права покидать город без разрешения?»

«Я не собираюсь покидать город», – отвечал Илья Рубин.

«Так в чем же дело?»

Рубин молчал, оглядывал свою каморку.

«Алё? – осторожно спросил майор. И вдруг гаркнул: – Не смей! Не смей ничего делать! Ничего не предпринимать! Ждать моего прибытия! Выезжаю немедленно! Ты меня понял? – кричал он. – Ты – меня?.. Понял?»

«Так точно, товарищ майор!» – отчеканил Рубин. Насвистывая, он встал, взял с подоконника спичечный коробок и поджег содержимое роя-

ля. Это удалось не сразу, он ворошил листки, раздирал на части нотные книги. Вспыхнула магнитофонная пленка. Столб огня поднялся из рояля. Кашляя от вонючего дыма, Илья Рубин, великий Рубин, легендарный Рубин, сидит, сторбившись, в дедовском кресле, расставив ноги в джинсах, расстегнув куртку, изо всех сил вдавливая холодное дуло между ребрами, над левым соском, и странным образом, нажав на спуск, не ощущает боли, не слышит выстрела.

XX. СООБРАЖЕНИЯ ПО ДЕЛУ (2). ФИЛОСОФИЯ ПРОГУЛОЧНЫХ ДВОРОВ

Шел дождь, и весь огромный город заволокло паутиной, смутно поблескивали крыши, исчезли башни и высотные дома, дождь стучал все настойчивей, тротуары опустели, счастлив, кто успел добежать до подъезда! Дождь лил без разбора, пузырился в потоках воды, и это было хорошо, это было полезно, вода уносила вчерашний день, смывала грязь веков.

Никто так плохо не осведомлен о своем времени, как тот, кто в нем живет. Не скроем – мы бы хотели узнать о нем больше, нам до смерти любопытно узнать, что скажут о всех нас когда-нибудь через сто, двести или триста лет. Скажут ли вообще что-нибудь? Что будет? Что останется на месте нашего государства? Окажись мы там, мы узнали бы многое, о чем теперь даже не подозреваем. Глядя оттуда, мы не узнали бы нашу эпоху...

Это было бы все равно, как если бы протерли мутное стекло, о котором говорит апостол. Это было бы то же самое, как если бы мы сейчас смотрели на происходящее глазами рыбы, а оттуда, из будущего, взглянули человеческим взглядом.

Большая часть того, что мы считали главным и самым важным, провалилась бы в огромный стульчак истории, в воронку веков. Знаменитости исчезли бы в урчании вод. Лица слились бы в одно бесформенное пятно. Как два далеко отстоящих друг от друга предмета на расстоянии кажутся стоящими рядом, так две мировых войны оказались бы одной тридцатилетней войной.

Потомки наши пожмут плечами, узнав о том, что нас так занимало, но, может статься, с уважением отнесутся к тому, что мы презирали, чем пренебрегли, чего попросту не заметили. Ибо никто так мало не знает о своем времени, как тот, кто в нем живет.

Наш город будет называться иначе – мы не сумели бы даже выговорить его название, наш век будет назван эрой Дракона, Скорпиона или, может быть, Нырющей Утки, или Журавлей в небе. Его знаки отыщутся в отдаленных созвездиях, между второстепенными персонажами греческой мифологии. Мало что дает основание рассчитывать на вечную память. Ничто не обещает бессмертия. И все же рискнем предположить, нет,

выскажем уверенность, что хотя бы одна разновидность бессмертия выпадет на нашу долю, одно достижение нашего времени переживет и всех нас, и наше государство. Одно останется, когда ничего не останется, и будет качаться, как плот Медузы, на поверхности вод, когда все уйдет на дно. Наш век будет назван веком Тайной полиции.

Пришлось-таки прогуляться на ее крышах. Могло ли быть иначе? Оказаться в ее объятиях, «в поле зрения», было так же просто, как поскользнуться в грязной каше тающего снега на тротуарах. Так же легко, как встретиться в подворотне с бандитом или заболеть раком. Поистине ни великий Диоклетиан, ни подлейшие из последних властителей Рима не сумели создать столь совершенную систему сыска.

Скажут: да ведь мы это знали! И, значит, постигли все-таки свое время, его тайную сердцевину, его нерв. Знали и не знали. Догадывались и не хотели верить. И если думали, что тайная служба бессмертна, то потому, что считали бессмертной державу, и, согласитесь, не подозревали, что тайная служба переживет все -- и державу, и общество, которое она создала и выпестовала примерно так, как должны были это делать географические условия, климат, производительные силы, борьба классов, религия, мораль и что там еще надлежало считать движущей силой истории. Движущая и созидающая сила -- это была она.

Летопись тайной полиции не написана. И не будет написана, ибо мы не располагаем сверхязыком, который позволил бы нам, находясь внутри полицейской цивилизации, взглянуть на нее извне. Мы все ее воспитанники и говорим ее языком. И все же мы догадались о главном свойстве тайной службы, о том, что она всегда больше самой себя. Пусть она возникает как учреждение с ограниченной компетенцией, как «служба», -- ее натура состоит в том, что она перерастает себя. Тогда она начинает бояться самой себя. Она смотрит на себя снизу вверх, говорит о себе в третьем лице.

Подобно церкви, всегда проводившей границу между своей исторической оболочкой и сакральной сущностью, между слабостями и ошибками иерархов и верховной волей, которая их осеняет, тайная полиция не потерпела ущерба от того, что ее служилый контингент составляли подонки общества. Ее всемогущество не убавилось, когда она стала рекрутироваться из бездарных, невежественных и, как можно догадываться, ни на что другое не годных людей. Напротив, это укрепило ее могущество, ибо отвечало ее миссии. Ведь она должна была стать эталоном для общества, и пересоздать общество по своему образу и подобию. Растворить всех до своего уровня -- вот в чем было ее предназначение. Растворить всех, от младенцев до старцев, упразднить личность как нечто -- кто усомнится в этом? -- архаичное, устарелое, путающееся под сапогами; покончить с достоинством человека, внушить ему презрение к самому себе, довести

до сознания любого и каждого, что он ничего не может, ничего не стоит, что он – мразь, плевок, который будет растерт. Убедить всех и каждого, что зло – это добро, а добро – не что иное, как зло, и что преступником можно сделать любого; стоит только мигнуть – предателем станет каждый.

Низвести всех до своего собственного уровня... В этом состояла сверхзадача, это и значило создать общество будущего и выковать нового человека. И если, как утверждают, отцы-основатели этого не сознавали, то тем хуже для отцов; пущенная однажды в ход машина работала по собственным законам; и если ни одно из «дел» не отвечало действительности, то тем хуже для тех, кто был сварен живьем в котлах этой кухни, тем хуже для «действительности», – да и что в самом деле значило это слово? Ее критерии учредила все та же тайная служба. Институты такого рода эволюционируют подобно живым организмам, и сверхбюрократия сама превращается в колоссальный ублюдочный мозг.

И мы, и мы удостоились быть ее современниками!

Мы сравнили ее с церковью; не правильной ли, однако, будет сказать, что тайная полиция – это и есть церковь? Церковь, которая пасет железным посохом свое стадо, церковь со своим писанием и преданием, со своей мифологией и демонологией, с легендами о святых и мучениках, с рассказами об исчадия ада, оборотнях-диверсантах, вредителях, злодеях-врачах. Церковь со своими таинствами, со своей иерархией, церковь шизофренного божества, отменившая все другие религии, веру в Христа, в Будду, в Бога без образа, вкуса и запаха и бога в облике деревянной куклы.

Тот, кто шагал с напарником по прогулочному двору, на крыше центральной тюрьмы, не видел города, и если бы даже чудесный храм-дворец, затмив Египет и Вавилон, воздвигся на самом деле, а не на фанерном щите, тот, кто шагал по прогулочному двору, не увидел бы и храма: так были устроены эти дворы. Он видел лишь стены и сторожевые вышки внутри стен; и не всегда догадывался о том, что внизу за стенами площадь, памятник, пешеходы, автомобили, все то, что он считал жизнью и что теперь оказалось призраком жизни; он видел над собою небо и нечто подобное темному облаку – приближение истины.

Не зная истины, он уже дышит ею.

Но время идти, как сказал Сократ; вам, чтобы жить, мне, чтобы умирать; избежать смерти нетрудно (продолжал он), а вот что гораздо труднее, так это избежать душевной порчи. Время разбрасывать камни – собирать их будут другие. Шумит дождь над городом, пузырятся ручьи. Вода смывает прошлое, а что будет после нас, о том ведают только боги.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

ИНТЕРВЬЮ АВТОРА САМОМУ СЕБЕ

– *Après nous, le déluge.* Эти слова приписываются маркизе де Помпадур. Почему ты назвал роман «После нас потоп»?

– Потому что «после нас» в самом деле произошло нечто вроде наводнения, история вышла из берегов и затопила прежнюю жизнь, которая сегодня кажется допотопной.

– Что заставило тебя снова ворошить эту древность, что тебя еще мучает в этих ушедших семидесяти годах?

– Я не собирался писать исторический роман, и для меня эти годы совсем не ушли, не говоря уже о том, что в книге немало анахронизмов, допущенных отнюдь не по небрежности. Разумеется, живя вне страны, я не могу писать о том, что происходит сегодня. Но и будь я в Москве, я не смог бы описывать то, что видел бы за окошком. Я не умею и не хочу быть злободневным писателем; к тому же, как мне кажется, быть своевременным в литературе – совсем не то же, что быть современным. Литература всегда опаздывает; она живет памятью, а не увиденным только что. Для актуальных эмоций существует газета.

– Может быть, будет проще, если ты объяснишь в двух словах: о чем эта книга?

– В двух словах невозможно. Когда Гете (отважимся на такое сравнение) спрашивали, что он хотел сказать своим «Фаустом», он пожимал плечами. Я надеюсь, что мое сочинение можно толковать по-разному, потому что роман, смысл которого вполне однозначен, – плохой роман.

– Тем не менее эпиграф – а у тебя их даже два – должен навести читателя на определенную мысль, но так ли? Предложи свое собственное толкование.

– Латинские стихи принадлежат Намациану, христианскому поэту V века, давно уже не читаемому, известному, пожалуй, только специалистам. Свою поэму, от которой целиком сохранилась только первая книга, он написал, уезжая из Рима в Южную Галлию, откуда был родом.

– «Я целую твои ворота, обливаясь слезами...» Возникает подозрение, что автор романа прощается с Россией. Это правда?

– В каком-то смысле да.

– Значит, Рим – это...

– Это не Россия.

– Но ты же явно хочешь внушить читателю мысль о сходстве между далекой Римской империей и Советским Союзом, этой новой империей XX века. Что это: дань моде, желание указать на историческую закономерность развития тиранического государства – или все же причины распада современного третьего Рима были иными?

– Я вне моды. Вдобавок каждый, кто знаком с классической древностью, понимает разницу времени, географии и судьбы. Если, однако, мы договоримся, что будем называть империей обширное территориально-государственное образование, объединившее и подчинившее себе множество народов, культур, религий, громадный массив суши, управляемый из единого центра на военно-дисциплинарных и авторитарных началах, если мы вспомним, что Рим и Византия были государствами (или сверхгосударствами) такого типа, то придется признать, что к этому архаическому типу принадлежала и наша страна, не важно, идет ли речь об императорской России или о Советском Союзе. То, что СССР наследовал в этом смысле старому режиму, то, что большевикам удалось продлить существование обреченной империи еще на семьдесят лет, я полагаю, не может быть оспорено... Возможно, мы не вполне отдаем себе отчет в том, что обвал Российской империи – происшествие такого же масштаба, как и крушение Римской империи в IV – V веках. Но и римляне не осознавали смысл того, что совершалось на их глазах.

– Ты скорее «западный» писатель, а между тем твоя точка зрения на развитие национальных окраин Советского Союза за счет центра, в том числе в вопросах культуры, напоминает рассуждения почвенников и славянофилов. Как объяснить такое совпадение?

– Я могу представить себе, что если бы я жил, к примеру, в одной из бывших азиатских республик, мне было бы неприятно слышать утверждение, что центральная власть принесла с собой не только угнетение, но и железные дороги, университеты и пр., или что одно неотделимо от другого. Но мы говорим о романе, и я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы сказать о моей литературной манере, о том, что ты назвал «точкой зрения». Чья, собственно, точка зрения может быть предметом критики? В этом романе много рассуждений, дело весьма обычное в литературе нашего века. Только в отличие от того, что в России именуется эссеистическим романом (Брох когда-то говорил о «полигисторическом романе»), философствования в моих беллетристических сочинениях принадлежат, собственно, не автору, сидящему за

компьютером, не тому человеку, с которым ты сейчас имеешь удовольствие или неудовольствие беседовать, а некоторому условному повествователю, который встроен в художественную систему романа. Ведь не зря повествователь становится в одном месте (в XI главе) действующим лицом. К его рассуждениям вовсе не обязательно относиться как к авторским декларациям. Напротив, ирония, которая, я надеюсь, в них чувствуется, несмотря на их доктринерский тон, – если угодно, определенная доза идиотизма – релятивирует все заявления и утверждения и дает автору возможность дистанцироваться от них. У автора, если уж на то пошло, вообще нет точки зрения.

– И все-таки: о чем этот роман?

– В книге, как я ее понимаю, есть два сквозных мотива: Окраина и Подполье. На окраинах огромного города живут герои. Окраины растут. Ядро сжимается. Варварские окраины, населенные феллахами, – это будущее города, исторический центр – его усыхающее прошлое. Растут и проникаются сознанием своей самодостаточности окраины гигантской державы. Половецкий хан, прибывающий в Москву, – отнюдь не карикатурный персонаж. Вообще я не собирался создавать сатиру на кого-либо или что-либо. В моей книге много печали.

Что касается подполья, то с ним связан другой клубок тем. Жизнь римлян перед нашествием варваров, жизнь византийцев (тоже называвших себя, как известно, *romaioi*, римлянами) накануне вторжения турок представляется выхолощенной. История – та история, которая, как рок, стоит на пороге, становится врагом, которого не хотят замечать. Его не хотели видеть и в последние времена Советского Союза, когда общество вело фантомное существование, между тем как подлинная жизнь ушла в подполье. В романе это подпольный публичный дом Олега Эрастовича. Но также и подпольный нелегальный журнал.

Наш разговор затянулся, но я хочу добавить, что темой моего романа среди прочих является судьба культуры накануне распада страны. Журнал, который, как можно догадываться, есть обобщенный образ самиздата (я сам в нем участвовал), – в то же время и нечто большее: это символ духовной культуры, которая уходит в катакомбы, чтобы обрести свободу, культуры, которая порывает с prostituiрованной лжекультурой и обособляется от пораженного маразмом общества. Но, замкнувшись сама в себе, она становится вещью в себе. За свою независимость она дорого платит. Больше, чем от преследований, она задыхается от того, что ей не хватает воздуха, и совершает в лице главного героя – самоубийство.

СОДЕРЖАНИЕ

БУКВЫ. Речь при вручении премии «Литература в изгнании» в Гейдельберге	3
ВОЗВРАЩЕНИЕ	7
ТРЕТЬЕ ВРЕМЯ	75
СОНАТА, ОПУС 90	118
ПУСТЬ НОЧЬ ПРИДЁТ	128
ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ	138
ПОБЕГ	141
САД ОТРАЖЕНИЙ	150
СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ПРИЧИНЕ	157
ПОСЛЕ НАС ПОТОП	
I. Птицы, или Предупреждение	180
II. Одиссей отправляется в плавание	185
III. Виконт, или Добродетель	196
IV. Визиты. Что говорит глухая полночь?	207
V. Лицо без определенных занятий	220
VI. Шура, или Вождение	227
VII. Прибытие	241
VIII. Интервью. Глава, которую хочется пропустить	244
IX. Западно-восточный диван	251
X. Власть – музыка эпохи	260
XI. Рубин, или Любознательность	264
XII. Любовь хана	278
XIII. Рубин (продолжение)	290
XIV. Академик Т.М. Погорельский	298
XV. Термы Каракаллы	304
XVI. Пир	308
XVII. Лыков, или Свобода	316
XVIII. Возвращение	326
XIX. Соображения по делу (1)	333
XX. Соображения по делу (2). Философия прогулочных дворов	353
Послесловие: Интервью автора самому себе	356

Литературно-художественное издание

Борис ХАЗАНОВ

СЛЕДСТВИЕ ПО ДЕЛУ О ПРИЧИНЕ

Рассказы, повести, роман

Подписано в печать 26.04.05
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс
Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,23 Усл. кр.-отг. 21,9
Уч.- изд. л. 22,32 Тираж 1000 экз.

Харьковская правозащитная группа
61002, Харьков, а/я 10430
www.khpg.org

Издательство «Дух і Літера»
Национальный Университет «Киево-Могилянская Академия»
5 корпус, ком. 210
04070, Киев, ул. Волоская, 8/5



В автобиографическом наброске “Понедельник роз” Борис Хазанов писал: “Моя жизнь была перерублена трижды. Первый раз, когда началась война, второй раз, когда меня посадили в тюрьму, и третий – когда пришлось эмигрировать”.

Борис Хазанов (псевдоним Г. М. Файбусовича), писатель и переводчик, родился в Ленинграде, вырос в Москве. Изучал классическую филологию в Московском университете, был арестован по обвинению в антисоветской агитации, после лагеря окончил медицинский институт в Калининне (Тверь), работал врачом в деревне и в Москве. В связи с участием в самиздате, публикациями за границей и т. д. подвергся преследованиям, в 1982 г. эмигрировал в Германию. Был одним из основателей и редактором общественно-политического и культурологического журнала “Страна и мир” (Мюнхен, 1984-1992). Лауреат премии “Литература в изгнании” (Гейдельберг) и нескольких премий Международного ПЕН-клуба. Автор романов, рассказов, эссе; публиковался в России, Украине и в переводах на западные языки. Живет в Мюнхене.